

ДУБЛИНСКАЯ ПРЕМИЯ 2011 ГОДА



ВСЕ МЫ БАЛАНСИРУЕМ НА КАНАТЕ ИСТОРИИ. Но мало кто
умеет рассказать об этом. Великий роман.

ESQUIRE

Колум Маккэнн

И ПУСТЬ
ВРАЩАЕТСЯ
ПРЕКРАСНЫЙ
МИР



Annotation

1970-е, Нью-Йорк, время стремительных перемен, все движется, летит, несется. Но на миг сумбур и хаос мегаполиса застывает: меж башнями Всемирного торгового центра по натянутому канату идет человек. Этот невероятный трюк французского канатоходца становится точкой, в которой концентрируются истории героев: уличного священника и проституток; матерей, потерявших сыновей во Вьетнаме, и судьи. Маккэнн использует прошлое, чтобы понять настоящее. Истории из эпохи, когда формировался мир, в котором мы сейчас живем, позволяют осмыслить сегодняшние дни — не менее бурные, чем уже далекие 1970-е. Роман Колумба Маккэнна получил в 2010 году Дублинскую премию по литературе, одну из наиболее престижных литературных мировых премий.

Мой роман описывает некую модель скрытого от глаз мира, вращающегося вокруг единственного дня, 9 августа 1974 года. Лето в самом разгаре, и Филипп Пети, французский канатоходец, совершает умопомрачительную прогулку между башнями Всемирного торгового центра, на высоте в 110 этажей. Эта книга об эпохе, которая во многом — точное отражение нашего времени.

- [Колум Маккэнн И ПУСТЬ ВРАЩАЕТСЯ ПРЕКРАСНЫЙ МИР](#)
 -
 - [Книга первая](#)
 - [Со всем уважением к раю, мне и тут неплохо](#)
 - [Миро, Миро на стене](#)
 - [Страх любви](#)
 - [И пусть несется мир прекрасный](#)
 - [Книга вторая](#)
 - [Тэг](#)
 - [Вызывает Запад](#)
 - [Вот дом, который построил Конь](#)
 - [Колеями перемен](#)
 - [Книга третья](#)
 - [Зубчик шестеренки](#)
 - [Сентаво](#)
 - [Восславим Господа! — Аллилуйя!](#)

- [Книга четвертая](#)
 - [Рвется к морю, я иду](#)
- [От автора](#)
- [Благодарности](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
 - [33](#)
 - [34](#)

- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)

- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)

- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)

- [152](#)
 - [153](#)
 - [154](#)
 - [155](#)
 - [156](#)
 - [157](#)
 - [158](#)
 - [159](#)
 - [160](#)
 - [161](#)
 - [162](#)
 - [163](#)
 - [164](#)
 - [165](#)
 - [166](#)
 - [167](#)
 - [168](#)
 - [169](#)
 - [170](#)
 - [171](#)
 - [172](#)
 - [173](#)
 - [174](#)
 - [175](#)
 - [176](#)
 - [177](#)
-

Колум Маккэнн И ПУСТЬ ВРАЩАЕТСЯ ПРЕКРАСНЫЙ МИР

Посвящаю эту книгу Джону, Фрэнку и Джисму.

И разумеется, Эллисон.

Жизни, которые мы могли бы прожить, люди, с которыми мы никогда не встретимся, — их нет и не было, они повсюду вокруг нас.

Так уж устроен мир.

Александар Хемон. Проект «Лазарь»

Те, кто видел его, замирали. На Чёрч-стрит. Либерти. Кортландт. Уэстстрит. Фултон. Виси. И тишина, величественная и прекрасная, слышала саму себя. Кто-то поначалу думал, что перед ним, должно быть, лишь игра света, атмосферный трюк, случайный всплеск тени. Другие считали, что наблюдают блестящий городской розыгрыш: стоит встать, ткнуть пальцем в небо и замереть, пока не соберутся прохожие, пока не запрокинут головы, не закиваю: да, я тоже вижу, — пока все кругом не вперятся вверх, в полное ничто, словно дожидаясь завершения репризы Пенни Брюса.^[1] Но чем дольше смотрели, тем яснее видели. Кто-то стоял на самом краю здания — темная фигурка на сером утреннем фоне. Мойщик окон, вероятно. Или рабочий-строитель. Или самоубийца.

Там, на высоте ста десяти этажей, — совершенно неподвижное, игрушечное пятнышко в облачном небе.

Надеясь разглядеть его получше, зеваки искали подходящий угол обзора, вставали на перекрестках, ловили зазоры меж зданий, выбирались из тени, отброшенной краями крыш, скульптурами и балюстрадами. Никто еще не понял, что за линия тянется от его ног, с одной башни на другую. Скорее людей держал на месте сам силуэт — они вытягивали шеи, разрываясь между посулом верной гибели и разочарованием обыденности.

Такова логика зевак: кому захочется ждать напрасно? Стоит на карнизе какой-то кретин, ничего особенного, но так обидно упустить связку — случайное падение, или арест, или прыжок с раскинутыми руками.

Повсюду вокруг них привычно шумел город. Окрики автомобилей.

Скрежет мусоровозов. Гудки паромов. Глухой рокот метро. Автобус маршрута М-22 подъехал к тротуару, скрипнул тормозами и шумно вздохнул, устраиваясь в выбоине. Прильнула к пожарному гидранту обертка от шоколада. Хлопали дверцы такси. В самых темных закоулках возились ошметки мусора. Резиновые подошвы теннисных туфель целовались с мостовой. Шуршала о брючины кожа портфелей. Цокнули о тротуар наконечники нескольких зонтиков. Вытолкнули на улицу четвертины чьих-то разговоров вращающиеся двери.

Но зеваки умели впитывать все звуки, сминая их в единый шум и почти ничего не слыша. Даже выругаться они старались тихо и почтительно.

Они сбивались в небольшие группы у светофора на углу Чёрч и Дей, собирались под навесом у парикмахерской Сэма, у входа в «Чарлис Аудио»; маленький театральный партер — у ограды часовни Святого Павла; толкотня — у окон Булворт-билдинга.^[2] Адвокаты. Лифтеры. Врачи. Уборщики. Младшие повара. Торговцы бриллиантами. Продавцы рыбы. Шлюхи в жеваных джинсах. Каждого успокаивает и вдохновляет присутствие остальных. Стенографистки. Маклеры. Рассыльные. Люди-бутерброды, стиснутые рекламными щитами. Наперсточники. Служащие «Кон-Эда»^[3] и «Мамаши Белл».^[4] Брокеры с Уолл-стрит. Слесарь-замочник в фургоне, вставшем на перекрестке Дей-стрит с Бродвеем. Курьер-велосипедист под фонарным столбом на Уэст. Краснолицый забулдыга, вышедший похмелиться.

Его было видно с парома у Стейтен-Айленд. От мясных складов на Вест-Сайде. С новеньких высоток у парка Бэттери. От бродвейских лотков с утренним кофе. С площади внизу. С самих башен.

Конечно, встречались и те, кто игнорировал общий ажиотаж, не желая отвлекаться. Семь сорок семь утра, и слишком они на взводе, и влекут их лишь рабочий стол, авторучка, телефон. Они выбегали из зева подземки, выбирались из лимузинов, спрыгивали с подножек городских автобусов и спешили пересечь улицу, не глазея по сторонам. Доллар сам себя не заработает. Но, достигая этих островков беспокойного ожидания, даже они сбавляли шаг. Кто-то останавливался вовсе, пожимал плечами и равнодушно озирался, но, дойдя до угла, вновь утыкался в зевак, чтобы затем приподняться на цыпочках, обозреть толпу и лишь тогда объявить о своем прибытии возгласом «Ух ты!», или «Чтоб меня!..», или «Господи Иисусе!».

Человек наверху хранил неподвижность, но загадка его силуэта

обещала движение. Он стоял за парапетом смотровой площадки южной башни — и в любой момент мог оторваться от нее.

Словно предвкушая падение, с верхнего этажа Федерального почтамта^[5] спикировал одинокий голубь. Кое-кто в толпе отвлекся на серую птицу, бившую крыльями на фоне маленькой недвижной фигуры. Голубь перелетал с одного карниза на другой, и лишь теперь зеваки заметили, что за окнами контор к ним присоединились и другие наблюдатели: они раздвигали жалюзи, а где-то натужно поднимали и сами стекла. Снизу виднелись пара локтей, или рукавов, или запонка на одинокой манжете, или даже голова с лишней парой рук, поднимавших раму еще выше. В окнах ближайших небоскребов появлялись все новые фигуры зевак — мужчины в рубашках и женщины в ярких блузках, колыхавшиеся за стеклами, словно отражения в кривых зеркалах.

Намного выше, над Гудзоном, начал снижение, разворачиваясь, вертолет метеорологов — в изящном реверансе подтверждая, что летний день несет облачность и прохладу, — и по стенам складов на Вест-Сайде раскатился чеканный ритм его винта. Подлетая, вертолет накренился, и боковое стекло скользнуло в сторону, будто пассажирам не хватало воздуха. В открытом окне мелькнул объектив фотокамеры. Короткой вспышкой блеснула линза. Помедлив еще миг, вертолет выпрямил крен и величаво продолжил полет.

Несколько полицейских машин на Вестсайдском шоссе тревожно замигали и, не снижая скорости, вырулили на рампу, прибавляя утру лишней остроты ощущений.

Среди зевак пробежала искра, и — раз уж завывание сирен придало едва начавшемуся дню оттенок официоза — тишину сменило глухое бормотание: душевное равновесие оказалось подорвано, спокойствие начало изменять людям, и, обернувшись к соседу, они принялись строить догадки. Спрыгнет он или сорвется оттуда, пройдет ли бочком по карнизу, работает ли наверху, есть ли у него семья, не рекламный ли это трюк, нет ли на нем спецодежды, есть у кого-нибудь бинокль? Случайные люди хватали друг друга за локти. Меж ними поползло тихое ворчание, шепотки о неудавшемся ограблении, о том, что этот человек — просто фортович, он взял заложников, он араб, еврей, киприот, боевик ИРА; нет, на самом деле он привлекает внимание по заданию некоей корпорации: *Чаще пейте «Кока-колу», ешьте «Фритос», курите «Парламент», распыляйте «Лизол», любите Иисуса.* Или что он выражает протест, сейчас развернет лозунг, опустит с башни и оставит трепетать на ветерке громадную простыню: *Никсон, пошел вон! Руки прочь от Вьетнама, Сэм!*

Независимость Индокитаю! — а затем кто-то предположил, что он, наверное, собирается оттуда спланировать или прыгнуть с парашютом; остальные облегченно рассмеялись, но всех озадачивал канат у его ног, так что пересуды продолжились с новой силой, ругань и шепот усилились, споря с воем полицейских сирен, сердца колотились все чаще, вертолет тем временем нашел себе на сест близ западных фасадов башен, а в фойе Всемирного торгового центра полицейские бежали по мраморным плитам пола, и агенты в штатском выдергивали из-под воротников жетоны, и на площадь уже выруливали пожарные машины, стекла окон вокруг осветились красно-синим, подкатила автовышка, толстые шины подпрыгнули на бордюре тротуара, и кто-то прыснул со смеху, когда люлька подъемника потянулась вверх и вбок, куда уже уставился водитель, — словно та действительно способна покрыть все это непомерное расстояние, — и охранники уже кричали что-то в рации, и все августовское утро оказалось взорвано, и зеваки встали как вкопанные, на какое-то время все остановились, никто никуда уже не спешил, и повсюду, в едином крещендо, нарастал вавилонский галдеж с акцентами всех возможных оттенков, — до тех пор, пока рыжеволосый человечек в офисе ипотечной компании «Хоум Тайл» на Чёрч-стрит не поднял оконную раму, не набрал в грудь побольше воздуху, не лег на подоконник и не проорал в пространство: «Давай же, мудило!»

Встретившее крик затишье вскоре оборвалось, спустя какую-то секунду зеваки почтили бесцеремонность смехом, поскольку втайне многие чувствовали то же самое — «Ну же, бога ради! Давай!» — и покатилась волна одобрения, почти церковного зова-и-отклика, она будто выплеснулась из окон на тротуары и побежала по трещинам в асфальте к перекрестку с Фултон-стрит, оттуда еще квартал вдоль Бродвея, где свернула на Джон-стрит, зигзагом добралась до Нассо-стрит, устремилась дальше; смешки сыпались костяшками домино, только в них были слышны истерика, вожделение, ужас, и многие зеваки с содроганием осознали: кто бы что ни говорил, им и впрямь хотелось узреть великое падение, чтобы на их глазах кто-то описал в воздухе широкую дугу, полетел и исчез из поля зрения, дергаясь, рухнул и разбился о землю, напитал заурядный день электричеством, придал ему смысл; ведь для того, чтобы ощутить себя дружной семьей, одним недоставало жалкого мига срыва, — в то время как другие желали, чтоб человек наверху не трогался с места, держался на краю, не ступая дальше; крики вызывали в них отвращение — им хотелось, чтобы он спасся, шагнул назад, в объятия полицейских, а не в небо.

Теперь они взбудоражены.

Раскачиваются.
Черта подведена.
Давай же, мудило!
Нет, не надо!

Высоко над ними что-то шевельнулось. Одет в темное, каждый жест заметен. Человек согнулся пополам, уменьшился вдвое, словно рассматривая свои ботинки, — карандашный штрих, наполовину стертый ластиком. Поза ныряльщика. И тогда они увидели. Зеваки стояли затаив дыхание. Даже мечтавшие, чтобы человек спрыгнул, попятались со стоном.

Тело пустилось в полет.

Его не стало. Свершилось. Кое-кто перекрестился. Закрыл глаза. В ожидании падения. Но подхваченное ветром тело все кружило, и замирало, и снова кувыркалось в воздухе.

Затем над толпой зевак разнесся крик, женский голос: «Боже, о боже, это свитер, один свитер».

Он все падал, падал, падал — да, фуфайка, трепещет на ветру, и их взоры отринули ее на середине полета: человек в вышине распрямился, и копами наверху и зеваками внизу вновь овладела оторопь, чувства омыли их заново, потому что человек восстал из согбенности, из глубокого поклона, с длинным тонким шестом в руках; покачал, примериваясь к весу, подбрасывая, длинный черный прут, такой гибкий, что концы его колебались, и взгляд человека был устремлен к дальней башне, все еще обернутой лесами, словно к раненому существу, ждущему подмоги, и теперь все они поняли, что означает канат у ног, и, как бы ни спешили, уже ничто не могло заставить их отвести глаза — ни утренний кофе, ни сигарета в зале для совещаний, ни узлы кабинетных интриг; ожидание сделалось волшебством, и все они смотрели, как человек наверху отрывается от карниза обутую в мягкую балетку ступню — словно готовясь войти в теплую сероватую воду.

Наблюдатели разом втянули в себя воздух, ставший вдруг общим, одним на всех. Человек наверху был словом, которое все будто бы знали, но никто прежде не слыхал.

Он шагнул вперед.

Книга первая

Со всем уважением к раю, мне и тут неплохо

У нашей мамы хватало достоинств, и мы с братом — Корриганом — обожали ее, помимо прочего, еще и за то, что она была превосходной пианисткой. На «Стэйнвее», стоявшем в нашей гостиной в Дублине, мама держала небольшой транзистор, и вечерами по воскресеньям, послушав одну из тех станций, что у нас ловились, Радио Эйреанн или Би-би-си, она поднимала лакированное крыло рояля, расправляла складки платья вокруг деревянного табурета и старалась сыграть по памяти какой-нибудь из услышанных фрагментов: джазовые риффы, ирландские баллады или, когда нам удавалось настроить нужную волну, старые мелодии Хоуги Кармайкла.^[6] Мама играла с природным изяществом, даже если сломанная когда-то кисть по-прежнему причиняла боль. Откуда взялись переломы, мы с братом не знали: об этом умалчивалось. Закончив играть, мама легко потирала внешнюю сторону запястья. Помню, мне казалось, что ноты по-прежнему дрожат в ее косточках, одна за другой преодолевая сросшиеся участки. Я и сейчас еще, спустя годы, могу побывать в музее этих семейных вечеров и вспомнить, как растекался по ковру свет. Иногда мама обнимала нас с братом, обоих, а затем направляла наши пальцы, чтобы мы сильнее брякали по клавишам.

Думаю, сейчас подобное почитание матери, как у нас с братом, уже вышло из моды — не то что в середине пятидесятых, когда за окнами шумели лишь ветер да неугомонные волны. Можно поискать щели в броне, проверить на устойчивость табурет у рояля, высмотреть затаенную печаль, которая отдалила бы маму от нас, но истина такова, что нам было хорошо вместе, втроем, и особенно по воскресеньям, когда Дублинский залив затягивала серая пелена дождя, а ветер вновь и вновь кидался на стекла.

Наш дом в Сэндимаунте смотрел на залив. Через квадрат лужайки к нему тянулась короткая неухоженная дорожка за черной кованой оградой. Чтобы увидеть простор залива, стоило лишь перейти через улицу и забраться на дугу волнолома. В конце дороги росла группа пальм. Наверное, самые низкие и чахлые во всем мире, они стояли там, словно издалека явились полюбоваться дублинским дождем. Корриган подолгу сидел на стене, стучал пятками и смотрел на воду за широкой линией прибрежья. Уже тогда я мог бы догадаться, что море просочилось в его жилы, грозя нам расставанием. Прилив подбирался ближе, и вода набухала у него под ногами. Вечерами он ходил мимо бастиона Мартелло^[7] к заброшенным

общественным баням, где с раскинутыми в стороны руками балансировал на стене волнолома.

По утрам в выходные мы с мамой гуляли в отлив, по щиколотки в морской пене, и оглядывались назад, на шеренгу домов, бастион и платочки дыма, поднимавшиеся от крыш. На востоке горизонт разрывали две гигантские красно-белые трубы электростанции, но в остальном он был невредим — плавная линия с чайками в вышине, пакетботами, спешащими прочь от Дун-Лэрэ, и клочьями облаков вдали. Уходя с отливом, вода оставляла широкую полосу волнистого песка, и иногда можно было пройти с четверть мили среди лужиц и клочков старого хлама, продолговатых ракушек и обломков железных кроватей.

Дублинский залив дышал размеренно и тяжко, как и сам город в его подкове, но готов был внезапно взбунтоваться. В штурм море то и дело обрушивалось на волнолом. Подступив вплотную, не уходило. На окнах нашего дома выступал соляной налет. Дверной молоток порыжел от ржавчины.

Когда стихия затевала нечестную игру, мы просто сидели на крыльце. Наш отец, физик, бросил нас много лет назад. Раз в неделю в доме через прорезь для писем появлялся чек с лондонским штемпелем. Никаких записок — только сам чек из банка в Оксфорде. Падая, он кружил в воздухе. Мы бегом несли его маме. Она совала конверт под цветочный горшок на кухонном подоконнике, а назавтра его там уже не было. И ни слова больше.

Кроме чеков единственным знаком присутствия отца был гардероб в маминой спальне, наполненный его пиджаками и брюками. Корриган распахивал дверцу. Мы сидели в полутьме, опершись спинами о грубые деревянные панели, совали ноги в отцовские ботинки, рукава его пиджаков задевали наши уши, холодили их пуговицами. Как-то вечером мама нашла нас одетыми в его серые костюмы — с закатанными рукавами пиджаков и брюками, прихваченными аптечными резинками. Мы ходили взад-вперед в его громоздких ботинках; когда она увидела нас и замерла в дверях, в комнате стало слышно, как тикает обогреватель.

— Так, — произнесла она, опускаясь на колени перед нами с братом. Улыбка, почудилось нам, далась ей не без боли. — Идите сюда. — Она поцеловала каждого в щеку, легонько шлепнула обоих. — Теперь бегите.

Мы выбрались из старых отцовских костюмов, оставили их в куче на полу.

Перед сном в тот день мы слушали, как звякают плечики, пока мама развешивала и перевешивала костюмы.

За пролетевшие годы было немало обычных детских истерик, разбитых носов и сломанных деревянных лошадок. Маме тем временем приходилось терпеть соседские пересуды, а иногда — и знаки внимания местных вдовцов, но по большей части наша жизнь была безмятежна: покой, открытость, песчано-серое мельтешение будней.

Мы с Корриганом делили спальню с окнами на залив. Тихой сапой, уж не помню как, но брат, который младше меня на два года, захватил себе верхнюю кровать. Он засыпал на животе, глядя на тьму за окном, скороговоркой бормоча молитвы, которые называл «сонными куплетами». Эти свои заклинания он сочинил сам; моей расшифровке они почти не поддавались, к тому же перемежались хихиканьем и долгими вздохами. Чем сильнее сон одолевал брата, тем ритмичнее звучали его молитвы — этакий джаз, хотя порой Корриган чертыхался прямо посредине, и тогда вся набожность улетучивалась. В свое время я вырубил весь католический хит-парад — ну там «Отче наш», «Аве Мария», — но и только. Я рос своевольным, замкнутым мальчишкой, и Бог уже успел мне наскучить. Я пинал снизу койку Корригана, тот ненадолго умолкал, но затем все начиналось съзнова. Иногда, проснувшись наутро, я обнаруживал, что мы лежим в обнимку. Грудь брата ходила вверх-вниз, пока он бормотал молитвы.

Тогда я поворачивался к нему:

— Чтоб тебя! Корр, заткнись.

У моего брата были светлая кожа, темные волосы, голубые глаза. Таким детям улыбаются все без исключения. Один его взгляд — и человек словно раскрывался. Люди радовались ему. На улице женщины ерошили ему волосы. Рабочие осторожно хлопали по плечу. А он и понятия не имел, что одно его присутствие придает людям сил, делает их счастливыми, будит в них невероятные желания, — он просто топал дальше, ничего не замечая.

Когда мне было одиннадцать, я однажды проснулся от дуновения холода. Добрел до окна, но оно оказалось закрытым. Тогда я потянулся к выключателю, и все вокруг залило желтым. Посреди комнаты застыла согнутая фигура.

— Корр?

Это от него исходил ночной холодок. Щеки покраснели. Волосы промокли от тумана. От брата пахнуло сигаретным дымом. Корриган приложил палец к губам и вскарабкался по деревянной лесенке к себе.

— Ложись, — донесся до меня его шепот. В воздухе еще витал запах табака.

Утром брат спрыгнул с кровати в тяжелой куртке с капюшоном,

надетой поверх пижамы. Ежась, отворил окно и выбил песок с подошв своих ботинок в сад.

— Где пропадал?

— Гулял вдоль берега, — ответил Корриган.

— Ты что, курил?

Глядя в сторону, он тер замерзшие руки.

— Нет.

— Влетит тебе за курение, сам знаешь.

— Да не курил я, — сказал он.

Чуть позже мама повела нас с братом, при кожаных ранцах, в школу. Леденящий ветер продувал улицы. У школьных ворот мама опустилась на колено, обняла нас обоих, поправила нам шарфы и расцеловала. Когда она уже собиралась уйти, ее взгляд упал на кого-то на другой стороне улицы, у церковной ограды: темная фигура, завернутая в большое красное покрывало. Мужчина поднял руку. Корриган помахал в ответ.

В ту пору по Рингсэнду бродило много старых алкашей, но мне показалось, мама на миг остолбенела, и я решил, что тут кроется какая-то тайна.

— Мам, кто это? — спросил я.

— Беги уже, — был ответ. — После уроков разберемся.

Брат молча шагал рядом.

— Кто это там, Корри? — пихнул его я. — Кто это был?

Не ответив, он побежал к своему классу.

Весь день, сидя за деревянной партой, я грыз карандаш и строил догадки. Мне мерещились то забытый дядюшка, то отец, который все-таки вернулся, оказавшись на мели. Ребенку ничто не кажется невероятным. Часы висели на дальней стене комнаты, но, пригнувшись, я мог следить за обратным ходом их стрелок в старом веснушчатом зеркале над классным рукомойником. Едва прозвенел звонок, я вылетел за ворота, но Корриган выбрал длинную дорогу: он плелся, едва передвигая ноги, мимо жилых домов, мимо пальм, вдоль волнолома.

На верхней койке Корригана дождался тугой бумажный сверток. Я сунул его брату. Тот, пожав плечами, провел пальцем под бечевкой, неуверенно потянул ее. Внутри оказалось новое покрывало — пушистый синий «фоксфорд».^[8] Брат развернул его, расправляя складки, взглянул на маму, кивнул.

Она провела по его щеке пальцами:

— Это в последний раз, слышишь?

К разговору пришлось вернуться пару лет спустя, когда и это

покрывало он отдал — уже другому бездомному бродяге, другой морозной ночью, у канала, на очередной поздней прогулке, на цыпочках сойдя по лестнице и затерявшись во тьме. Простое уравнение: мой брат считал, что кто-то нуждается в покрывале больше, чем он сам. Корригану этого хватало, и он готов был в случае чего принять заслуженное наказание. Тогда я впервые начал догадываться, что уготовано брату. Я вспоминал то покрывало, глядя на лица опустившихся ньюйоркцев — проституток, попрошаек и прочих безнадег, — всех, кто тянулся к Корригану так, будто мой брат был благословенным лучиком света в том грязном сортире, которым на поверку оказался мир.

* * *

Корриган рано начал выпивать — лет в двенадцать-тринадцать, — и делал это раз в неделю, по пятницам после уроков. Ставив с шеи галстук и свернув форменный пиджак, он мчался из школьных ворот к остановке в Блэкроке, пока я играл в регби на стадионе. Оттуда мне было видно, как он вскакивает в автобус маршрута 45 или 7А; когда тот трогался с места, силуэт брата уже двигался к задним сиденьям.

Корригану нравились места, куда не дотягивалось солнце. Неухоженные пустыри доков. Ночлежки. Перекрестки с выщербленной брусчаткой. Он частенько сиживал с пьяницами на Френчменз-лейн и Спенсер-роу.^[9] Приносил с собой бутылку, пускал по кругу. Если та возвращалась, он выпивал напоказ, вытирая рот кулаком, как бывалый алкаш. Всякому было ясно, что Корриган пьет не всерьез: он не следил за бутылкой, не тянулся к ней и отхлебывал, только когда ту протягивали. Надо думать, он считал, что вписывается в компанию. Конченые забулдыги смеялись над ним, но Корригану было наплевать. Разумеется, его использовали. Очередной сопляк, примерявший шлепанцы бомжа, но в его карманах всегда водилось несколько пенни, и он был готов поделиться, так что пьяницы гоняли Корра в магазин на углу за очередной бутылкой или сигаретами поштучно.

Порой он возвращался домой без носков. Время от времени приходил и без рубашки, так что спешил наверх, пока не застукала мама. Чистил зубы и плескал воду в лицо, а затем спускался к столу полностью одетый, задумчиво-странный, но недостаточно навеселе, чтобы его поймали с поличным.

— Где ты был?

— Богоугодные дела.

— Разве Бог заповедал не помогать матери?

Брат усаживался за стол, мама поправляла ему воротник.

Со временем Корриган сделался своим у бродяг, слился с фоном, растворился среди них. Он ходил с ними до ночлежки на Ратленд-стрит и садился на корточки у стены. Корриган слушал их истории — длинные, несвязные рассказы о жизни, протекавшей, казалось, в совершенно другой Ирландии. В их компании он проходил обучение и старался пропитаться нищетой этих людей так, словно собирался присвоить ее. Он пил. Покуривал. Никогда не заговаривал об отце — ни со мной, ни с кем-либо еще. Но наш сгинувший неведомо где отец был там, внутри, уж я-то знал. Корриган либо топил его в дешевом пойле, либо сплевывал с языка, как табачную крошку.

На той неделе, когда Корригану исполнилось четырнадцать, мама отправила меня его искать: брат весь день где-то шлялся, а она испекла для него торт. Дублин заволокло вечерней моросью. Мимо простучала запряженная в телегу коняга с яркой фарой на динамомашине. Я смотрел, как она удаляется, — точка расплывающегося света. В такие мгновения город отвращал меня — в нем не было желания стряхнуть с себя хмару. Я шагал мимо заштатных гостиниц, антикварных магазинчиков, свечных лавочонок, витрин с распятиями и молитвами на эмали. К ночлежке вели черные ворота с коваными пиками поверху. Я зашел за угол, где стояли мусорные баки. Из погнутой водосточной трубы сочилась вода. Перебравшись через залежи ящиков и коробок, я принялся звать брата. Корриган был настолько пьян, что не держался на ногах. Я ухватил его за локоть.

— Привет, — улыбнулся он. Распорол руку, сползая по стене. Стоял, разглядывая ладонь. Кровь бежала по запястью.

Собутыльник помельче — малолетний пижон в красной футболке — плюнул в него. Всего раз в жизни я видел, как Корриган пытается кого-то ударить. Промахнулся, конечно, но кровь полетела с кулака, и тут я понял, что не забуду этот миг никогда: Корриган разворачивается в броске, капли его крови разбиваются о стену.

— Я пацифист, — сипел он.

Всю дорогу до дома мы шли пешком, вдоль Лиффи, мимо угольных барж, до самого Рингсенда, где я умыл брата под старой колонкой на Айриштаун-роуд. Он обхватил мое лицо ладонями:

— Спасибо тебе, спасибо.

Когда мы свернули на Бич-роуд, которая вела домой, он заплакал.

Море скрыла кромешная темнота. Дождь скатывался с пальм на обочине. Брат порывался уйти на пляж, но я волок его дальше.

— Я рохля, — заявил он мне. Вытер глаза рукавом, закурил и кашлял, пока его не вырвало.

У ворот нашего дома он уставился на освещенное окно маминой спальни:

— Еще не спит?

Корриган еле ковылял по дорожке, но, оказавшись в доме, устремился наверх, где угодил в маминны объятия. Она уловила запашок табака и алкоголя, но не сказала ни слова. Наполнила ему ванну, села за дверью. Поначалу сидела неподвижно, но потом вытянула ноги и со вздохом откинула голову на дверной косяк, словно тоже принимала ванну, цепляясь за убегающие дни.

Одевшись, Корриган выскользнул в коридор, и мама насухо вытерла ему волосы полотенцем.

— Ты ведь не будешь больше пить, правда, милый?

Он помотал головой.

— По пятницам ты дома. После пяти. Слышишь?

— Будь по-твоему.

— Пообещай мне.

— Чтоб я провалился.

Налитые кровью глаза.

Поцеловав в макушку, она прижала сына к себе:

— Торт ждет тебя внизу.

Две недели Корриган воздерживался от своих пятничных вылазок, но вскоре опять начал якшаться с бездомными. Через этот свой ритуал он не мог переступить. Для голодранцев Корриган был спятившим, небывалым ангелом во плоти, и они тянулись к нему. Мой брат выпивал с ними, как бывало, но только по особым случаям. По большей части сохранял трезвость. У него имелась странная идея — будто бы эти люди на самом деле ищут что-то вроде рая и, напиваясь, возвращаются туда, только не могут остаться надолго. Он даже не пытался убедить их завязать. Не в его правилах.

Возможно, мне было легче легкого невзлюбить Корригана — младшего брата, раздувавшего в людях искру жизни, — но неприязнь к нему по-прежнему казалась невозможной. Он исследовал человеческое счастье: что это такое и чем может не оказаться, где его можно найти и куда оно могло испариться.

Мне было девятнадцать, а Корригану семнадцать, когда нашей мамы

не стало. Краткая, стремительная борьба с раком почек. Ее последнее напутствие: старайтесь задерживать днем шторы, чтобы не выцвел ковер в гостиной.

Первым днем того лета ее отвезли в больницу Святого Винсента. Карета «скорой помощи» оставляла влажные следы шин на прибрежной дороге. Корриган изо всех сил старался не отстать от нее на велике. Сперва маму поместили в длинную палату, набитую больными. Мы устроили ее в отдельную комнату, расставили повсюду цветы. По очереди ухаживали за ней, расчесывали волосы, длинные и хрупкие на ощупь. На гребешке оставались седые узелки. В первый раз за всю мамину жизнь ею овладела растерянность: собственное тело предавало ее. Пепельница с клубками волос на столике у кровати. Я цеплялся за мысль, что, если сберечь эти длинные пряди, мы как-то сумеем вернуть все, как было. Только она спасала меня от чувства бессилия. Мама протянула еще три месяца и скончалась сентябрьским днем, когда все вокруг казалось расколото солнечными лучами.

Мы сидели в палате, ожидая, когда санитары придут за ее телом. Корриган проговаривал долгую молитву, когда в дверном проеме возникла чья-то тень.

— Здравствуйте, мальчики.

Скорбь нашего отца была окрашена английским акцентом. В последний раз я видел его, когда мне исполнилось три года. Поток света омыл его, бледного и сутулого. Волос на макушке было немного, но глаза оставались прозрачно-голубыми. Сняв шляпу, он прижал ее к груди.

— Мне очень жаль, парни.

Я подошел пожать ему руку. Меня потрясло, что я оказался выше. Ухватив меня за плечо, отец крепко сдавил его.

Корриган молча сидел в углу.

— Пожмем руки, сынок, — предложил наш отец.

— Как ты узнал, что она заболела?

— Ну же, будь мужчиной и пожми мне руку.

— Расскажи, как ты узнал.

— Ты пожмешь мне руку или нет?

— Кто тебе сообщил?

Отец качнулся на пятках.

— Разве так разговаривают с родителями?

Повернувшись к нему спиной, Корриган поцеловал холодный мамин лоб и вышел, не проронив ни слова. Щелкнула дверь. На постель легла решетка тени. Подойдя к окну, я увидел, как брат отрывает велосипед от

водосточной трубы. Корр проехал прямо по клумбам, и его рубашка захлопала на ветру, когда он вывернулся на запруженную Меррион-роуд.

Отец пододвинул стул и, сев рядом с постелью, коснулся маминой руки под простыней.

— Когда она не сняла деньги.

— Что, прости?

— Так я понял, что она больна, — пояснил он. — Когда она перестала обналичивать чеки.

Словно ледышка поползла по моей груди.

— Говорю начистоту, — сказал отец. — Не готов слышать правду — не спрашивай.

Вечером отец пришел к нам ночевать. С собой принес чемоданчик с черным траурным костюмом и парой начищенных туфель. Корриган заступил ему путь, когда отец начал подниматься по лестнице.

— Ты куда это собрался?

Отец ухватился за перила. Я видел, как дрогнула в замешательстве его рука в мелких пигментных крапинках.

— Это не твоя комната, — объявил Корриган.

Отец помялся на ступенях. Сделал новый шаг.

— Не советую, — сказал мой брат. Его голос был чист, звонок, уверен.

Отец стоял, оглушенный. Поднялся еще на ступень, но затем повернулся и сошел вниз, потерянно озираясь по сторонам.

— И это мои сыновья... — произнес он.

Мы постелили отцу на диване в гостиной, но Корриган отказался спать под одной с ним крышей и зашагал в сторону городского центра; я же гадал, в каком переулке он встретит утро, на чей кулак может нарваться, в чью бутылку нырнуть.

Утром в день похорон я услышал, как отец зовет Корра по имени;

— Джон! Джон Эндрю!

Хлопнула дверь. Еще раз. Затем — долгая тишина. Откинувшись на подушку, я впитывал шорохи. Скрип верхней ступени. Звуки, исполненные тайны. Корриган с грохотом копался в стенном шкафу внизу, вновь хлопнул входной дверью.

Выглянув в окно, я увидел цепочку хорошо одетых людей на прибрежном песке, прямо напротив нашего дома. Они вырядились в старые костюмы моего отца, в его шляпы и шарфы. Один сунул красный платок в нагрудный карман черного пиджака. Другой держал в руке пару начищенных туфель. Корриган бродил среди них под легким креном, глубоко сунув в карман руку с бутылкой. Без рубашки он выглядел

диковато. Взъерошенные волосы. Темные от загара руки и шея, бледное тело. Наш отец уже стоял на крыльце, босой, потрясенный видом десятка собственных копий, разгуливавших по прибрежным пескам. Корриган приветствовал его взмахом руки и кривой усмешкой.

Я узнал пару женщин, которых видел в очередях за бесплатным супом у ночлежек. Радуясь новым нарядам, они фланелировали по линии прибоя в старых летних платьях нашей мамы.

* * *

Корриган как-то сказал мне, что понять Христа вовсе не так уж сложно. Он был там, где следовало находиться. Оставался там, где в Нем нуждались. Ему самому почти ничего не принадлежало — пара сандалий, какая-то одежда, несколько безделушек, чтобы скрасить одиночество. Христос не отворачивался от мира. Отвергая мир, вместе с ним Он отверг бы и тайну. Отвергая тайну, Он отверг бы саму веру.

Корригану был нужен совершенно достоверный Господь, который отыщется в блеклом налете повседневности. В жестокой, холодной правде жизни — в грязи, войне, нищете — Корр неизменно находил крупинки красоты. Его не интересовали цветастые рассказы о жизни после смерти или о медовых реках рая. За этим обильно нанесенным гримом ему мерещился ад. Утешался он другим: если пристально всмотреться во тьму, можно обнаружить присутствие света — слабого и немощного, но все же света. Ему хотелось — вот так запросто, — чтобы мир стал лучше, и надеяться на это вошло у него в привычку. Из нее черпал силы триумф, который не требовал теологических обоснований и вопреки всему питал оптимизм Корра.

— Когда-нибудь краткие все же являются за наследством, [\[10\]](#) — говорил он.

После смерти мамы дом продали. Половину денег забрал отец. Свою долю Корриган раздал. Жил подаянием, изучая труды Франциска Ассизского. [\[11\]](#) Часами бродил по городу, уткнувшись в книгу. Из кожаных обрезков смастерил сандалии, сквозь которые виднелись носки диких расцветок. К середине шестидесятых он сделался приметой дублинских улиц — спутанные волосы, холщовые штаны, книги под мышкой. Своей размашистой, шаркающей походкой он мерил город, не имея ни гроша, без куртки, без рубахи. В каждую годовщину Хиросимы, в августе, он

приковывал себя к воротам Парламента на Килдеар-стрит — безмолвный ночной пикет, ни фотографов, ни журналистов, только он сам на разостланной картонной коробке.

Когда Корру исполнилось девятнадцать, он отправился учиться в иезуитский колледж в Эмо. Месса на рассвете. Долгие часы теологических штудий. Вечерние прогулки в полях. Ночные походы вдоль реки Бэрроу, разговоры с Богом под звездным небом. Утренние молитвы, полуденные молитвы, дневные молитвы, повечерия. «Гlorии», псалмы, чтения Евангелий. Они придали твердость его вере, наделили целью. И все же холмы Лейиша^[12] были бессильны удержать его. Обычным священником мой брат сделаться не мог: его воротило от такой жизни, ему требовалось пространство для сомнений. Он оставил послушничество и уехал в Брюссель, где приился к группе молодых монахов, давших обеты целомудрия, бедности, смирения. Жил в крохотной квартирке в центре города. Отрастил длинные волосы. Не высывал носа из книг: Августин, Экхарт, Массиньон, Шарль де Фуко.^[13] Жизнь, насыщенная обычным трудом, дружбой, солидарностью. Корриган водил грузовичок, доставлял фрукты для местного кооператива, даже организовал профсоюз для небольшой группы рабочих. На работу не надевал церковных облачений, не носил пасторских воротничков, не таскал с собой Библии и предпочитал помалкивать — даже в кругу братьев собственного ордена.

Лишь немногие из тех, кто сходился с Корриганом, догадывались о его набожности. Даже там, где он появлялся чаще всего, люди редко слышали о вере — вместо этого, глядя на моего брата, они тосковали по другой эпохе, когда время текло медленнее, а жизнь была не столь сложна. Даже худшие человеческие поступки не могли поколебать воззрений Корригана. Собственная наивность ничуть его не пугала; по его словам, он предпочел бы умереть с сердцем нараспашку, чем кончить свои дни очередным циником.

Вся меблировка его комнаты — дубовая молитвенная скамеечка и книжные полки. Труды религиозных поэтов, по большей части радикальных, а также богословов-освобожденцев.^[14] Сам Корриган давно склонялся к назначению в какую-нибудь страну третьего мира, но добиться его никак не мог. Брюссель был для него чересчур безмятежен, ему хотелось жизни с более напряженным сюжетом. В итоге он успел пожить в трущобах Неаполя, работал с бедняками в испанском квартале, но в начале семидесятых перебрался в Нью-Йорк. Мысль о таком переезде угнетала его, он противился, считая Нью-Йорк слишком манерным, слишком

стерильным, но изменить решение вышестоящих членов ордена не смог — и подчинился.

В самолет он взошел, неся набитый книгами чемоданчик, молитвенную скамеечку и Библию.

* * *

Я же бросил университет и провел лучшие годы в подвальной квартире на Рэглен-роуд,^[15] пытаясь ухватить за хвост уходившую эру хиппи. Как и почти все ирландское, я опоздал на пару лет. Мне стукнуло тридцать, я нашел себе работу в конторе, но все равно стремился к старой беспечной жизни.

За тем, что происходило на Севере, я никогда особенно не следил. Порой те края казались совершенно чужой страной, но весной 1974-го насилие пришло и на юг.

Однажды вечером в пятницу я заглянул на рынок Данделайон прикупить немного марихуаны — был грешок, от случая к случаю. Одно из немногих мест в Дублине, кипевшее жизнью: африканские бусы, лавовые лампы, благовония. Я приобрел пол-унции марокканского гашиша в закутке, где торговали старыми пластинками. И уже сворачивал с Ленстер на Килдер-стрит, когда воздух вокруг содрогнулся. На миг все окрасилось желтым, сплющилось, побелело. Меня развернуло в воздухе и швырнуло об ограду. Очнулся, вокруг паника. Осколки стекол. Оторванная выхлопная труба. Подпрыгивая, катится рулевое колесо. Вот оно упало в изнеможении, и наступил странный покой, пока не завыли сирены, будто уже оплакивали кого-то. Мимо прошла женщина в платье, разорванном от воротника до подола и будто специально сшитом, чтобы показать рану у нее на груди. Какой-то мужик присел рядом, помог мне подняться. Мы пробежали вместе несколько ярдов, потеряли друг друга. Я уже ковылял за угол к Молсуорт-стрит, когда меня остановил офицер Гарды,^[16] потыкал пальцем в кровавые пятна на моей рубашке. Я лишился чувств. Когда пришел в себя в больнице, мне рассказали, что я потерял мочку правого уха, отлетев к ограде. Напоролся на королевскую лилию. Какая тонкая ирония. Кусочек уха остался лежать на мостовой. В остальном я был невредим, даже слух не пострадал.

В больнице полицейские перетряхнули мои карманы в поисках документа с именем. В результате меня арестовали за хранение и

приволокли в зал суда, где судья сжался надо мной, назвал обыск незаконным, прочитал мне нотацию и выставил вон. Первым же делом я направился в турагентство на Доусон-стрит и купил билет прочь отсюда.

В здание аэропорта Кеннеди я вошел в лохматой дубленке, с длинным ожерельем на шее и драным томиком «Вопля»^[17] в руке. Таможенники тихо веселились. Клапан рюкзака оторвался, когда я пытался закрыть его после досмотра.

Я искал взглядом Корригана — он писал в открытке, что придет встречать. Восьмидесят семь градусов в тени.^[18] Жара ударила как обухом. Зал ожидания пульсировал в глазах. Целые семейства пихались вокруг, спеша попасть к табло со статусом рейса. В лоснящемся облике таксистов чудилась угроза. Брата не видать. Я уже час просидел на рюкзаке, когда полицейский ткнул в меня дубинкой — да так, что я выронил книгу.

В автобусе — те же духота и шум. Позже, в метро, я задержался под лопастями вентилятора. Рядом обмахивалась журналом женщина. Овалы пота под мышками. Прежде я ни разу не видел так близко настолько черной кожи, та почти отливалась синевой. Мне захотелось прикоснуться, провести пальцем по ее руке. Перехватив мой взгляд, женщина оправила блузку:

— Чё уставился?

— Ирландия, — выпалил я. — Я ирланец.

Чуть погодя женщина присмотрелась ко мне повнимательней.

— Ни фига себе, — сказала она. И сошла на 125-й улице, стоило поезду скрежетнуть тормозами.

Когда я добрался наконец до Бронкса, на город опустились сумерки. Я вышел со станции в вечерний зной. Серые кирпичи и рекламные щиты. Из приемника — упругий ритм. Парнишка в футболке без рукавов быстро вращался на куске картона, непостижимо удерживаясь в воздухе на одном только плече. Размытый контур. Безграничная свобода. Уперев в землю руки, он описывал ногами широкие круги. Собравшись в комок, вдруг закрутился на голове, затем выгнулся назад, распрямился и высоко подпрыгнул: чистое, безудержное движение.

Вдоль бульвара сгрудились таксисты-частники. Пожилые белые мужчины в широких шляпах. Я метнул рюкзак в багажник громадной черной машины.

— У них всех шило в заднице, мужик, — заявил водитель, оборачиваясь ко мне через спинку кресла. — Думаешь, пацан выйдет в люди? Этак покрутыввшись на дурной своей башке?

Я протянул ему клочок бумаги с адресом Корригана. Он пробурчал

что-то насчет гидроусилителя руля — дескать, во Вьетнаме про такое не слыхивали.

Полчаса спустя мы резко остановились у обочины. Ездили сложными кругами.

— Двенадцать зеленых, друг.

Спорить нет смысла. Я перебросил деньги через спинку переднего сиденья, выбрался наружу, подхватил рюкзак. Еще багажник не закрыл, а таксист уже отъехал. Прижал книжку к груди. *Я видел лучшие умы моего поколения.*^[19] Крышка багажника ходила вверх-вниз и захлопнулась, стоило водителю резко свернуть на первом же светофоре.

Вдоль одной стороны улицы — ряд многоквартирных домов за сеткой забора. Кое-где даже с колючей проволокой поверху. На другой стороне — бетонные опоры автострады, размытые полосы огней проносящегося транспорта. Внизу, вдоль дороги под автострадой, длинная вереница женщин. В тени то и дело останавливались легковушки и грузовики. Женщины принимали позы. На них были облегающие шорты, лифчики-бикини или купальники — нелепый пляж посреди города. Поднятая вверх рука дотягивается, мерещилось мне в полутьме, до верхнего яруса автострады. Шпилька каблука тянется к колючему навершию забора. Отставленная нога — на полквартала.

С перекладин опор слетели ночные птицы, поначалу вроде рванули к небу, но затем, похоже, передумали и вновь попрятались в тень.

Из той же тени выступила и широко расставила ноги в сапогах женщина в спущенном с плеч меховом полуушубке. Мимо проехала машина, и она рывком распахнула полуушубок, под которым ничего не оказалось. Прогудев, машина умчалась прочь. Женщина что-то выкрикнула вслед и двинулась в мою сторону, помахивая чем-то вроде зонта.

Я оглядел балконы многоэтажек, поражаясь выбору Корригана. Дрожали уличные огни. Кувыркался пластиковый пакет. На телеграфных проводах раскачивалась какая-то обувь.

— Эй, красавчик...

— Денег нет, — отрезал я, не оборачиваясь.

Проститутка смачно плонула мне под ноги и раскрыла над головой розовый зонтик.

— Говнюк, — уронила она, проходя мимо.

Она стояла на освещенной стороне улицы в тени зонтика, ждала. Каждый раз, когда мимо проезжала машина, она опускала его и поднимала вновь, превращаясь в маленькую планету света и тени.

Скроив невозмутимое лицо, я потащил рюкзак к многоэтажкам. В

траве за оградой захрустели под ногами героиновые иглы. Табличку на стене рядом с подъездом кто-то густо покрыл краской из пульверизатора. У входа сидели, вяло обмахиваясь веерами, несколько стариков. Они казались оборванными и замшелыми — вот-вот истают в воздухе, оставив продавленные стулья. Один потянулся к бумажке с адресом моего брата, покачал головой, снова обмяк.

Распространяя вокруг жестяной ритм музыки, мимо меня прошмыгнул мальчишка. Растворился во тьме лестничной клетки. Оставил легкий аромат свежей краски.

Я зашел за угол дома и наткнулся на другой угол, — куда ни глянь, сплошные углы.

Корриган жил в серой многоквартирной глыбе. Пятый этаж из двадцати. Небольшая наклейка у дверного звонка: «Мир и справедливость» — в обрамлении тернового венца. Пять замков на дверном косяке, и все сломаны. Я толкнул дверь. Она распахнулась, жахнула. От стены отвалился кусочек штукатурки. Я позвал Корригана. Квартира оказалась пуста — лишь изодранная тахта, низкий столик, простое деревянное распятие над узкой деревянной же кроватью. Молитвенная скамеечка приподнята к стене. На полу будто бы беседуют раскрытые книги: Томас Мёртон, Рубем Алвеш, Дороти Дей.^[20]

Я шагнул к кушетке, выдохшийся.

Проснулся от удара двери о стену: в квартиру ввалилась та проститутка с зонтиком. Встала, вытирая пот со лба, швырнула сумочку на тахту рядом со мной.

— Ой, прости, сладкий.

Пришлось отвернуться, чтобы она меня не узнала. Шлюха прошлась по комнате, стаскивая меховой полушибок, и осталась в чем мать родила, если забыть про туфли. Замерла на миг, рассматривая себя в длинном осколке зеркала, приставленном к стене. Гладкие, точеные икры. Поджала ягодицы, вздохнула, расправила спину и энергично потерла соски.

— Вот черт, — сказала она.

Из уборной донесся звук бегущей воды. Проститутка вышла с обновленным блеском помады на губах и с новой твердостью в щелкающей поступи. В воздухе резко запахло ее духами. Она послала мне воздушный поцелуй, махнула зонтиком и ушла.

Так повторилось пять или шесть раз. Поворот дверной ручки. Перестук каблучков по голым половицам. Всякий раз — другие проститутки. Одна даже склонилась надо мной, качнула перед моим лицом тощей отвислой грудью.

— Студент, — позвала она, словно уже торгаясь. Я покачал головой и услышал резкое: — Так и знала. — Уже у двери оглянулась с улыбкой: — Скорее адвокат попадет в рай, чем ты снова увидишь такую красоту.

Смеясь, удалилась по коридору.

В уборной имелось мусорное ведерко. Тампоны и жалкие полипы завернутых в салфетки презервативов.

Корриган разбудил меня ночью. Я уже не представлял, который час. Мой брат годами одевался в подобные сорочки: черная, без воротника, с длинными рукавами и деревянными пуговицами. Он был тощ, словно вся эта масса бедняков истрепала его, стремясь превратить в прежнего пацана. Волосы у него отросли до плеч, он отпустил баки, на висках поселилась легкая седина. Ссадина на скуле, синяк под правым глазом. Корриган выглядел старше своих тридцати одного.

— В чудесном мире ты живешь, Корриган.

— Чай привез?

— Что приключилось? У тебя щека оцарапана.

— Скажи, брат, ты привез хотя бы пару чайных пакетиков?

Я открыл рюкзак. Пять коробок его любимого. Корриган чмокнул меня в лоб. Сухие губы. Колючая щетина.

— Кто тебя поколотил, Корр?

— Хватит обо мне, дай лучше на тебя посмотрю.

Вытянув руку, он коснулся моего правого уха, где не хватало мочки:

— Ты как?

— Это мне на память, наверное. А ты все еще пацифист?

— Все еще, — подтвердил он с усмешкой.

— Подруги у тебя что надо.

— Просто заходят в туалет. Кувыркаться с клиентами им запрещено. Они ведь не кувыркались тут, верно?

— Они были голые, Корриган.

— Ничего подобного.

— Говорю же, они голые были.

— Одежда их обременяет, — хохотнул брат. Похлопал меня по плечу, толкнул назад на тахту. — В любом случае, на них наверняка были туфли. Это же Нью-Йорк. Без хороших шпилек не обойтись.

Он поставил чайник на конфорку, приготовил чашки.

— Ну и суров же брат мой... — произнес Корриган, но смешок растаял, пока он прибавлял огонь под чайником. — Слушай, им просто некуда податься. Я всего лишь хочу дать им угол, который они смогут считать своим. Сбежать от духоты. Ополоснуть лицо.

Пока он стоял, отвернувшись, мне вдруг вспомнилось, как много лет тому назад он сошел с привычного вечернего маршрута и был застигнут врасплох приливом: омытый светом Корриган на песчаной банке, зовущие голоса едва долетают с берега. Засвистел чайник — пронзительно и громко. Даже со спины мой брат казался побитым. Я позвал один раз, второй. Третий оклик — и он вздрогнул, обернулся, заулыбался. Почти как в детстве: поднял голову, помахал рукой и вернулся на берег по пояс в воде.

— Ты здесь сам по себе, Корр?

— Пока да.

— Ни братии, ни шатии?

— Я здесь постигаю извечные чувства, — сказал он. — Голод, жажду, усталость в конце дня. Просыпаюсь среди ночи, уже не зная, рядом ли Господь.

Казалось, Корриган говорит с кем-то, кто стоит за моим плечом. Мешки под ввалившимися глазами.

— Вот это мне и нравится в Боге. Познаёшь Его по случайным отлучкам.

— У тебя все хорошо, Корр?

— Лучше не бывает.

— Так кто ж тебя поколотил?

Он отвернулся:

— Да поспорили тут с одним сутенером.

— С чего вдруг?

— С того.

— С чего с того?

— С того, что он считает, будто я отвлекаю их от работы. Парень зовет себя Скворечником. Одноглазый. Поди их разбери. Заявился ко мне: стук в дверь, «привет», брат то, брат сё, сама любезность, даже шляпу повесил на дверную ручку. Уселся и уставился на распятие. Сказал, что уважает тех, кто живет праведной жизнью. А потом показал кусок железной трубы, которую вырвал из стены в сортире. Представь себе. Все время, пока он тут сидел, в туалете хлестала вода.

Корриган пожал плечами.

— А они по-прежнему заходят, — сказал он. — Девицы. Я не поощряю, честно. Ну а что им еще делать? Мочиться на улице? Невелика помощь, но хоть что-то. Сюда всегда можно забежать. Бесплатный толчок.

Он выставил на стол чай и тарелку с галетами, отошел к молитвенной скамеечке — простая деревяшка, на которую он оперся, опускаясь на колени, — и поблагодарил Бога за печенье, за чай, за прибытие брата.

Корриган еще молился, когда дверь снова хлопнула и ввалились три проститутки.

— У да тут прям снег идет, — проворковала та, что с зонтиком, встав под вентилятор. — Привет, я Тилли.

От нее исходил жар, лоб — в капельках пота. Зонтик она бросила на стол, с легкой усмешкой посмотрела на меня. Такую заметишь издалека: блескучие тени для век под громадными стеклами солнечных очков в розовой оправе. Другая девица чмокнула Корригана в щеку и тут же начала прихорашиваться перед осколком зеркала. Самая высокая из трех, в белом парчовом мини-платье, уселась рядом со мной. Вроде мексиканка, хотя кожа очень уж темная. Подтянутая и гибкая, ей бы по подиуму ходить.

— Привет, — с улыбкой сказала она. — Я Джаззлин. Можешь звать меня Джаз.

Ей было всего семнадцать или восемнадцать, один глаз зеленый, другой карий. Макияж тянул вверх и без того высокие скулы. Она перегнулась через стол, взяла чашку Корригана, подула на чай и оставила мазок помады на ободке.

— Ума не приложу, Корри, отчего ты не кладешь лед в эту пакость, — сказала она.

— Не люблю, — ответил Корриган.

— Хочешь стать американцем — сыпь туда лед.

Хозяйка зонтика захихикала, словно Джаззлин выдала нечто восхитительно пошлое. Эти две будто пользовались своим кодовым языком. Я отодвинулся было, но Джаззлин тут же потянулась снять нитку с моего плеча. Сладкое дыхание. Я снова посмотрел на Корригана:

— Ну, так ты вызвал копов? Этого парня замели?

Вопрос, кажется, застал брата врасплох.

— Какого парня? — переспросил он.

— Который сунул тебе в глаз.

— За что бы его замели?

— Ты серьезно?

— К чему мне его арест?

— Тебя опять кто-то побил, милый? — поинтересовалась проститутка с зонтиком. Она не сводила глаз с пальцев. Откусила краешек ногтя с большого и теперь разглядывала добычу. Остаток краски с ногтя соскребла зубами, а полумесяц огрызка положила на вытянутый палец, щелчком отправила в меня. Я с оторопью уставился на ее белозубую улыбку.

— Не выношу, когда меня дубасят, — объявила она.

— Иисусе... — вырвалось у меня.

— Хватит, — сказал Корриган.

— Им лишь бы метку оставить, а? — сказала Джаззлин.

— О'кей, Джаз, уже достаточно, лады?

— Как-то раз один парень, этот ублюдок, четырежды мудак, избил меня толстенным справочником. Знаете, чем хороша телефонная книга? Куча имен — и ни одно не оставляет синяков.

Джаззлин поднялась с тахты и стащила блузку. Неоново-желтый лифчик бикини.

— Он ударил меня сюда, вот сюда и еще сюда.

— О'кей, Джаз, тебе пора.

— А спорим, тут где-то и твое имя същется.

— Джаззлин!

Вздохнув, она не тронулась с места.

— Твой брат милашка, — призналась она, застегивая блузку. — Мы все его обожаем. Как шоколад. Как никотин. Разве не так, Корри? Мы любим тебя, как никотин. Тилли по уши в него втрескалась. Правда, Тилли? Тилли, ты меня слушаешь?

Проститутка с зонтиком отошла от зеркала. Прикоснулась к размазанной помаде в уголке губ.

— Старовата для цирка, но умирать пока рано, — заметила она.

Джаззлин теребила под столом глянцевый бумажный пакетик. Корриган потянулся к ее руке:

— Не здесь. Ты же знаешь, тут нельзя.

Она закатила глаза, вздохнула, уронила шприц в сумочку.

Хлопнула о стену дверь. Все трое послали нам воздушные поцелуи; Джаззлин, впрочем, не стала оборачиваться. Уходила этаким захиревшим подсолнухом, с выгнутой назад рукой.

— Бедняжка Джаз.

— Кошмар.

— Ну, она старается хотя бы.

— Старается? Да она конченая. Как и все они.

— Вот и нет — они хорошие люди, — возразил Корриган. — Просто сами не знают, что делают. Или что делают с ними. Все дело в страхе. Понимаешь? Они трясутся от страха. Как и все мы.

Он пригубил чай, не стерев пятна с ободка.

— Страх витает в воздухе, — сказал он. — Как пыль. Ходишь, не замечая ее, не видя ее, но она все равно есть — оседает, покрывая все кругом. Ею дышишь. В ней возишься. Пьешь. Ешь. Но частицы страха настолько малы, что их не видно. И ты ими покрыт. Они повсюду. Говорю

тебе, мы все напуганы. Просто задержись на миг: вот он, страх, обволакивает лица, липнет к языкам. Стоит забыть о нем — и нами завладеет отчаяние. Но останавливаться нельзя. Надо двигаться.

— Зачем?

— Не знаю... В том-то и дело.

— На кой тебе все это сдалось, Корр?

— Думаю, одних слов недостаточно, знаешь ли. Нужно облекать их плотью. Но в этом-то все и дело. Мне тоже нелегко, брат. Я вроде божий человек, но редко упоминаю Его. Даже когда говорю с этими девушками. Держу мысли при себе. Ради собственного душевного покоя. Чтобы унять совесть. Если начну думать вслух, то скоро сойду с ума, наверное. Но Он все-таки слышит. Бог слушает нас. Почти все время. Это так.

Осушив свою чашку, он подолом рубашки отер с нее пятно помады.

— Но эти девушки... Порой мне кажется, они верят сильнее меня самого. Во всяком случае, они веруют в очередную подъезжающую машину.

Корриган поставил перевернутую чашку на ладонь, покачал ее.

— Ты не пришел на похороны, — сказал я.

На ладонь пролилось немного чая. Поднеся ко рту, Корр провел по ладони языком.

Наш отец умер несколько месяцев назад. Прямо в университетской аудитории, где рассказывал о кварках. Такие элементарные частицы. Он намеревался завершить лекцию, несмотря на боль в левой руке. Эй, три кварка для мюстера Марка!^[21] Спасибо за внимание. Берегите себя. Спокойной ночи. Пока-пока. Нельзя сказать, чтобы новость меня потрясла, но я завалил Корригана телеграммами и даже дозвонился до полицейского участка в Бронксе, но там сказали, что ничего не могут поделать.

На кладбище я крутил головой, надеясь, что на узкой тропинке вот-вот увижу брата, может, даже в старом отцовском костюме, но он так и не явился.

— Народу было немного, — сказал я. — Маленькое англикансское кладбище. Рабочий с газонокосилкой. Так и не вырубил двигатель, пока шла служба.

Корриган все крутил чашку, словно рассчитывая на пару последних капель.

— Что из Писания читали? — спросил он наконец.

— Не помню уже, прости. А что?

— Неважно.

— А что бы ты сам выбрал, Корр?

— Ну, не знаю даже. Из Ветхого Завета, наверное. Что-нибудь первобытное.

— А конкретнее?

— Ума не приложу.

— Да брось, скажи.

— Не знаю! — заорал он. — Понял? *Ни хуя не знаю!*

Меня как ошпарило. Стыд бросил брата в краску. Он опустил взгляд, снова поскреб фарфор полой рубашки. Чашка громко пискнула в его руках, и я сразу понял, что никаких разговоров об отце у нас больше не будет. Корр перекрыл эту дорожку, быстро и твердо, вкопал пограничный столб: вход воспрещен. И у брата, оказывается, есть свой изъян, причем в такой глубине, что разобраться с ним он не в силах. Забавно даже. Корригану требовалась чужая боль. Исцелять собственную он не спешил. За эти мысли меня тоже кольнул стыд.

Молчание по-брратски.

Корриган сунул скамеечку под колени, как деревянную подушку, и забормотал что-то нараспев.

Поднимаясь на ноги, обронил:

— Прости, что выругался.

— Ты меня тоже.

Встав у окна, он рассеянно подергал шнур жалюзи — открыл, закрыл. Внизу, где-то у опор автострады, истошно закричала женщина. Двумя пальцами Корриган раздвинул планки.

— Кажется, это Джаз... — сказал он.

Полосатый в оранжевом свете фонарей, мой брат одним прыжком пересек комнату.

* * *

Долгие часы безумия и бегства. Многоэтажки в плена у воровства и ветра. Нисходящие воздушные потоки творили собственную погоду. Пластиковые пакеты, подхваченные летним ветерком. Престарелые доминошники во дворе, под слоем летящего хлама. Хлопки обрывков полиэтилена, похожие на выстрелы. Стоит понаблюдать за мусором, и можно определить точную форму ветра. Пожалуй, на его игры действительно стоило поглядеть: законченные, яркие, сногсшибательные завитушки, замысловатые восьмерки, спирали и кольца. Порой клочок полиэтилена налетал на трубу или задевал сетку ограды, затем резко

пятился, точно получив предупреждение. Ручки пакета схлопывались, и он падал от слабости. Деревьев нет, в ветвях не застрять. Мальчик из соседней квартиры высунул из окна удочку без лески, но ничего не поймал. Пакеты часто взмывали в небо, замирали там, словно озирая серую округу, а затем пикировали вниз: один вежливый реверанс — и летим дальше.

Живя в Дублине, я морочил себе голову, воображая, что где-то внутри меня прячутся стихи. Вытащить их оттуда не получалось: то же, что и перетряхивать грязное белье на людях. В Дублине всяк — поэт, возможно, даже террористы, что обеспечивали нам вечернее развлечение.

Я провел в Южном Бронксе неделю. Влажность была такая, что ночами нам с братом приходилось вдвоем наваливаться на дверь, чтобы закрыть ее. Подростки с десятого этажа сбрасывали несколько старых телевизоров на полицейский патруль внизу. Авиапочта. Копы ворвались в подъезд, орудуя дубинками. С крыши донеслись выстрелы. По радио передали песню о революции, загнанной в гетто. Улицы в копоти поджогов. Город ковырялся в мусорных баках, питался обедками. Мне срочно нужно было чем-то заняться. Я планировал найти работу, снять собственный угол, может, потрудиться над пьесой или устроиться в газету. Попадались объявления о вакансиях барменов и официантов, но этой дорожкой идти не хотелось: там одни чудилы да ирлашки-нищеброды. Я было договорился сидеть на телефоне, продавая всякую ерунду, но для этого требовалась неспаренная линия в квартире Корригана, а убедить мастера приехать в наш район не удалось. Нет, не такую Америку я себе представлял.

Корриган набросал мне список мест, которые обязательно стоило посетить: бар «Чамлиз» в Гринвич-Виллидж, Бруклинский мост, Центральный парк — не ночью, разумеется. Но денег у меня было кот наплакал. Приходилось наблюдать за тем, как разворачиваются сюжеты дней, из окна на пятом этаже. Мусор упрекал меня в бездействии. Зловоние уже достигло наших окон.

Подчиняясь предписанной орденом этике, Корриган тянул лямку, зарабатывал монету-другую за рулем фургона, принадлежащего местному дому престарелых. Бампер перетянут ржавой проволокой. Окна в пацифистских наклейках. Фары болтаются за решеткой радиатора. Мой брат пропадал в приюте почти весь день, ухаживая за немощными. Что другие считали суровым испытанием, для него было благодатью. В начале дня он заезжал за ними на Сайпресс-авеню. Почти все ирландцы да итальянцы, а также дряхлый еврей в сером костюме и ермолке, откликавшийся на имя Альби.

— Это сокращение от Альберта, — объяснил он. — Вздумаешь

назвать меня Альбертом — надеру тебе задницу.

Несколько дней я провел с иссохшими старичками и старушками, по большей части белыми, — их можно было бы складывать, как инвалидные кресла. Корриган ездил еле-еле, чтобы их не растрясл.

— Ты водишь, как баба, — заметил Альби с заднего сиденья.

Корриган уперся лбом в руль и захотел, однако не убрал ноги с педали тормоза.

Загудели машины сзади. Адский вой. Даже воздуху было душно от ненависти.

— Поехали, парень, поехали! — крикнул Альби. — Двигай эту развалину!

Корриган снял ногу с педали и потихоньку направил фургон к детской площадке у церкви Девы Марии,[\[22\]](#) где выкатил старииков в скудную тень.

— Свежий воздух, — сказал он.

Старики сидели чопорно, как стихи Ларкина.[\[23\]](#) Старухи казались потрясенными: оглядывали площадку и качали головами на ветру. Детишки съезжали с горок и карабкались по лесенкам, по большей части смуглые или чернокожие.

Альби умудрился откатить свое кресло в дальний угол, вытащил стопку бумажек. Склонился над ними, зачеркал карандашом. Я присел на корточки рядом:

— Что у тебя там, старина?

— Не твое собачье дело.

— Шахматы, что ли?

— А ты играешь?

— Еще бы.

— Есть разряд?

— Что?

— Пшел вон отсюда! Ты тоже баба.

Корриган подмигнул мне с края площадки. То был его мир, и брат его попросту обожал.

В приюте старикам собирали сухой паек, но Корриган перешел через дорогу в местную лавочонку за чипсами, сигаретами и холодным пивом для Альби. Желтый навес. Автомат со жвачкой тремя цепями прикован к рольставням. На углу — опрокинутый мусорный бак. Мусорщики бастовали еще весной, но до сих пор не все прибрали. По водостокам шныряли крысы. В дверных проемах угрожающе маячили парни в майках. Видно, знали Корригана, и он замысловато пожал им руки, заходя в лавку.

Внутри задержался, потом вышел с бурными бумажными пакетами. Один громила хлопнул его по спине, ухватил за плечо, притянул ближе.

— Как тебе это удается? — спросил я. — Почему они с тобой заговаривают?

— А почему нет?

— Ну, они же вроде как бандиты.

— Я для них обычный фраер.

— И не боишься? Вдруг там ствол, я не знаю, выкидной нож?

— А чего бояться?

Вместе мы загрузили старище обратно. Корриган выжал газ и подъехал к церкви. Старики заранее голосовали — в церковь или в синагогу. Стены размалеваны граффити: белые, желтые, красные, серебристые. *Бригада 173. Грако 76.* Витражи побиты камешками. Даже крест наверху в надписях.

— Живой храм, — сказал Корриган.

Престарелый еврей выкатываться отказался. Сидел, опустив голову, не говоря ни слова, шуршал листочками. Корриган распахнул заднюю дверцу, перекинул ему по сиденью еще одно пиво.

— Нормальный мужик наш Альби, — сказал мой брат, отходя от фургона. — Целыми днями только и сидит над шахматными задачами. Был гроссмейстером или вроде того. Приехал из Венгрии, оказался в Бронксе. Отправляет их почтой куда-то, партий по двадцать за раз. Играть может с завязанными глазами. Только шахматы и держат его на плаву.

Он помог остальным выехать из фургона, и мы одного за другим покатали их к церкви. К главному входу вели разбитые ступени, но за углом у ризницы Корриган припрятал пару длинных досок. Выложил их параллельно друг другу и покатил кресла наверх. Под колесами концы досок задрались, и мне вдруг показалось, что кресла едут к небесам. Но Корриган подтолкнул, и доски шлепнулись обратно. Брат был полностью в своей тарелке. Глаза лучились. В нем проглянул прежний Корриган — девятилетний мальчишка в Сэндимаунте.

В церкви он оставлял стариков у купели со святой водой, пока все не выстроились. Готово.

— По мне, так лучшая часть дня, — сказал Корриган.

В прохладной церковной полутьме он развез стариков, куда им хотелось: кого-то к задним рядам, кого-то к боковым приделам. А старушку-ирландку выкатил вперед и оставил перебирать четки. У нее была грива седых волос, кровь в уголках глаз, отрешенный взгляд.

— Это Шила, — представил ее Корриган.

Говорить она уже не могла — вообще ни звука. Когда-то пела в кабаре, но проиграла голос раку горла. Приехала в Штаты из родного Голуэя сразу после Первой мировой. Шила была любимицей Корригана, и он остановился рядом, повторяя за ней положенные молитвы — декаду розария. Я уверен, она и понятия не имела о религиозных узах моего брата, но в церкви ожила на глазах. Они с Корриганом словно бы вместе молились о ниспослании доброго дождя.

Когда мы снова выбрались на улицу, Альби мирно дремал в фургоне, пустив на подбородок ручеек слюны.

— Черт бы вас драл, — прохрипел он, когда мотор ожил и затарахтел. — Бабы вы оба.

Корриган подъехал к приюту уже под вечер, а потом высадил меня у наших многоэтажек.

— Есть еще дельце, — сказал он. — Надо повидать кое-кого... — И небрежно добавил через плечо: — Я тут занялся одним проектом. Только не волнуйся. Скоро буду.

Забравшись в кабину, он потрогал что-то в бардачке, прежде чем тронуться.

— Не жди меня! — крикнул Корриган.

Я провожал его глазами, а он махал мне из окна. Ясное дело, чего-то недоговаривает.

Уже совсем стемнело, когда брат наконец подъехал к проституткам по шоссе Майора Дигана. Достав из фургона здоровенный серебристый термос, он разливал им холодный кофе. Девушки сгрудились вокруг, пока он ложкой раскладывал лед по стаканам. На Джаззлин был закрытый купальник неоновой расцветки. Она оттянула его сзади, щелкнула эластичной тканью, придвигнулась ближе к Корригану и исполнила что-то вроде танца живота, потираясь о его бедро. Юная, высокая, экзотичная, она будто порхала в воздухе. Игристо толкнула Корригана в грудь. Тот обошел ее по кругу, развернув плечи и чеканя шаг. Захохотали. Услыхав чей-то клаксон, Джаззлин умчалась. У ног Корригана остались мятые картонные стаканчики.

Потом он поднялся домой — худой, измученный, с темными кругами у глаз.

— Как встреча?

— О, великолепно, как еще, — ответил он. — Никаких проблем.

— С песнями и плясками?

— Ага, сплошная Копакабана,^[24] ты же меня знаешь.

Он рухнул на кровать, а на рассвете вскочил — опрокинуть в себя

куружку чая. В доме ни крошки еды. Только чай, сахар и молоко. Помолившись, он на пути к двери коснулся распятия.

— Опять к девочкам?

Корриган потупил взор.

— Наверно.

— Корр, по-твоему, ты им нужен?

— Не знаю, — ответил он. — Надеюсь, да.

Дверь повернулась на петлях.

Мне и в голову не приходило вызвать полицию нравов. Не мой город. Не мое дело. Каждому свое. Что посеешь, то и пожнешь. Корриган знает, что делает. Но от этих женщин мне было не по себе. Они космически далеки от всего, что мне знакомо. Расширенные зрачки. Шаткая походка героинщиц. Купальники эти. Под коленями у некоторых видны точки уколов. Иноземней иностранок.

Спустившись во двор, я описал большой круг — обошел многоэтажки по кольцу, вдоль трещин в бетоне, стараясь не наступать.

Спустя несколько дней раздался робкий стук в дверь. Пожилой мужчина с чемоданом. Очередной монах ордена. Корриган кинулся навстречу:

— Брат Норберт!

Тот прилетел из Швейцарии. Меня порадовали его печальные карие глаза. Оглядев квартиру, он слегкнул и что-то изрек насчет Господа нашего и благословенного приюта. На второй день Норберта ограбили в лифте, под дулом пистолета. Он сказал, что с радостью отдал этим людям все, включая паспорт. В глазах его блестела затаенная гордость. Два дня швейцарец просидел дома — молился. Корриган почти не вылезал с улицы. Норберт был для него чересчур вежлив и церемонен.

— У него словно зубы болят, и он рассчитывает, что Бог его исцелит, — сказал Корриган.

Норберт отказался устраиваться на тахте, лег на полу. Когда дверь распахивалась и приходили шлюхи, он старательно их не замечал. Джаззлин посидела у него на коленях, поводила ему пальцем по уху, поиграла его ортопедическими ботинками — спрятала их за тахтой. Объяснила Норберту, что готова стать его принцессой. Вогнала в краску, он чуть не расплакался. Позже, когда она ушла, молитвы Норберта исполнились визгливого жара. «От смерти сына уберег, но не себя — от боли, от смерти сына уберег, но не себя — от боли».^[25] Монах разрыдался. Корригану как-то удалось разыскать и вернуть Норберту паспорт, в коричневом фургоне брат отвез его в аэропорт к женевскому рейсу. Они

помолились вместе, после чего Корриган устал монаха на посадку. И так глянул на меня, будто ожидал, что я тоже улечу.

— Не понимаю, что за люди, — признался он. — Вроде бы мои братья, но я не знаю, кто они такие. Подвел я их.

— Выбирался б ты из этой дыры, Корр.

— Чего ради? Здесь вся моя жизнь.

— Нашли бы такое место, где хоть солнце светит. Вдвоем, ты да я. Калифорния или что-нибудь вроде.

— Я призван на служение здесь.

— Ты можешь служить, где захочешь.

— Но я же здесь.

— Как ты раздобыл паспорт Норберта?

— А, да просто поспрашивал.

— Его ограбили под дулом пистолета, Корр.

— Знаю.

— Тебе аукнетсяся.

— Ой, только не надо.

Я сел на стул у окна и стал смотреть, как под трассой притормаживают дальнобойщики. Девицы спешили к ним, толкаясь. Вдали мигала неоновая реклама — овсяные хлопья.

— Мы на краю света, — произнес Корриган.

— Мог бы и дома потрудиться. В Ирландии. На Севере. В Белфасте. Сделать что-то для нас. Для собственного народа.

— Ну да, мог бы.

— Или уехать в Бразилию, кампесино наставлять.

— Ага.

— Так зачем торчать тут?

Он улыбнулся. В глазах зажглось что-то дикое. Я толком и не понял что. Он воздел руки к вентилятору — словно собирался туда сунуть, в самые лопасти, и потом смотреть, как их там месит.

* * *

В предрассветные часы девушки цепочкой вытягивались вдоль квартала, хотя с наступлением дня их вереница заметно редела. После утренней молитвы Корриган вышел в кулинарию на углу за свежим номером «Католик уоркер». По переходу под автострадой, на другую сторону, под навес. У входа сидели старики в майках, голуби делили

крошки у их ног. Корриган вышел с газетой под мышкой. Вернулся, обрамленный бетонным глазком перехода. Из тени, мимо проституток, а те окликали его нараспев, одна за другой. Гамма из трех нот. Корр-и-ган. Корриг-ган. Коу-риг-ган.

Он прошел сквозь их строй. Джаззлин немного с ним поболтала, большой палец — под лямкой купальника. Невозмутимо теребя тонкие лаймовые полоски ткани на груди, она была похожа на бывалого копа в чужом теле. Снова придвигнулась ближе к Корригану, голая кожа чуть ли не терлась о его лацкан. Брат не отпрянул. Я понял: она так подзаряжается. Гибкость юного тела. Крепкая хватка лямки. Обтянутый тканью сосок. Голова склонялась все ближе.

Когда проезжали машины, Джаззлин следила за ними взглядом, а тень ее ползла все дальше по тротуару. Ей будто хотелось ничего не упустить, быть сразу везде. Она что-то шепнула Корригану на ухо. Мой брат кивнул, развернулся и пошел назад к кулинарии; вышел с банкой колы. Джаззлин радостно захлопала в ладоши, взяла жестянку, дернула ушко, отошла на пару шагов. Вдоль трассы выстроились тяжелые грузовики. Поставив ногу на серебристую решетку, Джаззлин глотнула из банки, потом вдруг швырнула ее наземь и забралась в кабину.

Еще не успев прикрыть за собой дверцу, она уже снимала купальник. Корриган отвернулся. Банка валялась в черной лужице под машиной, в желобе водостока.

Так повторилось несколько раз подряд: Джаззлин просила брата угостить ее колой, но бросала банку, завидев клиента.

Надо бы спуститься к ней, подумал я, оговорить цену и потешить себя всем, на что она способна, ухватить за волосы, впериться ей в глаза, почутять это сладкое дыхание и обругать ее, плонуть в лицо — за то, что нагло пользуется милосердием моего брата.

— Ты не запирай больше дверь, ладно? — сказал он, вернувшись домой. Я взял себе за правило закрываться днем и не обращать внимания на стук.

— Почему они не могут мочиться в собственных домах, Корриган?

— Потому что у них нет домов. Они живут в квартирах.

— Тогда почему бы им не сссать в своих квартирах?

— Потому что у них семьи. Матери, отцы, братья, сыновья, дочери. Им не хочется, чтобы родные видели их в таком наряде.

— Так у них и дети есть?

— Конечно.

— И у Джаз тоже?

— Двоое, — ответил он.

— Вот это да.

— А Тилли — ее мать.

Тут я на него обрушился. Знаю, как это выглядело. Стоит ступить в эту реку, и дороги назад уже нет. Неослабевающий поток: как они отвратительны, сосут его кровь, все до единой, оставляют лишь тень, сухую и беспомощную, жизнь из него тянут, просто пиявки, нет, хуже пиявок, они клопы из-под обоев, а сам он дурак, и вся его набожность, это благочестивое дерньмо собачье, оно ничто, мир жесток, и точка, а надежда — да разуй же глаза, вот она, вся надежда, какая только есть.

Корриган поднял руку, чтобы снять пылинку с рукава, и я ухватился за его локоть:

— Не вздумай пороть мне чушь, будто Бог поддерживает падающих и восславляет низверженных.^[26] Не засовывай Господа в их мини-юбки. Знаешь что, братец? Погляди на них. Высунься в окно. Все сострадание на свете тут бессильно. Протри глаза, а? Ты пытаешься унять совесть — и только. Бог нужен, чтобы освятить твое чувство вины.

Губы Корригана приоткрылись. Я ждал, но он так и не заговорил. Мы стояли почти вплотную, и я видел, как за его зубами нервным зверьком мечется язык — вверх-вниз. Брат напряженно смотрел в одну точку.

— Подрасти, братишко. Собери барахло и езжай туда, где от тебя будет прок. А эти ничего не заслуживают. Нет здесь никаких Магдалин. И ты среди них — просто еще один бродяга. Ищешь в себе нищего? Что ж для разнообразия не припадаешь к ногам грешников побогаче? Или твоему Богу угодны только никческие?

В зрачках брата я видел крошечные вытянутые отражения белой двери и думал: вот сейчас войдет какая-нибудь шлюха, святая горемыка, и я увижу ее в этом мерцании.

— Пошел бы теребить своим милосердием какого-нибудь магната, а? Сел бы на крыльце какой-нибудь богачки, привел ее к Богу. Вот скажи мне: если бедняки и впрямь повторяют путь Иисуса, отчего же они, на хер, такие жалкие? Скажи, Корриган. Зачем они выставляют свое убожество остальному миру? Хотелось бы знать. Это просто тщеславие, так? Возлюби ближнего своего, как себя? Чепуха! Слышишь? Собрал бы этих своих шлюх да отправил в хор петь. В Церковь Высшего Откровения. Рассадил бы их в первых рядах. Ползаешь на коленках перед каждым бродягой, прокаженным, увечным и торчком. Почему они сами сидят сложа руки? Потому что им ничего не нужно — только высосать тебя досуха, и только.

Обессилев, я ткнулся лбом в подоконник.

Я все ждал, что Корриган отмахнется горькой проповедью — что-нибудь насчет мягкости, проявляемой к бессильным, и силы — к облеченным властью;^[27] лишь в Иисусе, мол, утешимся; свободу можно даровать, но нельзя принять в дар; успокоит меня ничего не значащей, обтекаемой фразой, — но он переждал бурю молча. Лицо даже не дрогнуло. Почесав под локтем, кивнул.

— Просто дверь не закрывай, — сказал он.

Пока Корриган спускался по лестнице, шаги эхом отдавались в колодце подъезда. Обогнув двор, он растворился в сером мареве.

Я сбежал по липким ступеням. Вихри жирных граффити на стенах. Тянет гашишем. На нижних ступеньках битое стекло. Вонь мочи и рвоты. Наискосок через двор. Мужчина держит питбуля на тренировочном поводке. Учит нападать. Пес вцепился в руку. На запястьях у хозяина огромные металлические браслеты. По двору катится песий рык. Корриган как раз сдавал назад свой коричневый фургон, оставленный у обочины. Я хлопнул по стеклу. Брат не обернулся. Наверное, я хотел как-то вправить ему мозги, но фургон тут же скрылся из виду.

За моим плечом пес вновь хватал зубами хозяйственную руку, а мужчина пялился на меня так, будто это я пытался оторвать ему запястье. По лицу усмешкой скользила чистая злоба. И я подумал: *ниггер*. Ничего не смог с собой поделать — взял и подумал: *ниггер*.

Здесь невозможно жить. Как Корриган это терпит?

Я побродил по району, глубоко засунув руки в карманы; не по тротуару, а рядом с машинами на обочине — другой угол зрения. Мимо проносились такси, чуть не задевая меня. Ветер нес по их потоку дух подземки. Тяжкий, несвежий запах.

Я подошел к церкви Святой Анны.^[28] Вверх по разбитым ступеням, в нартекс, мимо купели со святой водой, в сумрак. Я почти рассчитывал увидеть здесь Корригана, склоненную в молитве голову, — но нет.

В глубине церкви можно было зажечь красные электрические свечи. Я бросил четвертак и услышал гулкий звон в пустоте. В ушах зазвучал полузабытый голос отца: *Если не хочешь слышать правду, не спрашивай*.

Той ночью Корриган явился домой поздно. Я не стал запирать дверь, но он все равно принес отвертку и принялся вывинчивать шурупы замков и цепочек.

Вид у него был отсутствующий, взгляд метался по сторонам, и я уже тогда должен был сообразить, но не различил знаков. Брат стоял на коленях, глаза на уровне дверной ручки. Сандалии совсем сносились.

Подошва истерлась — просто пузырь из резиновой пленки. Рабочие штаны подпоясаны куском провода. А так давно бы сползли. Рубашка с длинным рукавом липла к телу, ребра под нею — как диковинный музикальный инструмент.

Корриган работал сосредоточенно, но плоской отверткой вывинчивать шурупы с крестообразным шлицем не так-то просто: крутить приходилось под углом, загоняя в канавки лишь краешек.

Я уже собрал рюкзак и был готов уйти — искать комнату, работать барменом, что угодно, лишь бы подальше отсюда. Вытолкнул тахту в центр комнаты, прямо под вентилятор, сложил руки на груди и стал ждать. Лопастям не прорваться сквозь духоту. Впервые я заметил, что на макушке у Корригана уже наметился просвет. Мне захотелось состричь, дескать, всякому монаху лысина к лицу, но меж нами не осталось уже ничего — ни слов, ни взглядов. Он бился над замками. Шурупы раскатывались по полу. Я смотрел, как по шее брата сползают капли пота.

Тут Корриган рассеянно поддернул рукав, и я все понял.

* * *

Стоит решить, будто знаешь все тайны, и сразу воображаешь себя всемогущим. Наверное, меня не сильно удивило, что Корриган сидит на героине: он всегда делал то, чем не гнушались ничтожные мира сего. Такова была извращенная мантра его убеждений. Ему хотелось доказывать, что он идет по земле, звуком собственных шагов. Что тут поделаешь. Ведь и дома, в Дублине, он занимался ровно тем же, только с другой степенью безрассудства. Корриган еще цеплялся за узенький карниз реальности, от которой бежал, и мне казалось, что брат не гонится за кайфом, а лишь старается быть как все. Его притягивала чужая боль. Если эту боль не удавалось исцелить, он ее присваивал. Кололся просто потому, что ему было омерзительно знать: другие останутся наедине с тем же ужасом.

Рукав Корриган не поправлял где-то с час, пока не совладал с замками. Синяки на сгибе локтя у него уже потемнели. Когда он закончил работу, дверь перестала защелкиваться, просто висела на петлях.

— Готово, — бросил он.

Ушел в уборную, и там, мне показалось, на его руке щелкнул резиновый жгут. Вышел с уже опущенными рукавами.

— Оставь эту долбаную дверь в покое, — сказал он.

И без единого звука рухнул на кровать. Я точно знал, что не смогу

уснуть, — но проснулся под обычный гул трассы Дигана. На внешний мир всегда можно положиться. Рев моторов и песни шин. Выбоины в асфальте прикрыли здоровенными металлическими листами. Они раскатисто громыхали, когда по ним проносился грузовик.

Решение остаться далось мне легко: Корриган в жизни бы меня не выставил. Спазаранку я поднялся и побрился, намереваясь весь день не отходить от брата. Растикал его под покрывалами. Из носа у него текла кровь — темная полоска на щетине. Корриган отвернулся.

— Чайник поставишь? — Потягиваясь, он задел деревянное распятие на стене, оно закачалось на гвоздике — туда-сюда. Под ним — пятно невыцветшей краски. Едва заметный отпечаток креста. Корриган потянулся остановить маятник, пробормотал что-то насчет Бога, который всегда готов подвинуться. — Уезжаешь? — поинтересовался он.

На полу стоял мой собранный рюкзак.

— Да нет, решил задержаться еще на пару дней.

— Без проблем, брат.

Он причесался перед осколком зеркала, пшикнул дезодорантом. Хоть какая-то видимость благополучия. Вниз мы поехали на лифте.

— Чудо, — сказал Корриган, когда дверцы разъехались со вздохом и шлифованная панель внутри сверкнула маленькими полумесяцами. — Работает.

Внизу мы прошли по чахлому газончику перед домом, по битым бутылкам. Впервые за много лет мне показалось, что это правильно — быть с братом. Давно мечтал обрести цель. Теперь она появилась: вывести брата на длинную тропу к благоразумной жизни.

Оказавшись поутру среди проституток, я, как ни странно, был ими очарован. Корр-ган. Корр-и-ган. Корри-ган. В конце концов, это и моя фамилия тоже. Мной овладела странная раскованность. Вблизи их тела уже так не смущали, как издали. Девушки жеманно прикрывали груди руками. Одна выкрасила волосы в ярко-красный. У другой глаза густо подведены серебряным карандашом. Джаззлин перебросила бретельку своего неонового купальника вперед, на соски. Глубоко затягиваясь, она мастерски выпускала дым изо рта и ноздрей. Кожа светилась. В другой жизни Джаз могла быть аристократкой. Взгляд потупила, словно уронила что-то и теперь хочет найти. Я вдруг понял, что больше не держу на нее зла, ощущил влечение.

Их беззаботный треп нарастал волнами. Бросив на меня косой взгляд, брат ухмыльнулся. Будто шепнул на ухо: не суди строго о том, чего не в силах понять.

Мимо проплыло несколько машин.

— Валите отсюда, — сказала Тилли. — Не мешайте бизнесу.

Словно о сделках на фондовой бирже. Она кивнула Джаззлин, и Корриган утащил меня в тень.

— Они все ширятся? — спросил я.

— Кое-кто — да.

— Мерзость.

— Немного радости в жестоком мире.

— А кто снабжает их? Героином?

— Понятия не имею, — ответил он, доставая серебряные часы из кармана штанов. — А что?

— Просто интересно.

Над нами громыхали автомобили. Брат хлопнул меня по плечу. Мы двинулись в дом престарелых. На крыльце ждала молодая няничка. Вскочив, обрадованно замахала нашему фургону. Она показалась мне латиноамериканкой — красивая и миниатюрная, с шапочкой иссиня-черных волос, темноглазая. Между ними с Корриганом проскочила какая-то искра. С ней он расслабился, движения сделались плавными. Когда оба исчезли за автоматическими дверьми, рука моего брата лежала на ее талии.

Я порылся в бардачке фургона, искал улики: шприцы, чеки, хоть какую-то наркоту. Но внутри лежала только потрепанная Библия. На форзаце Корриган нацарапал несколько разрозненных заметок: *Хочется истребить желания. Не отвечать на зов природы. Ответить и молить о прощении. Сопротивление как залог гармонии.* Мальчишкой он редко даже загибал странички Библии — она у него всегда оставалась как новенькая. Теперь же на него навалились прошедшие дни. Почек бисерный и шаткий, что-то густо подчеркнуто черными чернилами. Мне вспомнился миф, который я слышал еще в университете: в мире живут тридцать шесть тайных праведников, и каждый занят каким-то неприметным ремеслом, — плотники, сапожники, пастухи. Они несут все земные горести и могут напрямую общаться с Богом — все, кроме одного, самого тайного святого, о котором все забыли. Он в одиночку влечит свое бремя, утратив такую необходимую связь. Вот и Корриган тоже потерял связь с Богом. Он сам по себе тащит чужие скорби, историю историй.

Миниатюрная няничка скатывала инвалидные коляски по пандусу. Татуировка на лодыжке. Мне пришло в голову, что это она может поставлять моему брату героин, но в жарких, косых лучах солнца девушка казалась слишком радостной.

— Аделита, — представилась она, пожимая мне руку через окно

фургона. — Корриган о тебе рассказывал.

— Эй, двигай сюда, помоги нам, — донесся до меня голос брата.

Зайдя сбоку, он пытался втянуть в дверь фургона голуэйскую старушку. Жилы вздулись на шее. Шила же — просто тряпичная кукла. Мне вдруг вспомнилась мама за роялем. Втащив кресло, Корриган засопел и стал расправлять на Шиле ремни.

— Надо поговорить, — сказал я ему.

— Как хочешь, только давай сначала всех погрузим.

Они с нянечкой переглянулись над рядом сидений. На верхней губе у нее выступила капелька пота, и она смахнула ее коротким рукавом форменного платья. Когда мы отъезжали, прислонилась к пандусу и закурила.

— Красотка Аделита, — сказал Корриган, сворачивая за угол.

— Я не о ней хотел поговорить.

— А я только о ней бы и говорил, — заявил мой брат. Бросив взгляд в зеркальце, подмигнул: — Верно, Шила? — И натужно забарабанил по рулю.

Корриган вернул себе былую легкость. Уж не ширнулся ли он наскоро в приюте? Поди пойми этих торчков, мало ли. Но брат держался весело и задорно, вроде на героинщика не похож, хоть я и не спец. Машину вел, выставив локоть в окно, и ветерок трепал ему волосы.

— Загадочный ты человек.

— Никаких загадок, брат.

— Баба! — пискнул Альби с заднего сиденья.

— Рот закрой, — усмехнувшись, бросил Корриган. В голосе проскользнул едва уловимый акцент Бронкса.

Брата заботил только нынешний миг, абсолютное «сейчас». Когда мы с ним в детстве дрались, он лишь стоял и терпеливо сносил мои удары; потасовка длилась, пока мне не надоедало его мутузить. Проще простого — двинуть ему сейчас, шваркнуть о дверцу фургона, обшарить карманы, выудить пакетики с ядовитой дрянью.

— Надо бы домой съездить, Кorr.

— Ну, — рассеянно кивнул он.

— В смысле, в Сэндимаунт. На недельку-другую.

— Разве дом не продан?

— Да, но мы найдем где поселиться.

— Помнишь пальмы? — с легкой усмешкой спросил он. — Самый чудной пейзаж во всем Дублине. Я пытался рассказывать, но мне тут никто не верит.

— Поедешь?

— Как-нибудь — наверное. Может, и с собой кого прихвачу, — сказал он.

— Ну да.

Он снова бросил взгляд в зеркало. Неужели Корриган потащит старуху на историческую родину? Впрочем, чем бы он ни тешился, не стану мешать.

В сквере Корриган расставил каталки в тени у ограды. День выдался яркий, солнечный и удущливый. Альби вытащил свои листки и забормотал ходы, склонившись над задачами. Сделав удачный, он отпускал ручку тормоза на коляске и радостно елозил взад-вперед. На длинных седых волосах Шилы красовалась широкополая соломенная шляпа. Корриган легонько промокнул ей лоб своим носовым платком. В ответ она наскребла в горле щепоть звуков. Виднелась в ней эта эмигрантская тоска: вернуться на родину уже не суждено, как ни верти, нет уже той родины, но взгляд все равно устремлен к дому.

Неподалеку дети открутили заглушку пожарного гидранта и танцевали в облаке брызг. Один малыш приспособил кухонный поднос под доску для серфинга. Поток воды вынес его к турникам, и он с хохотом растянулся там, воткнувшись головой в ограду. Остальные тут же кинулись к подносу. Корриган подошел к ограде, вцепился в проволочные ромбы. Мокрые от пота баскетболисты перебрасывались мячом под корзиной без сетки.

На миг мне почудилось, что Корриган прав, в этом что-то есть — некая радость, только ее нужно распознать и спасти. Мне захотелось сказать ему, что я начинаю что-то понимать, — ну, или передо мной что-то забрезжило, — но брат меня опередил: пора сбегать в лавку напротив.

— Присмотри за Шилой, ладно? — попросил он. — У нее шляпа съезжает. Следи, чтоб не сгорела.

У входа в магазинчик околачивалась банда парней в узких джинсах и банданах. Они важно прикуривали друг у друга. Как обычно, обменялись с Корриганом хлопками и пропали вместе с ним в лавке. Так и знал. Меня просто накрыло. Я рванул через дорогу, сердце колотилось под дешевой льняной рубашкой. Перепрыгнул горку мусора у входа — винные бутылки, рваные обертки. В витрине стояли круглые аквариумы с золотыми рыбками, тонкие оранжевые тела бесцельно кружились в воде. Звякнул колокольчик. Внутри играло что-то из продукции «Мотауна».^[29] Двое ребятишек, все мокрые после гидранта, торчали у витрины с мороженым. Те, что постарше, в красных банданах, зависли у холодильников с пивом. Корриган стоял у кассы с пинтой молока в руке. Оглянулся на меня, ничуть

не встревожившись.

— Я думал, ты приглядишь за Шилой.

— Да? Думал?

Я ожидал увидеть тайный торг, кочующий в карман пакетик с героином, передачу денег под стойкой, новый раунд хлопков о ладонь — но не тут-то было.

— Запиши на меня, — сказал Корриган хозяину лавчонки и, выходя, щелкнул пальцем по стеклу аквариума.

Звякнул колокольчик.

— А что, хмурым здесь тоже торгуют? — спросил я, пока мы лавировали между машинами по дороге к скверу.

— Опять ты со своим героином, — сказал он.

— Ты уверен, что я, Корр?

— В чем уверен?

— Это ты мне скажи, братишка. На кого ты похож? Давно в зеркало смотрел?

— Шутишь, что ли? — Отпрянув, он рассмеялся. — Чтобы я? Кололся?

Мы дошли до ограды.

— Я к этой гадости и близко не подойду, — сказал мой брат. Пальцами обхватил проволоку ограды, костяшки побелели. — Со всем уважением к раю, мне и тут неплохо.

Отвернувшись, Корриган оглядел рядок инвалидных кресел в тени вдоль ограды. Чувствовалось в нем нечто свежее, даже юное. В шестнадцать Корриган написал внутри сигаретной пачки, что истинное учение может уместиться внутри сигаретной пачки, до того оно простое: поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Тогда, правда, он еще не учитывал всех осложнений.

— У тебя не возникало чувства, будто внутри что-то не на месте? — спросил он. — Понятия не имеешь, что это, — может, мячик или камешек, а может, что-то железное, ватное или трава какая-нибудь, но оно точно внутри. Не огонь, не ярость, совсем не такое. Просто здоровый шар. И не добраться до него никак, а? — Оборвав себя, брат отвернулся, постучал по груди слева. — Вот тут оно. Прямо здесь.

Впервые услыхав что-то важное, мы редко понимаем, что именно прозвучало, но можно не сомневаться: *так* мы никогда больше этого не услышим. Мы пытаемся вернуться в тот момент, пережить его заново, но, полагаю, по-настоящему найти его не сможем, только смутное воспоминание — легкую тень того, чем он был на самом деле, что означал.

— Ты меня разыгрываешь, да?

— Если бы, — сказал Корриган.

— Брось...

— Не веришь?

— Джаззлин? — ахнул я. — Ты, часом, не влюбился в ту шлюху?

Он расхохотался в голос, но смех вскоре затих. Брат обежал взглядом детскую площадку, пальцы погремели по ячейкам ограды.

— Нет, — ответил он. — Нет, не в Джаззлин. Нет.

* * *

Под пламенеющим небом Корриган провез меня по Южному Бронксу. Закат оттенка сырого мяса — розовый в сероватую полоску. Поджоги. Домовладельцы, сообщил брат, устраивают аферы со страховками. Бросают тлеть целые улицы жилых домов и складов.

На перекрестках — скопления юнцов. Светофоры застряли на красном. Вокруг пожарных гидрантов — огромные лужи стоячей воды. На Уиллис-стрит здание обвалилось прямо на проезжую часть. По груде обломков шныряет пара одичавших собак. Косо торчит перегоревшая неоновая вывеска. Промчалось несколько пожарных машин, а полицейские патрули ездили, сбившись для храбрости попарно. То и дело из теней выныривали фигуры, бездомные толкали тележки из супермаркетов, заваленные медной проволокой. Похожи на первых поселенцев, что гонят свои фургоны на запад по ночным просторам Америки.

— Они кто?

— Шарят в брошенных зданиях, потрошат стены, медную проводку потом продают, — объяснил Корриган. — Десять центов за фунт или около того.

Брат подвел фургон к группе жилых домов — уже брошенных, но еще не тронутых огнем, — дернул рычаг передач вниз, до «стоянки».

Над улицей висела дымка. Не разглядеть даже верхушек фонарей. Дверные проемы крест-накрест заклеены лентами, но сами двери давно выбиты. Корриган устроился на сиденье с ногами, по-турецки. Прикурил и быстро выдул сигарету, а бычок бросил в окно.

— В общем, у меня легкая форма болезни под названием ТТП,^[30] что-то вроде, — заговорил он наконец. — Синяки по всему телу. Тут и тут. Хуже всего на ногах. Мелкими пятнами. Около года назад. Признаться, я не придавал значения. Ну, температура поднималась. Голова кружилась пару

раз.

А потом, в феврале, я заглянул в приют. Надо было им помочь затащить кое-какую мебель на третий этаж. То, что не влезало в лифт. А жара там адская. Они сильно топят для старииков. Ты себе не представляешь эту жарищу — особенно на лестницах, где трубы. Будто все это Данте строил. Та еще работенка. Короче, снимаю рубашку. На мне одна майка-сеточка. Знаешь, сколько лет я не разгуливал на людях в майке? И вот, когда мы с ребятами уже одолели пол-лестницы, один тычет в меня пальцем, показывает на плечи, на руки — дескать, драка была что надо. А надо сказать, меня и впрямь поколотили. Сутенеры устроили мне тогда веселую жизнь за то, что пускал девушек в уборную. В общем, досталось. На бровь пришлось швы накладывать. Один был в ковбойских сапогах, и мне перепало прилично. Но я и думать забыл обо всем, пока мы не подтянули мебель на третий этаж, а там стоит Аделита, руководит: «Это ставьте туда. Это — сюда». Здоровенный стол мы задвинули в угол кабинета. А ребятам все неймется, мол, я во всей округе единственный белый, который еще лезет в драки. Вроде как атавизм. Ни дать ни взять, Крепыш Джек Дойл.[\[31\]](#) Подначивают меня: «Давай, Корриган, станцуем, мужик, разберемся». Дескать, раз я такой боец, вот бы вставить меня в Ветхий Завет, всем бы там показал. А они не знают, что я в ордене. Никто не знает. Тогда еще не знали, в общем. Подходит ко мне Аделита, давит пальцем на один синяк и с ходу говорит: «У тебя ТТП». Я-то щучу: не ДДТ, слушаем? А она серьезно так: «Нет, мне кажется, это ТТП». Выясняется, что по ночам она корпит над учебниками. Хочет заниматься медициной. Работала сиделкой в Гватемале, в крупных больницах. Всегда мечтала стать врачом, поступила в университет и все такое, но тут война, и Аделиту втянуло. Потеряла мужа. Теперь вот здесь. Ее образование никого тут не интересует. У нее двое детей. Уже говорят с американским акцентом. В общем, рассказала мне про низкий уровень тромбоцитов, кровотечение в тканях и что мне обязательно нужно показаться врачу. Вот она меня, брат, удивила-то.

Корриган открыл окно,сыпанул табаку на тонкую полоску бумаги, прикурил.

— Ну я что — я пошел к врачу. И Аделита попала в точку. У меня та самая болезнь, о которой почти ничего не известно. Идиопатическая, видишь ли, никто не знает, чем именно вызвана. Но говорят, все довольно серьезно, можно и загнуться. То есть если не лечить — крышка. В общем, ночью возвращаюсь домой, обращаюсь к Богу в темноте и говорю: «Спасибо тебе, Боженька, одной бедой больше». Но дело в том, брат, что теперь Бог меня слышит. Он на месте. Прямо на виду. Не окажись Его,

было бы проще. Тогда можно сделать вид, что я Его ищу. Но нет. Он там, паразит. И очень логично рассказывает, что такое болезнь, как преодолеть ее, как жить с ней, как увидеть мир в ином свете — как видит Он сам, как Он говорит с человеком, что есть Тело и Дух, про таинство одиночества, про то, как злит тебя цель и как использовать эту злость во благо. Открыть себя, услышав обещание. Но, видишь ли, этот логический Бог мне не очень-то нравится. Даже голос — у Него такой голос, который я просто не могу... не знаю, не люблю я такие голоса. Могу понять, почему он такой, но не обязан любить его. Не по мне этот голос. Хотя нет проблем. Сколько раз Он меня бесил. Ссориться с Богом — это полезно. На моем месте побывало много народа, и получше меня, и похуже.

Я прикинул: в моей болезни нет ничего нового, а смерть и того старше. Убивает другое — могучее, пустое эхо всякий раз, когда я пытался вызвать Бога на разговор. Пойми, как ни пробую — сплошь пустота. А я со всей душою, брат. Исповедался честь по чести, знаешь, как веру не растерять и так далее. Говорил тут с отцом Мареком, из церкви Святой Анны. Хороший священник. Мы боролись вместе, плечом к плечу. Часами напролет. И с Богом я, конечно, тоже боролся — в любое время дня и ночи. Хотя раньше, бывало, эти споры потрясали меня до глубины души. В присутствии Бога я обливался слезами. Но Он изводил меня своей холодной логикой. Все равно я понимал, что и это пройдет. Знал, что справлюсь. Тогда я даже не думал об Аделите. Не до нее было. Я Бога терял. Представляешь такую перспективу? Голос разума подсказывал, что Он — лишь часть меня самого... то есть я разговариваю сам с собой. И Его настоящего мне не слышно. Но логикой тут ничего не добьешься. Встречаешь рационального Бога и говоришь Ему: ладно, сейчас мне не до этих рассуждений. Отец Небесный, зайду как-нибудь попозже.

Знаешь, когда совсем юн, Бог подхватывает тебя на руки. И держит. Главная загвоздка в том, чтобы там оставаться и знать, как падать. Те дни, когда держаться уже не в силах. Когда летишь вниз. А штука в том, чтобы потом суметь забраться назад. Этого-то я и хотел. Только никуда не поднимался. Не мог.

Так вот, прихожу я в дом престарелых как-то вечером в пятницу, а Аделита сидит там в каптерке, сортирует пузырьки с микстурой от кашля. Я сел на ступеньку стремянки, давай с ней болтать о том о сем. Она спрашивает, ходил ли я в больницу, лечусь ли, и тут я вдруг начинаю врать: да-да, ну конечно, все в ажуре, не беспокойся обо мне. «Вот и хорошо, — говорит она. — Потому что тебе очень надо следить за здоровьем». Затем придвинула стул и давай растирать мне руку. Говорит, надо кровь

разгонять. Давит пальцами вот здесь. И у меня вдруг чувство, что она просто в землю закопалась. Такое ощущение. Мурашки сразу, кровь у нее под пальцами бьется. Я даже за стремянку схватился. И голос внутри твердит: «Не поддавайся, это испытание, будь начеку, будь начеку». Но это тот голос, который мне не нравится. Я заглядываю за его полог — и вижу только эту женщину, катастрофа, я тону, будто плавать не умею. И твержу себе: «Господи, не дай этому случиться. Не допусти». Она постукивала пальцами мне по руке, легонько. Я закрыл глаза. Прошу тебя, не допусти. Пожалуйста. Но это было так приятно. Приятнее не бывает. Мне хотелось не открывать глаза и в то же время распахнуть их. Словами не опишешь, брат. Я не мог больше вынести. Вскочил и выбежал на улицу. Прыгнул в фургон.

Наверное, колесил всю ночь. Ехал куда глаза глядят. По разметке. Запутался в мостах. Без понятия, куда теперь. И довольно скоро городские огни отступили. Я решил, что выехал на окраину, еду куда-то в глубь штата, но то был остров, братишка, Лонг-Айленд. Казалось, я гоню на запад по какой-то огромной равнине, там смогу во всем разобраться, но нет — на самом деле я несся на восток по широкой автостраде. Все дальше. Мчал себе и мчал. А мимо мчались другие машины. Приходилось шептать что-то, чиркать спичками, нюхать серу, чтобы не уснуть. Пытался молиться. Чтобы два плюс два получилось пять. А потом трасса просто кончилась в чистом поле, как мне показалось, и я поехал по узкой дороге. По угодьям, мимо одиночных домов, крошечных точек света. Монток. Никогда там не бывал. Темнота совсем сгустилась, никаких огней. Пошла грунтовка. Вот что приведет тебя на самый край этой страны, дружище, — разбитый узкий проселок, который утыкается в маяк. И я подумал: «Так и должно быть, именно здесь я Его и отыщу».

Выйдя, я долго бродил по дюнам вдоль пляжа. Ходил взад-вперед и орал на Него под тучами. Ни единой звезды не видать. Никакого ответа. Хоть бы луна высунулась, что ли. Что-нибудь. Что угодно. А тут даже лодки никакой. Все вокруг словно сгинуло куда-то, осталось только ощущение ее пальцев вот здесь, на руке. Будто исчезло все, а я по-прежнему чувствую ее касание у себя на запястье. Словно она оставила что-то в глубине и оно там растет. А я совсем один посреди бескрайнего пляжа, только маяк за спиной крутится. В голову всякие глупости лезут. Совсем как в твою. Уеду. Все брошу. Уйду из ордена, вернусь в Ирландию, нищеты везде хватает. Только нет ни в чем смысла. Край страны, брат, но никакого откровения.

Немного погодя я опомнился, замолчал, наконец уселся в песок и

сказал себе: «Что ж, может, в итоге я стану лучше в Его глазах, надо бороться, предстоит битва, она может укрепить меня, это знак». Смирился. Все, что тебя не убьет... и так далее. Меня всего лихорадило, но я ушел с пляжа, забрался в фургон и успокоился, попрощался с маяком, с океаном, с востоком, сказал себе: все будет отлично, ничто святое не достается задаром, — и проехал весь путь домой, поставил фургон, ввалился в лифт, двери закрылись. Представь, я уснул в лифте. Проснулся, когда тот тронулся. Обнаружил перед собой перепуганную черную тетку. Это я ее напугал. Двое суток носа не высывал из дома. Ждал, пока не затянутся раны, так сказать, в этом вот смысле. Пока гроза не стихнет. Даже цепочку накинул. Поверишь ли? Закрылся на все запоры. А сам тебе этот цирк с замками устроил, брат.

Корриган хмыкнул, и по его лицу рассыпались брызги от света фар с другой стороны бульвара.

— Девчонки решили, что я умер. Колотили в дверь, хотели в туалет. А я не отвечал. Просто лежал, старался молиться, просил подать какой-то знак, взывал о милости. Но все равно видел перед собой Аделиту. Открыты глаза, закрыты — без разницы. Нельзя мне было думать о таком. О ее шее. О затылке. О ключице. О скуле в полоске света. Вот же она, стоит и смотрит, видит насеквоздь. А мне хотелось ей крикнуть: нет, нет, нет, ты сама похоть, а мы с Богом договорились, что я буду сражаться с похотью, пожалуйста, оставь меня в покое, прошу тебя, сгинь. А она стоит, улыбается, все понимает. Я ей снова шепчу: уйди, пожалуйста. Но понимаю же, что дело не в похоти, это гораздо больше просто похоти. Я искал внятного ответа, знаешь, как мы отвечаем на детские вопросы. И все время думал, что мы все когда-то были детьми, может, получится вернуться. Вот что у меня в голове перекатывалось. Вернуться в детство. Промчаться по набережной. Мимо старого бастиона. Пробежать по стене. Такой вот радости хотелось. Чтобы снова было просто. Я пытался, я правда старался молиться, стряхнуть плотские желания, вернуться к благодати, вновь открыть невинность. Круг за кругом. А когда ходишь кругами, братишка, мир выглядит огромным, но если переть только вперед, он окажется не так уж и велик. Мне хотелось соскользнуть по спицам в самый центр этого колеса, где нет движения. Не могу объяснить. Словно я пялился в потолок, рассчитывая увидеть небо. А в дверь все стучали. Потом — на много часов тишина.

В какой-то момент я услышал Джаззлин — сам знаешь, что у нее за голос, точно она весь Бронкс проглотила. Орет в замочную скважину: «Ладно! Пошел ты к черту, умник долбаный!» Тут я расхохотался. Знала бы

она! «Пошел ты к черту, умник долбаный! Могу поссать и в другом месте!»

А потом они просто заставили гарду выломать дверь. Те вбегают с бляхами, в руках пушки. Вбежали и стоят. Смотрят — я лежу на тахте с раскрытой Библией на лице. И один говорит: «Да что тут такое, а? Что это за херня? Он не умер. Воняет, но не умер». Я лежу себе дальше, только Библию убрал с лица и рукой глаза прикрыл. А тут вбегает Джаз, тараторит: «Пустите, мне надо, очень надо». За нею Тилли со своим розовым зонтиком. Выйдя, обе давай орать: «Ты чего заперся, Корри? Вот изверг! Это жестокое и необычное наказание!»^[32] Так нельзя! Ну совсем не в жилу!» Гардаи стоят разинув рты. Глазам своим не верят. Один жвачку на палец наматывает. Крутит ее и крутит, словно еще чуть-чуть — и придушит меня. Они точно решили, будто выбили мне дверь за здорово живешь, ради уличных девиц, которым просто хотелось пописать. Очень недовольные. До крайности. Хотели вручить мне повестку в суд, но не придумали повода. Я им сказал, что могу быть виновен в утрате веры, и тогда они решили, что я точно съехал с катушек. Один говорит: «Да ты глянь, в каком гадюшнике обитаешь, — начни жить, мужик!» Так просто у него это вышло, так гладко сказал... Сопляк бросает мне в лицо: «Начни жить!» А выходя, наподдал ногой по горшку с цветком.

Тилли, Энджи и Джаззлин закатили в честь моего «воскрешения» веселье, даже торт мне купили. С одной свечой. Пришлось задувать. Я решил принять это как знак. Только никаких знаков не было. Вернулся в дом престарелых и тем же вечером спросил у Аделиты, не откажется ли она разогнать мне кровь. Так и говорю: «Ты не могла бы немного разогнать мне кровь?» Она эдак радостно улыбнулась и говорит, что сейчас ей некогда, а вот закончит обход и, может, поразгоняет. Я сидел и весь трепетал наедине с Богом, все мои горести сплелись в тугой клубок. Само собой, чуть погодя она вернулась. Проще некуда. Я просто плялся во тьму ее волос. В глаза не мог смотреть. Она растерла мне плечо, поясницу и даже икры. Я все надеялся, что кто-то войдет, увидит нас, подымет вонь, но никто не пришел. Тогда я поцеловал ее. И она ответила. Вот скажи, кто не мечтает оказаться где-то в другом месте? Только не я. Тот миг. Мне хотелось быть только там и тогда, нигде больше. На земле — как на небе. Тот единственный миг. И уже через несколько дней я стал ходить к ней в гости.

— Ты говорил, у нее трое детей?

— Двое. И муж погиб в Гватемале. Сражался. Я не знаю, за Карлоса Арану Осорио^[33] или еще за кого. Фашист какой-то. Она его ненавидела,

мужа этого, совсем девочкой увязла в браке, — и все равно на книжном шкафу у нее стоит его карточка. Чтобы дети знали, что он есть, был... что у них был отец. Мы сидим, а он на нас смотрит. Она про него вообще не говорит. У него тяжелый такой взгляд. Я сижу на кухне, она что-то готовит, я гоняю еду по тарелке, мы болтаем, она массирует мне плечи, а дети в другой комнате смотрят мультики. Она знает, что я в ордене, знает про обет безбрачия, я ей все рассказал. Говорит, если это не имеет для меня значения, для нее тоже неважно. Я не знаю никого чудеснее. Это меня изводит. Ничего не могу поделать. Сижу там, а внутри будто ножи крутятся. Возвращаюсь домой и слышу голос, которого прежде не слышал. А старый уже и не вспомню. Он пропал. По ночам я тяну руку, пытаюсь ухватиться, но Его нет. Взамен только бессонница и отвращение. Называй как хочешь. Хоть радостью. Как мне молиться, когда внутри такое? Как делать то, что должен? Я даже не могу судить о себе по собственным поступкам. Я сужу по тому, что в сердце. А оно прогнило, потому что хочет чем-то владеть, но и не прогнило, потому что это такая радость, какой еще не было ни у меня, ни у Аделиты, пока мы просто сидим у нее на кухне, вместе. Мы счастливы. А я никак не могу взять в толк, должны мы быть счастливы или нет. Я не спал с ней, брат. По крайней мере, не... Мы уже думали об этом, да, то есть...

Он умолк.

— Ты знаешь про мои обеты. Знаешь, что они значат. Мне казалось, внутри у меня нет другого человека, другой личности, есть только я, тот благочестивый. Что я одинок и крепок, что мне не нужно ничего, кроме моих обетов, что я не поддамся искушению. Я вертел это в голове снова и снова. Что будет, если так? Что случится, если эдак? Может, потеря веры тут вовсе ни при чем. Я считал себя одним человеком, а оказался другим, совсем непохожим. Внезапно все, чем я был, делось куда-то, а я еще и наврал ей, даже про лечение.

— Так что оно значит? Это самое ТТП?

— Что мне нужно выздороветь.

— Как?

— Лечиться надо. Замещение плазмы, все такое. Я займусь.

— Больно?

— Боль — ничто. Боль причиняешь, не обретаешь.

Корриган достал тонкую пачку папиросной бумаги, насыпал табаку вдоль загнутого края.

— А она? Аделита? Что будешь делать?

Он размял самокрутку, выглянул в окно.

— У ее детей сейчас каникулы. Носятся везде. Вагон свободного времени. Раньше у меня был предлог, вроде помогал им с домашними заданиями. Но теперь лето, на дом ничего не задают. Ну и что ты думаешь? Я все равно к ней хожу. Уже без всяких предлогов, кроме правды — я просто хочу ее видеть. И мы просто сидим с ней, с Аделитой. Предлоги я сам себе сочиняю. О, надо помочь им прибраться перед домом. Тостер давно пора починить. Ей нужно время посидеть над медицинскими учебниками. Что угодно. Не могу я одного — сделать вид, что преподаю детям катехизис, потому что они лютеране, брат, лютеране! Из Гватемалы. Везет мне, мужик! Досталась единственная не-католичка во всей Центральной Америке! Великолепно. Но она верующая. У нее сердце — большое, доброе. Правда. Она рассказывает мне, где выросла. Я хожу к ней, когда только могу. Хочу. Нужно. Вот где я пропадаю целыми днями. Наверное, я не собирался никому рассказывать.

И все время, что сижу у нее дома, я могу думать лишь о том, что мне здесь не место. И гадать, что останется, когда я наведу порядок у себя в голове. Потом в дом врываются дети, шлепаются на диван, смотрят телевизор и заливают йогуртом подушки. Ее младшая, Элиана, ей пять лет, — она вплывает в кухню, волоча за собой одеяло, хватает меня за руку и тащит в гостиную. Я подбрасываю ее на колене, они прекрасные дети, оба. Хакобо только что исполнилось семь. Я сижу там и думаю, сколько мужества требуется, чтобы жить обычной жизнью. В конце «Тома и Джерри», «Я люблю Люси» или «Семейки Брэди»,^[34] иронии тут навалом, — я говорю себе: это ничего, такова реальность, с этим я могу справиться, я просто сижу, не делаю ничего дурного. А потом ухожу, потому что не могу вынести раскола.

— Так уйди из ордена.

Корриган сплел пальцы.

— Или уйди от нее.

Белые костяшки.

— Не могу ни того, ни другого, — сказал он. — Но и то, и другое тоже не могу.

Мой брат не сводил глаз с огонька самокрутки.

— Знаешь, что смешно? — спросил он. — По воскресеньям меня по-прежнему одолевают былье устремления, остаточные чувства. Вот когда вина тяжелее всего. Я брожу, твержу «Отче наш». Опять и опять. Чтобы хоть немного приглушить совесть. Забавно, правда?

Сзади медленно подкатила машина, и в заднем окне сверкнули фары. Зажглись синие и красные огни, но сирену включать не стали. Мы молча

ждали, что копы выйдут, но они выбрали мегафон.

— Шевелитесь, пидоры, двигайте отсюда!

Корриган скруто усмехнулся, задергал рычаг передач.

— Знаешь, каждую ночь мне снится, что я скользжу губами по ее спине, как плоскодонка по реке.

Он вырнулся на улицу и не произнес больше ни слова, пока мы не остановились у наших многоэтажек, где дежурили шлюхи. Но подходить к ним Корриган не стал — отмахнулся издали, повел меня через дорогу, где на углу пульсировал желтый фонарь.

— Пора напиться. — Приобняв меня за плечо, толкнул дверь небольшого бара. — Сухой как лист все десять лет, а теперь только глянь на меня.

Он присел к стойке, поднял два пальца, заказал пару пива. В жизни бывают моменты, к которым возвращаешься, ныне и присно. Семья как вода — хранит память о том, где побывала, стремится вернуться в изначальное русло. Я снова оказался на нижней койке, слушал «сонные куплеты» братишк. Отворилась дверца почтового ящика нашего детства. А за ней — брызги морской пены.

— Ты хотел знать, колю ли я героин? — Он смеялся, но не отводил глаз от опор автострады за окном. — Хуже, брат, все гораздо хуже.

* * *

Такое ощущение, будто все часы пришли к согласию, холодильник мурлычет, а сирены за окном заливаются флейтами. Просто заговорив об Аделите, Корриган обрел свободу, стал другим человеком.

Пару дней после этого они виделись по возможности часто — главным образом, в доме престарелых, где Аделита поменялась сменами, только чтобы быть рядом с моим братом. Но пришла она и в квартиру — постучалась, откупорила вино и села за стол напротив. На правой руке она носила кольцо, крутила его рассеянно. В ней сплелись грация и внутренняя сила. Но им требовалось мое присутствие. Мне даже из-за стола вставать не давали. «Посиди, посиди». Я по-прежнему исполнял роль посредника. Они пока не были готовы отпустить тормоза. Приличия еще сдерживали их, но оба, казалось, мечтали отбросить здравомыслие — на время, во всяком случае.

Аделита была из тех женщин, чья красота становится тем очевиднее, чем дольше смотришь. Отливающие синевой волосы, изгиб шеи, родинка у

левого глаза — идеальный дефект.

Думаю, на протяжении вечера я сплотил их еще больше: они были заодно, вместе не давая мне скучать. Даже ближе друг к другу, чем наедине.

Аделита разговаривала с Корриганом тихонько, словно зовя придинуться. Он же смотрел на нее так, точно никогда больше не увидит. Порой она просто сидела, склонив голову ему на плечо. Глядела сквозь меня. Снаружи — пожары Бронкса. Для них, наверное, — как солнечный свет сквозь балки. Я царапнул стулом о доски.

— Посиди, посиди.

Было в Аделите что-то необузданное — Корригану эта ее черточка нравилась, но он не мог заставить себя даже пошутить на эту тему. Однажды вечером Аделита пришла к нам в просторной белой блузке, с оголенным плечом, в узких оранжевых шортах. Блуза была вполне приличной, а вот шорты слишком обтягивали бедра. Мы выпили по чуть-чуть недорогого вина, и Аделита несколько расшалилась. Собрав подол блузки, завязала узел, открыла смуглый живот, чуть растянутый родами. Ямочка пупка. Корригана смущали эти ее тугое шорты.

«Посмотри на себя, Ади», — сказал он, покраснев. Но не попросил ее развязать узел и прикрыться, а устроил целое представление: одолжил Аделите черную рубашку, эдак заботливо, набросил ей на плечи, поцеловал в щеку. Длинная старая рубашка без воротничка прикрыла ей бедра почти до колен. Корриган оправил ее, отчасти боясь показаться ханжой, отчасти потрясенный невообразимостью того, что с ним происходит.

Аделита прошлась по квартире, покачивая бедрами, словно вращала обруч.

— Теперь я готова войти в рай, — заявила она, одергивая рубашку еще ниже.

— Прими ее, Господи, — сказал Корриган.

Они рассмеялись, но что-то промелькнуло — будто Корриган хотел, чтобы в его жизнь вернулся смысл, будто он лишился благодати и теперь ему остались только прежние искушения и безрассудство, а он не уверен, сумеет ли с ними совладать. Брат вздел глаза, словно ответ мог отыскаться на потолке. А что, если Аделита не оправдает надежд? Насколько сильно он возненавидит Бога, если бросит ее? Насколько будет презирать себя, если не оставит Господа?

Корриган пошел ее провожать, держа за руку в потемках. Вернулся много часов спустя, повесил рубашку на край зеркала.

— Рыжие шорты в облипку, — сказал он. — Даже не верится.

Мы посидели над бутылкой.

— Знаешь, что тебе нужно? — спросил Корриган. — Устраивайся к нам в приют.

— Охранников не хватает, что ли?

Он улыбнулся, но я знал, что на самом деле брат просит: *Спаси меня, я так и не научился плавать*. Ему требовался кто-то из прошлого, чтобы знать наверняка: это не грандиозная иллюзия. Он не мог просто наблюдать, не имея возможности объясниться. Он должен был найти смысл, пускай для меня одного. Но вместо этого я устроился работать в Куинсе, в такой паб под трилистником, которых раньше избегал. Низкий потолок. Восемь табуретов у толстой пластиковой стойки. Опилки под ногами. Я разливал бледное пиво и совал собственные монетки в музыкальный автомат — просто чтоб не слушать приевшиеся мелодии. Вместо Томми Мейкема, братьев Клэнси и Донована^[35] пробовал ставить Тома Уэйтса. Недалекие пьяницы стонали.

Я вознамерился сочинить пьесу, чтоб действие разворачивалось в баре, — словно это было революцией в искусстве — и поэтому прислушивался к разговорам соотечественников, делал заметки. Одиночество клиентов наслаивалось. Меня поразило: дальние города для того и устроены, чтоб человек знал, откуда он. Уезжая, мы тащим родину с собой. Порой это ощущается острее именно из-за отъезда. Мой акцент усугубился. Я заговорил в разных ритмах. Делал вид, что приехал из Карлоу. Большинство завсегдатаев были из Керри и Лимерика. Один — адвокат, занимавшийся искаами о возмещении ущерба. Высокий, упитанный человек с песочными волосами. Он властвовал над всеми — угождал им. Прочие с ним чокались, а когда он отлучался в уборную, обзываали «долбаным стервятником». Дома они вряд ли бы так говорили — на родине долбаные стервятники звезд с неба не хватают, — а тут повторяли при любой возможности. От души веселились, вставляя эти слова в старые песни, когда адвокат уходил домой. В одной стервятник переваливал горы Корка и Керри. Другая привела долбаного стервятника на зеленые луга Франции.

К ночи становилось людно. Я нацеживал пиво и опорожнял банку с чаевыми.

Я по-прежнему жил у Корригана. Какие-то вечера он проводил у Аделиты, но ничего не рассказывал о них. Меня интересовало, познал ли он наконец женщину, но брат лишь тряс головой, не хотел говорить, не мог. Из ордена-то не вышел. Его по-прежнему сковывали обеты.

Как-то в начале августа, на закате, я дотащился до подземки, но, выйдя на Конкорс, не сумел поймать такси. Так поздно брести до квартиры

Корригана пешком не улыбалось. В Бронксе случались нападения и убийства. Стать здесь жертвой гоп-стопа — почти ритуал. А если белый, так и вообще скверно. Пора искать жилье где-нибудь еще — в Виллидж или на манхэттенском Ист-Сайде. Я сунул руки в карманы джинсов, нащупал сверток купюр из бара. И только тронулся, как с другой стороны бульвара раздался свист. Там Тилли подтягивала лямку купальника. Колени содраны до крови: ее выпихнули из машины.

— Сладенький! — крикнула она, ковыляя через дорогу и размахивая над головой сумочкой. Зонтик она потеряла. Подойдя, уверенно вцепилась в мой локоть. — Чьим промыслом я здесь обрелся, тот пускай теперь домой меня ведет.

Строка из Руми^[36] — это я знал. Ничего себе.

— А что такого? — пожала плечами Тилли. Потащила меня за собой. Ее муж, сказала она, изучал персидскую поэзию.

— Муж?

Я замер, отвесив челюсть. Когда-то, еще подростком, я рассмотрел под микроскопом участок собственной кожи: просторы хребтов и ущелий раскинулись перед моим взором совершенно неожиданно.

В этот миг мое нестерпимое отвращение, столь примечательное в другие дни, обернулось благоговением: Тилли все было едино. Она потрясла грудями и посоветовала мне расслабиться. Муж-то все равно бывший. Да, изучал персидскую поэзию. Такая херня. Снимал апартаменты в «Шери-Нидерланд»,^[37] сказала Тилли. Была вроде как под кайфом. Казалось, мир вокруг нее уменьшается, съеживается до одних глаз, густо подведенных лиловыми и черными тенями. Мне вдруг захотелось поцеловать ее. Вот такой необузданый, соглашательский выплеск восторга по-американски. Я подался к Тилли, а она рассмеялась, оттолкнула меня.

К нам подкатил длинный пришпоренный «форд-фалкон», и Тилли, не повернув головы, бросила:

— Отвали, он уже заплатил.

Мы шагали по улице, держась за руки. Под опорами Дигана Тилли склонила голову мне на грудь.

— Правда, милый? — спросила она. — Ты уже заплатил за веселье?

Она оглаживала меня ладонью, и это было хорошо. Иначе не скажешь. Такое ощущение. Хорошее.

— Зови меня Булочкой. — Прозвучало с легким акцентом, изредка всплывавшим в ее говоре.

— Вы с Джаззлин ведь родня, правда?

— Ну и что?
— Она твоя дочь, так?
— Заткнись и плати, — сказала она, проводя пальцем по моей щеке. А через минуту вдруг сочувственно засопела мне в шею.

* * *

Облава началась спозаранку, в один августовский вторник. Еще затмено. Копы поставили фургоны-ловушки в тени под эстакадой. Казалось, Корриган разволновался куда больше девушек. Одна-две побросали сумочки и помчались, размахивая руками, к перекрестку, но там, распахнув дверцы, их поджидали другие фургоны. Копы защелкивали наручники и загоняли девиц в колодцы темных машин. Только оттуда раздавались крики: проститутки высывались из окон, разыскивая помаду, солнечные очки или туфли.

— Эй, я ключи уронила! — крикнула Джаззлин.

Мать как раз подсаживала ее в фургон. Тилли была спокойна, словно такое происходит все время, утро как утро. Поймав мой взгляд, едва заметно подмигнула.

Стоя на улице, копы потягивали кофе, курили, разминали плечи. Они знали девушек по именам и кличкам. Фокси. Энджи. Раф. Булочка. Кекс. Старые знакомые. Акция текла сонно, как и само утро. Должно быть, девушек кто-то предупредил, и они избавились от шприцев и прочей аптеки, скинули на обочине. Облавы случались и прежде, но теперь мели буквально всех.

— Я хочу знать, что с ними будет, — твердил Корриган, переходя от одного копа к другому. — Куда вы их отправляете? За что вы их арестовали?

— А нечего звезды разглядывать, — усмехнулся полисмен, толкая Корригана в плечо.

Я смотрел под колеса патрульной машины, где запуталось длинное боа. Словно в порыве нежности обвилось вокруг колеса, и в воздухе кружили легкие клочки розового пуха.

Корриган списывал номера с полицейских блях. Высокая женщина в форме вырвала из его руки записную книжку, медленно и демонстративно порвала.

— Слышишь, волынка тупорылая, они скоро вернутся, ясно?

— Куда вы их отправляете?

— А тебе что, приятель?

— Куда вы их везете? Какой участок?

— Отойди. Вон туда. Живо.

— На каком основании?

— На том основании, что я шкуру с тебя спущу, если не отойдешь.

— Просто ответьте мне.

— Ответ семь, — сказала женщина-коп, пристально рассматривая Корригана. — Ответ всегда семь. [38] Усек?

— Не усек.

— Да что с тобой, парень? Что ты за овощ такой?

Один из сержантов выпятил грудь:

— Кто-нибудь, подсобите мистеру Любовь-Морковь!

Корриган вытолкали на обочину и посоветовали ближе не соваться:

— Еще раз вякнешь, окажешься в камере.

Я отвел брата в сторону. Весь багровый, кулаки сжаты. На виске пульсирует жилка. По шее расплзлось новое пятно.

— Давай полегче, Корр, ладно? Потом разберемся. В участке им по любому лучше. Ты ведь не в восторге от их занятий.

— Не в этом дело.

— Ну хватит, идем отсюда, — сказал я. — Послушай меня. Мы ими еще займемся.

Один за другим фургоны съехали с тротуара, за ними отчалили все патрульные автомобили, кроме одного. Сбились в кучки зеваки. Подростки на велосипедах кружили по опустевшему участку, будто обнаружив новую площадку для езды. Корриган отыскал в канаве у обочины связку ключей. Дешевый прозрачный брелок с детским лициком. На обороте — другое лицо.

— Вот в чем дело, — сказал Корриган, протягивая мне ключи. — Это дети Джаз.

Чьим промыслом я здесь обрелся, тот пускай домой теперь меня ведет. За наше маленькое свидание Тилли запросила пятнадцать долларов, похлопала по спине, потом с немалой иронией заявила, что я не посрамил Ирландию. Зови меня Булочкой. Подергала десятку за уголки и сказала, что почитает из Халиля Джебрана, [39] если есть настроение.

— В другой раз, — ответил я.

Тилли покопалась в сумочке.

— Может, ширнешься? — предложила она, застегивая мне брюки. Сказала, что сможет достать у Энджи.

— Не в моем стиле, — сказал я.

Захихикав, она подалась поближе и переспросила:

— В твоем стиле? — Провела рукой по моему бедру, снова прыснула. — Твой стиль!

На миг меня прошиб холодный пот: вдруг она прикарманила все чаевые, — но нет, она просто затянула мой ремень и шлепнула меня по заду.

Я же радовался, что не пошел с ее дочерью. Чувствовал себя почти праведником, словно и не было искушения. Аромат Тилли преследовал меня еще пару дней — и опять меня обволок, когда ее арестовали.

— Она уже бабушка?

— Я же тебе говорил, — ответил Корриган.

Он кинулся к последней патрульной машине, размахивая брелоком Джаз.

— А с этим как? — крикнул он копам. — Позовете кого-то смотреть за ее детьми? Об этом вы подумали? Кто присмотрит за детьми? Или просто бросите их на улице? Вы арестовали их мать и бабушку!

— Мистер, — проговорил коп, — еще слово, и...

Резко дернув Корригана за локоть, я потащил его прочь. Без шлюх снаружи здания казались более зловещими: знакомый пейзаж изменился, старые тотемы рухнули.

Лифт опять не работал. Задыхаясь, Корриган бросился наверх по лестнице. Дома тут же принялся называть знакомым активистам, искать адвоката для девушек и няню для детей Джаззлин.

— Я даже не знаю, куда их повезли, — орал он в трубку. — Со мной не стали разговаривать. В прошлый раз не хватило камер, их отправили на Манхэттен.

Еще звонок. Отвернувшись, Корриган прикрыл ладонью микрофон:

— Аделита?

Шепча, он туже сжимал трубку. Несколько последних вечеров Корриган провел у Аделиты дома и всякий раз возвращался в том же состоянии: метался по комнате, крутил пуговицы на рубашке, бормотал что-то под нос, пытался читать Библию, искал в ней какого-то оправдания себе — или же такого слова, от которого бы мучился дальше, боли, что терзала бы его. Но и счастья искал, энергии. Я уже не знал, что ему сказать. Поддайся унынию. Смени работу. Забудь Аделиту. Живи дальше. По крайней мере, с проститутками ему не хватало времени жонглировать понятиями любви и утраты — на улице все проще: берешь и берешь. С Аделитой все иначе: она не впаривала ни алчность, ни оргазм. *Cie есть*

тело Мое, которое за вас предается. [40]

Позже, около полудня, я обнаружил Корригана в ванной — он брился перед зеркалом. Брат уже побывал в окружном суде Бронкса, где большинство шлюх успели выслушать приговор и выйти на свободу по истечении срока наказания. Выяснилось, впрочем, что Тилли и Джаззлин разыскивались в Манхэттене за кражу. Они вдвоем обчистили клиента. Дело хотя и давнее, но их все равно переправили в центр. Корриган влез в хрусткую черную рубашку и темные брюки, снова подошел к зеркалу, смочил и пригладил длинные волосы.

— Так-так, — сказал он, достал маленькие ножницы и отчекрыжил дюйма четыре. За три гладких взмаха с челкой было покончено.

— Поеду помогу им, — сказал он.

— Куда?

— В храм правосудия.

Он казался постаревшим, помятым. После стрижки плесть на макушке сделалась заметнее.

— Тюрьму называют «Могильниками». [41] Судить будут на Сентр-стрит. [42] Слушай, надо, чтоб ты меня подменил в доме престарелых. С Аделитой я говорил, она в курсе.

— Я? И что мне с ними делать?

— Не знаю. Отвези на пляж или еще куда-нибудь.

— У меня работа в Куинсе.

— Ради меня, братишко, прошу тебя. Я тебе потом отсигналю. — Корриган обернулся в дверях: — И береги Аделиту, ладно?

— Само собой.

— Дай слово.

— Ну да, да... Иди уже.

Из подъезда донесся смех детей, сопровождавших моего брата вниз по лестнице. Лишь когда в квартире настала полная тишина, я сообразил, что Корриган укатил на коричневом фургоне.

В прокате Хантс-Пойнта я расстался с последними чаевыми — внес залог за тачку.

— С кондиционером! — с идиотской ухмылкой отметил служащий. Последнее слово техники, не иначе. Над сердцем пришпилил значок с именем. — Вы уж поаккуратнее, машина новая.

Выдался один из таких дней, когда лето, казалось, окончательно успокоилось: не слишком жарко, облачно, в небе умиротворенное солнце. По радио крутили Марвина Гэя. [43] Обогнув низко посаженный «кадиллак»,

я вырулил на шоссе.

Аделита ждала у пандуса на крыльце дома престарелых. Она захватила на работу детей — двух смуглых очаровашек. Младшая потянула ее за рукав формы, и Аделита присела и поцеловала ребенка в закрытые веки. Волосы Аделиты были повязаны длинным цветастым шарфом, лицо сияло.

Я тогда сразу понял то, о чем давно знал Корриган, — в Аделите был внутренний порядок; при всей жесткости, в ней светилась легко пропущенная красота.

Когда я заикнулся о пляже, Аделита улыбнулась. Сказала, что мысль интересная, но неосуществимая: у стариков нет страховки, да и правила запрещают. Дети орали, тянули ее за рукава, цеплялись за руки.

— Хватит, *m'ijo!*^[44] — осадила она сынишку, и мы занялись привычной погрузкой инвалидных кресел в фургон; детей втиснули между сидений. На ограду сквера налип мусор. Машину мы поставили в тени здания.

— Ох, да какого черта! — сказала Аделита. Проскользнула за руль.

Я обошел фургон сзади. Усмехаясь, на меня глядел Альби — он произнес единственное слово. Переспрашивать не было нужды. Посигналив, Аделита вписала фургон в редкий летний поток машин. Дети радостно загалдели, когда мы выехали на шоссе. В отдалении виднелся Манхэттен, будто выстроенный из кубиков.

На Лонг-Айленде мы угодили в пробку. С задних сидений доносилось пение: старики пытались разучить с детьми обрывки старых песен, которых и припомнить-то не могли толком. «Все капли дождя мои», «Когда святые маршируют», «Не выталкивай бабусю с автобуса»...^[45]

* * *

* * *

На пляже дети Аделиты бросились к воде, а мы пока расставляли кресла в тени фургона. Солнце поднималось, и тень становилась короче. Альби сбросил с плеч подтяжки и расстегнул пуговицы. Его шея и руки загорели дочерна, а под рубахой белела почти прозрачная кожа. Старик выглядел скульптурой из двух разных материалов, словно само свое тело готовил к шахматной партии.

— Твоему братцу шлюшки-то нравятся, а? — поинтересовался он. — Как по мне, свора размалеванных мошенниц. — Больше он не вымолвил ни слова, просто уставился в море.

Шила с улыбкой прикрыла глаза, низко надвинув соломенную шляпу. Старый итальянец — я не знал, как его зовут, щеголеватый субъект в идеально отглаженных брюках, — вминал и расправлял шляпу на колене, вздыхал. Снималась обувь. Обнажались лодыжки. Волны колотились о берег, а день ускользал от нас, как песок меж пальцев.

Радиоприемники, пляжные зонтики, обжигающий соленый воздух.

Аделита спустилась к прибою, где весело барабанились ее дети. Она притягивала взгляды как магнитом. Мужчины следили за ней, куда бы она ни пошла: изгибы стройного тела под белой формой. Опустилась на песок рядом, прижала колени к груди. Стоило ей пошевелиться — и юбка приподнялась: красный след на лодыжке, рядом с татуировкой.

— Спасибо, что взял фургон.

— Да нет проблем.

— Ты же не обязан.

— Ерунда.

— Семейная черта?

— С Корриганом мы как-нибудь разберемся, — хмыкнул я.

Между нами лег мостик, выстроенный, по большей части, моим братом. Заслонив глаза от солнца, Аделита вглядывалась в море, словно Корриган сейчас плескался в прибое с ее детьми, а не торчал в каком-то темном зале, раз за разом терпя поражение в спорах с судьями.

— Теперь он пропадет там надолго, будет пытаться их вытащить, — сказала Аделита. — Не в первый раз. Иногда мне кажется, уж лучше б они усвоили урок. Порой сажают и за меньшее.

Она нравилась мне все больше, но хотелось нажать сильнее — посмотреть, на что она готова ради моего брата.

— Тогда ему некуда было бы деться, верно? — спросил я. — По ночам. Никакой работы.

— Может, и так.

— И тогда он приходил бы к тебе, разве нет?

— Да, возможно, — сказала Аделита, и по ее лицу скользнуло облачко досады. — Зачем ты спрашиваешь?

— Разговор поддержать.

— Не понимаю, о чем ты, — сказала она.

— Только не води его за нос.

— Я и не вожу, — ответила она. — Зачем мне, как ты говоришь,

водить его за нос? *¿Porqué? Me dice que eso.*^[46]

Акцент стал резче, в испанских словах зазвенела сталь. Песок бежал меж пальцами, а сама Аделита смотрела на меня так, будто видела впервые; но молчание успокоило ее, и наконец она произнесла:

— Я правда не знаю, что делать. Бог жесток, нет?

— Бог Корригана, во всяком случае. Насчет твоего не знаю.

— Наши боги идут рука об руку.

Дети в приливе перекидывались фрисби. Подпрыгивали, хватали диск на лету и шлепались в воду, взметая тучи брызг.

— Знаешь, это страшно, — сказала Аделита. — Он мне очень нравится. Слишком. Он не знает, что ему делать, понимаешь? А я не хочу ему мешать.

— Я знаю, как бы я поступил. На его месте.

— Но ты на своем, верно?

Отвернувшись, она негромко свистнула детям, и те поплелись к нам по песку. Загорелые и гибкие. Притянув к себе Элиану, Аделита тихонько сдула песок у дочери с виска. В обеих мне почему-то виделся Корриган. Будто мой брат уже сумел пропитать их. Хакобо устроился у матери на коленях. Аделита пощипывала зубами его ухо, и мальчик пищал от восторга.

Она отгородилась от мира, окружив себя детьми, и я задумался, не так ли вышло и с Корриганом? Допустим, она подманила моего брата поближе, чтобы затем отстраниться? Так много собрала вокруг себя, что стало невмоготу? На миг я возненавидел ее — заодно со всеми сложностями, которые эта женщина принесла в жизнь моего брата, — и ощутил странную приязнь к проституткам, которые утащили его прочь, в какой-то участок, к самому отребью, в какую-то жуткую камеру с железными решетками, черствым хлебом и грязной парашей. Может, он даже сидит с ними в одной камере. Может, дал себя арестовать, чтоб оказаться поближе к своим подопечным. Меня бы не удивило.

Он подобрался к первопричине, и теперь я ухватил самую суть брата: он — полоска света под чужой дверью, но для него дверь закрыта. Наружу просачиваются лишь его куски, фрагменты, и в итоге Корриган сам возводит баррикаду за дверью, сквозь которую пробивался. Может, виноват здесь только он один. Может, он рад осложнениям и нагородил их исключительно для того, чтоб не исчезали.

Теперь я понял, что все кончится плохо — для нее и Корригана, для этих детей. Кто-то окажется в стороне. И все же чего б им не влюбиться друг в друга, пусть ненадолго? Почему Корриган не научится жить в теле,

причиняющем столько боли, хоть изредка делая ему уступки? Почему этот его Бог не желает ослабить хватку, хоть на мгновение? Жизнь была для моего брата камерой пыток: ему приходилось беспокоиться о благополучии мира и разбираться с тонкостями, а на самом деле хотелось только одного — быть как все и заниматься простыми вещами.

Но ничто не казалось простым, упрощению не поддавалось. Бедность, целомудрие, смирение — всю жизнь Корриган хранил им верность, но оказался безоружен, когда те обернулись против него.

Аделита выпутала резинку из волос дочери. Хлопнула девочку по попке, отправила бегать по пляжу. Вдали разбивались волны.

— А чем занимался твой муж? — спросил я.

— Служил в армии.

— Скучаешь?

Она уставилась на меня.

— Время не лечит всего, — ответила наконец, отводя взгляд на полоску пляжа, — но многое лечит. Теперь я живу здесь. Тут мой дом. Не хочу возвращаться. Если ты об этом, я не вернусь.

В общем, раскрыть тайну, частью которой была Аделита, мне так и не удалось, а ее взгляд удержал от дальнейших расспросов. Корриган теперь принадлежал ей. Она все уже сказала. И то правда, возврата уже не будет. Мне вспомнилось, как еще мальчишкой, когда все было чисто и определенно, мой брат бродил по полоске прибоя в Дублине, восторгаясь шероховатостью ракушки, ревом низко летящего самолета или церковными карнизами — всем тем вокруг него, что казалось незыблемым, нацарапанным внутри сигаретной пачки.

* * *

Рассказывая нам с братом сказки, мама любила предварять их сложным росчерком: «Однажды, давным-давно — настолько давно, что меня там и быть не могло, а если б я была там, то меня бы не было здесь, да только я здесь, а не там, но все равно расскажу вам историю о том, что случилось однажды, давным-давно...» — и дальше следовала сказка ее собственного сочинения, легенда, в которой мы с братом отправлялись в удивительные края, а проснувшись поутру, уже не знали, пригрезились нам части одного сна, мы видели одинаковый сон или же в каком-то нездешнем мире наши сны переплелись и поменялись местами. Знай я об аварии Корригана, согласился бы на это не раздумывая: *Брат, научи меня жить.*

Все мы слыхали о чем-то подобном. Любовное письмо проскальзывает в щель почтового ящика в тот миг, когда чашка еще не долетела до пола. Гитарная струна щелкает, когда последний вздох еще не покинул губ. Сдается мне, дело тут не в Божьем промысле и не в людской сентиментальности. Возможно, просто случай. А совпадение, может статья, — лишь очередной способ убедить себя самих в собственной значимости.

Так или иначе, факт останется фактом, и ничего тут не сделаешь: Корриган был за рулем фургона, весь день проводя в Могильниках и судах Нижнего Манхэттена, а затем поехал на север по шоссе Рузвельта, и Джаззлин сидела рядом, желтые туфли, неоновый купальник, на шее тугая ленточка, а Тилли осталась в камере, взяла на себя всю вину за кражу, и мой брат вез Джаззлин домой к детям, ведь дети поважнее всех брелоков, всех сальто в воздухе, и они мчались вдоль Ист-Ривер, между зданиями и тенями, и тут Корриган решил перейти на соседнюю полосу; может, включил поворотник, а может, и нет; может, у него закружилась голова, или он устал, или замотался; может, он принял таблетку и реакция притупилась или зрение затуманилось; может, недожал тормоз или, наоборот, вдавил педаль слишком резко; может, тихонько мурлыкал песенку, кто знает; но, говорят, его задела сзади шикарная тачка, антикварный раритет какой-то, водителя никто не разглядел, золоченый автомобиль, каждый день выезжающий навстречу аплодисментам, стукнул по бамперу фургона, слегка подпихнул его, но Корригана бросило через три полосы, словно в танце, бурым вихрем, на миг даже элегантным отчасти, — и я теперь представляю, как Корриган стискивал руль, его страх, его округлившиеся кроткие глаза, и Джаззлин рядом кричала, тело напряжено, шея одеревенела, перед нею промелькнула вся ее короткая порочная жизнь, и тут фургон занесло на сухом асфальте, он врезался сперва в легковушку, потом в почтовый пикап, а затем на полном ходу — в боковое ограждение трассы, и Джаззлин головой вперед вылетела сквозь лобовое стекло, ремнято нет, тело уже на полпути к небесам, а рулевое колесо отбросило Корригана назад, сломало грудину, голова отскочила от стекла в паутине трещин, в крови, а потом тело швырнуло на место с такой силой, что разлетелся металлический каркас сиденья, тысяча фунтов стремительной стали, фургон еще шел юзом от одной обочины к другой, а тело Джаззлин, едва одетое, описало в воздухе дугу со скоростью пятьдесят-шестьдесят миль в час, расшиблось о дорожное ограждение и замерло смятой грудой, одна нога нацелена вверх, словно делая шаг, точнее, словно Джаззлин хотела шагнуть в небо, а потом в фургоне нашли только одну ее вещь,

желтую туфлю на тонком каблуке рядом с Библией, косо выпавшей из бардачка, одна на другой и обе в осколках, а Корригана, еще дышавшего, помотало туда-сюда, кинуло вбок, и в итоге он оказался втиснут в темный колодец между педалями газа и тормоза, а мотор ревел, словно одновременно хотел разогнаться и заглохнуть: вес Корригана на обеих педалях.

Сначала решили, что он умер, и погрузили в мясной фургон рядом с Джаззлин. Кровавый кашель озадачил санитара, и тогда Корригана отправили в Ист-Сайдскую больницу.

Кто знает, где мы были, ехали назад, в другой части города, по пандусу автомагистрали, в безнадежной пробке, у будки дорожного сбора, какая разница? Пузырек крови на губах брата. Мы ехали, тихо напевая, а дети дремали на задних сиденьях. Альби решил задачку. Обоюдный шах и мат. Брата заправили в «скорую помощь». Мы ничем не могли бы помочь. Никакие слова его бы не вернули. То было лето сирен. У Корра — еще одна. Вертелись мигалки. Его отвезли в больницу «Метрополитэн», в неотложку. Бегом по бледно-зеленым коридорам. Кровавые следы по полу. Две тонкие линии от задних колес каталки. Вокруг хаос. Я высадил Аделиту с детьми у дощатого домишкаГде они жили. Уходя, она оглянулась, помахала мне рукой. Улыбнулась. Она была его. Она ему подойдет. Нормальная она. С ней он отыщет своего Бога. Брата вкатили в «отстойник». Крики и шепот. Кислородная маска на лице. Развороченная грудь. Коллапс легкого. Дюймовые трубки, чтобы он мог дышать. Медсестра с манжетой тонометра. Сидя за рулем фургона, я смотрел, как в доме Аделиты зажигают свет. Разглядывал ее силуэт на занавесках, пока она не задернула плотные шторы. Только затем включил зажигание. Врачи уложили брата на растяжку. Искусственное легкое у кровати. Пол такой липкий от крови, что интернам пришлось ноги вытираять.

Не подозревая ни о чем, я ехал дальше. Улицы Бронкса в выбоинах. Оранжевый и серый — цвета пожарищ. На перекрестках танцевала ребятня. Тела в непрерывном движении. Подростки будто узнали о себе что-то совершенно новое и тряслись теперь в экстазе почти религиозном. Пока делали рентген, палату выскобили. Я свернул под мост, где провел почти все лето. Проституток в тот вечер было всего ничего — лишь те, что не попали под облаву. Из-под опор выпорхнули ласточки, ножницами распороли воздух. Засияли небо. Никто меня не окликнул. Мой брат в больнице «Метрополитэн», еще дышит. Мне бы спешить на работу в Куинс, но я перешел через улицу. Не подозревая ни о чем. Кровь набухает в легких. К крохотному бару. Орал музыкальный автомат. «Фор топе».

Внутривенные катетеры. «Марта и Ванделлас». Кислородные маски. Джими Хендрикс.^[47] Врачи без перчаток. Его стабилизировали. Впрыснули морфий. Прямо внутримышечно. Не поняли, что за синяки на сгибе локтя. Решили сначала, что обычный наркоша. Кто-то сказал, его привезли с мертвый шлюхой. В кармане брюк наткнулись на образок. Я вышел из бара, нетвердой поступью пересек ночной бульвар.

Меня окликнула какая-то женщина. Не Тилли. Я не обернулся. Темнота. Во дворе обкуренный молодняк играл в баскетбол без мяча. Врачи расходятся отдохнуть. Писк огоньков, вторящих сердцебиению. Над ним склонилась сиделка. Он что-то шептал. Последние слова умирающего? *Погаси этот мир. Отпусти меня. Даруй мне любовь, Господи, только не сейчас.* Маску сняли. Я еле дотащился по лестнице до пятого этажа. Корриган в больничной палате, в сдавленном пространстве своей молитвы. Я навалился на дверь. Кто-то пытался распотрошить телефонный аппарат. По полу разбросаны книги. Красть нечего. Наверное, он то приходил в себя, то снова отключался, туда-сюда, туда-сюда. Анализы должны показать, сколько крови он потерял. Включился-выключился. Туда-сюда. В два часа ночи в дверь постучали. Мало кто из них стучал. Я крикнул, чтобы заходили. Она медленно приоткрыла дверь. Несспешный пульс, тихий писк кардиографа. Туда-сюда. В руке у нее тюбик помады. Это я помню. Девушку видел впервые. Джаззлин попала в аварию, сказала она. Может, подруга. Явно не проститутка. Бросила вскользь. Чуть повела плечом. Помада чиркает по губам. Ярко-красная ножевая рана. Писк кардиографа. Линия жидккой струйкой. Ни к какому истоку не возвращается. Выбегая, я чуть не сорвал дверь. Сквозь граффити. Город весь в них облачился — изгибы, завитки. Свежая краска в воздухе.

Я заехал за Аделитой. О господи. В глазах смятение. Набросила жакет на ночную рубашку. Возьму детей, сказала она. Схватила обоих в охапку, сунула мне. Такси мчалось, швыряясь огнями фар. В больнице мы усадили детей в приемном покое. Рисовать цветными карандашами. На газете. Сами — бегом искать Корригана. Ох, сказала она. Ох. О господи. Всюду распахиваются двери. Опять закрываются. Над нами потрескивают лампы дневного света. Корриган лежал в маленькой монашеской келье. Врач закрыл дверь у нас перед носом. Я медсестра, сказала Аделита. Прошу вас, пожалуйста, дайте мне его увидеть, я должна увидеть его. Пожав плечами, врач отвернулся. О боже. Ох. Мы придвинули к кровати два простых деревянных стула. Научи, кем я могу быть. Научи, чем я могу стать. Научи.

Прижимая к груди папку, вошел врач. Тихо заговорил о внутренних повреждениях. Целый новый язык, травматология. Писк ЭКГ. Аделита

склонилась над Корриганом. Он что-то говорил в морфийном ступоре. Я видел кое-что красивое, шептал он. Аделита поцеловала его в лоб. Положила руку на запястье. Мерцает экран кардиографа. Что он говорит? — спросил я. За дверью пощелкивают колеса каталог. Вопли. Всхлипы. Неуместные смешки интернов. Корриган снова ей что-то прошептал, на губах вскипела кровь. Я тронул Аделиту за руку. Что он говорит? Глупости, ответила она, всякие глупости. У него галлюцинации. Теперь ухом к самым губам. Ему нужен священник? Этого он хочет? Аделита обернулась ко мне. Он говорит, видел что-то красивое. Ему нужен священник? — крикнул я. Аделита склонилась над Корриганом. Пытаясь удержать спокойствие. В слезах. Ох, сказала она, у него лоб холодный. Очень холодный лоб.

Миро, Миро на стене

Снаружи — шум Парк-авеню. Негромко. Упорядоченно. Сдержанно. Только нервы все равно звенят. Уже скоро придут женщины; ожидание затягивает узелок в основании спины. Она обхватывает пальцами локти, сжимает предплечья. Ветерок колышет легкие занавески. Алансонские кружева. Ручная работа, ажурное плетение с шелковой отделкой. Никогда не любила французский тюль. Предпочла бы обычную ткань, легкую вуаль. Кружева придумал повесить Соломон, давно уже. Издержки брака. Крепкие узы. Утром он принес ей завтрак на подносе с тремя ручками. Круассан с глазурью. Ромашковый чай. Тонкий ломтик лимона отдельно. Он даже не пожалел костюма, прилег на кровать и коснулся ее волос. Перед уходом поцеловал. Соломон, мудрый Соломон, в руке портфель, дела не ждут. Едва заметная косолапость в походке. Щелчки начищенных ботинок по мраморному полу. Прощается рыком. Без всякой угрозы, просто голос такой гортанный. Иногда ее поражает: вот он, мой муж. Вот какой. Как все тридцать один год. И тишина тут же отступает. Шорох движения, щелчок замка, смутный звонок, голос лифтера — *Доброго, мистер Содерберг!* — недовольный стон двери, лязг машинерии, тихое бормотание спуска, звон остановки в вестибюле внизу, щебет бегущих вверх тросов.

Она отдергивает шторы и еще раз выглядывает в окно, успевает заметить лоскут серого костюма, Соломон как раз усаживается в такси. Маленькая лысая голова ныряет в сумрак салона. Хлопает желтое. От тротуара и прочь.

Соломон даже не знает о гостях; она расскажет ему как-нибудь потом, не сейчас, вреда не будет. Может, вечером. За ужином. Свечи, вино. Угадай, что сегодня было, Сол. Когда он устраивается на стуле, заносит вилку. Угадай. Тихий вздох в ответ. Просто расскажи, Клэр. Милая, у меня выдался непростой день.

Выскользнуть из ночной рубашки. Тело в большом напольном зеркале. Немного бледное, в морщинках, но она еще способна расправить их, потянувшись. Зевает, сцепив руки над головой. Высокая, по-прежнему стройная, черные как смоль волосы, единственная прядка цвета барсучьей шерсти на виске. Пятьдесят два года. Она проводит по волосам влажным полотенцем и расчесывает их деревянным гребнем. Поворачивает голову, зажимает длинные волосы ладонью. Спутанные, секущиеся кончики. Пора уже сделать стрижку. Вычистив гребень, она бросает волосяной комочек в

педальную урну. Говорят, у покойников волосы растут и дальше. Живут своей жизнью. Там, внизу, с прочими ошметками, салфетками, тюбиками от помады, колпачками от зубной пасты, таблетками от аллергии, карандашами для глаз, сердечными каплями, молодостью, обрезками ногтей, зубной нитью, аспирином, скорбями.

Ну почему именно седые волосы отказываются выпадать? Когда ей было двадцать с чем-то, она терпеть не могла эту барсучью прядку, что появилась за ночь, красила ее, прятала, выкорчевывала. Теперь прядка определяет ее, позволяет выделиться — элегантная струйка седины, сбегающая от виска.

Дорога у меня в волосах. Обгон запрещен.

Дел невпроворот. Скорей-скорей. Туалет. Взмах зубной щетки. Самая малость косметики. Немного румян. Подвести глаза, только чуточку, и мазок губной помады. Никогда не возилась с макияжем. У платяного шкафа она задерживается. Лиф и трусики — простые, бежевые. Любимое платье. Роспись по шелку в тонах морской волны, ракушки. Фасон «колокол», без рукавов. Чуть выше колена. Банты на разрезах. Застежка-молния на спине. И модно, и женственно. Не слишком вычурное платье, современное, пристойное, хорошее.

Она чуть задирает подол. Вытягивает ногу. Эти ноги сияют, сказал Соломон много лет назад. А она однажды сказала, что он занимается любовью, как висельник: с эрекцией, но без чувства. Шутка, услышанная на выступлении Ричарда Прайора.^[48] Она пошла туда одна, воспользовалась пропуском подруги-журналистки. Единственная в своем роде вылазка. Концерт оказался не слишком вульгарен, но и скучать не пришлось. Соломон дулся целую неделю: три дня из-за шутки, еще четыре — просто потому, что она вообще пошла на концерт. *Свободы вам мало?* — пыхтел он. *Валяйте, жгите лифчики, слетайте с катушек.* Маленький, приятный человек. Ценитель хороших вин и мартини. Тощий мысок волос на голове. Летом приходится мазать лысину защитным кремом. На макушке крапинки. Вокруг глаз — воспоминания о проведенном на солнце детстве. Когда они познакомились в Йеле, его лоб скрывала косая челка, густая и светлая. Ассистентом адвоката, в Хартфорде, он исходил все тропинки со стариком Уоллесом Стивенсом, кто бы подумал, оба в рубашках с коротким рукавом. *Я банку водрузил на холм в прекрасном штате Теннесси.*^[49] Любовью они занимались у нее дома, на старой кровати под пологом. Распростервшись на простынях, Соломон пытался нашептывать стихи ей на ухо. Редко помнил строчки. И все же то было наслаждением: губы у кромки

уха, на изгибе шеи, в выемке ключицы, внутренний жар его восторженности. Однажды кровать рухнула под их свистопляской. В последнее время это случается все реже, но достаточно часто, и она по-прежнему тянется вверх, к его загривку. Уже не такому густому. Пустой черенок на месте спелого плода. Головорезы в суде сидят смирно, пока не услышат приговор, и лишь когда грохочет молоток, начинают кричать, выть и биться, поносят его грязными словами. Она давно перестала ездить с ним в центр, в получьму обшитых деревянными панелями залов, — зачем терпеть эти оскорблении? Эй, Коджак! Кому ты нужен, родной?^[50] В судейском кабинете — ее фотография, на берегу, вместе с совсем еще маленьким Джошуа, голова к голове, мать и сын, тянутся друг к другу, а за ними — бесконечные, поросшие травой песчаные холмы.

В груди что-то тихо мурчит, расправляясь. Джошуа. Это имя совсем не подходит парню в военной форме.

Ожерелье и рука-phantom. У нее так бывает. К горлу приливают кровь. Что-то царапает в гортани. Будто кто-то сжимает шею, на миг перекрывая дыхание. Она поворачивается к зеркалу боком, затем прямо, затем опять смотрит искося. Аметист? Браслеты? Маленькое кожаное ожерелье, которое Джошуа подарил ей в девять лет? На вощеной бумажной обертке нарисовал красную ленточку. Карандашом. Вот, мамочка, — сказал он, а потом убежал и спрятался. Она носила ожерелье много лет, в основном дома. Уже дважды приходилось подлатать. Но не сейчас, не сегодня, нет. Она снова прячет его в ящик. Чересчур. И потом, ожерелье — для особых случаев. Она колеблется, вглядываясь в отражение. Нефтяной кризис, ситуация с заложниками, ситуация с ожерельем. По мне, эвристические алгоритмы проще. Такая была специализация. В колледже. На всем факультете математики учились только три девушки. В коридорах ее принимали за секретаршу. Приходилось красться, опустив глаза долу. Тихая серая мышка. Досконально знала особенности настила. Все неровности плитки. Все трещины в плинтусах.

В ларчике со старыми украшениями, давно минувшие дни.

Серьги, стало быть? Серьги. Пара крошечных морских раковин, купленная в округе Мистик два лета назад. Две серебряные дужки скользят в проколы. Она опять оборачивается к зеркалу. Так странно видеть дряблость шеи. Чужой шеи. Моя не такая. Пятьдесят два года в этой самой коже. Она вздергивает подбородок, и кожа натягивается. Вид самодовольный, но так лучше. Серьги с платьем. Ракушки и ракушки. Раки и кукушки. У синего моря. Она роняет их в шкатулку и роется дальше. Замечает часы на комоде.

Скорей-скорей.
Время почти вышло.

За последние восемь месяцев она посетила четыре дома. Везде скромно, чисто, обыкновенно, мило. Стейтен-Айленд, Бронкс, два в Нижнем Ист-Сайде. Никакой помпы. Просто собираются матери. И всё. Но когда она наконец назвала им собственный адрес, все только рты раскрыли. Ей удавалось отсрочить этот момент, пока они не собирались у Глории в Бронксе. Ряд многоквартирных домов. В жизни не видела ничего подобного. Подпалины на дверях. Запашок борной кислоты в подъезде. Иглы от шприцев в лифте. Она была в ужасе. Поднялась на одиннадцатый этаж. Пять замков на железной двери. Она постучала, и дверь задергалась на петлях. Но внутри квартира сверкала. На потолке две большущие люстры, дешевые, но прелестные. Потоки света изгоняли из комнаты тени. Остальные женщины уже пришли — улыбались ей с глубокого, бесформенного дивана. Все чмокнули друг дружку, не касаясь щек, и утро прошло как по маслу. Они даже забыли, где находятся. Глория хлопотала, раскладывала подставки для чашек, меняла салфетки, приоткрывала окна для курильщиц, а затем показала комнату сыновей. Она потеряла трех мальчишек, представить только — трех! — бедняжка Глория. Фотоальбомы, туго набитые воспоминаниями: прически, беговые дорожки, выпускные вечера. Бейсбольные кубки передавали по кругу, из рук в руки. В общем и целом, хорошее получилось утро, и оно тянулось, тянулось, тянулось. Пока часы на обогревателе не дотикали до полудня, а разговор не перешел к следующей встрече. *Ну что, Клэр, теперь твоя очередь.* Ей показалось, что рот набит меловой крошкой. Чуть не подавилась ею, заговорив. Словно извиняясь. Не сводя глаз с Глории. Значит, я живу на Парк-авеню, где перекресток с Семьдесят шестой улицей. Тут все и умолкли. *Едете по шестой.* Это она отрепетировала заранее. И выдавила дальше: Линии. И дальше: Подземки. И дальше: Верхний этаж. Ни одно слово не прозвучало верно, они будто не помещались на языке. Ты живешь на Парк-авеню? — переспросила Жаклин. Снова молчание. Чудесно, сказала Глория, яркий блик на губах, где она облизнула их, словно убирай крошки. А Марша, художница со Стейтен-Айленда, хлопнула в ладоши. *Чаепитие у королевы!* — воскликовала она в шутку, не собираясь обидеть, конечно, но все равно она саднила, эта пустяковая ранка.

На самой первой встрече Клэр сказала им, что живет в Ист-Сайде, — и только, но следовало догадаться, даже если она приходила в брюках и мокасинах, не надевала украшений, все равно они должны были почувствовать, что это Верхний Ист-Сайд, и тогда Джениет, блондинка,

подалась вперед и пропищала: *O, a мы и не знали, что ты забралась так высоко.*

Высоко. Словно на Верхний Ист-Сайд надо карабкаться. Словно всем теперь предстоит восхождение. Тросы, каски, карабины.

В ней все ослабло. Ноги сделались ватными. Как будто она рисовалась перед ними. Тыкала носом. Все ее тело качнуло вбок. Лепетала, запинаясь. *Сама-то я росла во Флориде. В квартире довольно тесно, правда. Трубы просто отвратительные. И на крыше такое творится...* Собиралась было добавить, что по хозяйству ей никто не помогает, — нельзя говорить *прислуга*, она ни за что бы не сказала *прислуга*, — но тут Глория, милая Глория, ахнула: *Батюшки-светы, Парк-авеню, да я бывала там только в «Монополии»!* И тут все рассмеялись. Откинулись на спинки и захохотали. Она хоть успела глотнуть водички. Выдавить улыбку. Перевести дух. Им уже не терпелось. *Вот те нате! Парк-авеню!* Часом, не которая сиреневая? Да нет, не сиреневая. Это Парк-плейс лиловая, совершенно точно, [51] но Клэр не разомкнула губ, зачем кичиться? Ушли все вместе — кроме Глории, конечно. Глория махала им из окна на одиннадцатом этаже; пестрое платье, перечеркнутое на груди перекладиной поднятого окна. Она выглядела так одиноко, так трогательно там, наверху. Мусорщики до сих пор бастуют. По кучам отходов шныряют крысы. Под опорами автострады торчат уличные женщины. В узких шортах и топиках, пусть даже снегом метет. Прячутся от холода. Выбегают к грузовикам. Белые облачка дыхания. Страшненькие пузыри из комиксов. Клэр захотелось бегом вернуться, забрать Глорию, вызволить ее из этой жути. Но на одиннадцатый этаж уже не подняться. Что она скажет? Давай, Глория, пропусти ход, заработала двести очков — и на свободу.

Они шагали к станции подземки сплоченной, тесной группой — четыре белые женщины, прижимавшие к себе сумочки чуть сильнее необходимого. Вылитые социальные работницы. Одеты опрятно, но без перегибов. Поезда ждали в улыбчивом молчании. Дженет нервно постукивала ногой. Марша подводила глаза, глядя в зеркальце. Жаклин расчесывала длинные рыжие волосы. Подошел состав, весь в цветных пятнах, в вихре изогнутых росчерков, в него они и вошли. Один из тех вагонов, что с головы до пят покрыты граффити. Даже окна закрашены наглухо. Прямо скажем, не Пикассо. Белых женщин в вагоне больше не оказалось. Нет, она не против подземки. Ни за что не призналась бы спутницам, что это у нее всего второй раз. Хотя никто не бросил на них косого взгляда, не произнес грубого слова. Вышла на шестьдесят восьмой, хотелось просто побывать одной, пройтись, подышать. Шагала по авеню,

раздумывая над тем, как оказалась в этой компании. Они такие разные, у них так мало общего. Но все равно они нравились ей, по-настоящему нравились. Особенно Глория. Сама она не разделяет людей по цвету кожи — с чего бы? Подобные разговоры выводили ее из себя. Во Флориде отец как-то объявил за ужином: *Обожаю негров! Точно так-с! По-моему, каждому просто необходимо завести себе хоть одного.* Она пугливо вылетела из-за стола и два дня потом не покидала своей комнаты. Поднос с едой просовывали под дверь. Ну хорошо, не просовывали. Передавали в щель. Семнадцать лет, одной ногой в колледже. *Скажите папе — я не выйду, пока он не извинится.* И он извинился. Протопал вверх по выгнутой лестнице. Обнял ее большущими руками южанина и назвал модернисткой.

Модерн. Как предмет обстановки. Или картина. Миро. [\[52\]](#)

Но это же просто квартира, только и всего. Столовое серебро, фарфор, окна, отделка, утварь. Только это, ничего более. Быт. Совершенно обыденные вещи. Что тут может быть еще? Ничего. Позволь сказать тебе, Глория: стены меж нами довольно тонки. Только позвони — и они рухнут вовсе. Пустота в почтовом ящике. Никто мне не пишет. Собрания кооператива — ужас кромешный. Шерсть домашних животных в стиральных автоматах. Внизу консьерж в белых перчатках, в отутюженных брюках, при эполетах, но — только между нами, подружки — он не пользуется дезодорантом.

По коже пробегает быстрая дрожь. Вот беда, консьерж.

Он ведь не пристанет к ним с лишними расспросами? Кто там сегодня? Мелвин, верно? Новенький? Среда. Точно, Мелвин. А если он спутает их с прислугой? Поведет к служебному лифту? Надо позвонить и сказать ему. Серьги! Да. Серьги. Скорей же. На самом дне шкатулки, старая пара, простые серебряные гвоздики, редко их надеваю. Дужка немного заржавела, но ничего. Она муслит их во рту. Снова оглядывает себя в зеркале. Платье с ракушками, волосы по плечи, барсучья прядка. Как-то раз ее приняли за мать молодой интеллектуалки из телевизора, рассуждавшей о фотографии, о запечатленном мгновении, о дерзости в искусстве. У нее такая же прядка. *Фотографии продлевают жизнь тех, кто ушел навсегда,* заявила эта девица. Неправда. Жизнь не впихнешь в фотографию. Никак не впихнешь.

Глаза уже начинают блестеть. Плохо. Соберись, Клэр. Она тянется к салфеткам за стеклянными фигурками на комоде, промокает глаза. Выбегает в коридор, хватает трубку старомодного переговорного устройства.

— Мелвин?

Еще звонок. Наверное, курит за дверью.

— Мелвин?!

— Да, миссис Содерберг?

Голос спокойный, уверенный. Уэльс или Шотландия, она не интересовалась.

— Сегодня я собираюсь отобедать с подругами.

— Да, мэм.

— То есть я жду их к завтраку.

— Хорошо, миссис Содерберг.

Она проводит кончиками пальцев по темному дереву стенной обшивки. *Собираюсь отобедать*. Я что, в самом деле произнесла *такое*? Как я могла это сказать?

— Окажите им достойный прием, будьте добры.

— Разумеется, мэм.

— Их будет четверо.

— Да, миссис Содерберг.

Сопит в трубку. Рыжий пушок над губой. Надо было поинтересоваться, откуда он, как только устроился на работу. Невежливо получилось.

— Что-нибудь еще, мэм?

А спросить теперь — и вовсе грубо.

— Мелвин? Не ошибитесь с лифтом.

— Разумеется, мэм.

— Спасибо.

Стена встречает ее лоб прохладой. Вообще не стоило упоминать про лифт. *Буше*,^[53] сказал бы Соломон. Мелвин остолбенеет, увидев их, и отправит прямиком не в тот лифт. *Двери справа, дамочки. Заходите смелей*. Вспыхнули щеки. Но она ведь сказала, что *намерена отобедать*, верно? Уж это он не перепутает. *Отобедать* за завтраком. Ох, батюшки.

Жизнь с вечной оглядкой, Клэр, это даже не жизнь.

Кисло улыбаясь, она возвращается в гостиную. Цветы на месте. Солнце играет на белой мебели. Эстамп Миро над софой. Пепельницы в стратегических точках. Надеюсь, они не станут курить в доме. Соломон терпеть не может табачный дым. Но гости курят, и даже она сама. Ему претит запах, следы жженой бумаги в воздухе. Пускай. Может, и она покурит с остальными, попыхтим вместе, маленький вулкан, небольшой холокост. Жуткое слово. В детстве ни разу не слыхала. Ее воспитывали пресвитерианкой. Небольшой скандал накануне свадьбы. Громыхающий голос отца. *Он кто? Какой-то мужлан из Новой Англии?* И бедный

Соломон, руки сцеплены за спиной, глядит в окно, поправляет галстук, держится, терпеливо сносит оскорблений. Но все равно они возили Джошуа во Флориду, на берега озера Локлуза, каждое лето. Бродили по манговым рощам, втроем держались за руки, Джошуа посредине, раз, два, три — йиииии!

Именно там, в особняке, Джошуа впервые играл на рояле. Пять лет всего. Сидел на деревянном табурете, возил пальцами вверх и вниз по клавиатуре. По возвращении в город они договорились о занятиях в подвальном помещении музея Уитни.^[54] Сольные концерты, галстук-бабочка. Синий пиджачок с золочеными пуговицами. Волосы, расчесанные налево. Ему нравилось давить на педаль рояля. Говорил, вот бы доехать на нем до самого дома. Джжж, джжж! На день рождения они купили ему «Стэйнвей», и восьмилетний Джошуа играл им Шопена перед ужином. С коктейлями в руках, они с мужем садились на софу послушать.

Хорошие деньки. Они проглядывают из самых неожиданных мест.

Она хватает сигареты, спрятанные под крышкой стоящего у рояля табурета, идет в глубь квартиры, распахивает тяжелую дверь черного хода. Раньше здесь ходили горничные. Давным-давно, когда подобные вещи еще водились в природе: горничные и черные ходы. Вверх по ступенькам. Во всем доме она одна изредка выходит на крышу. Толкает дверь пожарного выхода. Сигнализации нет. От темного покрытия — волна жара. Кооператив много лет пытался настелить пол на крыше, но Соломон всегда возражал. Незачем слушать, как ходят по голове. Тем паче — курильщики. В этом он тверд. Терпеть не может дым. Соломон. Хороший, приятный человек. Несмотря даже на свою упрямость.

Стоя в проеме, она глубоко затягивается, выпускает к небу облачко дыма. Преимущество верхнего этажа. Она отказывается называть свою квартиру «пентхаусом». Есть в этом слове нечто отталкивающее. Что-то журнально-глянцевое. На черном гудроне крыши, в теньке от стены она расставила цветы в горшках. Порой от них больше забот, чем радости, но по утрам ей нравится здороваться с розами. Флорибуанды и несколько клочковатых чайных гибридов.

Она склоняется над горшками. Желтые пятнышки на листьях. Изо всех сил стараются пережить лето. Она стряхивает пепел под ноги. С востока — приятный ветерок. Рекой пахнуло. Вчера по телевизору намекали на возможный дождь. Никаких признаков. Парочка облаков, не более. Как они собираются, эти облака? Такое чудо маленькое, дождь. Капли падают на живых и мертвых, мама, только у мертвых зонтики получше. Может, вынесем сюда стулья, все вчетвером, нет, нас пятеро, и подставим лица

солнышку. В летней тишине. Просто побудем вместе. Джошуа нравились «Битлз», он часто слушал их у себя в комнате, даже через его любимые большие наушники пробивало. *Брось как есть.*^[55] Дурацкая песня, право. Оставишь что-нибудь в покое, и покоя уже не видать. Бросишь как есть, и оно пригнет тебя к земле. Бросишь как есть, и оно взберется по стенам твоего дома. Затянувшись снова, она смотрит через парапет. Мимолетное головокружение. Ручеек желтых такси вдоль улицы, по центральной аллее стелется зелень, деревца едва успели высадить.

Жизнь на Парк-авеню не изобилует событиями. Все разъехались на лето. Соломон отказался наотрез. Городское дитя. Обожает работать допоздна, даже летом. Его утренний поцелуй поднял мне настроение. И запах одеколона. Тот же, что и у Джошуа. А когда сын впервые побрился! Каков был день! Джошуа весь измазался в пене. Бритвой возил осторожно. Вывел широкую трассу на щеке, но поцарапал шею. Оторвал клочок от отцовской «Уолл-стрит джорнэл», лизнул и приложил к ранке. Биржевые сводки останавливают кровь. Целый час ходил по дому с клочком газеты на шее. Потом пришлось размачивать, чтобы отлепить. Она стояла в дверях ванной, улыбаясь. Мой мальчик подрос, он совсем взрослый, уже бреется. Давным-давно, давным-давно. К нам возвращается самое простое. Ненадолго замирает под грудиной, потом вдруг бросается к сердцу и тянет его вниз.

В Сайгоне не нашлось такой большой газеты, чтобы слепить все куски воедино.

Она затягивается поглубже, позволяет табачному дыму осесть в легких: слышала где-то, что сигареты помогают от скорби. Одна хорошая затяжка — и забываешь, как плакать. Организму не до того, отвлекся на отправу. Неудивительно, что курево так запросто раздают солдатам. Вот уж точно — «Лаки Страйк».^[56]

Она замечает на перекрестке внизу черную женщину, вполоборота. Высокая, полногрудая. Платье в цветочек. Похоже, Глория. Но сама по себе, без подруг. Чья-то домработница, скорее всего. Поди угадай. Было бы славно сбежать по лестнице, выскочить на угол, подхватить ее, Глорию, самую любимую, обнять крепко-крепко, привести домой, усадить, сварить ей кофе, поговорить, посмеяться и пошептаться, ощутить родство, всего-навсего. Вот чего хочется. Наш маленький клуб. Наша недолгая пауза. Глория, родненькая. Днем и ночью одна-одинешенька в своей многоэтажке. Как вообще можно жить в таком месте? Проволочные заборы. Мусор в воздухе. Отвратительная вонь. Все эти девочки на улице, торгают телом.

Будто вечно готовы завалиться на спину, на матрас из позвонков. И еще зарево пожаров — Дрезден, да и только. Самое подходящее название.

Может, Глорию удастся нанять. Привести в семью. Мелкая работа по дому. Тут немного, там чуть-чуть. Можно будет вместе сидеть за столом на кухне, коротать дни, пропускать порцию-другую джина с тоником, а часы пусть себе текут мимо, она и Глория, в уюте, в радости, да, *Gloria, in excelsis Deo*.^[57]

Женщина внизу скрывается из виду, завернув за угол.

Клэр топчет окурок и бредет к двери. Немного кружится голова. Весь мир на миг качнулся вбок. Вниз по ступеням, в голове туман. Джошуа никогда не курил. Может, на пути к небесам и попросил сигарету. Вот мой большой палец, а вот моя нога, вот глотка, вот сердце, а вот и легкое, эгей, давайте сложим все это вместе ради последней «Лаки Страйк».

Снова дома, через ход для прислуги, из гостиной доносится звон часов.

Добраться до кухни.

Мутит немного. Надо отышаться.

Чтобы воду вскипятить, ученая степень не нужна, так?

Она неуверенно движется по коридору — опять на кухню. Мраморная столешница, шкафчики с золочеными ручками, множество белых машинок. В самом начале утренних чаепитий взяли за правило: гости приносят пончики, кексы, рулеты с кремом, фрукты, печенье, хворост. Хозяйка готовит чай и кофе. Так создается нужный баланс. Она подумывала заказать целый поднос вкусностей у Уильяма Гринберга на Мэдисон — радужные пирожные, ореховые кольца, халу и круассаны, — но не хочется выделяться. Выпендриваться. Не хватало еще.

Она увеличивает пламя под чайником. Маленькая галактика пузырьков и огонь. Хорошая французская обжарка. Мгновенное удовольствие. Расскажите это вьетконговцам.

Рядок чайных пакетиков на стойке. Пять блюдец. Пять чашек. Пять ложек. Может, смеха ради поставить молочник в виде коровы? Нет, это слишком. Аляповато и смешно. Но отчего бы не улыбнуться? Разве доктор Тоннеманн не советовал мне смеяться почще?

Будьте любезны, смейтесь на здоровье.

Смейся, Клэр. Отпусти себя, не зажимайся.

Хороший врач. Не давал ей пить таблетки. Лучше постарайтесь каждый день немного смеяться, это прекрасное средство, сказал он. Таблетки — запасной вариант. Надо было принимать их. Хотя нет. Лучше уж смеяться. Умереть, веселясь.

Да, вырывать из пасти смерти смех.^[58] Хороший врач, точно. Мог даже Шекспира ввернуть. Обхочешься.

В одном из своих писем Джошуа рассказывал об азиатских буйволах. Они его поразили. Такие красивые. Он видел однажды, как отряд солдат забросал реку гранатами. Всем было очень весело. И впрямь пасть смерти. Покончив с буйволами, писал Джошуа, солдаты расстреляли ярких птиц на деревьях. Вообрази, каково было бы считать их потом. *Можно пересчитать павших, но нельзя оценить потери. На небесах нет математики, мама. Можно измерить все остальное.* Это письмо снова и снова возникало перед глазами. Логика во всем живом. Повторяющиеся узоры в цветах. В людях. В азиатских буйволах. В воздухе. Джошуа ненавидел войну, но его все равно туда отправили, хотя он успел обосноваться в Калифорнии, в исследовательском центре Пало-Альто. Вежливо попросили, не как-нибудь. Президент желал знать, сколько человек погибло. Самостоятельно Линдон Б.^[59] не мог посчитать. Каждый день к нему являлись советники, выкладывали на стол факты и цифры. Потери сухопутных сил. Потери флота. Потери десанта. Потери гражданского контингента. Потери дипкорпуса. Потери медперсонала. Потери спецназа. Потери военных строителей. Потери Национальной гвардии. Но числа не желали складываться. Кто-то спутывал все карты. Журналисты и телевизионщики дышали Эл-Би-Джею в затылок, и ему требовались точные данные. Он мог отправить человека на Луну, а пересчитать мешки с убитыми — никак. Мог запустить на орбиту спутник, но был не в состоянии определить, сколько крестов надо вкопать. Отборные компьютерные войска. Спецотряд очкариков. Марш в строй. Послужи нации. Стрижка по уставу. *Моя страна, тебе благодаря мы технологией разжились почем зря.*^[60] Отправились самые смышленые и многообещающие. Из Стэнфорда. Массачусетского технологического. Университета Юты. Калифорнийского в Дэйвисе. Друзья Джошуа по Пало-Альто. Те, что воплощали в жизнь мечту о сети ARPANET. Снарядились и отправились за море. Все белые, до единого. Были и другие системы учета — по расходу сахара, бензина, боеприпасов, сигарет и банок тушеники, — но Джошуа выпало считать мертвцев.

Послужи своей стране, Джош. Если способен сочинить программу, которая играет в шахматы, то уж наверняка сумеешь определить, скольких наших уложили узкоглазые. Тащите сюда свои нули-единицы, герои. Научите, как посчитать жертвы осколочных снарядов.

Ему так и не смогли подобрать достаточно узкую в плечах форменную

куртку и брюки нормальной длины. На трап самолета он взошел с голыми щиколотками. Я уже тогда должна была понять. Должна была позвать его назад. Но он отправился. Самолет взмыл в воздух и сделался точкой на фоне неба. В Тан-Сон-Нят уже были выстроены бараки. На военно-воздушной базе. Он рассказывал, их даже встречал небольшой духовой оркестр. Шлакобетон и столы из прессованных опилок. Комната, забитая умными шкафами PDP-10 и электроникой от «Ханиуэлл». [61] И все это приветственно гудело в честь новоприбывших. Кондитерская лавка, писал Джошуа.

Ей так много хотелось сказать сыну на той бетонной полосе, в день его отлета. Миром управляют жестокие люди, взять хотя бы их армии. Если они прикажут, чтобы ты стоял смирно, лучше танцуй. Если прикажут сжечь флаг, размахивай им. Если прикажут убивать, воскрешай. Тезис, антитезис. Вывод, анти вывод. Подчеркни это дважды. Все прячется там, в цифрах. Послушай свою мать. Послушай меня, Джошуа. Посмотри мне в глаза. Я должна сказать тебе кое-что.

Но он стоял перед ней, раскрасневшись, с коротким ежиком стрижки, и она молчала.

Скажи ему что-нибудь. Его сияющее лицо. Скажи хоть что-то. Скажи. Скажи ему. Но она только улыбалась. Соломон вложил звезду Давида в его руки и, отвернувшись, произнес: *Будь храбрым*. Она поцеловала сына в лоб на прощание. Отметила, с какой идеальной симметрией возникают и расправляются складки на спине форменной куртки, и уже тогда знала, просто знала, в самый миг расставания, что сын не вернется. *Алло, Центральная? Соедините меня с Раем, кажется, мой Джошуа уже прибыл*.

Не давай воли унынию. Ни за что. Черпай кофе ложкой, раскладывай чайные пакетики. Сопротивляйся. Воображай себя стойкой. В этом есть логика. Воображай и держись изо всех сил.

Каково это — быть мертвым, сынок? Как думаешь, мне понравится?

Ох. Звонок вызова. Ох-ох. Ложечка звякает об пол. Ох. Быстрые шаги по коридору. Вернись, подними ложку. Теперь порядок, да, полный порядок. Верните мне его живым и невредимым, мистер Никсон, и к вам не будет претензий. Заберите это мертвое тело, все пятьдесят два года, махнемся не глядя, я не буду жалеть, я не стану жаловаться. Просто верните его нам, подлатанным и красивым.

Держи себя в руках, Клэр.

Я не должна расклейтесь.

Нет.

Теперь скоренько. К двери. К звенящему интеркому. Хорошо бы макнуть голову в воду, освежить мозги. Мгновенный холодок, как в тех кропильницах у католиков. Нырни и исцелись.

— Да?

— Ваши гости, миссис Содерберг.

— Ох. Да. Отправьте их наверх.

Слишком резко? Слишком быстро? Надо было сначала сказать: *Прекрасно*. Чудесно. С радостью в голосе. Вместо: *Отправьте их наверх*. Даже не сказала: *Пожалуйста*. Словно батраков. Водопроводчиков, декораторов, солдатню. Она вдавливает кнопку интеркома, вслушивается. Забавная старая штуковина. Слабые щелчки статики, шипение, далекий смех, хлопок двери.

— Лифт прямо впереди, леди.

Ну, по крайней мере, Мелвин не оплошал. Не повел их к служебному лифту. И вот они в теплом ящике из красного дерева. Нет, не так. В лифте.

Едва слышный гул голосов. Все вместе. Должно быть, сначала встретились, а потом уже зашли в дом. Договорились заранее. Ей даже в голову не пришло. И мысли не мелькнуло. Зря они так.

Говорили обо мне, наверное. Ей бы врачу показаться. Жуткая седая прядь у нее в волосах. Муженек судья. Носит эти невероятные тенниски. Улыбается с трудом. Живет в пентхаусе, но говорит «там, наверху». И дико нервничает. Думает, она как все, но на самом деле высокочка. Сноб. Еще разревется, того гляди.

Как встретить? Пожать руки? Расцеловать? Нужно ли улыбаться? На самой первой встрече они обнялись на прощание, все вместе, на Стейтен-Айленд, на крыльце, таксист уже сигналил, ее глаза застилали слезы, в объятиях друг у друга, все такие счастливые, у дома Марши, когда Дженет заметила желтый воздушный шар, запутавшийся в ветках: *Ой, только давайте поскорее увидимся снова!* И Глория сжала ей руку. Прикоснулась щекой. *Наши мальчики, думаешь, они были знакомы, Клэр? Как думаешь, они дружили?*

Война. Ее омерзительная близость. Одуряющий запах ее тела. Ее дыхание на шее, все это время, уже два года после вывода войск, три, два с половиной, пять миллионов, какая разница? Ничто не окончено. Сливки превращаются в молоко. Первая утренняя звезда — всего лишь последняя ночная. Казалось ли ей, что их мальчики могли дружить? Да, Глория, конечно же, они могли быть друзьями. Вьетнам — место не хуже прочих, чтобы завязать дружбу. Ну разумеется. У доктора Кинга была мечта, которую не получится развеять на берегах Сайгона. Когда стреляли в

доброго доктора, она отправила его церкви в Атланте тысячу долларов двадцатками. Отец рвал и метал. Назвал эти деньги откупом. Ее это не волновало. От всей вины не откупишься. Да, она была модернисткой. Надо было послать все наследство, до последнего цента. *Обожаю отцов! Помоему, каждому просто необходимо отделаться хоть от одного.* Нравится тебе или нет, папочка, эти деньги достанутся доктору Кингу, и что ты теперь скажешь о ниггерах и жидах?

Ох. Мезуза^[62] на двери. Ох. Совсем про нее забыла. Касается ее, встает перед ней. Роста как раз хватит, чтобы загородить. Затылком. Лязгает лифт. Откуда эта неловкость? Тут нечего стыдиться, правда же? Что такого в этой коробочке? Минули годы с тех пор, как Соломон настоял на том, чтобы повесить ее здесь. Вот и все. Ради своей матери. Чтобы ей было приятно, когда приедет навестить. И что в этом плохого? Мезуза и вправду подняла ей настроение. Разве этого мало? Мне не за что извиняться. Я все утро носилась по квартире, запечатав губы, боясь дышать. Наглоталась воздуху. О, быть бы мне парой кривых клешней.^[63] Как там выражается молодежь? Крепись, ботан. Держись, не падай. Тросы, каски и карабины.

Что же это было? Что я так и не сказала Джошу?

Лифт едет ввысь, она так и видит, как меняются номера этажей. Из шахты доносятся шорохи, громкий щебет голосов. Уже освоились. Жаль, нам надо было встретиться пораньше, в каком-нибудь кафе. Ну вот и они, прибыли наконец.

Что это было?

— Привет, — говорит она, — здравствуйте, здравствуйте. Марша! Жаклин! Какая красавица! Проходите, о, чудесные туфли, Дженет, сюда, сюда. Глория! О, привет, ох, ты погляди, пожалуйста, входите, я так рада вас видеть.

О войне тебе нужно знать только одно, сынок: не ходи.

* * *

Казалось, чтобы побывать с ним, стоило только совершить путешествие по электрической сети. Это она умела. Можно было бросить взгляд на любой электроприбор — телевизор, радиоприемник, бритву Соломона, — и в следующее мгновение она уже мчалась по высоковольтным линиям. Лучше всего холодильник. Она просыпалась среди ночи и шла на кухню,

где приникала к холодильнику. Постояв, открывала дверцу, обдавала себя холодной волной. Особенно приятно, что внутри не загорался свет. За какой-то миг она могла из тепла окунуться в холод, не потревожив темноты и не разбудив Соломона. Почти беззвучно, только мягкий шлепок прорезиненной дверцы, и по телу уже бегут холодные воздушные ручейки, и она уже способна взглянуться дальше, сквозь провода, катоды, транзисторы, рубильники, сквозь эфир, и в самом конце увидеть его, внезапно очутиться в той же комнате, рядышком, вытянуть руку и прикоснуться к его плечу, утешить прямо там, где он сидел, работая под лампами дневного света, в длинном ряду столов и матрасов.

У нее имелись свои подозрения, свои интуитивные представления о том, как все это работало. Свое дело она знала, да и диплом получила не за здорово живешь. Но все равно поражалась тому, что в деле учета мертвцев машине оказались способнее людей. Что перфокарты могут знать о смерти? Как громоздкий набор ламп и проводов может судить о разнице между живыми и мертвими?

Сын посыпал ей письма. Называл себя «хакером». Словцо, будто явившееся из лексикона лесорубов. Это лишь значило, что он программирует свои машины. Он создал язык, щелкавший тумблерами. Мгновение — и падают тысячи затворов, открывая тысячи микроскопических шлюзов. Ей это представлялось выходом на открытое пространство: один шлюз ведет к другому, к третьему, за холмы, и уже скоро ее сын оказывается на реке, сплавляется на плоту по проводам. Он говорил, что от работы за компьютером у него темнеет в глазах, появляется чувство, будто он скользит куда-то по перилам, и она только гадала, откуда могли взяться перила, в его детстве не было никаких перил, но принимала как данность и представляла его там, в холмах вокруг Сайгона, как он скатывается по перилам к бетонному бункеру под зданием из шлакобетона, как усаживается за свой рабочий стол, как оживают кнопки под его пальцами. Как четко очерченный курсор мигает перед его глазами. Как на его лбу появляются морщинки. Как он лихорадочно просматривает распечатки. Как смеется над шуткой, кочующей по столам. Прорывы. Провалы. Тарелки с остывшим обедом на полу. Желудочные таблетки, рассыпанные вокруг. Паутина электрических кабелей. Круговорот переключателей. Урчание вентиляторов. В комнате становилось так душно, говорил он, что раз в полчаса всем приходилось выбираться подышать. Снаружи имелся шланг с водой, чтобы люди могли охладиться. Вернувшись за свои пульты, они высыхали за считанные секунды. Друг друга называли «Мак». Мак то, Мак сё. Любимое словечко. Машиное

обучение. Система человек-компьютер. Многостанционный доступ. Безумцы и клоуны. Каждый требует осторожного обращения. Крикнешь ему что-нибудь, может и в штаны наложить.

Все, чем они занимались, вертелось вокруг машинок, рассказывал сын. Они разделяли, увязывали, сочетали, сцепляли, удаляли. Переадресовывали команды. Взламывали пароли. Меняли платы памяти. Черная магия, да и только. Они разбирались в тайных мистериях каждого компьютера. Проводили с ними дни напролет. В ход шли предчувствия, разочарования, смутные догадки. Когда требовалось вздрогнуть, они просто сползали под стол, слишком измученные, чтобы видеть сны.

«Хакнуть Смерть!» — так прозвали его основной проект. Джошу пришлось прорваться через все архивные записи, вручную внести в систему все имена, суммировать потери, превратить людей в цифры. Сгруппировать, отсортировать, отправить на хранение, закодировать, вывести на печать. Проблема была не столько в смерти как таковой, сколько в наложении смертей. В погибших однофамильцах — Смитах, Родригесах, Салливанах и Джонсонах. В отцах, которых звали точно так же, как и сыновей. В погибших дядюшках с теми же инициалами, что и у павших племянников. В бойцах, не вернувшихся из самоволки. В общих операциях с раздельными заданиями. В неточных донесениях. В ошибках. В секретных частях, катерах, опергруппах, разведотрядах. В тех, кто обзавелся семьей в одной из местных деревушек. В тех, кто остался глубоко в джунглях. Кто мог отчитаться за них? Но ему удалось впихнуть этих неучтенных в свою программу, насколько это было возможно. Обустроить местечко, где те могли обрести хоть какую-то жизнь. Он с головой ушел в работу, не задавая лишних вопросов. Это занятие, писал он, казалось подходящим для патриота. Более всего ему нравились творческие вспышки — те озарения, когда удавалось разрешить проблему, прежде не имевшую решения, найти четкий, изящный ответ.

Сочинить программу, которая сопоставляет данные о погибших, было относительно несложно, писал он, но на самом деле ему хотелось поработать над другой программой — той, что сумела бы докопаться до смысла самой смерти. В далеком будущем. Однажды компьютеры соберут вместе лучшие умы. Через тридцать, сорок или сотню лет. Если прежде мы не порвем друг друга в клочья.

Мы на передовой линии человеческого знания, мама. Он писал ей, о чем мечтает: о разбросанных по миру лабораториях, использующих общие ресурсы. О письмах, достигающих адресата за считанные секунды. Об удаленных системах, которыми можно будет управлять при помощи

телефонной линии. О компьютерах, которые смогут самостоятельно устранять собственные поломки. О протоколах, размагничивающих устройствах, телепринтерах, блоках памяти, о том, как здорово разогнать «Ханиуэлл» до предела, и о том, как классно дурачиться за клавиатурой прототипа «Альто»,^[64] который ему прислали. Он живописал печатные схемы с тем же восторгом, с каким некоторые рассказывают о сосульках. Он писал, что ничуть не удивился, узнав о шестидесяти четырех словах, которыми эскимосы описывают снег; таких слов могло быть и больше — почему бы и нет? Никаких слов не хватит, чтобы рассказать о глубинной красоте, порожденной человеческим гением и отпечатанной на кусочке кремния, который однажды можно будет сунуть в портфель и повсюду носить с собой. Поэма, высеченная в скале. Теорема на осколке камня. Программисты — строители будущего. Наше знание — сила, мама. Единственные пределы установлены нашим сознанием. Он писал, что не существует задачи, с которой не совладали бы компьютеры: они способны разрешить самые сложные проблемы, вычислить значение «пи», определить прародителя всех языков, отыскать самую далекую звезду. С ума сойти можно, до чего же мал мир. Всего-то и нужно, что открыться ему. Поговори с машиной — и она ответит, мама. Она почти обязана быть человеком. Так и стоит ее воспринимать. Это как стихи Уолта Уитмена: в них можно вложить все, что пожелаешь.

Она сидела у холодильника, читала его письма, гладила его по голове, говорила ему, что пора пойти немного поспать, надо бы поесть, пора поменять одежду, вообще стоит следить за собой. Хотела убедиться, что он не потускнеет. Однажды, когда отключили электричество, она сидела под кухонными шкафчиками в слезах: никак не получалось пробиться. Ждала, сунув в розетку карандаш. Когда электричество появилось снова, карандаш подпрыгнул в пальцах. Она понимала, что со стороны выглядит нелепо — женщина у холодильника, то откроет дверцу, то закроет, — но это приносило утешение, а Соломон ни о чем не подозревал. Она всегда могла сделать вид, что стряпает, достает молоко, ждет, пока разморозится мясо.

Соломон не хотел говорить о войне. Его выходом было молчание. Вместо этого он болтал о судебных делах, настоящая литания городского безумия: убийцы, насильники, мошенники, сутенеры, поножовщина, грабеж. Только не о войне. Допускалось разве что упомянуть протестующих — их он считал слабыми, трусливыми простаками. Выносил им самые суровые приговоры, какие только можно. Шесть месяцев заключения за ведерко крови, выплеснутое на бумаги призывной комиссии. Восемь месяцев — за разбитые стекла вербовочного пункта на

Таймс-сквер. Саму ее так и подмывало выйти на улицу, поучаствовать в протестах и демонстрациях, перезнакомиться со всеми хиппи, йиппи и дриппи на Юнион-сквер и в парке Томпкинс-сквер, отстаивать «Кейтонсвилльскую девятку»^[65] с плакатом в руках. Но она никак не могла отважиться. Мы должны поддержать нашего мальчика, говорил Соломон. Нашего светловолосого ангелочка. Который еще несколько лет тому назад спал между нами, свернувшись клубком. Который разворачивал железную дорогу на персидском ковре. Который вырос из своей голубой курточки. Который знал, чем вилка для рыбы отличается от салатной или обеденной, все тривиальные мелочи жизни.

А потом, совершенно внезапно, — щелк. Отключение электричества. Беспространная, вечная темнота.

Джошуа превратился в код.

Стал частью программы, которую сам же и написал.

Она два месяца не покидала постели. Едва шевелилась. Соломон уже собирался нанять сиделку, но она была против. Сказала, что сама стряхнет этот ступор. Впрочем, слово не слишком удачное, не *стряхнет*, нет; лучше будет *выскользнуть* из него. Такое слово понравилось бы Джошуа. Я соскользну. Начала бродить по квартире — через столовую, круг по гостиной, мимо кухонной стойки, снова к холодильнику. Она прикрепила фотографию Джошуа в самом центре дверцы. Трогала ее, разговаривала с ним. И холодильник начал собирать вещи, которые пришлись бы ему по сердцу. Простые вещи. Она вырезала их отовсюду и развешивала. Компьютерные публикации. Изображения печатных плат. Фото нового корпуса исследовательского центра в Пало-Альто. Газетная статья о компьютерной графике. Меню из пиццерии «Рэйз Фэймос». Короткое объявление из «Виллидж Войс».

Со временем ей начало казаться, что холодильник вконец оброс. Мысль почти вызвала улыбку. Мой лохматый холодильник.

Как-то вечером маленькие вырезки спорхнули на пол; пришлось склониться над ними и перечесть вновь. *Ищем для общения матерей. Вьетнам вет., п/я 667.* Она никогда не думала о сыне как о ветеране Вьетнамской войны; он был компьютерным программистом, летал в Азию. Но объявление кололо ей пальцы. Она отнесла вырезку на кухонную стойку, уселась, быстро нацарапала карандашом ответ, затем обвела написанное чернилами, тихонько выскочила за дверь, прокралась в лифт. Она могла бы отправить письмо из холла внизу, но ей не хотелось; она выбежала на Парк-авеню, прямо посреди ночи, в метель; швейцар осталбенел, увидев, как она выходит в ночной рубашке и тапочках. *Миссис*

Содерберг, вы в порядке?

Уже не остановиться. Письмо в руке. Мать в поиске сыновьих костей. Находит их в кафе, взорванном за тридевять земель.

Лексингтон, почтовый ящик на Семьдесят четвертой улице. В воздухе растворяются белые облачка ее дыхания. Пальцы ног мокрые от снега. Если не отправить письмо прямо сейчас, она никогда на это не решится. Когда она вернулась, швейцар смущенно кивнул, метнул быстрый взгляд на ее груди. *Доброй ночи, миссис Содерберг.* Так и захотелось расцеловать его, там и тогда. Чмокнуть в лоб. Спасибо, что подглядываете. Это подняло ей настроение. Даже взволновало, если честно. Туго натянутая на груди ткань, все видно, все подчеркнуто, холод только на пользу, единственная снежинка медленно тает прямо по центру горла. В любое другое время она сочла бы это непристойным. Но здесь, в своей ночной рубашке, в теплой кабине лифта, она была благодарна. Той ночью ее охватила особая легкость. Она очистила дверцу холодильника от всех вырезов, оставила только фотографию Джоша. Вернулась к простоте. Устроила стрижку. Думала о том, как письмо путешествует сейчас в недрах почтовой системы, чтобы в итоге попасть в руки какой-то женщине, во всем похожей на нее. Кем окажутся эти люди? Смогут ли проявить чуткость, будут ли добры к ней? Ничего больше не надо, только немного доброты.

Той ночью она забралась в постель и уютно устроилась рядом с мягким, теплым Соломоном. Провела рукой по его спине. *Сол. Солли. Милый мой Сол. Проснись.* Он повернулся, сетяя, что у нее холодные ноги. *Тогда согрей меня, Солли.* Приподнялся на локте, склонился над ней.

А после она уснула. Впервые за целую вечность. Она уже почти забыла, каково это, просыпаться. Утром она открыла глаза рядом с мужем и снова легонько подтолкнула его локтем, пробежала пальцами по изгибу его плеча. *Ого, сказал он с усмешкой, в чем дело, родная, неужто сегодня мой день рождения?*

* * *

Заходят. Одеты осмотрительно, за исключением Жаклин, чей вырез в платье из набивной ткани с орнаментом от Лоры Эшли^[66] мог показаться довольно смелым. По пятам за ней семенит Марша, раскрасневшаяся и взъерошенная. Как будто едва влетела в окно и сейчас начнет биться о стены, хлопая крыльями. На мезузу на двери никто даже внимания не обратил. Вот и хорошо, ничего не надо объяснять. Дженет, с опущенной

головой. Прикосновение к запястью и широкая дружелюбная улыбка — от Глории. Они спешат по коридору, причем Марша уже впереди, с коробочкой пирожных в руках. Мимо комнаты Джошуа. Мимо ее собственной спальни. Мимо портрета Соломона на стене: моложе на восемнадцать лет и макушка куда пышнее. В гостиную. Напрямик к софе.

Марша выкладывает коробку на кофейный столик, откидывается на мягкие белые подушки, обмахивается рукой. Может, это просто прилив крови, может, задохнулась от спешки. Но нет, она по-прежнему трепещет, и остальные знают: что-то случилось.

По крайней мере, думает она, они не встречались заранее. Не придумывали особой стратегии для посещения Парк-авеню. *Не пропускай ход, не бери двести очков.* Придвигает пуфик, расставляет стулья, за руку отводит Глорию к софе. Та еще держит цветы, судорожно сжимает их. Было бы грубо забрать букет сейчас, но в воде цветам станет лучше.

— Боже мой, — говорит Марша.

— Ты хорошо себя чувствуешь?

— Что случилось?

Все собирались вокруг нее, как дети у костра, тянутся вперед, жаждут развития.

— Вы не поверите.

Лицо у Марши красное, на лбу бисеринки пота. Дышит так, словно в воздухе не хватает кислорода, словно они собирались на каком-то горном пике. Тросы, каски и карабины, иначе не скажешь.

— Что такое? — спрашивает Дженет.

— Тебя кто-то обидел?

Грудь у Марши ходит ходуном, золоченый кулон сбился на сторону.

— Человек наверху!

— Что?

— Там человек шел по воздуху.

— Спаси-помилуй... — говорит Глория.

Клэр даже прикинула, что Марша может быть чуточку навеселе или даже под кайфом, — кто знает, по нынешним-то временам; допустим, она пожевала грибов на завтрак или опрокинула стопку водки. Но та казалась совершенно трезвой, разве что немного разрумянилась, ни красноты в глазах, ни заплетающегося языка.

— В центре.

Ну, пьяной или нет, она все равно благодарна Марше и ее маленькой истерике. Из-за нее все так быстро прошли в квартиру. Минимум суety. Обошлось без реверансов, охов и ахов, неловкостей, какие прекрасные

шторы да какой замечательный камин, и, да, мне два кусочка сахара, пожалуйста, здесь так уютно, правда же, Клэр, очень уютно, какая красавица вазочка, и Господь всемогущий, это твой муж на стене? Все заранее приготовленные слова не смогли бы помочь так гладко завести всех в дом, без единой загвоздки.

Она поняла, что должна сделать что-нибудь, показать гостям, что им рады. Дать Марше носовой платок. Принести ей высокий, холодный бокал воды. Взять из рук Глории цветы. Открыть коробки с пирожными и разложить их. Похвалить пончики. Хоть что-нибудь. Что угодно. Но они все были заняты Маршой, переполнявшими ее чувствами, взлетами и падениями ее груди.

— Может быть, принести воды, Марша?

— Да, пожалуйста. О да.

— Где человек?

Голоса звучат все глупее. Какая я глупая! Бегом на кухню, скорей-скорей. Ей не хотелось пропустить ни слова. Тихое журчание разговора из гостиной. К холодильнику. Формочки для льда. Еще утром надо было наполнить их свежей водой. Просто в голову не пришло. Она стучит ими о мраморную столешницу. Три, четыре кубика льда. Несколько осколков разлетаются по столу. Старый лед. Мутный в центре. Кубик скользит, точно бросившись наутек, падает на пол. Стоит ли? Она оборачивается в сторону гостиной и подбирает кубик с пола. Одним прыжком — к раковине. Пропускает немного воды из крана, омывает кубик, наполняет бокал. Надо бы нарезать немного лимона, в нормальных условиях она бы так и сделала, но вместо этого выбегает из кухни, спешит в гостиную, через весь ковер, с бокалом воды.

— Вот, держи.

— О, прекрасно. Спасибо.

Благодарная улыбка Дженет, вот от кого не ожидала.

— Но, вы понимаете, на пароме было не протолкнуться, — говорит Марша.

Она немного обижена, что Марша не дождалась ее, чтобы начать свой рассказ, но теперь это неважно. Паром шел со Стейтен-Айленда, откуда же еще.

— А я стояла впереди, на самом краю.

Клэр вытирает мокрую руку о подол платья на бедре, соображая, где бы ей теперь сесть. Быть может, взять быка за рога и устроиться прямо на софе? Но это будет немного вызывающе — сесть рядом с Маршой, в центре внимания. Только стоять позади тоже нехорошо, еще подумают, что она

старается отделиться от остальных, оставаться в стороне. Но с другой стороны, ей потребуется пространство для маневра: нужно будет встать и подать напитки, разложить пирожные, выяснить, что кому принести, дать всем почувствовать себя как дома. Растворимый или молотый? С сахаром или без?

Она улыбается Глории и придвигается к ней бочком, снимает полосатую пепельницу с диванного валика, с тихим стуком ставит на стол и усаживается, чувствуя успокаивающую ладонь Глории на спине.

— Прошу тебя, продолжай. Извини.

— И я опоздала полюбоваться восходом, но решила, что все равно там останусь. Он красивый. Город. Ранним утром. Не знаю, видели вы или нет, но он красивый. И я просто стояла там, о чем-то мечтая, когда подняла глаза и заметила вертолет, он летел по небу, и, в общем, вы же знаете про меня и вертолеты.

Они действительно знают, и на миг по комнате словно пробегает тень, но Марша, похоже, этого не замечает, так что она решает кашлянуть — ради короткой паузы: немножко тишины, капелька уважения.

— Так я и гляжу на этот вертолет, а он висит в воздухе, прямо как рассматривает что-то. Наверху, но что-то с ним не так. Он вроде как подвешен, качается взад и вперед.

— Свят-свят...

— И я все думаю о том, что Майк-младший держал бы машину куда лучше, он ведь творил в воздухе настоящие чудеса, просто Ивел Книвел^[67] какой-то, его сержант так и сказал мне. И тогда я подумала — может, с этим вертолетом что-то не так, понимаете? Здорово напугалась. Ну, что он так неуверенно висит в воздухе.

— Ох, нет! — говорит Жаклин.

— Мне не было слышно, как гудит мотор, а потом вдруг я увидела эту крошечную черточку. Позади вертолета. Клянусь вам, просто крапинка, не больше насекомого. Но это был человек.

— Человек?

— Бродя ангела? — спросила Глория.

— Летающий человек?

— Что за человек?

— Он летел?

— Где?

— Ой, я прямо вся в мурашках.

— Этот парень, — говорит Марша, — шел по канату. То есть сразу-то я не поняла, потом сообразила, но так и есть, там был парень на канате.

— Да где?
— Ш-ш-ш, — говорит Дженет.
— Наверху. Между башнями. На высоте в миллион миль. Его почти и не видно.

— А что он там делал?
— Шел по канату!
— Канатоходец.
— Что?
— Господи помилуй.
— Он что, упал?
— Ш-ш-ш.
— Ой, только не говори, что он упал.
— Ш-ш-ш!
— Прошу тебя, только бы не упал.
— Да хватит уже! — говорит Дженет причитающей Жаклин.
— Тогда я толкаю локтем этого юнца, что стоит рядом. Ну, из тех, что с длинными волосами, завязанными в хвост. И он такой: чего вам, леди? Как будто его дико потрясло, как эта тетка посмела спутать его мысли, или мечты, или чем он там занимался на палубе парома. А я говорю: смотрите! А он говорит: куда?

— Господи помилуй.
— И я показываю пальцем, там человек летающий, и тогда он сказал скверное слово, ты простишь меня, Клэр, в твоем доме, мне так неловко, но он говорит: Ёбть!

Клэр так и подмывает рассмеяться: ничего, я бы тоже сказала, будь я на его месте. Я бы проговорила это слово задом наперед и опять наоборот, чтобы слышал весь квартал, ёбть направо и налево, ёбть всех кругом — раз, второй и третий. Но она только улыбается Марше и кивает, как она надеется, понимающе: нет ничего страшного в том, чтобы открыть рот и сказать «ёбть», это совершенно естественно, на Парк-авеню, в среду, этим кофейным утром, на самом деле ничего лучше и в голову не приходит, учитывая обстоятельства, может, им стоит произнести это соленое словечко всем вместе, в унисон, спеть его хором.

— И тогда, — говорит Марша, — все, кто был рядом, начали поднимать головы, и я глазом не успела моргнуть, как капитан парома высунулся с биноклем, посмотрел и говорит: мужик идет по канату.

— Взаправду?
— Ага. Вы только представьте. Вся палуба, забитая людьми. Утренняя сутолока. Плечом к плечу. И кто-то идет по канату. Между теми новыми

высотками, Мировыми Башенными штуковинами.

— Торговый.

— Центр.

— Ах, эти?

— Послушайте меня.

— Эти уродливые столбы, — говорит Клэр.

— И тогда этот молодой парень с хвостиком...

— Который «ёбть»? — уточняет Дженет, хихикая.

— Да. Так вот, он тут же заявляет, что уверен, на все пятьсот пятьдесят процентов уверен, что это проекция, картинка на небе, или, может, там растянут огромный белый экран, а в вертолете стоит кинопроектор или что-то такое, он так исыпал этими техническими словечками.

— Проекция?

— Как в телевизоре? — говорит Жаклин.

— Цирк, наверное.

— И я говорю ему: с вертолета такого не сделаешь. И он этак косится на меня, дескать, ну конечно, леди. А я снова говорю: это невозможно. А он говорит мне: и что вам вообще известно о вертолетах, тетя?

— Быть не может!

— И я ему говорю, что вообще-то чертовски много знаю о вертолетах.

Так и есть. Марша знает о вертолетах черт-те сколько, о своих чертовых вертолетах, черт бы их забрал.

Она рассказывала им всем, в своем собственном доме на Стейтен-Айленд, что Майк-младший тогда был уже в третьей командировке во Вьетнам, его отправили в обычный полет над побережьем Куи-Нёна, доставка сигар какому-то генералу, вертолетом «Хьюи»,^[68] приписанным к 57-й медбригаде, — сигары, представляете? Какого черта им понадобилось возить сигары вертолетом-эвакуатором? — и это был хороший вертолет, они способны летать со скоростью до девяноста узлов, рассказывала Марша. Цифры так исыпались с языка. У машины были какие-то неполадки со штурвальной колонкой, сказала она и ударила в описание деталей: и устройство мотора, и передаточное отношение, и длина двух металлических лопастей хвостового винта, когда на самом деле важно было другое, только это и было важно: Майк-младший задел верхнюю штангу футбольных ворот, просто уму непостижимо, железяку всего-то в шести футах над землей, — и кому вообще в голову взбредет гонять мяч во Вьетнаме? — которая заставила «вертушку» завалиться набок, аварийная посадка, непредвиденная помеха, и он неловко ударился головой, сломал шею, не было ни взрыва, ни даже огня, просто нелепая случайность,

вертолет целехонек, она снова и снова прокручивала в голове всю ситуацию, так бывает, и с той поры Маршу преследует один и тот же ночной кошмар: армейский генерал раздраженно открывает одну сигарную коробку за другой, только там нет никаких сигар, в них только кусочки, лоскутки ее сына.

Она изучила вертолеты внутри и снаружи, о да, и тем сильнее сопереживание.

— Так вот, в любом случае, я сказала, лучше бы он помолчал.

— Да уж, — говорит Глория.

— Будьте уверены, капитан парома глядит в бинокль и объявляет всем: никакая это не проекция.

— Ну еще бы.

— А я только об одном и думаю: может, это мой мальчик вернулся поздороваться?

— О нет.

— Ох.

— Боже.

Сердце камнем падает вниз, бедная Марша.

— Человек на такой высоте.

— Представьте себе.

— Сколько мужества.

— Точно. Потому я и подумала о Майке-младшем.

— Конечно.

— И он все-таки упал? — спрашивает Жаклин.

— Ш-ш-ш, ш-ш-ш... — говорит Дженет. — Пусть расскажет.

— Да я просто спросила.

— В общем, капитан разворачивает паром, чтобы мы получше рассмотрели, а потом ведет его к пристани. Ну, знаете, мы ударились бортом. Оттуда ничего не видно. Угол не тот, обзор перекрыт. Северная башня, южная башня, я уж и не знаю, только ничего не было видно, что там происходит. И я даже ни слова не сказала тому парню с хвостиком. Развернулась на каблуках и первой сошла на берег. Мне хотелось бежать, увидеть моего мальчика.

— Ну конечно, — говорит Дженет. — Тише,тише.

— Ш-ш-ш, — говорит Жаклин.

Комната сжалась до предела. Еще один поворот отвертки — и будет взрыв. Дженет не отводит глаз от Жаклин, та отбрасывает прядку своих длинных рыжих волос, словно отмахиваясь от мухи, от летающего человека, и Клэр переводит взгляд с одной подруги на другую, ожидая, что

кто-то сейчас перевернет столик, швырнет об пол вазу. И думает: надо что-то сделать, что-то сказать, спустить пар, дернуть стоп-кран, и она тянется к Глории, чтобы взять цветы, петунии, чудесные петунии, роскошные зеленые черенки, аккуратно срезанные внизу.

— Поставлю их в воду.

— Да-да, — с облегчением говорит Марша.

— Я мигом.

— Живей, Клэр.

— Сейчас вернусь.

Именно то, что нужно. Правильный поступок. Совершенно правильный. На цыпочках она идет на кухню и замирает у двери. Шаг дальше — и уже не будет слышно разговора. Как глупо вышло, с этими цветами. Нужно было как-нибудь оттянуть момент, выгадать еще минутку. Она вплотную подходит к двери, напрягая слух.

— ...Так я и бегу по этим старым, захламленным переулкам. Мимо аукционных домов, и лавок с дешевой электроникой, и галантерейных магазинов, и съемного жилья. Думала, оттуда можно разглядеть большие здания. Ну, то есть, они же огромные.

— Сто этажей.

— Сто десять.

— Ш-ш-ш.

— Но их никак не видно. Мелькают вдалеке, да угол не тот. Я старалась выбрать дорогу напрямик. Стоило просто бежать вдоль набережной. Но я все бегу, бегу. Там, наверху, это мой мальчик, он явился поздороваться.

Все молчат, даже Дженет.

— Я то и дело сворачивала в проулки, думала, оттуда наверняка будет видно. Металась то туда, то сюда. Постоянно смотрела вверх. Но так и не увидела — ни канатоходца, ни вертолет. Я со школы так быстро не бегала. Короче, сиськи у меня так и прыгали.

— Марша!

— Обыкновенно я вообще забываю, что они у меня есть.

— Не мой вариант, — говорит Глория, обхватывая собственную грудь.

По комнате пролетает смешок, и в этот миг общего облегчения Клэр отступает по ковру, в руках принесенные Глорией цветы, никто этого не видит. Вокруг расходятся волны смеха, это песнь общего примирения, она захватывает их всех, совершают маленький круг почета, укладывается у ног Марши.

— И тогда я перестала бежать, — говорит Марша.

Клэр вновь опускается на валик софы. О цветах так и не позаботилась, но это неважно. Не поставила чайник на огонь. Не принесла подходящую вазу. Неважно. Она подается вперед вместе с остальными.

У Марши едва заметно скачут губы, эта легкая дрожь предвещает что-то.

— Я просто встала как вкопанная, — говорит Марша. — Столбом прямо посреди улицы. Меня чуть не задавил мусоросборщик. А я так и стою, уперлась руками в колени, гляжу в землю, еле дышу. И знаете почему? Я скажу почему.

Снова молчание. Все в одном порыве подаются вперед.

— Потому что не желаю знать, упал ли этот бедный парень.

— А-хха, — говорит Глория.

— Я просто не хотела услышать, что он погиб.

— Я слышу тебя, ах-хха.

Голос Глории, словно на церковной службе. Остальные медленно кивают, а часы на каминной полке отщелкивают секунды.

— Я не могла вынести даже мысли об этом.

— Нет, мэм!

— А если он все-таки не упал...

— Если не упал, то?..

— Этого я тоже не желала знать.

— Ах-ххах, истинно так.

— Мне почему-то стало все равно, спустится он вниз благополучно или останется там, наверху. Я постояла, развернулась, дошла до метро и приехала сюда, даже не оглянувшись.

— Помолимся.

— Потому что, останься он жив, это точно не Майк-младший.

Все это — словно толчок в грудь. Как будто случилось не только с Маршей, а с каждой из них. На каждой встрече за чашечкой утреннего кофе они всегда были отстранены, принадлежали другому дню, разговоры, воспоминания, мысли, рассказы, они были чужими, далекими, но вот это происходило прямо сейчас, было настоящим, и хуже всего, судьба канатоходца так и осталась загадкой, им невдомек, спрыгнул он с каната, сорвался ли — или преспокойно шел себе дальше, пока не оказался в безопасности, или он все еще там, в вышине, продолжает свою прогулку по воздуху, или же его не было вовсе, просто интересная байка, или вправду какая-то проекция, или Марша все это выдумала, чтобы поразить их, — кто знает? — а может, этот человек намеревался покончить с собой, или, может, кто-то на борту вертолета держал страховочный трос, чтобы парень не

разбился, если вдруг сорвется, или он был привязан к своему канату, или, быть может, было что-то другое, быть может, может быть.

Клэр поднимается, колени как ватные. Потеря ориентации. Голоса подруг сливаются, звучат чуть глуше прежнего. Она отчетливо ощущает свои ступни на толстом ворсе ковра. Секундная стрелка вздрагивает, но уже без звука.

— Пожалуй, я все-таки поставлю их в воду, — говорит она.

* * *

* * *

В своих письмах он сообщал ей о круговых сражениях, разгоравшихся глубокими ночами. В четыре часа ночи, когда он сидел перед монитором, в тусклой белизне ламп дневного света, оттачивая свою программу, на экране вдруг вспыхивало чье-то сообщение. Большинство атак устраивали члены его собственной группы, связанные в цепочку, всего в паре столов от него, они трудились над другими кодами, каждый сам за себя, и эти войны всего лишь были способом убить время, взломать чужую защиту, померяться силой с соседями, отыскать их слабые стороны. По сути, безвредная забава, писал Джошуа.

Ни у чарли,^[69] ни у вьетконговцев никаких компьютеров не имелось. Они не собирались незаметно прорваться через катодные трубы и транзисторы. Но телефонные линии тянулись до самих Пало-Альто и Вашингтона, до каких-то университетов, так что время от времени какой-нибудь далекий серфер (Джошуа называл их серферами, один Бог знает почему) вполне мог пробраться в систему и перевернуть все вверх дном; раз или два им удавалось нанести коварный удар исподтишка. Джошуа мог искать поврежденный участок коммутации или корпеть над алгоритмом учета пропавших без вести, словно сражаясь на передовой. В такие моменты им овладевало ощущение полета: он чувствовал, что несется вниз, вот именно, по перилам. Скорость, необузданная сила, мощь. Мир лежал вокруг — безмятежный, исполненный простоты. А он был пилотом-испытателем, на передовом рубеже. Ему все по плечу. Работа даже могла казаться джазовой пьесой, один аккорд вытекает из другого. Кончики пальцев, замершие на клапанах и клавишах. Стоило только пошевелить, рождался новый звук. И в тот же миг, безо всякого предупреждения, все

могло исчезнуть, рухнуть прямо перед глазами. Я хочу печенья! Или: *Повторяй за мной* — «Прости-прощай, птичка!» Или: Ты запомнишь мою улыбку! Он писал, что чувствовал себя Бетховеном, только что закончившим Девятую симфонию. Шел себе, довольный, прогуливаясь по лугу, держал папку с нотами под мышкой, но внезапный порыв ветра уносил листы партитуры. Он сидел, сросшись со стулом, и смотрел на экран монитора, отказываясь верить в происходящее. Маленький курсор, неумолимо пища, пожирал все то, над чем трудился Джошуа. Стройные строчки кода переваривались, превращались в отбросы. Прекратить это не было возможности. В горле поднимался комок животного ужаса. Оставалось только наблюдать, как злодей скрывается за холмами, исчезает в лучах заката. *Вернись, вернись, вернись, а то мне тебя не слыхать!*^[70]

Так странно было думать, что на дальнем конце кабеля сидел кто-то другой. Такое гадливое чувство, словно в дом забрался вор, который сейчас примеряет твои тапочки. Даже похуже. *Кто-то забирается мне под кожу, мама, копается в моих воспоминаниях.* Заползает прямо внутрь, поднимается по позвоночнику, забирается в голову, копошится глубоко внутри черепа, перепрыгивает через синапсы, внедряется в клетки мозга. Она могла представить своего сына прильнувшим к монитору, едва не уткнувшись в экран, статика покалывает губы. *Ты кто?* Он чувствовал, как незванные гости проскальзывают меж пальцев. Стучат кулачками по спине. Царапают шею коготками. Он понимал, конечно, что нарушители были соотечественниками, но считал их вьетнамцами, врагами — иначе никак, — неосознанно придавал их воображаемым карим глазам косой разрез. Он и его компьютер подверглись атаке со стороны чьей-то чужой, враждебной машины. *Ладно, порядок, молодец, ловко ты меня, но теперь держись, сейчас ты сдохнешь.* И он бросался прямо в гущу драки.

А она шла на кухню и читала письма, порой распахивала секцию морозильника и позволяла холодному воздуху остудить его разгоряченные мысли. *Ничего, милый, ты все исправишь.*

И он исправлял. Джошуа всегда восстанавливал то, что удавалось разрушить злоумышленникам. Он звонил ей в неурочный час, в минуту ликования, выходя победителем в очередном круговом сражении. Долгие, сдвоенные звонки со странным призвуком, похожим на эхо. Разговоры с домом не стоили ему ни цента, уверял сын. У его команды имелся многоканальный коммутатор. Он сказал, что подключился к телефонной линии и перенаправил вызовы через армейский пункт вербовки, потехи ради. Это всего лишь система, объяснял он, она создана, чтобы ею пользоваться. У меня все нормально, мама, все не так ужасно, с нами

хорошо обращаются, передай папе, тут даже еда кошерная имеется. Она внимательно вслушивалась в голос сына. Когда восторг победы отступал, в нем слышалась усталость, даже отстраненность, в слова вплетался новый жаргон. *Слыши, все круто, мама, не психуй!* Откуда только он нахватался этих «слышь»? В выборе слов Джошуа всегда был осмотрителен. И оборачивал их хрустким звучанием Парк-авеню. Ни малейшей гнусавинки, ни следа развязности. Но теперь его лексикон огрубел, а слова зазвучали с неуловимым, размытым акцентом. *Буду плыть по течению, но, сдается мне, я правлю чужим катапулком, мама.*

Не забывал ли он позаботиться о себе? Успевал ли покушать? Вовремя ли стирал одежду? Не терял ли в весе? Эти ее заботы проникали повсюду, не давали прдохнуть. Однажды она даже выставила на обеденный стол лишнюю тарелку, специально для Джошуа. Соломон видел это, но промолчал. Заботы и разговоры с холодильником, мои маленькие странности.

Она старалась не переживать, когда письма от сына стали приходить все реже. Он не звонил день или два. Или три дня подряд. Она сидела у телефона, пожирая аппарат взглядом, умоляя его затрезвонить. Когда она поднималась, половицы издавали короткие, тихие стоны. Он был занят, объяснял сын. В электронной корреспонденции наметились новые прорывы. Возникли новые пойнты в сети. Он сказал, она напоминала волшебную доску объявлений. Мир казался велик и мал одновременно. Кто-то взломал их систему извне, чтобы уничтожить отдельные части готовой программы. Рукопашная схватка, боксерский поединок, рыцарский турнир. Я на линии огня, мама, я в окопе. Когда-нибудь, говорил Джошуа, машины произведут настоящую революцию, помогут изменить мир. Он подставлял плечо другим программистам. Они подключались к системе и работали сообща. Стычки с протестующими сторонниками мира все не прекращались, те так и норовили взломать защиту их машин. Но сами по себе машины не несли людям зла, писал он домой, зло сидело в головах у высоких военных чинов, которые стояли за ними. Машина может причинить не больше зла, чем скрипка, фотокамера или карандаш. Чего не могли взять в толк захватчики, для достижения своей цели они выбрали неверный путь. Не на технологии нужно было нападать, а на человеческий разум — его недостатки, его грубые промахи.

В своем сыне она обнаружила новую глубину, непривычную объективность. Причиной войны было чье-то больное самолюбие, объяснял он. Эту войну придумали старики, которые больше не могли смотреть в зеркало, а потому посыпали молодых на смерть. Война была

сборищем самовлюбленных уродов. Они хотели, чтобы все было просто: пропитайся ненавистью к врагу, не пытайся узнать его. Эта война, заявил он, была самой неамериканской из всех, никакого идеализма в фундаменте, только страх поражения. В недрах проекта «Хакнуть Смерть!» уже перетасовывались сорок тысяч имен, и цифры продолжали расти. Иногда Джошуа отправлял все имена на печать. Разворачивал их на лестнице — вниз и вверх, от края до края. Иногда ему хотелось, чтобы кто-то чужой взломал его программу, тщательно перемолол данные и выплюнул назад, вернув к жизни всех этих мертвых ребят — Смитов, и Салливанов, и братьев Родригес, их отцов, и кузенов, и племянников, — и тогда ничего не останется, кроме как написать такую же программу для чарли, целый новый алфавит смертей, — Нго, Хо, Фань, Нгень, — вот это будет задачка!

— Ты в порядке, Клэр?

Чья-то рука на локте. Глория.

— Подмоги?

— Извини?

— Хочешь, я помогу с цветами?

— О нет. То есть да. Спасибо.

Глория. Глория. Милое, круглое лицо. Темные глаза, подвижные, влажные. Обжитое, уютное лицо. Великодушное, но немного встревоженное. Смотрит на меня. А я — на нее. Поймана с поличным. Замечталась. Спала на ходу. Подмоги? На мгновение ей почудилось, будто Глория предлагала себя в качестве помощницы. Дерзкая мысль. Два доллара и семьдесят пять центов в час, Глория. Вымой посуду. Протри пол. Поплачь о наших мальчиках. Вот это задачка.

Она тянется к верхнему шкафчику, достает вазу утерфордского стекла.^[71] Замысловатая форма. В наших краях таких не делают. Не все жители дальних стран дикари. Да, вполне подойдет. Она передает вазу Глории, и та, улыбаясь, наполняет ее водой.

— Знаешь, чего не хватает, Клэр?

— Нет, а что?

— Насыпать сюда немного сахара. Тогда цветы дольше простоят.

Такое она слышит впервые. Но в этом даже есть смысл. Сахар. Чтобы сохранить их живыми. Осыпать наших мальчиков сахаром. Чарли с их шоколадной фабрикой.^[72] И вообще, кому пришло на ум окрестить вьетнамцев чарли? Откуда взялось такое прозвище? Из кодированного радиосообщения, скорее всего. «Чарли, Дельта, Ипсilon». Ждем приказа. Ждем приказа.

— Будет даже лучше, если отстричь немного от стеблей, — говорит Глория.

Теперь Глория вынимает цветы из обертки, раскладывает их на стойке для тарелок, берет небольшой ножик с кухонной столешницы, срезает по коротенькому кусочку от каждого черенка, собирает все обрезки в ладонь, дюжина маленьких зеленых палочек.

— Удивительное дело, правда?

— Ты о чем?

— Этот человек, на канате.

Клэр опирается о столешницу. Делает глубокий вдох. Мысли совсем спутались. Она не уверена, совсем не уверена. Канатоходец не столько поразил ее, сколько раздосадовал. Его появление вызвало какое-то тяжелое, смешанное чувство.

— Удивительно, — говорит она. — Да, удивительное дело.

Отчего же ей так тяжело думать о канатоходце? Верно, удивительное дело, да. И попытка создать нечто прекрасное. Пересечение человека и города, внезапная перемена, освоение вновь обретенного жизненного пространства, город как произведение искусства. Пройтись там, наверху, обновить пейзаж. Изменить. Но все равно ее что-то терзает. Она, может, и хотела бы не ощущать раздражения, но не в силах стряхнуть его при мысли о человеке, присевшем на этот насест, будь он ангел или демон. Что же такого неправильного в том, чтобы верить в ангелов и чертей, отчего Марша не должна переживать по этому поводу, если в каждом, кто висит в воздухе, ей видится потерянный сын? Почему на натянутом канате не может оказаться Майк-младший? Что в этом ужасного? Почему не позволить Марше удержать в памяти миг, возвестивший о возвращении ее ребенка?

И все же какая-то горечь остается.

— Что-нибудь еще, Клэр?

— Нет-нет, все замечательно.

— Вот и ладненько. Значит, все готово.

Глория улыбается и поднимает вазу, подходит к двери, раздвигает створки своим изрядным весом.

— Я сию минуту подойду, — говорит Клэр.

Дверь захлопывается.

Она выстраивает последние чашки, блюдца, ложки. Аккуратно составляет их. Так в чем же дело? Чем ей не угодил человек, шагавший по воздуху? Что-то пошловатое во всей затее. Или, может, не пошловатое. Скорее, дешевое. Хотя не столь уж дешевое. Она никак не может

остановить мысли, понять, где же подвох. Как это мелочно — тратить время на подобные рассуждения. Даже эгоистично. Знает ведь распрекрасно, что впереди целое утро, что предстоит проделать все то, чем они занимались во время других встреч, — нужно принести фотографии, показать всем рояль, за которым играл Джошуа, открыть альбомы с вырезками, отвести всех в его комнату, указать полку с его книгами, отыскать его на школьных снимках. Они всегда делали это — у Глории, Марши, Жаклин и даже Дженет, особенно у Дженет, где они смотрели слайды, а потом вместе рыдали над рассыпавшейся книжицей «Кейси берет биту».[\[73\]](#)

Ее широко расставленные руки упираются в столешницу. Вывернутые пальцы. С силой давят вниз.

Джошуа. Значит, это ее терзает? Что еще никто не произнес его имени? Что оно еще не успело мелькнуть в утренних разговорах? Что они пока забыли о нем? Нет, не то, дело в чем-то другом, но в чем?

Хватит. Хватит. Оторвать поднос от стола. Только бы ничего не испортить. Так мило. Эта улыбка Глории. Чудесные цветы.

Выходи.

Сейчас же.

Пошла!

Она делает шаг в гостиную и стоит, замерев. Они ушли, все до единой ушли. Чуть нероняет поднос. Ложечки звенят, съехав к краю. Никогошеньки, даже Глории нет. Что же это? Как такое могло случиться? Как им удалось так внезапно исчезнуть? Похоже на дурную детскую шалость, будто в любой момент они могут выскочить из шкафов или высунуться из-за дивана — ряд жестяных физиономий с ярмарки, в которые надо метать водяные пузыри.

На какое-то мгновение ей показалось, что она выдумала их всех, что это был лишь сон. Что они явились без приглашения, а потом выскоились за дверь.

Она водружаает поднос на стол. Заварочный чайник скользит, из носика вырывается пузырек горячего чая. Сумочки еще здесь, чья-то одинокая сигарета догорает в пепельнице.

До ее слуха тут же доносятся далекие голоса, и она отчитывает себя. Ну конечно. Как глупо с моей стороны. Хлопок двери черного хода, а затем скрип на ветру двери, ведущей на крышу. Должно быть, дверь осталась открытой и они почувствовали дуновение ветерка.

Скорей по коридору. Силуэты в дверном проеме. Взбирается по последним ступеням, спешит присоединиться к подругам, которые дружно

смотрят на юг, облепив ограду. Ничего не увидишь, конечно, разве что городское марево да купол на верхушке Дженирал-билдинга.

— Канатоходца не видно?

Она знает, разумеется, что и не может быть видно, даже в самые ясные дни ничего не разглядеть, но приятно, что все женщины обернулись к ней, качая головами: нет.

— Можно включить радио, — предлагает она, присоединяясь к остальным. — Наверное, все расскажут в новостях.

— Отличная мысль, — говорит Жаклин.

— Только не это, — говорит Дженет. — Я бы не смогла слушать.

— И я тоже, — говорит Марша.

— Вряд ли он попадет в выпуск новостей.

— Еще рано, в любом случае.

— Я так не думаю.

Они еще немного стоят на крыше, глядя на юг, словно всем вместе им удастся вызвать образ идущего по воздуху человека.

— Кофе, дамы? Чайку?

— Господи, — подмигивает Глория. — А я уж решила, ты не предложишь.

— Заморить червячка, о да.

— Успокоить нервишки?

— Да, да.

— Годится, Марша?

— Пойдем вниз?

— Да, смилийся. Здесь жарче, чем в Сахаре летом.

Женщины ведут Маршу вниз по лестнице, через дверь черного хода и снова в гостиную, Дженет держит под один локоть, Жаклин — под второй, Глория замыкает шествие.

В пепельнице у дивана сигарета успела прогореть до кромки, она как человек — готова сломаться и упасть. Клэр гасит окурок. Она наблюдает за тем, как подруги дружно сутулятся, рассевшись на диване, обнимая друг друга. Здесь достаточно стульев? Как она могла так ошибиться? Может, стоит вынести кресло-подушку из комнаты Джошуа? Выставить на пол и растянуться на ней, прямо на старом оттиске его тела?

Этот канатоходец, никак не удается выбросить его из головы. Привкус досады. Она знает, что ведет себя из рук вон, но ничего не может с собой поделать. Что, если он упадет на кого-нибудь там, внизу? Ей говорили, что по ночам к зданиям Всемирного торгового центра слетаются целые колонии птиц, множащиеся в отражениях стекол. Удар, падение. Не

столкнется ли с ними канатоходец?

А ну, смирно. Хватит уже.

Соберись с мыслями. Распуши перышки. Полет продолжается.

— Рогалики в том пакете, Клэр. И пончики.

— Чудесно. Спасибо.

Простые любезности.

— Господь милостивый, вы только посмотрите на это!

— Только хотела сказать.

— Я и так слишком толстая.

— Ой, перестань. Мне бы твою фигуру.

— Хватай ее и беги, — говорит Глория. — Только не пролей через край!

— Нет-нет, у тебя прекрасная фигура. Шикарная.

— Бросьте!

— Нет, правда же.

Эта безобидная ложь заставляет комнату погрузиться в молчание. Они отпрянули от подноса. Переглянулись. Секунды бегут своим чередом. За окном слышится вой сирены. Замешательство прерывается, и в их сознании, словно в кувшине, начинают бродить новые мысли.

— Итак, — начинает Дженет, протягивая руку за рогаликом, — не хочу показаться вам больной на всю голову...

— Дженет!

— Не хочу, чтобы вы подумали плохо...

— Дженет Мак-Инифф!

— Но как вам кажется, он мог упасть?

— Бог-ты-мой! Ты чего так разошлась-то?

— Разошлась? Я только услышала сирену, и...

— Ничего, — говорит Марша. — Я в порядке. Честно. Не беспокойтесь.

— Боже мой! — охает Жаклин.

— Да я просто спросила.

— Нет, правда, — говорит Марша. — Я и сама думала о том же.

— Бо-же-мой, — повторяет Жаклин, растягивая слова как резиновые. — Ушам своим не верю, что ты сейчас это сказала.

Теперь Клэр хочет исчезнуть сама, оказаться где-то далеко, на каком-нибудь пляже, на берегу реки, в глубоком омуте счастья, в каком-нибудь месте, где бывал Джошуа, где ее мог бы утешить маленький миг тайной радости, легкое прикосновение руки Соломона.

Она просто сидела там, отдалившись от подруг. Позволила им

сомкнуть ряды.

Пусть так, ну да, сплошной эгоизм. Они не заметили мезузу на двери, не увидели портрета Соломона, ни словечка не сказали о квартире, просто вбежали внутрь и принялись болтать, с места в карьер. Они даже поднимались на крышу, никого не спросив. Может быть, так они поступают всегда? Или же просто ослепли при виде ковров, картин и серебряных безделушек. На войну наверняка отправляли и юношей из состоятельных семей. Ведь не все солдаты родом из низов общества. Может, ей нужно поискать других матерей — среди себе подобных? Но в чем же это подобие? Смерть, великий уравнитель. Величайший демократ из всех. Старейший недуг человечества. Все там будем. Богатые и бедные. Толстые и тощие. Отцы и дочери. Матери и сыновья. Она чувствует, как боль возвращается к ней с прежней остротой. *Дорогая мама, просто хочу сообщить тебе, что я прибыл благополучно* — так начиналось первое письмо. А потом, уже в самом конце, Джошуа писал: *Мама, этого места даже нет на картах, но я готов променять на него все достопримечательности мира.* Ох. Ох. Прочитайте все письма на свете. Письма, полные любви, ненависти и ликования, соберите их все хоть в стопку, хоть в линию, взвесьте — их все перетянет одно-единственное письмо из ста тридцати семи, что написал мне мой сын. Уитмен, и Уайльд, и Витгенштейн,^[74] кто угодно! Они не идут ни в какое сравнение. Все то, о чем он рассказывал! Все вещи, что он вспоминал! Все детали, какие схватывал!

Именно этим и занимаются сыновья: они пишут матерям о воспоминаниях, они пересказывают прошлое до тех пор, пока не поймут, что сами и есть прошлое.

Но нет, не прошлое, только не он, ни за что и никогда.

Забудь ты о письмах. Давай лучше устроим бой машин. Слышишь меня? Пусть попробуют одолеть друг дружку, пусть сыграют в гляделки с двух концов телефонного кабеля.

Оставьте наших мальчиков дома.

Оставьте моего мальчика дома. И сына Глории. И Марши. Пусть ходит по канату, если хочет. Позвольте ему стать ангелом. И сына Жаклин. И Вильмы. Нет, не Вильмы. Дженет! Хотя, пожалуй, Вильмы тоже. Может, сыновей тысячи Вильм по всей стране.

Просто верните мне моего сына. Это все, о чем я прошу. Верните мне его. Отдайте обратно. Прямо сейчас. Пусть распахнет дверь, пробежит мимо мезузы и сбросит рюкзак здесь, у своего рояля. Разгладьте их милые юные лица. Ни криков, ни стонов, ни хрипа. Верните их сюда немедленно.

Почему наши сыновья не могут оказаться в одной комнате? Пусть рухнут все преграды, лопнут все границы. Почему бы им не посидеть тут, всем вместе? Береты на колене у каждого. Легкое смущение. Отутюженная форма. Вы сражались за свою страну, почему не отметить окончание войны на Парк-авеню? Кофе или чаю, мальчики? Ложечка сахара поможет скрыть горечь лекарства.

Вся эта болтовня о свободе. Чушь какая. Свободу нельзя просто всучить кому-то, ее необходимо принять.

Я не возьму у вас этой урны с пеплом.

Вы меня слышите?

Мой сын вовсе не такой.

— Что с тобой, Клэр?

Ну вот, опять это чувство пробуждения от сна наяву. Она наблюдала за подругами, внимательно смотрела, как шевелятся их губы, как меняются лица, но она не слышала ни словечка из того, что говорилось, какой-то спор насчет канатоходца, насчет того, прикреплен канат — или нет. Прикреплен к чему? К его ботинку? К вертолету? К небу? Она сцепляет и расцепляет пальцы, слушая, как те хрустят, высвобождаясь.

Вашим костям недостает кальция, говорил ей добрый доктор Тоннеманн. Кальция, ну конечно. Пейте больше молока, ваши дети проживут дольше.

— Ты как себя чувствуешь, дорогая? — спрашивает Глория.

— О, все хорошо, — говорит она, — просто немного замечталась.

— Знакомое чувство.

— Я тоже иногда не могу удержаться, — говорит Жаклин.

— И со мной бывает, — вторит Дженет.

— Да первым делом, как проснусь, — говорит Глория, — так сразу и вижу сны. По ночам ничего не снится. Хотя раньше — все время. А теперь только днем.

— Ты бы к врачу обратилась, — советует Дженет.

Клэр не может вспомнить, что она сейчас сказала; неужели сбила их с толку, сморозив какую-то глупость, что-то неуместное? Тот последний совет, насчет лечения, кому он предназначался — ей или Глории? Вот, примите сотню этих таблеток, они помогут справиться с горем. Нет уж. Для нее это не выход. Она собирается перенести несчастье на ногах, как простуду. Но все-таки, что она сказала? Что-то насчет канатоходца? Она говорила вслух? Дескать, вся затея кажется ей пошловатой? Что-нибудь про урну с пеплом? Или о модных фасонах? Или о телефонных кабелях?

— Ну что ты, Клэр?

— Да вот подумала об этом человеке, — говорит она.

Рука так и тянется стукнуть себя по лбу — за то, что вновь завела разговор о канатоходце. Как раз когда стало казаться, что они еще сумеют отойти от надоевшей темы, что утро еще удастся вернуть в прежнее, естественное русло, что она постараётся рассказать подругам о Джошуа, как он приходил домой из школы, как ел сэндвичи с помидорами, его любимые, или что он так и не научился правильно выдавливать зубную пасту, или как он вечно совал два носка в один ботинок, или про ту историю на детской площадке, или про пассаж на рояле, хоть что-нибудь, только бы вернуть равновесие утру, но нет, она сама отмела эти важные предметы, вскочила на прежние грабли.

— О каком человеке? — переспрашивает Глория.

— Ну, о том, что приходил сюда, — вдруг выпаливает она.

— Кто это был?

Она берет рогалик с блюда, расписанного подсолнухами. Оглядывает женщин. Делает небольшую паузу, режет пышную сдобу пополам, пальцами разрывает половинку надвое.

— Ты хочешь сказать, канатоходец был здесь?

— Нет, нет.

— О каком человеке, Клэр?

Она снимает с подноса чайник и разливает чай. Пар поднимается вверх. Она совсем забыла нарезать лимон. Еще одна глупая промашка.

— О человеке, который сказал мне.

— Каком человеке?

— Который сказал тебе что, Клэр?

— Ну, вы знаете. Тот самый человек.

И тогда — общее, глубокое понимание. Она видела его на лицах подруг. Тише, чем капли дождя. Тише, чем лист на ветру.

— Ах-хха, — говорит Глория.

Только тогда лица остальных немного смягчаются.

— Мой явился в четверг.

— А про Майка-младшего я узнала в понедельник.

— Мой Кларенс тоже был в понедельник. Джейсон в субботу. А Брэндон во вторник.

— А я получила паршивую телеграмму. В шесть тринадцать. Двенадцатого июля. Насчет Пита.

Насчет Пита. Ради всего святого.

Тут все согласны, правильно, именно этого ей и хотелось добиться; она подносит ко рту кусочек рогалика, но не может откусить; она вернула

их на надежные рельсы, они возвращаются к прежним утрам у кофейника, все вместе, они не отойдут от заведенных правил, именно это и нужно, и да, им уютно здесь, даже Глория тянется за пончиком с глазурью и в сахарной пудре, вежливо и робкокусает его, кивает Клэр, словно говоря; давай, расскажи.

— Нам позвонили снизу. Мне и Соломону. Мы как раз сидели за столом, ужинали. Свет был погашен. Он еврей, знаете ли...

И этот вопрос так легко разрешился.

— У нас повсюду горели свечи. Он не правоверный, но любит изредка следовать ритуалам. Иногда он зовет меня своей маленькой пчелкой. Однажды мы поругались, и он обозвал меня осой,[\[75\]](#) с тех пор и повелось. Можете в это поверить?

Ее легкие благополучно изливают этот поток воздуха. Вокруг улыбки, слегка озадаченные, но дружелюбные, и внимающее безмолвие.

— И тогда я открываю дверь. Он был в чине сержанта. Такой предупредительный. То есть он был со мною учтив. Я сразу все поняла, прочитала по лицу. Оно было как у новых манекенов. Такие дешевые пластиковые маски, и его лицо, оно словно вмерзло в одну из них. Карие глаза и пышные усы. Я говорю: «Входите». И он снял фуражку. Такая короткая прическа, с пробором посередине. Немного седины на висках. Он уселся прямо здесь.

Она кивает в сторону Глории и сразу жалеет, не следовало этого говорить, но вылетевшего слова назад не вернуть.

Глория проводит рукой по софе, словно пытаясь смахнуть тень незваного гостя. Оставляет еле заметную дорожку сахарной пудры.

— Все вокруг было таким ярким, мне казалось, я стою как на картине.

— Верно, верно.

— А он все крутил на колене фуражку.

— Мой тоже.

— Ш-ш-ш.

— И тогда он просто сказал мне: «Ваш сын ушел, мэм». А я еще думаю: ушел? Куда ушел? Что вы хотите сказать, сержант? Что значит «ушел»? Он не писал мне, что ходит в самоволку.

— Боже всемилостивый.

— Я улыбалась ему. Не могла ничего поделать с лицом.

— Ну а я попросту разревелась, — говорит Дженет.

— Ш-ш-ш, — обрывает ее Жаклин.

— Меня будто изнутри окатило горячим паром, прямо вверх по спине.

Я чувствовала, как он шипит в мозгах.

— В точности как я.

— И тогда я просто говорю: «Да». Только это и сказала, с той же улыбкой. Пар шипит и жжется, а я говорю: «Да, сержант. Спасибо вам».

— Боже, боже.

— Он допил чай.

Все опускают взгляды к чашкам.

— И я проводила его до двери. Вот и все.

— Да.

— Соломон спустился с ним в лифте. И я никому еще не говорила. Потом у меня все лицо болело, так я улыбалась. Разве не жуть?

— Нет, нет.

— Конечно, нет.

— Кажется, я всю свою жизнь ждала, чтобы рассказать вам эту историю.

— О, Клэр.

— Я до сих пор не понимаю, как можно было улыбаться.

Она сознает, что не открыла подругам множество важных деталей — не рассказала, как трезвонил интерком, как заикался швейцар, и в каком ступоре она ждала появления гостя, и как его стук в дверь прозвучал, словно удары в крышку гроба, как он снял фуражку и выдавил: «Мэм», а затем: «Сэр», и они ответили: «Входите, входите», и что сержант никогда не бывал в подобных квартирах — это стало ясно уже по тому, какими глазами он оглядывал меблировку, одновременно нервничая и восторгаясь.

В другое время он, возможно, был бы рад, что попал сюда, — ну как же, Парк-авеню, картины и статуэтки, свечи и ритуалы. Она наблюдала за тем, как он наткнулся на собственное отражение в зеркале, и в тот момент он, возможно, мог бы даже показаться ей симпатичным, особенно после того, как вежливо кашлянул в пустоту кулака. Он держал руку у рта, похожий на фокусника, который вот-вот вытащит алый платок. Оглядывался по сторонам — так, словно уже намеревался уйти, искал пути к отступлению, но она вновь усадила его. Вышла на кухню и вернулась с ломтиком фруктового пирога. Чтобы сгладить напряжение. Он съел его, а в глазах мелькнула вина. Крошки летели на пол. Потом она едва смогла заставить себя пропылесосить ковер.

Соломону хотелось знать, как все произошло. Сержант сказал, что он не волен обсуждать обстоятельства, но Соломон настаивал: *А кто волен? Вы подумайте об этом, сержант, никто из нас не свободен.* И фуражка снова запрыгала на обтянутом форменными брюками колене. *Скажите, взмолился* Соломон, и в его голосе что-то дрогнуло. *Расскажите мне все*

или выметайтесь из моего дома.

Сержант покашлял в стиснутый кулак. Жест обманщика. Они все еще собирали показания, кое-что оставалось неясным, сказал сержант, но Джошуа был в кафе. Сидел внутри, в помещении. Их всех предупреждали, весь личный состав, насчет этих самых кафе. Он был в компании офицеров. Прошлую ночь провели в клубе. Надо думать, хотели выпустить пар. Она не могла этого вообразить, но не сказала ни слова, — ее Джошуа в ночном клубе? Невозможно, но она дала этому проскользнуть, вот верное слово: проскользнуть. Все случилось ранним утром, сказал сержант, в Сайгоне едва рассвело. Чистое синее небо. К ногам сидящих в кафе подкатились четыре гранаты. Ваш сын погиб геройской смертью, сказал сержант. От этих слов закашлялся уже сам Соломон. *Ебучая смерть геройской не бывает, парень.* Прежде ей не доводилось слышать, чтобы муж так выражался при посторонних. Сержант поправил фуражку на колене — будто передавая слово собственной ноге: пусть расскажет, что было потом. Он то и дело поглядывал на репродукции, висевшие над диваном. Миро, Миро на стене...^[76] Кто на свете всех мертвее?

Сержант втянул в себя воздух. Его горло выглядело высохшим, собранным в складки. Я очень скорблю о вашей потере, повторил он.

Когда он ушел, когда вернулась тишина, они еще долго стояли в гостиной, Соломон и Клэр, глядя друг на друга, и он сказал, что они не сломаются, чего действительно не произошло, она бы не позволила, нет; что они не станут бросать взаимных обвинений, они не ожесточатся, они сумеют выстоять, не дадут трагедии пропастью лечь меж ними.

- И я все это время улыбалась, понимаете.
- О, бедняжка.
- Какой ужас.
- Но это можно понять, Клэр, можно.
- Ты так думаешь?
- Ничего, так бывает.
- Я улыбалась не переставая, — говорит она.
- Я тоже улыбалась, Клэр.
- Правда?
- Так и надо, как в церкви, чтоб не плакать.

И вот теперь до нее доходит, что такого в шагающем по воздуху человеке. Это знание настигает нежданно, заполняет ее целиком, бьет наотмашь, заставляет содрогнуться. Ни при чем тут ни ангелы, ни черти. Никакого отношения к искусству, к новым пространствам, к столкновению человека с математическим вектором, к выходу за установленные природой

пределы. Ничего подобного.

В том, как этот человек ступил на свой канат там, в вышине, сквозило одиночество. И мысли, и тело канатоходца говорили об одиночестве. И о презрении к смерти.

Смерть от утопления, смерть от змеиного укуса, смерть от пулевой раны, смерть на деревянном колу, смерть от крысиных зубов, смерть от выстрела базуки, смерть от отравленной стрелы, смерть от взрывного устройства, смерть от нападения пираний, смерть от отравленной пищи, смерть под очередью из Калашникова, смерть от противотанковой гранаты, смерть от руки друга, смерть от сифилиса, смерть от душевных страданий, смерть от переохлаждения, смерть в зыбучих песках, смерть от трассирующего снаряда, смерть от тромбоза, смерть от пытки водой, смерть от срабатывания мины-растяжки, смерть от удара бильярдным кием, смерть в яме-ловушке, смерть от игры в «русскую рулетку», смерть от избыточной дозы снотворного, смерть от мачете, смерть на мотоцикле, смерть после выкрика «Пли!», смерть от гангрены, смерть из-за стертых в кровь ног, смерть от паралича, смерть от потери памяти, смерть от кривой сабли, смерть от скорпиона жала, смерть в катастрофе, смерть от «Агент Орандж», [77] смерть от руки мальчика по вызову, смерть от гарпуна, смерть от полицейской дубинки, смерть в ходе жертвоприношения, смерть в челюстях крокодила, смерть на электрическом стуле, смерть от паров ртути, смерть от удушения, смерть от охотниччьего ножа, смерть от мескалина, смерть от отравления грибами, смерть от лизергиновой кислоты, смерть от столкновения с джипом, смерть от бутылки с зажигательной смесью, смерть от скуки, смерть от сердечного приступа, смерть от снайперского выстрела, смерть от пореза бумагой, смерть от совокупления, смерть от игры в покер, смерть по шаблону, смерть как издержка бюрократии, смерть из-за собственной беспечности, смерть ввиду опоздания, смерть как математическая категория, смерть под копирку, смерть от штриха резинки, смерть в результате ошибки оформления, смерть от карандашной галочки, смерть под давлением, смерть разрешенная, смерть вдали от родных, смерть в тюремной камере, смерть братоубийственная, смерть как самоубийство, смерть как геноцид, смерть по приказу Кеннеди, смерть по приказу Эл-Би-Джея, смерть по прихоти Никсона, смерть по распоряжению Киссинджера, смерть под знаменами Дядюшки Сэма, смерть от диверсии чарли, смерть, заверенная подписью, смерть в заговоре молчания, смерть из-за естественных причин.

Дурацкое, бесконечное меню смертей.

Но смерть из-за прогулки по канату?

Смерть как трюкачество?

Вот к чему все свелось. К чудовищному пренебрежению собственной жизнью. Будто тело человека — лежалый товар. Какой-то театр марионеток. Этот человек посмел сломать, нет, взломать ее утро, как взламывают чужой компьютер, ворвался сюда нелепой походкой Чарли Чаплина. Как он посмел так распорядиться собственным телом? Швырнуть свою жизнь, как перчатку, в лица окружающим? Сделать гибель ее сына дешевкой? Да, он вломился в ее дом этим утром, он нагло и бесцеремонно проник сквозь защиту. Этими своими проделками в воздухе, высоко над городом. Кофе, печенье и человек, вышагивающий в небесах, комкающий на ходу все то, чем могло стать это утро.

— Знаете что? — говорит она, подаваясь вперед, в кружок подруг.

— Что?

Она делает паузу, гадая, что сказать теперь. Тело бьет мелкая дрожь.

— Я так вас всех люблю.

Произнося эти слова, она смотрит на Глорию, но имеет в виду каждую и ничуть не кривит душой. Что-то застrevает в горле. Она оглядывает ряд знакомых, таких родных лиц. Мягкость и деликатность. На каждом лице — улыбка, предназначенная только ей. Встряхнитесь, милые. Очнитесь. Пусть утро идет своим чередом. Пусть оно скользит мимо. Забудьте о шагающих по воздуху людях. Пусть себе шагают, высоко в небе. Будем потягивать наш кофе, благодарить судьбу. Проще не придумаешь. Отдернем шторы, впустим солнечный свет. Пусть это утро станет первым из долгой череды. Никто больше не потревожит нас. Наши мальчики с нами. Они собирались вместе. Даже здесь. На Парк-авеню. Наши сердца изнывают от боли, но мы способны исцелить друг друга.

Она протягивает дрожащие руки к заварочному чайнику. Прогоняя привычную тишину, комнату наполняют редкие звуки: шелест пакетов с рогаликами, шорох кондитерской бумаги, отделяемой от кексов.

Она поднимает чашку и осушает ее. Прижимает костяшки пальцев к уголку рта.

Принесенные Глорией бутоны уже начинают раскрываться. Дженет подбирает со своего блюдца крошки. Подчиненное неслышному ритму, колено Жаклин ходит вверх-вниз. Марша смотрит куда-то далеко, в пространство. Где-то там, в облаках, — мой мальчик, он пришел поздороваться.

Клэр поднимается на ноги, уже вовсе не ватные, ничуточки, не теперь.

— Пойдем, — говорит она, — пойдем. Посмотрим на комнату Джошуа.

Страх любви

Оказаться в машине в миг, когда та задела задний бампер фургона, было все равно что очутиться в чужом, незнакомом теле. Увидеть в зеркале картину, которую наотрез отказываешься замечать. Это не я! Должно быть, это кто-то другой.

В любых других обстоятельствах мы, возможно, сразу съехали бы на обочину, записали номера автомобилей, оценили ущерб, перекинули друг другу несколько долларов, а может, даже и отправились бы в автомастерскую выпрямить вмятины, но в этот раз все сложилось иначе. Легонький такой толчок. Тоненько пискнули покрышки. Потом мы решили, что водитель фургона, должно быть, держал ногу на педали тормоза, или у него не работали габаритные фонари, или, может, он вообще всю дорогу ехал, слегка подтормаживая, — против солнца мы не видели огней. Фургон был громоздким и ленивым. Заднее крыло примотано проволокой и бечевкой. Он напоминал старую лошадь из моей прошлой жизни, беспокойное и неуклюжее животное, уже не реагирующее на шлепки по крупу. Первыми повело именно задние колеса. Водитель постарался выровнять ход. Торчавший из окна локоть втянулся внутрь. Фургон пошел боком куда-то вправо, и тогда водитель опять дернул руль, только слишком сильно, и мы почувствовали второй толчок, как на ярмарочном аттракционе, только наша машина вовсе не крутилась — она и дальше уверенно мчала вперед.

Блейн как раз раскурил косячок. Он дымился на ободке пустой банки из-под колы, стоявшей между нами. Блейн только и успел затянуться разок-другой, когда фургон взбрькнул и пошел вдруг плясать гнедым скакуном: переводные картинки с пацификами на заднем стекле, пожеванные борта, неплотно прикрытые окна. Все кружил, кружил и кружил.

Когда человека охватывает ужас, в сознании у него что-то щелкает. Возможно, нам кажется, что это наши последние секунды, и мы стараемся запечатлеть их во всех деталях, насытить ими остаток долгого странствия. Мы делаем четкие снимки, заполняем ими целый альбом отчаяния. Подрезаем уголки и суем карточки под защиту пластика. Заполненный фотоальбом прячем подальше, чтобы вновь достать, когда станет совсем худо.

У водителя фургона были правильные черты лица и волосы, присыпанные сединой. Под глазами — глубокие темные провалы, на щеках

— щетина. Ворот и верхние пуговицы рубашки залихватски расстегнуты. Мне показалось, водитель относился к тем людям, кому почти всегда удается сохранять спокойствие, но теперь, когда рулевое колесо перестало слушаться, его рот приоткрылся в испуге. Он глядел на нас с высоты своего сиденья, словно тоже стремясь запомнить наши лица во всех подробностях. Рот растянулся в широкое *O*, глаза распахнулись. Остается только гадать, какой он увидел меня, мое платье с кружевной отделкой, мои резные бусы, мою прическу в стиле суфражисток, мои подведенны ярко-синими тенями, затуманенные от недосыпания глаза.

На нашем заднем сиденье стояли холсты. Прошлым вечером мы пытались загнать их в клубе «Максес Канзас-Сити», но ничего не вышло. Никому не нужные полотна. Тем не менее мы сложили их самым аккуратным образом. Мы даже проложили их кусочками пенопласта, чтобы картины не терлись друг о дружку.

Жаль, что в отношении себя самих мы не были столь же педантичны.

Блейну было тридцать два. Мне — двадцать восемь. Женаты два года. Наш антикварный «понтиак-ландау» 1927 года, золотистый с серебряной отделкой, был едва ли не старше нас обоих, вместе взятых. Под его приборной доской мы установили восьмидорожечный магнитофон. Звучал джаз двадцатых годов. Музыка просачивалась в окна, плыла над Ист-Ривер. Даже теперь по нашим жилам бежало достаточно кокаина, чтобы мы взирали в будущее с остатками надежды.

Фургон все вращался. Его почти развернуло. На пассажирской стороне я видела лишь пару босых ступней, задранных на приборную панель. Лодыжки распутывались, словно в замедленной съемке. Края подошв были настолько белыми, а выемки ступней — настолько темными, что принадлежать они могли только чернокожей женщине. Та уже сняла одну ногу с другой. Вращение было достаточно медленным, чтобы я едва сумела различить верхнюю часть ее туловища. Женщина была спокойна. Будто готовилась принять неизбежное. На затылке волосы стянуты в пучок, на шее подпрыгивают яркие шарики бижутерии. Если бы я не увидела ее вновь спустя какие-то секунды, когда удар выбросил ее сквозь лобовое стекло, мне могло показаться, что она сидела там вообще нагишом, учитывая, под каким углом я на нее смотрела. Моложе меня, настоящая красавица. Ее взгляд встретился с моим, словно спрашивая: что ж ты вытворяешь, выбеленная солнцем сука в кружевах, в своей манерной тачке будто из клуба «Коттон»?[\[78\]](#)

Она исчезла с глаз так же быстро, как и появилась. Фургон пошел на второй круг, а наша машина продолжала нестись вперед. Мы проехали

мимо. Дорога раскрылась впереди, как спелый персик. Помню, сзади до нас долетел первый скрежет тормозов, звук удара в фургон еще одной машины, звон отлетевшей решетки радиатора, и уже потом, снова прокручивая в своем сознании произошедшее, мы с Блейном заново расслышали хлопок от удара почтового пикапа, отправившего фургон пряником в частокол ограждения; такой солидный, приземистый грузовичок с водителем за открытой дверцей и с орущим в салоне приемником. Он долбанул со всей силы. После такого удара спасения уже не было.

Блейн оглянулся на миг и хотел прибавить газа, но я крикнула: стой, пожалуйста, остановись, пожалуйста! В моей жизни еще никогда не было таких предельно отчетливых, упорядоченных секунд. На нас обоих снизошла абсолютная ясность. Надо выйти из машины. Принять на себя ответственность. Вернуться к месту аварии. Сделать девушке искусственное дыхание. Приподнять ее окровавленную голову. Пошептать ей на ухо. Согреть ее белые ступни. Добежать до телефона-автомата. Спасти смятого в кабине мужчину.

Блейн свернулся к обочине трассы, остановил машину, и мы вышли на асфальт. С реки донеслись крики рассекавших ветер чаек. Пестрота огней на воде. Мельтешение крыльев, резкие повороты. Блейн приложил к глазам ладонь, жмурясь на солнце. Он походил на ученого-путешественника, какими те были в начале века. Несколько автомобилей затормозили прямо посреди шоссе, почтовый пикап стоял, развернувшись поперек движения, но авария вовсе не походила на те грандиозные автокатастрофы, о каких иногда поется в рок-песнях, где сплошь кровь, искореженные обломки и бескрайность американских трасс; нет, все было буднично, не считая узкой, алмазной дорожки битого стекла и нескольких рассыпавшихся пачек газет — вдалеке от тела девушки, которая стонала в набухавшей луже крови. Мотор ревел, и от фургона валил пар. Должно быть, нога водителя так и осталась на педали газа. Надсадный вой срывающегося на визг двигателя. Дверцы стоявших позади машин распахивались, но за ними водители уже рассерженно гудели, этот вечный хор Нью-Йорка, не терпящий задержек, рвущийся ехать дальше, и плевать им хотелось на всех прочих. Мы с Блейном стояли одни, за две сотни ярдов от суматохи. Дорога была совершенно суха, лишь редкие расплавленные от жара проплешины. Солнце на канатах и снастях. Бесноватые чайки над водой.

Я перевела взгляд на Блейна, на его шерстяной сюртук и галстук-бабочку. Он казался смешным и печальным осколком далекого прошлого, низкая челка хлестала его по глазам.

— Скажи мне, что это сон, — попросил он.

В тот миг, когда он повернулся, чтобы осмотреть переднюю часть нашей машины, помню, я тогда подумала, что мы этого не переживем. Не саму аварию и не гибель девушки, которая уже явно была мертва, превратилась в окровавленную груду рук и ног на обочине, или мужчины, который налетел на руль, почти наверняка пробивший ему грудь, и оказался вмят в приборную панель. Нет, мы не переживем другого — того, как Блейн обошел «понтиак», чтобы оценить причиненный машине ущерб: разбитую фару, вмятину на крыле, прожитые вместе годы, — что-то сломалось, а позади уже слышались сирены спешащих на помощь служб, и Блейн издал короткий стон отчаяния, и я поняла, что он оплакивает изуродованную машину, наши непроданные холсты и все то, что очень скоро произойдет с нами обоими, и тогда я сказала: давай, поехали отсюда, быстрее, садись в машину, Блейн, ну же, шевелись.

* * *

В семьдесят третьем мы с Блейном променяли привычную жизнь в Гринвич-Виллидж на совершенно другую, коротали дни и ночи в лачуге, затерянной в верхней части штата Нью-Йорк. Уже почти год мы не принимали никакой наркоты и несколько месяцев даже не пили спиртного, не считая того вечера накануне аварии. Дали себе расслабиться на одну только ночь. Тем утром отоспались в отеле «Челси» и теперь возвращались домой, чтобы по-стариковски усесться на крылечке и качаться в кресле, наблюдая, как из наших тел медленно испаряется яд.

На дорогу домой ничего нам не осталось, кроме молчания. Мы съехали с шоссе Рузвельта, повернули на север, перебрались в Бронкс по мосту Виллис-авеню, вырулили на трассу, потом свернули на двухколейку, огибавшую озеро, а затем — и на проселочную дорогу, ведущую к дому. Наша хижина находилась в полутора часах езды от города. Она стояла посреди небольшой рощицы, на берегу другого озера, поменьше. И не озера даже, а пруда. Дикие кувшинки, камыши-тростинки. Домик из красного кедра был выстроен пятьдесят лет тому назад, в двадцатые годы. Никакого электричества. Вода из колодца. Печка на дровах, нужник — шаткая будка во дворе, душ под баком с дождевой водой, сарайчик, который мы приспособили под гараж. Заросли малины вымахали под окнами, угрожая скрыть их совсем. Утром, поднимая оконную створку, можно было заслушаться птичьим щебетом. Камыши громко шептались,

стоило подуть ветру.

Как раз в подобном местечке легко научиться забывать о том, что совсем недавно на наших глазах в автокатастрофе погибла девушка, — а может, и мужчина вместе с ней, оставалось только гадать.

Когда заглушили мотор, уже начинало вечереть. Солнце зацепилось за верхушки деревьев. Оглянувшись, мы увидели, как зимородок колотит пойманную рыбу о доски причала. Замерев, смотрели, как птица лакомится добычей, а потом зигзагом летит прочь, — нечасто увидишь нечто столь же прекрасное. Выйдя из машины, я пошла по мосткам. Блейн вытащил картины с заднего сиденья, прислонил их к стене сарая, потянул в стороны деревянные двери импровизированного гаража. Поставив «понтиак» внутрь, он запер гараж на висячий замок и, вооружившись метлой, принялся заметать следы шин. Управившись наполовину, поднял глаза на меня и помахал рукой, одновременно словно пожимая плечами, после чего вернулся к своему занятию. Через считанные минуты уже ничто не говорило о том, что мы вообще покидали свое убежище.

Ночь выдалась прохладной. Даже цикады и те притихли.

Блейн уселся на причале рядом со мной, сбросил ботинки, покачал ногами над водой, сунул руки в карманы отутюженных брюк. Выжженные тени глаз. С прошлой ночи у него еще оставалось три четверти пакетика кокаина. Долларов на сорок-пятьдесят. Открыв его, он погрузил в порошок кончик длинного, узкого ключа от висячего замка на сарае, подцепил немного коки. Сложив ладонь под ключом ковшиком, поднес кокаин к моему носу, но я покачала головой: нет.

— Тут всего ничего, — настаивал он. — Давай, сними напряжение.

Первая доза с прошлой ночи; то, что прежде мы называли нашим «лекарством», «помощником», «скипидаром» — в честь жидкости, очищавшей наши кисти. Она ударила меня наотмашь, прожгла носоглотку до самого горла. Словно шаг в холодную снежную кашу. Блейн зарылся в пакетик поглубже и добыл три приличные порции для себя самого, запрокинул голову, пошевелил плечами, испустил долгий вздох и обнял меня одной рукой. Я почти ощущала исходящий от моей одежды запах аварии, словно это я сама только что покорежила решетку радиатора и теперь верчусь на шоссе вместе с машиной, готовясь врезаться в ограждение.

— Детка, мы с тобой ни в чем не виноваты, — объявил Блейн.

— Она была совсем юная.

— Мы тут ни при чем, милая, слышишь меня?

— Ты видел, как она там лежала?

— Говорю же, — повернулся ко мне Блейн, — этот идиот ударил по тормозам. Видала его? То есть, сама знаешь, у него даже огни не работали. Я ничего не мог поделать. То есть, черт, а что мне оставалось? Он вел эту тачку как идиот.

— У нее были такие белые ноги. Ступни.

— У неудачников своя компания, детка, у меня — своя.

— Господи, Блейн, там повсюду была кровь.

— Постарайся это забыть.

— А она просто лежала там.

— Ты ни черта не видела,ничегошеньки. Слышишь меня? Мы ничего не видели.

— Мы ехали в «понтиаке» двадцать седьмого года выпуска. Думаешь, нас никто не заметил?

— Мы ни в чем не виноваты, — повторил Блейн. — Просто забудь. Что мы могли сделать? Он втопил чертовы тормоза. Говорю же, он вел свой драндулет так, словно это, блин, лодка.

— Как считаешь, он тоже погиб? Тот водитель? Думаешь, он умер?

— Ты лучше нюхни, милая.

— Что?

— Ты должна забыть, что это случилось, ничего не было, никакой чертовой аварии.

Он запихал маленький пластиковый пакетик во внутренний карман сюртука и сунул пальцы под плечи жилета. Мы оба щеголяли в старомодных костюмах, это было частью нашего прикола с «возвратом» в двадцатые годы. Теперь это казалось смехотворным. Актеры массовки в заштатном театре. Кроме нас были еще двое нью-йоркских художников, Бретт и Делани, которые «вернулись» в сороковые, воспроизвели образ жизни и наряды, и это помогло им прорваться, прославиться, они даже попали в раздел светской хроники «Нью-Йорк таймс».

Мы с Блейном зашли еще дальше: уехали прочь из города, оставив себе шикарную машину — наша единственная уступка прогрессу, — и вели жизнь без электричества, читали книги чужой эпохи, стилизовали картины под старину и прятались от всех, себя считали затворниками и смельчаками, учеными-исследователями. В глубине души мы знали, что не оригинальны. Прошлой ночью в клубе «Максес» — расфуфыренные и гордые собой — мы не смогли миновать вышибал, которые не вспомнили нас с Блейном и не пропустили в VIP-зону. Не скрывая злорадной ухмылки, официантка задернула дверь портьерой. Как назло, никого из старых друзей рядом не оказалось. Мы развернулись и направились к барной стойке, неся

с собою картины. Блейн купил пакетик коки у бармена, который стал единственным, кто похвалил наши работы. Перегнувшись через стойку, уставился на холсты и смотрел секунд десять, не более. Ого, сказал он. Ого. Готовь шестьдесят баксов, мужик. Ого. Если захочешь прикупить немного «панамской красной», мужик, ты только скажи. Найдется. «Чиба-чиба» тоже есть. Ого. Ты только свистни. Ого.

— Избавься от кокаина, — сказала я Блейну. — Просто брось в воду.

— Потом, детка.

— Выброси его, прошу тебя.

— Позже, милая, хорошо? Он мне еще нужен. То есть, этот парень, да ладно! Он не умел водить. То есть, каким идиотом надо быть, чтобы ударить по тормозам посреди шоссе Рузвельта? А девчонку ты видела? На ней одежды всего ничего. То есть, может, она ему отсасывала или типа того. Могу поспорить, так и было. Она ему отсасывала, точно.

— Она лежала в луже крови, Блейн.

— А я тут при чем?

— Разбилась вдребезги. А этот парень... Он так и повис на рулевом колесе.

— Но это ты распорядилась уносить ноги. Это ты сказала: «Валим отсюда». Не забывай, это ты, ты сама приняла решение!

Я влепила ему пощечину и сама удивилась жару, охватившему ладонь. Поднялась на ноги. Заскрипели деревянные доски. Пристань была старой и бесполезной, она тянулась от берега, точно в насмешку. Я двинулась к дому, шагая по пропеченной солнцем земле. Взойдя на крыльце, толкнула дверь, постояла в центре комнаты. Воздух здесь был невыносимо затхлым. Словно долгие месяцы дурной стряпни.

Это не моя жизнь. Это не моя паутина по углам. Это не та темнота, для которой я была создана.

Весь последний год мы с Блейном были счастливы в этой лачуге. Здесь наши тела исторгли из себя последние следы наркотиков. Каждое утро мы поднимались с ясной головой. Работали, писали картины. Придумали себе тихую семейную жизнь. Теперь все рухнуло. Это был несчастный случай, сказала я себе. Мы все сделали правильно. Конечно, мы сбежали с места аварии, но ведь они могли обыскать нас, найти кокайн и травку, они могли подставить Блейна или узнать мою девичью фамилию, слить все в газеты.

Я выглянула в окно. На воде рябила тонкая дорожка лунного света. Звезды над головой казались булавочными уколами в небе, и чем дальше я на них смотрела, тем больше они напоминали следы чьих-то когтей. Блейн так и не ушел с мостков пристани, хотя теперь растянулся на них в длину,

ни дать ни взять тюлень, холодный и черный, готовый соскользнуть в пруд.

Я нашупала дорогу к керосиновой лампе. Спички на столе. Когда фитиль занялся, я развернула зеркало к стене. Не хотела видеть собственное лицо. Во мне все еще пульсировал кокаин. Я увеличила пламя лампы и почувствовала исходившую от нее волну тепла. Капля пота на лбу. Я оставила платье неопрятной кучей на полу, подошла к кровати и упала на мягкий матрас. Обнаженная, устроилась лицом вниз под покрывалом.

Она по-прежнему у меня перед глазами. Белые ступни, прежде всего, бог его знает почему, я отчетливо видела их на темном фоне асфальта. Отчего же они казались такими белыми? В моей памяти всплыла старая песенка, мой теперь уже покойный дед когда-то пел о колоссе на глиняных ногах. Я поглубже зарылась лицом в подушку.

Щелкнула дверная щеколда. Я лежала неподвижно, дрожа всем телом, — похоже, у меня как-то получалось и то и другое. Под шагами Блейна скрипели половицы. Он дышал неглубоко и часто. Я слышала, как он бросил ботинки у печки. Убавил огонек керосиновой лампы. Уголки мироздания сделались чуть темнее прежнего. Поколебавшись немного, пламя выпрямилось.

— Лара, — произнес он. — Любимая.

— В чем дело?

— Послушай, я не хотел кричать на тебя. Правда не хотел.

Блейн подошел к кровати и склонился надо мной. Я ощутила дыхание на шее — прохладное, как обратная сторона подушки. Тут у меня есть кое-что для нас обоих, сказал он, и стянул покрывало до моих бедер. Я ощущала, как съплется на мою спину кокаин. Прошли годы с тех пор, как мы вместе делали это. Я не шевельнулась. К ложбинке над ягодицами приник подбородок, не везде идеально выбритый. На ребра легла рука, губы коснулись позвоночника. Я чувствовала, как они беззаботно бегут по спине, едва ее касаясь. Блейн снова рассыпал порошок — тонкую дорожку, которую слизнул языком.

Совсем разойдясь, он вовсе стащил с меня покрывало. Мы не занимались любовью вот уже несколько дней, даже в отеле «Челси» обошлись без этого. Блейн перевернул меня и попросил не потеть: кокаин от этого слипается.

— Прости, — снова сказал он, посыпая кокой низ моего живота. — Не надо было кричать на тебя.

Я притянула его к себе за волосы. Едва различимые сучки на дереве потолка за его плечом казались замочными скважинами.

И Блейн все шептал мне на ухо: прости, прости, прости.

* * *

Свои деньги мы с Блейном заработали в Нью-Йорке. В конце шестидесятых он снял четыре черно-белых арт-фильма. Самый известный из них, «Антиох», был портретом старого склада у воды, шедшего под снос. Красивые, долгие, тщательно выставленные кадры — строительная техника, краны, грузовики, раскачивающиеся чугунные шары, запечатленные на шестнадцатимиллиметровой пленке. Они предваряли подлинное искусство, следовавшее за ними: свет, пробивающийся сквозь проломы в разбитых стенах склада, лежащие в лужах оконные коробки, новые архитектурные пространства, порожденные хаосом разрушения. Фильм купил известный коллекционер. После этого Блейн опубликовал эссе об онанизме кинематографа: фильмы, заявил он, создавали особую форму жизни, к которой приходилось стремиться обыденной реальности, этакое обращенное к себе вожделение. Само эссе обрывалось на полуслове. Его напечатал какой-то малоизвестный журнал, но Блейна все же заметили в тех кругах, где он надеялся засветиться. Он пер вперед, подпитываемый амбициями. В другом своем фильме, названном «Калипсо», Блейн завтракал на крыше «Часовой башни»,^[79] и за его спиной по циферблату двигались стрелки. На каждую он прикрепил фотографии из Вьетнама, и горящий монах на секундной описывал все новые и новые круги.

Какое-то время фильмы были последним писком. Телефон трезвонил не умолкая. Мы закатывали приемы. Владельцы галерей осаждали наши двери. «Вог» посвятил Блейну большую статью. Их фотограф обмотал его длинным шарфом — и только. Мы взахлеб пили общие восторги, но, если постоять в реке достаточно долго, даже берега придут в движение. Работы Блейна попали в собрание Гуггенхайма, однако довольно скоро немалая часть денег стала утекать на нездоровые привычки. Кокаин, скорость, валиум, метамфетамин, сенсимиллья, кваалюд, туинал, бензедрин — все, что удавалось раздобыть. Мы с Блейном целыми неделями мотались по городу, практически без сна. Мы окунались в разгульную толпу горластых обитателей Виллидж. Мы посещали хардкор-вечеринки, где блуждали в пульсирующей музыке, теряя друг друга на час, на два, на три. И ничуть не огорчались, обнаруживая свою пару в чьих-то чужих объятиях, — смеясь, мы шли дальше. Секс-вечеринки. Свингер-вечеринки. В «Студии 54» мы дышали попперсами и обливались шампанским. Это и есть счастье, кричали мы друг другу через весь танцпол.

Один известный модельер сшил мне лиловое платье с желтыми

пуговицами из прессованного амфетамина. Пока мы танцевали, Блейн откусил все пуговицы, одну за другой. Чем сильнее он накачивался, тем больше я обнажалась.

Мы влетали с черного входа и уползали через парадные двери. Ночь больше не казалась темным временем суток, утреннее солнце давно стало ее атрибутом. Мы считали вполне естественным, когда «ночь» включала в себя восход или звон будильника ровно в полдень. Бывало, мы приезжали на Парк-авеню только для того, чтобы посмеяться над заспанным видом швейцаров. Мы ходили на утренние сеансы в заштатных кинотеатрах на Таймс-сквер. «Одна сестра на двоих», «Похитители белья», «Горячие девчонки»... Мы встречали рассветы на гудронных пляжах манхэттенских крыш. Мы забирали своих друзей из палаты для психов в Белвью и прямиком везли их в полинезийский ресторан «Трейдер Викс».

Все делалось с шиком, которым отличались даже проблемы со здоровьем.

У меня начал дергаться левый глаз. Я пыталась не обращать внимания, но ощущала этот тик одной из стрелок на часах Блейна, описывающей круги на моем лице. Я ведь была когда-то хороша собой, Лара Лайвмен, девушка со Среднего Запада, белокурое дитя из высшего общества: мой отец был владельцем автомобильной империи, мать — фотомоделью из Норвегии. Скажу, не кривя душой: одной моей внешности хватало, чтобы из-за меня дрались таксисты. Ноочные гулянки уже начинали подтачивать мои силы. Зубы сменили оттенок, чуть потускнели из-за всего этого бензедрина. Глаза утратили яркость. Порой мне казалось, они высасывают цвет из волос. Такое странное чувство: жизнь просачивается через фолликулы, оставляя что-то вроде легкого зуда.

Вместо того чтобы творить, я посещала парикмахера — дважды, а то и трижды в неделю. Двадцать пять долларов за прическу. Я оставляла пятнадцать сверху и шла по улице, обливаясь слезами. Я еще вернулась к своим картинам! Ни минуты в этом не сомневалась. Дайте мне только еще один день. Еще один час.

Чем меньше мы работали, тем больше веса обретали в собственных глазах. Я осваивала жанр абстрактных городских пейзажей. Стайка коллекционеров уже вертелась поблизости, оставалось только найти в себе силы закончить. Но вместо двери собственной студии я распахивала дверь, ведущую с залитой солнцем Юнион-сквер в комфортную полуторму «Максес». Меня знали все вышибалы. На мой столик сразу ставили два коктейля: «манхэттен» я привычно запивала «белым русским». Минута-другая, — и я уже в полете. Брожу по клубу, болтаю, флиртую, хохочу. Рок-

звезды в VIP-зоне, художники у сцены. Мужчины в дамской комнате. Женщины — в мужской: курят, сплетничают, целуются, трахаются. Вокруг мелькают подносы с угощением: печенье на конопляном масле. Мужчины втягивают в носы длинные кокаиновые дорожки, пробегая по ним трубочками от авторучек. Время в «Максес» всегда текло невпопад. Войдя туда, люди тут же разворачивали наручные часы циферблатом вниз. Время пообедать могло наступить и сутки спустя. Порой пролетало три дня, прежде чем я выбиралась наконец наружу. Солнце было по глазам, когда я делала первый шаг с перекрестка Южной Парк-авеню и Семнадцатой улицы. Порой со мной был Блейн, чаще его не было, а время от времени, должна признаться, я сама не знала наверняка.

Вечеринки следовали друг за другом, как вагоны бесконечного товарного поезда. Двери нашего дилера, Билли Ли, всегда были распахнуты для друзей, он жил в самой гуще Виллидж. Он был высоким, тощим, красивым парнем. У него имелся набор для игры в кости, и мы доставали его, когда хотели новизны в сексе. Даже шутка ходила: люди к Билли заходят и уходят, но хороший приход обеспечен всем. Его квартира была буквально завалена стопками краденых рецептурных бланков, в трех копиях, на каждом уникальный номер, выданный в БКОНС.^[80] Билли таскал их у врачей, практикующих в Верхнем Ист-Сайде; заглядывал в офисы первых этажей на Парк и Мэдисон-авеню, ногой проталкивал кондиционер внутрь и влезал в открытые окна. Рецепты выписывал знакомый доктор из Нижнего Ист-Сайда. Билли глотал по двадцать колес в день. Он говорил, бывало, что, судя по ощущениям, его сердце колотится во рту, обернувшись вокруг языка. В официантках, работавших в «Максес», Билли души не чаял. Устоять перед его чарами удалось разве что блондинке по имени Дебби.^[81] Иногда я сама восполняла этот пробел, и Билли зачитывал мне на ушко целые куски из «Поминок по Финнегану». *Прадититель блудострастцев*. Двадцать страниц, вызубренные наизусть. Наподобие джазовой пьесы. Этот голос еще долго звенел у меня в ухе.

На нашу с Блейном квартиру пару раз жаловались из-за громкой музыки, был один арест за хранение, но в итоге именно полицейский рейд встряхнул нас по-настоящему. Выбитая ногой дверь. Копы, наводнившие комнаты. *Встать!* Кто-то из них шандахнул дубинкой мне по щиколотке. Я так перепугалась, что даже не пискнула. Это не был обычный приезд по вызову. Билли стащили с нашего дивана, пинком швырнули на пол, раздели и обыскали у нас на глазах. Увели в наручниках. Спецоперация ФБН.^[82] Мы с Блейном отделались внушением: нас предупредили, что следят за

каждым нашим шагом.

Блейн и я шарагались по городу, рассчитывая чем-то подогреться. Наркоты не было ни у кого из знакомых. В кои-то веки «Максес» закрыт на ночь. Гомосексуалисты с холодным немигающим взором не захотели впустить нас в свои клубы на Двенадцатой Литтл-Вест. Над Манхэттеном сгущалась мгла смога. На Хьюстон-стрит нам все-таки повезло купить пакетик коки, но в нем оказалась пищевая сода. Мы все равно набили ею ноздри на случай, если там залежалась хоть пара крупиц кокаина. На улицах нам попадались только конченые алкоголики, а когда мы доплелись до Бауэри, трое филиппинских мальчишек с ножами, в расписных кожаных куртках, прижали нас к ставням продуктовой лавки и обчистили.

Утро застало нас на пороге одной из аптек на Ист-Сайде. Посмотрим только, что мы сотворили с собой, сказал Блейн. Перед его рубашки, забрызганной кровью. Мне никак не удавалось унять пульсацию в глазу. Я лежала там, и влага с тротуара медленно проникала в мои кости. Не было сил даже расплакаться.

Какой-то проходивший мимо латинос, ранняя пташка, бросил к нашим ногам четвертак. *E pluribus unum.* [83]

Один из тех моментов, которые, я знала, остаются с тобою на всю оставшуюся жизнь. Наступает миг, когда, устав от поражений, принимаешь решение прекратить жалеть себя, хотя бы постараться что-то изменить, предпринять новую попытку, схватиться за последний шанс. Мы продали свой лофт в Сохо и специально купили избушку почти у границы штата, чтобы возвращение в «Максес» казалось долгой прогулкой.

Блейн планировал провести год, или два, или больше в каком-нибудь захолустье. Никакого внешнего раздражения. Возврат к радикальной невинности. И снова писать. Натягивать холсты. Стارаться нашупать свое оригинальное видение. Взгляды хиппи тут ни при чем. Мы оба люто ненавидели хиппи, их цветочки, их стишкы, саму их суть. Мы были как никто далеки от всего этого. Мы находились на переднем краю, на режущей кромке, мы определяли ход дальнейшего развития. Мы разработали идею жизни в двадцатые годы, в чистое время Скотта и Зельды. [84] Купили антикварный автомобиль, сменили всю начинку, перетянули сиденья, отполировали приборную панель. Я сделала прическу в стиле «флаппер». [85] Мы закупили провиант: яйца, муку, молоко, сахар, соль, мед, орегано, чили и связки вяленого мяса, которые подвесили под потолком. Вымели всю паутину и наполнили шкафы крупами, вареньями и пастилой — мы верили, что сможем очиститься до такой степени. Блейн

решил, что настало время вернуться к холсту, писать маслом в стиле Томаса Бентона или Джона Стюарта Карри. Ему хотелось погрузиться в простоту старых полотен, в регионализм.^[86] Его уже воротило от коллег, с которыми он учился в Корнелле, от всех этих Смитсонов,^[87] Тёрли и Матта-Кларков.^[88] Они уже сделали все, на что способны, говорил Блейн, им больше некуда двигаться. Их спиральные пристани, разрубленные надвое дома и украденные с улиц мусорные баки окончательно сделались passé.^[89]

Да и я сама — я решила, что моим работам недостает сердцебиения деревьев, колыхания трав, горстки земли. Посчитала, что смогу, наверное, запечатлеть воду каким-то новым, потрясающим способом.

Независимо друг от друга мы писали новые пейзажи — наш пруд, зимородка, покой и тишину, качавшуюся в гамаке деревьев луну, алые штрихи птичьих перьев в листве. Мы слезли с наркоты. Мы занимались любовью. Все шло хорошо, просто превосходно — до самой поездки назад, в Манхэттен.

* * *

В комнате распустился голубоватый рассвет. Блейн лежал, словно выброшенный на берег кит, прямо поперек кровати. Невозможно добудиться. Скрипит зубами во сне. Блейн словно исхудал немного, скулы чересчур выдаются на лице, но некрасивым его не назвать: временами он по-прежнему напоминает мне игрока в поло.

Оставив его в кровати, я вышла на крыльце. Солнце только готовилось показаться, но тепло уже отчасти высушило траву, намокшую под ночных дождем. По поверхности пруда легкой зыби бежал ветерок. До меня едва слышно долетал гул шоссе в нескольких милях от нас, глухой стрекот автомобилей.

Через все небо исчезающей кокаиновой дорожкой протянулся одинокий след реактивного самолета.

Голова раскалывается, в горле сухо. Не сразу удалось сообразить, что два последних дня — наше путешествие в Манхэттен, унижение в «Максес», авария, ночной секс — случились на самом деле. В нашу тихую жизнь вновь вторгся прежний грохот.

Я повернулась к сараю, в котором Блейн спрятал вчера «понтиак». Мы совсем забыли про картины. Оставили мокнуть под дождем. Даже не подумали чем-то прикрыть их. Загубленные, они так и стояли у стены

саая, рядом со старыми колесами от телеги. Склонившись к ним, я бегло осмотрела руины. Целый год работы. Вода и краска, кровоточа, свободно стекали в траву. Рамы скоро потрескаются и выгнутся. Умопомрачительная ирония. Все труды напрасны. Тщательная грунтовка холстов. Выщипывание кистей. Месяцы и месяцы напряженной работы.

Стоит легонько подтолкнуть фургон — и смотри теперь, как жизнь утекает сквозь пальцы.

Я предоставила Блейна самому себе, ничего не стала говорить, провела весь день, избегая его. Гуляла под деревьями, обошла озеро, выбралась на забытую, пыльную дорогу. Соберите вокруг себя все то, что любите, думала я, и приготовьтесь все потерять. Посидела под деревом, обрывая с его ствола корни ползучих растений, — казалось, это самое полезное действие, на которое я теперь способна. Той ночью я отправилась в постель, пока Блейн оглядывал пруд, слизывая последние остатки кокаина со дна своего пакетика.

На следующее утро, вновь найдя холсты у стены саая, я направилась пешком в сторону города. На определенном этапе каждая мелочь начинает казаться знамением свыше. Не пройдя и полпути, я увидела, как с груды старых автомобильных аккумуляторов ввысь вспорхнула стайка скворцов.

* * *

«Охотничья удача» стояла в самом конце Майн-стрит, в тени церковной колокольни. Рядом выстроились грузовички-пикапы с пустыми оружейными стойками в окнах. Перед церковью стояло несколько семейных автомобилей. У порога кафе из потрескавшегося асфальта выбивались пучки травы. Брякнул колокольчик. Посетители развернулись на своих табуретах, чтобы оглядеть меня. Сегодня их что-то больше обычного. Бейсбольные кепки, сигаретный дым. Местные бездельники быстро отвернулись и, сгрудившись теснее, продолжили прерванный моим появлением разговор. Меня это не беспокоило. Они никогда не тратили на меня много времени.

Я заняла одну из красных кабинок под настенной росписью, изображавшей полет утиного клина, издалека улыбнулась официантке, но та не махнула в ответ. По столу разбросаны пакетики с сахаром, соломинки и салфетки. Я насухо протерла пластиковую поверхность, соорудила пирамидку из зубочисток.

Мужики на табуретах шумели вовсю, явно чем-то взвинченные, но я

не могла разобрать, о чем идет речь. На миг меня обнял ужас: может, они как-то узнали об аварии? Но это казалось выходящим за пределы логики.

Успокойся. Сиди тихо. Позавтракай. Смотри, как мир проносится мимо.

Наконец официантка улучила минутку, бросила на столик меню и поставила передо мной чашку кофе, даже не поинтересовавшись, хочу ли я его. Обыкновенно в ее облике сквозила патентованная усталость, но сегодня она бодро поспешила назад, чтобы вновь угнездиться в мужской компании.

На ободке белой кофейной кружки темнели неотмытые потеки, и я отскребла их бумажной салфеткой. Рядом на полу валялась газета, свернутая и заляпанная яичным желтком. «Нью-Йорк таймс». Вот уже с год, наверное, я не просматривала газет. В лачуге у нас имелся приемник с расшатанной ручкой настройки, который мы иногда включали, желая узнать, что творится в окружающем мире. Толчок ноги — и газета отправилась под сиденье напротив. Авария и последовавшая за ней утрата всех наших картин вовсе отбили у меня охоту следить за новостями. Целый год работы коту под хвост. Интересно, что может произойти, когда катастрофу обнаружит Блейн. Мне виделось, как, взъерошенный и полуголый, он поднимается с постели, почесывается, привычным мужским жестом наводит порядок в пау, выбирается наружу и смотрит на сарай, трясет головой, чтобы проснуться окончательно, бежит по высокой траве, которая смыкается за ним вслед.

Блейн никогда не был подвержен сильным эмоциям — одна из его черт, которые по-прежнему мне нравились, — но я могла вообразить наше жилище усыпанным обломками разбитых рам.

Так хочется обратить время вспять, задержать стрелки, остановить все вокруг на секунду, дать себе шанс все исправить, начать заново, перемотать жизнь назад, предотвратить аварию, прогнать ее задом наперед, чудесным образом поднять девушку с земли и протолкнуть назад в ветровое стекло, соединить все осколки воедино, прожить день беззаботно, как ни в чем не бывало, со сладким привкусом прежней, нетронутой жизни на губах.

Но затем время срывается, несетя вскачь, и под девушкой вновь расползается темная кровавая лужа.

Я старалась поймать взгляд официантки. Она стояла, уперев в стойку оба локтя, и болтала с мужчинами. Их возбуждение пробегало по кафе грассирующей трелью. Громко откашлявшись, я снова улыбнулась. Официантка вздохнула напоказ: ладно, дескать, сейчас подойду, бога ради, не надо только давить на меня. Уже обогнула стойку, но снова встала как

вкопанная прямо посреди зала, хохоча над какой-то неразборчивой шуткой.

Кто-то из мужчин развернул газету, мимолетом тряхнув фотографией Никсона на первой полосе. Зализанные назад волосы, нарочито помпезный, хищный вид. Я терпеть не могла Никсона. Мне казалось, этому человеку удалось найти способ не только разрушить все, что было прежде, но и отравить само будущее. Мой отец был совладельцем большой автомобильной компании в Детройте, но за последние несколько лет все невообразимое состояние нашей семьи, все ее благополучие куда-то испарились. И дело не в том, что я собиралась получить наследство, — вот еще, ничего подобного, — просто мое детство рассеивается в воздухе прямо на моих глазах, все эти чудесные моменты, когда отец носил меня на плечах, щекотал под мышками и даже подтыкал одеяльце на ночь, целовал в щеку, все эти дни отступают, а воспоминания о них продолжают тускнеть, подстегиваемые общими переменами.

— Что вообще происходит?

Небрежным по возможности тоном. Официантка стояла передо мной, занеся авторучку над блокнотом.

— Вы еще не слышали? Можете попрощаться с Никсоном.

— Его застрелили?

— Нет же, черт. Ушел в отставку.

— Сегодня?

— Нет, милочка, завтра. Через неделю. На Рождество.

— Прошу прощения?

Официантка постучала кончиком авторучки по краю подбородка:

— Чёбудете?

Запинаясь, я заказала омлет по-ковбойски и сидела, потягивая воду из твердого пластикового стакана.

Моментальный снимок перед мысленным взором. Прежде чем встретить Блейна, — задолго до наркотиков, искусства и Виллидж — я была влюблена в парня родом из Дирборна.^[90] Он добровольцем отправился во Вьетнам, откуда вернулся с устремленным в пространство взглядом и с кусочком пули, намертво застрявшим в позвоночнике. В шестьдесят восьмом он удивил меня, агитируя голосовать за Никсона, — в своем инвалидном кресле он объезжал городской центр, громко восхваляя все то, чего и понять не был способен. Из-за этой предвыборной кампании мы и порвали отношения. Я считала, что знаю, каково во Вьетнаме. Мы оставим эту страну всю в пропитавшихся кровью руинах. Ложь можно повторять снова и снова, но, уходя в историю, она не обязательно становится правдой. Мой бывший парень принимал всю эту чушь за

чистую монету, он даже украсил спинку своего кресла наклейками «Никсон любит Иисуса». Он катил от двери к двери, рассеивая сплетни о Хьюберте Хамфри.^[91] Даже купил мне цепочку с кулоном в виде республиканского слона. Я носила ее, чтобы сделать ему приятное, чтобы вернуть ему потерянные ноги, но мне начинало казаться, что в его глазах погас огонек, а мозги свои он запер в шкафчик. Я и сейчас еще гадала, что могло случиться, останься я с ним тогда, научись воспевать невежество. Он писал мне, что видел фильм Блейна про «Часовую башню» и так при этом смеялся, что упал со своей коляски. Теперь он не может подняться и вынужден ползать по полу, не могла бы я протянуть руку помощи? В конце письма говорилось: *Пошла ты на хер, бессердечная стерва, ты скомкала мне сердце и выжала его досуха.* Тем не менее, вспоминая его, я и сейчас вижу, как он ждет меня под начищенными трибунами школьного стадиона с улыбкой, озаренной сиянием тридцати двух безупречных зубов.

Мысли скачут как бешеные; пора уже заткнуть их подальше, вот именно, в маленький шкафчик.

Я снова увидела погибшую в катастрофе девушку, ее лицо всплыло из-за плеча моего бывшего парня. На этот раз обошлось без белизны ступней. Она была хорошенькой, полной жизни. Никакого макияжа, никакого кокетства. Мило улыбаясь, она спросила, зачем я уехала с места аварии, почему не захотела поговорить, почему не остановилась, приди, приди, пожалуйста, разве ты не хочешь увидеть кусок металла, разорвавший мой позвоночник, или отрезок мостовой, который я приласкала на скорости в пятьдесят миль в час?

— Вы в порядке? — спросила официантка, толкая тарелку с едой по столу.

— Да, все хорошо.

Заглянув в нетронутую чашку, официантка обеспокоилась всерьез:

— Что-то не так?

— Просто не в настроении.

Она глядела на меня во все глаза, словно только что раскрыла шпионский заговор. Не пью кофе? Кто-нибудь, звоните немедленно в Комиссию по расследованию антиамериканской деятельности!^[92]

«Пошла ты к черту, — мысленно сказала я. — Оставь меня в покое. Уйди, возвращайся к своим немытым чашкам».

Я молча сидела, улыбаясь ей. Омлет оказался полусырым, он расплзлся на вилке. Проглотив кусочек, я ощущала, как в желудке колом встает прогорклый жир. Согнувшись над столом, ногой подтянула к себе

вчерашнюю газету, подняла ее с пола. Та открылась на статье про человека, прошедшего по канату между башнями Всемирного торгового центра. Похоже было, он примерялся к этому подвигу целых шесть лет и в итоге не просто перешел с одной башни на другую, а протанцевал между ними, он даже ложился на свой канат. Он сказал, что, когда видит апельсины, ему хочется жонглировать ими, а когда видит небоскребы, ему хочется перейти с одного на другой. Интересно, что он стал бы делать, войдя в эту забегаловку и увидев тысячу осколков меня, — слишком много, не пожонглируешь.

Я пролистала остальные страницы. Что-то про Кипр, про очистку воды, про убийство в Бруклине, но в основном в газете говорилось о Никсоне, о Форде и об Уотергейте. О скандале я знала всего ничего. Мы с Блейном не старались отслеживать подобные вещи — высшие эшелоны власти в самой гадкой ипостаси. Своего рода напалм, который они сбрасывают на собственную страну. Я была рада отставке Никсона, но она вряд ли способна вызвать революцию. В лучшем случае Форд на сотню дней задержится у руля, что с того? Не прекратит же он снабжать армию боеприпасами. Как мне представлялось, ничего особенно хорошего не происходило в нашей стране с того самого дня, как озлобленный Сирхан Сирхан^[93] нажал на чертов спусковой крючок. Конец идиллии. Мы все с готовностью произносили слово «свобода», но уже никто не понимал его смысла. Теперь мало за что стоило умереть, не считая права на оригинальность.

В газете ни словом не упоминалось об аварии на шоссе Рузвелта — ни единого крошечного абзаца, погребенного за центральным разворотом.

Но девушка оставалась, она смотрела на меня с прежней улыбкой. Уж не знаю почему, но водитель фургона не потряс меня так, как она. Только она. Я подходила к ней все ближе, шла вброд сквозь переплетение теней, и двигатель по-прежнему завывал, и рассыпанные вокруг осколки окружали ее ореолом святости. Насколько ты всесилен, Господь? Сохрани ей жизнь. Подними с мостовой и отряхни стекла с ее волос. Смой с тротуара бутафорскую кровь. Спаси ее тут же, сейчас же, воссоедини искалеченное тело.

Голова идет кругом. Тупая боль в висках. Я почти ощущала, как кабинка качается из стороны в сторону. Может, это наркотики покидали тело. Подняла с блюда кусочек тоста и просто подержала в губах, но от запаха масла сделалось только хуже.

В окно я видела, как к обочине тротуара подкатывает антикварный автомобиль с выбеленными шинами. Мне не сразу удалось сообразить, что

это не галлюцинация, не какая-то извлеченная из памяти движущаяся тень. Распахнулась дверца, на асфальт опустилась нога в ботинке. Из машины вылез Блейн, поднес ладонь к лицу, козырьком прикрыл глаза. Тот самый жест, как и на шоссе два дня тому назад. Клетчатая рубашка и джинсы. Никаких чудачеств со старомодным костюмом. Блейн выглядел так, словно родился и вырос где-то поблизости. Мотнув головой, отбросил волосы с глаз. Когда он переходил дорогу, текущий через городок вялый поток транспорта притормозил, пропуская пешехода. Руки глубоко в карманах. Блейн бодро прошествовал мимо витрины кафе, одарив меня улыбкой. Я была сбита с толку его пружинящей походкой, слегка откинутым назад торсом. Блейн был похож на рекламный образ, насквозь фальшивый. Он даже представился мне — на миг — в летнем костюме в полосочку. Он снова улыбнулся. Наверное, слышал про Никсона. И, скорее всего, не видел наших полотен, загубленных безвозвратно.

Звякнул колокольчик, и я увидела, как Блейн взмахом ладони приветствует официантку, кивает мужчинам у стойки. Из нагрудного кармана его рубашки выглядывала ручка художественного шпателя.

— Родная, ты что-то совсем бледная.

— Никсон подал в отставку, — сказала я.

Блейн расплылся в широкой улыбке, склоняясь над столом, чтобы поцеловать меня.

— Скатертью дорожка, старина Дики. Знаешь что? Я наткнулся на картины.

Я невольно содрогнулась.

— Это полный улет, — закончил Блейн.

— Что?

— Прошлую ночь они провели под дождем.

— Я видела.

— Преобразились.

— Жалко.

— Тебе жалко?

— Да, мне жалко, Блейн, мне очень жалко...

— Погодь, погодь!

— Что еще за «погодь»?

— Ты разве не поняла? — усмехнулся он. — Даешь произведению новую концовку, и оно меняется целиком. Ты что, не видишь?

Я подняла голову, уставилась ему прямо в глаза. Нет, я не видела. Ничегошеньки я не видела, совсем ни хрена.

— Та девушка, она погибла, — сказала я.

— О господи! Не начинай опять.

— Опять? Это произошло только позавчера, Блейн.

— И сколько раз мне придется повторять? Мы не виноваты. Это не наша вина. Выше нос. И старайся говорить потише, Лара, мы все-таки не одни.

Потянувшись, он взял меня за руку. Напряженный взгляд сузившихся глаз: мы ни при чем, мы ни при чем, мы ни при чем.

Я не превысил скорость, сказал он, я не имел ни малейшего желания врезаться в зад какому-то приуроку, даже не умеющему толком водить. Всякое бывает. Всякое сталкивается.

Он подцепил на вилку кусочек моего омлета, выставил его вперед, словно указывая на меня. Опустил глаза, сунул вилку в рот, медленно прожевал.

— Я только что сделал потрясающее открытие, а ты меня даже не слушаешь.

Словно твердо вознамерился рассмешить меня какой-то тупой шуткой.

— На меня снизошло просветление, — заявил Блейн.

— Насчет той девушки?

— Хватит, Лара. Сoberись и подумай. Послушай меня.

— Насчет Никсона?

— Нет, не насчет Никсона. В жопу Никсона. Пусть с ним история разбирается. Выслушай меня, пожалуйста. Ты будто свихнулась.

— Я видела мертвую девушку.

— Хватит уже. Выше нос, блин.

— А тот парень, он тоже мог погибнуть.

— Заткни. Свой. Рот. Мы только чуточку его задели, и только. У мужика не работали тормозные огни.

В этот момент над нами нависла официантка, и Блейн выпустил мою ладонь. Он заказал себе фирменное блюдо с яйцами и двойным беконом, а также колбаски из оленины. Официантка попятилась, он улыбнулся ей и проследил, как та удаляется, качая бедрами.

— Смотри, — заговорил он. — Тут самое главное, это время. Если хорошенько подумать. Они посвящены времени.

— Посвящены времени?

— Полотна. Они говорят о ходе времени.

— Господи боже, Блейн.

Уже давно я не видела, чтобы его глаза так сияли. Он разорвал пару пакетиков сахара, высыпал в кофе. Несколько крупинок разбежались по столу.

— Послушай же наконец. Мы закончили серию картин в стиле двадцатых, так? И мы жили в том времени, верно? В этом присутствует мастерство, они уверенно держатся на воде, у них прочный киль, то есть, ты сама это говорила. И они обращены к тому, прошедшему времени, правильно? Они сохранили отточенность манеры. Они закованы в стилистические доспехи, верно? В них видна известная монотонность. Они намеренно созданы такими. Мы воспитали, мы взрастили их. Но разве ты не видела, что стихия с ними наделала?

— Еще как увидела.

— Так вот, я пошел туда утром, и проклятые картины чуть не пришибли меня. А потом я пригляделся к ним внимательнее. И они оказались прекрасны. Уничтоженные картины. Ты уже поняла?

— Нет.

— Что случится с серией холстов, если оставить их на милость природы? Тем самым мы позволяем настоящему потрудиться над прошлым. Мы могли бы совершить нечто радикальное. Написать ряд формальных картин, стилизованных под прошлое, а затем позволить настоящему уничтожить их. Природа предстает как соавтор, как художник. Реальный мир соприкасается с искусством. Так мы даем произведению иную концовку, а затем начинаем воспринимать его иначе. Идеальная концепция, правда?

— Девушка погибла, Блейн.

— Прекрати.

— Ни за что.

Воздев кулаки, Блейн обрушил их на стол. Подскочили одинокие кристаллики сахара. Кое-кто из мужчин за стойкой обернулся посмотреть на нас.

— Бля, — бросил мне муж. — С тобой невозможно разговаривать.

Принесли завтрак, который Блейн угрюмо умял. Он то и дело поглядывал на меня — так, словно я могла внезапно измениться, вмиг обернуться красавицей, на которой он когда-то женился, — но глаза оставались голубыми и недобрьими. Колбаску он разделал с животной яростью, словно та, некогда щипавшая траву, нанесла ему смертельное оскорбление. В наспех выбритом уголке его рта налип кусочек яйца. Он пытался рассказать мне о своем новом проекте, о том, что человеку свойственно повсюду искать и находить смысл. Его голос гудел пойманной в коробок мухой. Его стремление к уверенности, его поиски смысла. Он нуждался во мне, я должна была поддержать его видение мира. Меня же так и подмывало объявить Блейну, что всю свою жизнь я по-настоящему

любила одного только прикованного к инвалидному креслу поклонника Никсона, а все остальное было лишь примитивом, банальщиной, ребяческой наивностью, бесполезной и надоевшей, — все наше искусство, все наши проекты, все наши провалы, этот никому не нужный хлам, не значащий абсолютно ничего, — но так и сидела, молча прислушиваясь к тихому гулу голосов у стойки и звяканью вилок о фарфор.

— Пошли отсюда, — сказал Блейн.

Стоило ему щелкнуть пальцами, как подбежала официантка. Блейн оставил ей щедрые чаевые, и мы вместе выбрались из кафе наружу, на солнце.

На Мейн-стрит Блейн водрузил на нос гигантские солнцезащитные очки, вернул походке размашистую непринужденность и направился к ремонтному гаражу в конце улицы. Я следовала на пару шагов позади. Блейн не оглядывался, не замедлял шага.

— Эй, друг, у вас тут принимают спецзаказы? — бросил он паре ног, торчавшей из-под автомобильного остова.

Выкатившись к нам, механик уставился, моргая, снизу вверх:

— Чем могу помочь, приятель?

— Мне нужна фара для «понтиака» двадцать седьмого года. И переднее крыло.

— Какого года?

— Ты сумеешь их раздобыть или нет?

— Это Америка, командир.

— Тогда раздобудь.

— Нужно время, чувак. И деньги.

— Без проблем, — заявил Блейн. — Есть и то и другое.

Механик поковырял в зубах, заухмылялся. Хромая, двинулся к рабочему столу: папки для бумаг вперемешку с карандашными очистками в окружении полуголых девиц на календарях. У Блейна дрожали руки, но его это ничуть не заботило; он вновь стал самим собой и уже прикидывал, как поступит со своими холстами, едва удастся починить машину. Как только фара и крыло встанут на место, он сможет выбросить из головы всю эту неприятную историю и взяться наконец за работу. Я не имела представления, надолго ли им завладела эта новая идея — на час, еще на год, на всю жизнь?

— Ты едешь? — спросил Блейн, покидая гараж.

— Я бы предпочла пройтись.

— Нужно все подготовить для съемок, — сказал он. — Сама понимаешь, стоит запечатлеть весь процесс создания новой серии, всю

работу. С самого начала. Сделать такой документальный фильм, как думаешь?

* * *

У входа в больницу «Метрополитэн» на перекрестке Девяносто восьмой улицы и Первой авеню выстроились в ряд пациенты-курильщики. У каждого вид его последней сигареты: все пепельные, того и гляди осыпятся на пол. Приемная за вращающейся дверью забита до отказа. Внутри еще одно облачко дыма. Капли крови на полу. Наркоманы, растянувшись на скамьях для посетителей. Такие больницы надо бы класть в больницу.

Я пробилась сквозь толпу. Эта больничная приемная была пятой по счету, и я уже начинала догадываться, что водитель фургона погиб от удара одновременно с девушкой и их обоих сразу отвезли в морг.

Охранник указал мне окошко справочной службы, врезанное в стену кабинета без таблички в самом конце коридора. В нем, словно в раме, сидела дородная женщина. Со стороны могло показаться, что она сидит в телевизоре. Очки болтались на шее. Я бочком приблизилась к оконцу и шепотом спросила о мужчине и женщине, возможно доставленных сюда после аварии, случившейся в среду вечером.

— Вы, значит, родственница? — спросила она, даже не посмотрев на меня.

— Да-да, — выдавила я. — Двоюродная сестра.

— Вы пришли за его вещами?

— За чем?

Вот теперь она смерила меня взглядом:

— Его вещами.

— Да.

— Вам придется расписаться.

Уже через пятнадцать минут я стояла, прижав к себе коробку с пожитками покойного Джона Э. Корригана. Они включали пару распоротых больничными ножницами черных брюк, такую же черную рубашку, белую майку в бурых потеках, трусы и носки в отдельном пакете, католический значок-амulet, пару спортивных туфель со стертыми до дыр подошвами, водительское удостоверение, выписанный в 7:44 утра в среду 7 августа штрафной талон за неправильную парковку на Джон-стрит, пакетик папиросного табака, бумажки к нему, несколько долларов и, как ни странно,

ключ с брелоком, в который были вставлены фотографии двух темнокожих детей. Ко всему прочему прилагалась и нежно-розовая зажигалка, казавшаяся неуместной среди остальных вещей. Мне не была нужна эта коробка. Я взяла ее, чтобы не создавать неловкости, чтобы подкрепить вылетевшую изо рта ложь, во что бы то ни стало сохранить лицо — или просто замести следы. Мне начало казаться, что бегство с места аварии может приравниваться к убийству, оно само по себе преступление, и к нему я теперь добавила новое, едва ли столь же серьезное, но не менее постыдное. Мне хотелось оставить коробку на больничных ступенях и бежать — от себя самой. Я привела в движение столько событий и в итоге осталась с охапкой вещей, принадлежавших мертвецу. Явно утратила чувство реальности. Пора уже возвращаться домой, а я стою тут с коробкой чьей-то окровавленной одежды. Я уставилась на снимок водителя. На ней он выглядел моложе, чем подсказывал стоп-кадр из недр моей памяти. Отчего-то испуганные глаза, глядящие далеко за камеру.

— А девушка?

— Мы только констатировали смерть, — важно сказала женщина, словно проделала это лично. — Что-нибудь еще?

— Нет, благодарю вас, — пробормотала я.

Только два фрагмента головоломки мне удалось хоть как-то состыковать. По-видимому, Джон Э. Корриган (родился 15 января 1943 года, рост 5 футов 10 дюймов, вес 156 фунтов, глаза голубые) приходился отцом двум маленьким чернокожим детям с брелока, живущим где-то в Бронксе. Возможно, был женат на девушке, которую ударом швырнуло сквозь лобовое стекло. Может, девочки на брелоке были их дочерьми, теперь уже подросшими. Или, возможно, его отношения с мертвой девушкой должны были оставаться в тайне; как и говорил Блейн, у них мог быть случайный роман.

На дне коробки лежала сложенная фотокопия каких-то медицинских документов — больничная отметка, выдаваемая при выписке. Каракули едва поддались расшифровке. *Тампонада сердца. Клиндамицин, 300 мг.* На мгновение я словно вернулась на шоссе. Переднее крыло «понтиака» задевает машину, и теперь я вращаюсь в большом коричневом фургоне, вместе с водителем. Стены, вода, дорожное ограждение.

Когда я вышла на свежий воздух, моих ноздрей достиг запах его рубашки. Внезапно появилось странное желание разделить табак между стоящими у входа курильщиками.

«Понтиак» обленили пуэрто-риканские подростки. На них были разноцветные кроссовки и расклешенные брючки, сигаретные пачки

подсунуты под рукава футболок. Когда я робко протискивалась между ними, они немедленно учудили мою нервозность. Высокий и тощий паренек потянулся через мое плечо в коробку, выхватил пакет с бельем Корригана, притворно завизжал от отвращения и уронил пакет на землю. Остальные дружно загоготали. Нагнувшись за пакетом, я почувствовала на своей груди чьи-то пальцы.

Выпрямившись во весь рост и стараясь казаться еще выше, я немигающим взором уставилась в глаза парню;

— Не смей. — Я чувствовала себя намного старше своих двадцати восьми, будто за последние несколько дней прожила десятки лет.

Паренек попятился:

— Да я только посмотреть.

— Значит, не надо.

— Тогда покатайте меня.

— «Понтиак»! — заверещал другой мальчишка. — Потрогал Один Ниггер Тачку И Ахнул: Кадиллак!

— Подарите мне такую же, тетенька.

Новая волна смешков.

За спиной парнишки я видела больничного охранника, уже спешащего на выручку. На нем была круглая шапочка-куфи, он быстро шагал, бормоча в рацию. Мальчишки прыснули в разные стороны и с улюлюканьем дали стрекача вдоль улицы.

— Все в порядке, мэм? — спросил охранник.

Никак не получалось вставить ключ в скважину на дверце. Мне казалось, что сейчас охранник обойдет «понтиак» спереди, увидит разбитую фару и сложит вместе два и два, но он просто помог мне вывернуть с больничной дорожки на улицу. В зеркале я видела, как он подобрал брошенный пакетик с бельем. На миг поднял его повыше, но потом пожал плечами и, уходя, сунул в урну на обочине дорожки.

Сворачивая на Вторую авеню, я уже не сдерживала слез.

В город я отправилась под предлогом покупки навороченной видеокамеры, чтобы Блейн смог запечатлеть рождение своих новых полотен. Но все магазины, какие я знала, располагались на Четырнадцатой улице, вблизи моей старой квартиры. Кто это сказал, что мы уже никогда не сможем вернуться домой?^[94] Вместо этого я поняла, что еду в сторону Вест-Сайда. К небольшой парковке в парке Риверсайд, у самой воды. Картонная коробка лежала рядом, на пассажирском кресле. Жизнь незнакомого человека. Я никогда не совершила ничего подобного. Мое намерение проникло в реальность и сделалось взрывоопасным. Мне

слишком легко удалось завладеть коробкой — простой росчерк на бумажке и небрежное «спасибо». Все ее содержимое я собиралась бросить в воды Гудзона, но существуют поступки, на которые человек просто не может отважиться. Я вновь уставилась на фотографию водителя. Это не он привел меня сюда, а девушка. Я по-прежнему ничего о ней не знала. Что теперь делать? Ерунда какая-то. Остается только изобрести новый способ воскрешения мертвых.

Я вышла из машины и поковырялась в ближайшей урне, выудила оттуда газету и бегло просмотрела ее, отыскивая некрологи или сообщения о катастрофах. Одно нашла, большое: передовица, оплакивающая «Америку Никсона». Никаких упоминаний о чернокожей девушке, погибшей в аварии, виновник которой скрылся.

Собрав все свое мужество, я направилась в Бронкс, по указанному на водительской лицензии адресу. Целые кварталы запущенных пустырей. Проволочная изгородь с лохмотьями пластиковых пакетов наверху. Чахлы, согнутые ветром деревца каталы. Авторемонтные мастерские. Новые и не очень. Вонь горелой резины и мокрого кирпича. На невысокой каменной ограде кто-то вывел: *Данте уже слинял отсюда*.

Чтобы найти нужное место, потребовалась уйма времени. Под опорами трассы майора Дигана стояла пара полицейских машин. На приборной панели одной из них красовалась коробка с пончиками, прямо как в дрянном телешоу. Копы смотрели, открыв рты, как я подкатываю к ним на «понтиаке». Я уже утратила всякое чувство страха. Если им не терпится арестовать меня за бегство с места происшествия, ну и пожалуйста.

— Район тут не из лучших, мэм, — с гнусавым нью-йоркским прононсом заметил один из них. — Всякая машина вроде вашей бросается в глаза.

— Чем можем помочь, мэм? — спросил другой.

— Может, перестанете называть меня «мэм»?

— Какие мы сердитые.

— Что вы здесь забыли, леди? Езжайте, пока не нарвались на неприятности.

Словно в подтверждение этих слов огромный грузовик-рефрижератор замедлил ход под светофором, водитель опустил стекло и свернул было к обочине, но, оглядевшись по сторонам, заметил полицейских и сразу прибавил ходу.

— У негритосок нынче выходной! — вслед ему крикнул один из копов, а затем растянул губы в тонкой улыбке, отчего его веки покрылись

морщинками, и отер ладонями увесистый бурдюк над поясной пряжкой. — Мы прикрыли эту лавочку, — пояснил он, словно извиняясь.

— Так чем мы можем вам помочь, мисс? — спросил второй.

— Я бы хотела вернуть кое-что одному человеку.

— Да неужто.

— У меня тут коробка с вещами. В машине.

— И где вы только ее раздобыли? Сколько ей? Лет сто?

— Это мужнина.

Снова эти тонкие улыбки, но оба копа казались довольны, что я скрасила им скуку дежурства. Они обошли вокруг «понтиака», ахая и охая, провели толстыми пальцами по деревянной торпеде, восхитились ручному тормозу. Мне и прежде доводилось гадать: а не придумали ли мы с Блейном свой прикол с возвращением в двадцатые, только чтобы иметь право водить такой автомобиль? Мы купили его в качестве свадебного подарка самим себе. Всякий раз, когда я садилась на его кожаные сиденья, жизнь становилась простой и уютной.

Второй коп сунул нос в коробку с вещами Корригана. Оба полицейских вели себя возмутительно, но я едва ли могла отчитать их за это. Меня внезапно кольнула вина за пакет с бельем, оставленный в больнице, словно он теперь мог кому-то понадобиться, чтобы завершить портрет человека, которого больше не было на свете. Со дна коробки коп выудил штрафной талон, а затем и водительскую лицензию. Тот, что помоложе, кивнул:

— Ну да, тот самый ирландец. Священник.

— Ясное дело.

— Который доставал нас тогда насчет шлюх. Водил такой нелепый фургон.

— Там он, на пятом этаже. Вернее, его брат. Занимается уборкой, выносит хлам.

— Священник? — повторила я.

— Ну да, монах или вроде того. Социальные работнички, борцы за права, тео-как-их-там.

— Теологи, — подсказал второй коп.

— Из тех парней, что воображают, будто Иисус жил на пособие.

Меня тряхнуло от ненависти, но я все же объяснилась: работаю в больнице, привезла личные вещи, которые надо вернуть родственникам. Не будут ли они так любезны передать их брату погибшего?

— Не наша работа, мисс.

— Видите там дорожку? В стороне от домов? Идите по ней до

четвертого коричневого здания. Внутри налево. Езжайте на лифте.

— Или по лестнице.

— Поосторожней там, однако.

Вот интересно, сколько потребуется самодовольных негодяев, чтобы получился департамент полиции? Война придала им наглости, развязала языки. Важная походка вразвалочку. Десять тысяч человек у водометов. Стреляй по ниггерам. Мочи радикалов. Люби Америку или убирайся вон. Не верь вранью, если слышишь его не от нас.

Я направилась к многоквартирным домам, борясь с нахлынувшим ужасом. Сложно унять сердце, когда оно колотится прямо в горле. Ребенком я видела, как лошади вступают в воду, спасаясь от жары. Можно долго смотреть, как они не сразу отваживаются выбраться из тени конских каштанов и сойти по склону на илистое мелководье, как отгоняют мух взмахами хвоста, как заходят все дальше и дальше, чтобы либо окунуться на миг, либо повернуть назад. Охвативший меня трепет означал страх, и в нем было нечто позорное. Эти многоэтажки были чужды стране, которую я помнила с детства, в которой творила, которая была мне знакома. Я всегда была домашней девочкой. Даже одурманенная наркотой, я бы ни за что не отправилась в подобное место. Я пыталась заставить себя идти дальше. Вела счет трещинам в асфальте. Окуркам. Втоптанным в грязь нераспечатанным конвертам. Осколкам стекла. Кто-то свистнул, но я не оглянулась. Из открытого окна донесся сладковатый запах марихуаны. Мне уже перестало казаться, что я вхожу в воду, — напротив, было такое чувство, словно я ведрами таскаю кровь прочь от собственного тела, прислушиваясь к тому, как она хлюпает о стенки ведер, плещет на землю.

На двери подъезда висели сухие, бурые остатки рождественского венка. Внутри меня встретили перекошенные почтовые ящики со следами ожогов. Нестерпимо воняло спреем от тараканов. Лампочки над головой зачем-то забрызганы черной краской.

У лифта ждала полная дама средних лет, ситцевое платье в цветочек. На полу валялся использованный шприц, который женщина, глубоко вздохнув, отправила в угол носком туфли. Шприц затих, капелька крови на кончике иглы. Я с улыбкой кивнула в ответ. Какие белые зубы. Вереница беспокойных фальшивых жемчужин на шее.

— Хороша погодка, — сказала я, хотя мы обе в точности понимали, что творится вокруг.

Лифт начал подъем. Лошади вступили в воду. Смотрите, сейчас я утону.

На пятом этаже я рас прощалась со своей спутницей, и та отправилась

выше; звуки движущихся кабелей походили на потрескивание сухих веток.

У двери собирались несколько человек, по большей части чернокожие женщины в темных траурных одеждах, в которых они явно не чувствовали себя уютно. Казалось, свой траур они взяли напрокат — на денек, не более. Выдавал их макияж, безвкусный и криклиwy; вокруг утомленных и тусклых глаз одной из них даже блестели серебристые звездочки. Копы что-то говорили о шлюхах... Меня вдруг осенило — что, если погибшая девушка действительно была проституткой? Короткий выдох облегчения, но затем меня словно водой окатили, стены сжали грудь: да что это со мной?

Я совершила непростительную ошибку, явившись сюда. Сердце едва не выскакивало из разреза блузки, но женщины у двери расступились, и я вошла внутрь под пологом их скорби.

Дверь оказалась не заперта. Внутри молодая женщина терла пол шваброй. Черты ее лица, казалось, воплощали собирательный образ латиноамериканки. Глаза темные от потеков туши. Простая серебряная цепочка на шее. Она явно не была проституткой. Я немедленно почувствовала себя одетой не по случаю, будто без приглашения вторглась сюда, воспользовавшись ее молчанием. За женщиной стоял человек, вылитая копия фотографии с водительского удостоверения, только чуть крепче, упитаннее, шире в плечах. Увидев его, я почти перестала дышать. Белая сорочка, темный галстук и пиджак. Широкое и румяное лицо, набухшие от горя глаза. Запинаясь, я объявила, что работаю в больнице, привезла вещи, принадлежавшие мистеру Корригану.

— Киран Корриган, — представился он, пожимая мне руку.

Брат погибшего показался мне человеком, который с большой радостью проводил бы время в постели, разгадывая кроссворды. Взяв у меня коробку, он уставился внутрь, покопался в содержимом. Наткнувшись на брелок, на секунду замер, а затем сунул его в карман.

— Спасибо вам, — сказал Киран Корриган. — Мы совсем забыли про его вещи.

В этих словах акцент был едва заметен, но его манера держаться напомнила мне других ирландцев: слегка сутулясь, они тем не менее предельно настороженны. Латиноамериканка взяла рубашку из его рук и понесла в кухню. Она стояла у раковины и глубоко вдыхала ее запах. Черные пятна засохшей крови. Женщина оглянулась на меня, опустила взгляд в пол. Ее небольшая грудь ходила ходуном. Внезапно она открыла кран и, сунув рубашку в воду, принялась выжимать ее, словно Джон Э. Корриган в любую минуту мог прийти домой и надеть ее. Мне было

совершенно ясно, что мое присутствие нежеланно и не нужно, но что-то продолжало удерживать меня на месте.

— Через сорок пять минут нам ехать на похороны, — сказал Киран. — Прошу прощения.

В квартире этажом выше шумно спустили воду.

— В машине была девушка, — сказала я.

— Да, мы собирались на ее похороны. Ее мать привезут из тюрьмы на час-другой. Так нам сказали. Служба по моему брату состоится завтра. Его кремируют. С этим были кое-какие сложности. Не о чем беспокоиться.

— Ясно.

— Еще раз прошу прощения.

— Конечно.

В квартиру вошел низенький, полноватый священник, назвавшийся отцом Мареком. Ирландец и ему пожал руку, недоуменно взглянул на меня, словно удивляясь, почему я еще здесь. Я отошла к двери, постояла и повернула голову. Похоже, эти замки выламывали, и не раз.

Женщина-латиноамериканка так и не вышла из кухни, едва успела закинуть мокрую рубашку на вешалку над раковиной. Теперь она стояла под ней с опущенной головой, будто пытаясь что-то вспомнить. Постояв, снова зарылась лицом во влажную ткань.

Обернувшись, я заговорила, запинаясь:

— Вы не против, если я приду на похороны?

Пожав плечами, Киран посмотрел на священника, который быстро набросал план на клочке бумаги, словно радуясь, что оказался кому-то полезен. Затем взял меня за локоть и вывел в коридор.

— Вы можете как-то повлиять? — осведомился отец Марек.

— Повлиять? — удивилась я.

— Ну, его брат настоял на кремации, прежде чем отправиться домой в Ирландию. Завтра. И я подумал, возможно, вы могли бы отговорить его.

— Почему?

— Это противоречит нашей вере, — пояснил он.

В дальнем конце коридора заголосила одна из женщин. Впрочем, она немедленно умолкла, стоило ирландцу выйти за дверь. Он подтянул узел галстука повыше, пиджак расправился на спине. За ним шла латиноамериканка — с гордым, чопорным видом. В коридоре все затихли. Нажав кнопку вызова лифта, Киран оглянулся на меня.

— Извините, — сказала я священнику, — не могу я повлиять.

Попятившись, я поспешила к лифту, дверцы которого уже смыкались. Ирландец сунул руку в щель между дверцами, не дал им закрыться, и мы

вместе отправились вниз. Латиноамериканка сдержанно мне улыбнулась: жаль, что она не сможет побывать на похоронах девушки, нужно спешить домой и заняться детьми, но она рада, что у Кирана появилась компания.

Не подумав, я предложила подвезти его, но он сказал: нет, его зачем-то попросили прибыть с траурным кортежем.

Выходя на солнце, Киран нервно тер ладони.

— Я даже не знал толком эту девушку, — сказал он.

— Как ее звали?

— Не знаю. Ее мать зовут Тилли.

Произнося это, он словно ставил окончательную точку, но все же добавил:

— Кажется, Джаззлин или как-то так.

* * *

Я поставила машину подальше от ворот кладбища Сент-Реймондс в Трогз-Неке, чтобы та не бросалась в глаза. Неподалеку гудело оживленное шоссе, но чем ближе я подходила к кладбищу, тем сильнее в воздухе ощущался аромат свежескошенной травы. Сюда долетали лишь слабые отголоски Лонг-Айленда.

Деревья здесь были высокими, и свет колоннами падал сквозь их ветви. Как-то слабо верилось, что вокруг раскинулся Бронкс, хотя я заметила граффити на тыльной стороне пары старых мавзолеев, а несколько надгробий ближе к воротам оказались повалены. По кладбищу двигалось сразу несколько процессий, в основном в новой его части, но понять, какая из групп скорбящих провожает погившую девушку, оказалось достаточно просто. Они несли гроб по затененной аллее в направлении старого кладбища. Дети одеты в белоснежные костюмчики, но наряды женщин выглядят так, словно были подобраны наспех — слишком короткие юбки, слишком высокие каблуки, прикрытые платками глубокие декольте. Казалось, все они побывали на какой-то странной распродаже: яркие тряпки, спрятанные под темными лоскутами. На общем фоне ирландец выделялся бледным, почти белым лицом.

Вслед за процессией шел мужчина в праздничном костюме, в лиловой фетровой шляпе с пером. Мне показалось, он был настроен недружелюбно, явно взвинчен каким-то наркотиком. Под его пиджаком, на черной облегающей водолазке, болталась золотая цепь с подвешенной к ней ложечкой.

Вместе со всеми шагал мальчик лет восьми; он очень красиво играл на саксофоне, будто неведомо как очутившийся здесь юный барабанщик времен Гражданской войны. Музыка разносилась над кладбищем печальными всплесками.

Процессия остановилась, я осталась позади, на заросшем травой участке рядом с дорожкой, но, когда началась служба, брат Джона Э. Корригана поймал мой взгляд и поманил ближе. У могилы собралось не больше двух десятков человек, несколько молодых женщин стенали в полный голос.

— Кирэн, — представился он снова, протягивая руку. Будто я могла уже забыть, как его зовут. Тень улыбки на лице выдавала смущение: здесь мы были единственными белыми. Мне захотелось поднять руку и поправить ему галстук, пригладить растрепавшиеся волосы.

Женщина, которая могла быть только матерью погибшей девушки, стояла, всхлипывая, между двумя мужчинами в официальных костюмах. К ней подошла женщина помоложе и, стянув с себя красивую траурную шаль, обернула плечи плачущей.

— Спасибо, Энджи.

Проповедник — высокий, элегантно одетый чернокожий — вежливо покашлял, и толпа затихла. Он заговорил о торжестве покидающей плоть души и о том, что нам следует принять отсутствие бренной оболочки, восславить освобождение сущности человека. Жизнь Джаззлин не была легкой, сказал он. Смерти не дано ни оправдать, ни объяснить эти тяготы. Могиле не под силу уравновесить все прожитые дни. Быть может, сейчас не время и не место, сказал проповедник, но он все равно будет говорить о правосудии. Правосудие, повторил он. В итоге лишь непорочность и истина одержат верх. Храм правосудия осквернен, заявил он. Мир заставляет юных девушек вроде Джаззлин совершать ужасающие поступки. Когда они становятся старше, мир требует от них еще более кошмарных деяний. Этот мир гнусен и нечист. Он опутал Джаззлин своими грязными сетями. Она этого не хотела. Достойный презрения, мир повернулся к ней спиной, сказал проповедник. Он заковал ее в оковы тирании. Возможно, рабство и осталось в прошлом, сказал он, но оно по-прежнему здесь, цепи никуда не исчезли. И единственный способ побороть его — это жить, заботясь о близких, жить по справедливости, жить праведно. Но это отнюдь не просто, сказал он, вовсе нет. Посвятить себя добродетели куда сложнее, чем жить во грехе. И грешники понимают это лучше, чем праведники. Потому-то они и сделались грешниками. Потому и пристало к ним зло. Оно принимает в свои мерзкие объятия тех, кому никогда не подняться до

истины. Зло — лишь маска, под которой прячутся скудоумие и отсутствие любви. Даже если люди смеются при упоминании добродетели, если они находят ее сентиментальной или ностальгической, это неважно; добродетель ни то ни другое, за нее необходимо сражаться.

— Правосудие, — произнесла мать Джаззлин.

Кивнув в ответ, проповедник поднял взгляд вверх, к кронам деревьев. Ребенком Джаззлин росла в Кливленде и Нью-Йорке, сказал он, в отдалении ей виделись цветущие луга добродетели, она обещала себе, что когда-нибудь попадет туда. Это путешествие никогда не казалось легким. По пути ей пришлось познать слишком много зла, сказал он. У нее были друзья и подруги, которым она могла бы довериться, вроде Джона Э. Корригана, погибшего рядом с ней, но по большей части мир лишь подвергал ее испытаниям, осуждал ее и злоупотреблял ее добротой. Тем не менее всякая жизнь должна преодолеть трудности, чтобы хоть немного приобщиться к красоте, сказал он, и теперь Джаззлин держит путь туда, где ни одно правительство не сможет заковать ее в цепи, где ни один мерзавец не потребует от нее дурного, где не будет никого из ее собственного народа, кто собирался нажиться на ее плоти. Расправив плечи, проповедник изрек: да будет известно всем, что этой девушке нечего было стыдиться.

Все в толпе дружно закивали в ответ.

— Пусть устыдятся те, кто хотел пристыдить ее.

— Да! — был общий ответ.

— И пусть это станет уроком для каждого из нас, — объявил проповедник. — Однажды вы будете идти во тьме, и, когда впереди воссияет свет, позади вы узрите свою жизнь и не сможете скрыть отвращения.

— Да.

— Жизнь, полную зла. И гнусных деяний. Перед вами забрезжит светоч праведности, и вы пойдете к нему узкой тропою, ощущая благодать. Дорога не будет простой, но будет исполнена благодати. Возможно, вам придется испытать еще немало ужасов и одолеть всяких преград, но в итоге впереди распахнутся окна в небеса, сердце очистится, и вы обретете крылья.

Мне привиделась вдруг жуткая картина: Джаззлин, летящая сквозь лобовое стекло фургона. Закружила голова. Губы проповедника продолжали шевелиться, но я почти не слышала его рассуждений. Его пристальный взгляд был устремлен на конкретную точку в толпе, на стоявшего позади мужчину в лиловой фетровой шляпе. Я оглянулась. В гневе мужчина кусал верхнюю губу; его тело, казалось, сворачивается

пружиной, готовясь дать отпор. Шляпа отбрасывала тень на лицо, но мне почудилось, что один глаз у мужчины был стеклянным.

— И гады ползучие да сгинут с прочей нечистью! — воззвал проповедник.

— Да, сэр! — подтвердил женский голос.

— Сгинут с глаз долой.

— О да.

— Туда им и дорога.

Человек в лиловой шляпе не шелохнулся. Никто не двигался.

— Пошел на хер! — взвизгнула мать Джаззлин, странно извиваясь, словно была связана ремнями и теперь пыталась стяхнуть с себя узы. Мужчина в строгом костюме, что стоял рядом, успокаивающе взял ее под руку. Ее плечи ходили ходуном, голос звенел от ярости: — Убирайся на хер отсюда!

На один кошмарный миг мне показалось, что она кричит мне, но ее взгляд был устремлен дальше, за мою спину, на мужчину в шляпе с пером. Отдельные выкрики слились в общий хор, понемногу набиравший силу. Проповедник вытянул вперед ладони, призывая к тишине. Лишь тогда я поняла, что все это время мать Джаззлин держала руки за спиной, потому что те были скованы наручниками. Двое чернокожих в костюмах оказались копами в штатском.

— Проваливай к черту, Скворечник! — выплюнула она.

Мужчина в шляпе еще немного подождал, качнулся на носках туфель и одарил нас улыбкой, показавшей все зубы. Поднял руку, дотронулся до полей шляпы, развернулся и зашагал прочь. Скорбящие встретили его уход тихими возгласами облегчения. Они смотрели, как мужчина удаляется по дорожке. Даже не оглянувшись, тот приподнял свою шляпу и помахал ею, словно говоря: я не собираюсь прощаться.

— Гады сгинули, — заключил проповедник. — Да не потревожат они нас впредь.

Кирэн сжал мою трясущуюся руку. Я словно пропиталась холодной грязью: ощущение, будто натягиваешь сорочку, которую уже носили четверо человек. У меня не было права здесь находиться. Я вторглась на чужую территорию. Но сама церемония была чиста, несла истину: *позади вы узрите свою жизнь и не сможете скрыть отвращения*.

Причтания затихли, и мать Джаззлин сказала:

— Снимите с меня эти проклятые штуковины.

Оба копа смотрели прямо перед собой.

— Я сказала — снимите с меня эти чертовы штуки!

Наконец один из них шагнул ей за спину и разомкнул наручники.

— Слава богу.

Вырвав локти из их пальцев, она обошла вокруг могилы, приблизилась к Кирану. Ее шаль сбилась набок, открыв грудь в глубоком вырезе. Лицо Кирана вспыхнуло от смущения.

— Хочу рассказать вам одну историю, — сказала она. Громко прочистила горло, и по толпе собравшихся пробежала рябь. — Моя Джаззлин, ей было десять. И в каком-то журнале она углядела картинку со старинным замком. Берет ее, вырезает и — шлеп на стенку над кроватью. Говорю же, ничего особенного, я и думать забыла про эту самую картинку. Но потом она встретила Корригана...

Она повела рукой в сторону Кирана, тот потупил взгляд.

— И однажды, когда он разливал кофе, она рассказала ему про тот замок. Может, ей скучно было или просто поговорить хотелось, не могу сказать. Но вы знаете Корригана, этот парень был готов слушать, ты только говори. Уши у него на месте. И конечно, Корри обрадовался вовсю. Он сказал, что там, где вырос, имелись точь-в-точь такие замки. И еще сказал, что однажды отвезет ее туда. Пообещал, верное дело. Каждый день выходил из дома, раздавал кофе и говорил ей, говорил моей девочке, что готовит для нее тот замок, ты только подожди. То говорил, что чистит ров вокруг замка. А на следующий день — что смазывает цепи, которые поднимают мост у ворот. Потом говорил, надо прибраться в башне. А то еще — все приготовить для праздничного пира. Они там собирались пить мед — это вроде вина, — и пробовать всякие вкусности, и еще должны были играть на арфах и танцевать всю ночь.

— Да, — сказала женщина с блестящими звездочками на лице.

— Каждый божий день он выдумывал новую штуку, чтобы рассказать ей про тот замок. Такая у них была игрушка, и моя Джаззлин обожала играть, это уж точно.

Подойдя еще ближе, она схватила Кирана за руку.

— Вот и все, — сказала она. — Все, что я хотела рассказать. Конец. На этом гребаный конец, пардон за выражение.

По толпе прокатился одобрительный гул, и она отвернулась к другим женщинам, добавила что-то нелепое и горькое насчет уборной в замке. Кто-то в толпе рассмеялся, и тогда произошло нечто удивительное: она вдруг начала декламировать стихи какого-то поэта, имени которого я не расслышала, что-то про открытые двери и единственный солнечный луч, бьющий точно в центр комнаты. Акцент жительницы Бронкса уродовал строки, пока стихотворение не рухнуло замертво у ее ног. Она с грустью

уставилась вниз, на этот прерванный полет, но затем заговорила вновь: Корриган был полон открытых дверей, и им с Джаззлин отлично вместе, где бы ни находились; все двери распахнутся перед ними, и уж конечно — дверь, ведущая к тому замку.

Опустив голову на плечо Кирану, она заплакала.

— Я была плохой матерью, — застонала она. — Черт, я была ужасной матерью!

— Нет-нет, ты в порядке.

— И ведь не было даже никакого замка!

— Замок точно есть, — возразил он.

— Я не дура, — сказала она. — Не надо со мной, как с ребенком.

— Все хорошо.

— Я разрешала ей колоться.

— Не стоит во всем винить себя...

— Она кололась, сидя у меня на коленях.

Обратив лицо к небу, она вцепилась в ближайший лацкан пиджака:

— Где мои детки?

— Она теперь на небесах, не переживай.

— Мои детки, — повторила она. — Детки моей крошки.

— С ними все чудесно, Тилл, — сказала женщина, стоявшая над зевом могилы. — За ними присматривают.

— Они придут повидаться, Ти.

— Ты точно знаешь? У кого они? Где они сейчас?

— Клянусь тебе, Тилли, у них все хорошо.

— Побожись.

— Перед Господом клянусь, — закивала женщина.

— Ты лучше пообещай, Энджи.

— Обещаю. Сколько тебе повторять, Ти? Я обещаю.

Она приникла было к Кирану, но вскоре отстранила голову, уставилась ему в глаза и спросила:

— Ты помнишь, что мы сделали? Помнишь меня?

Киран выглядел так, словно в его руках оказалась горящая динамитная шашка. Не знал точно, потушить ее или отбросить подальше. Метнул быстрый взгляд на меня, на проповедника, а затем развернулся к ней, обнял обеими руками и крепко прижал к себе. Он сказал: я тоже скучаю по Корри. Другие женщины подступили ближе и по очереди подходили обнять Кирана — так, словно он сделался земным воплощением своего брата. Он повернулся ко мне лицо и приподнял брови, но в этом простом жесте было нечто правильное, хорошее; одна за другой, все эти женщины подходили,

чтобы обняться с ним.

Потом он сунул в карман руку и вынул брелок с фотографиями детей, протянул его матери Джаззлин. Она взглянула на него, улыбнулась, но затем вдруг отступила на шаг и ударила Кирана по щеке. Казалось, он принял эту пощечину с благодарностью. Один из копов молча ухмыльнулся. Киран кивнул, сжал губы и попятился ко мне.

Я не имела ни малейшего понятия, в какой переплет умудрилась ввязаться.

Покашляв, проповедник призвал всех к молчанию, чтобы произнести несколько последних слов. Он исполнил все формальности молитвы и старого библейского *Прах к праху, пыль к пыли*, но затем добавил, что, по его твердому убеждению, прах однажды обратится живым деревом, и что это чудо не только небесное, но принадлежит и нашему, дольнему миру: все поддается восстановлению, мертвые снова могут ожить, в наших сердцах прежде всего, и что на этом ему хотелось бы завершить службу, и что настало время упокоить Джаззлин в земле, поскольку именно этого он и хотел бы ей пожелать: покоя.

Когда служба подошла к концу, мужчины в строгих костюмах снова защелкнули наручники на запястьях Тилли. Она издала последний горестный вопль, и копы повели ее, беззвучно рыдавшую, прочь.

Мы с Кираном ушли вместе. Сняв пиджак, он закинул его на плечо — не жестом облегчения, а просто из-за жары. Мы не спеша двинулись по дорожке к воротам, ведшим на Лафайет-авеню. В разное время суток люди могут выглядеть по-разному, это зависит от угла, под которым на них падает солнце. Киран был точно старше меня, лет тридцати с чем-то, но прямо сейчас показался мне молодым, почти юным, и я почувствовала инстинктивное желание защитить его, эту неспешную походку, этот тяжеловатый подбородок, это едва намеченное брюшко. Остановившись, он смотрел, как белка взбирается на большой надгробный камень. Наверное, для него наступил один из тех моментов, когда все кругом окончательно теряет равновесие и наблюдение за чем-то необычным становится разумным занятием. Белка перепрыгнула на ствол ближайшего дерева; звук ее коготков отчетлив, как капель в жестянном умывальнике.

— Почему она была в наручниках?

— Посадили месяцев на восемь. По обвинению в воровстве, кроме проституции.

— Значит, ее выпустили только на похороны?

— Да, насколько я понял.

Сказать было нечего. Проповедник уже сказал все, что требовалось.

Мы вместе вышли из ворот и повернули к скоростной трассе, но Киран остановился и снова протянул мне руку.

— Давайте я подвезу вас домой, — предложила я.

— «Домой»? — переспросил он, едва не рассмеявшись. — Ваша машина умеет плавать?

— Прошу прощения?

— Так, ничего, — сказал он, качая головой.

Мы шли вдвоем вдоль Куинси, где я оставила машину. Кажется, Киран сразу все понял, едва завидев «понтиак». Переднее колесо на бордюром камне. Разбитая фара и погнутая решетка прямо на виду. Киран вышел на проезжую часть, оглядел машину сбоку и едва заметно кивнул, будто теперь для него все стало на свои места. Лицо съежилось и отвердело, подобно песочному замку при ускоренной съемке. Меня всю колотило, но я скользнула на место водителя и потянулась, чтобы открыть пассажирскую дверцу.

— Та самая машина, верно?

Я сидела молча, сметая с приборной панели случайно залетевшие семена.

— Это был несчастный случай, — сказала я наконец.

— Та самая машина, — повторил Киран.

— Я не хотела. Все произошло само по себе, мы тут ни при чем.

— «Мы»? — переспросил он.

Я знала, что в точности уподобляюсь Блейну. Пытаюсь отгородиться от чувства вины, выставив перед собой ладонь. Стارаясь не думать о наших промахах, о наркотиках, о безрассудстве. Глупее не придумаешь. Словно устроила пожар, спалила дотла целый дом и роюсь теперь в головешках, пытаясь разобраться, каким этот дом был прежде, но нахожу только обгоревшую спичку, с которой все началось. Судорожно хватаясь за скачущие мысли, я искала себе хоть какое-то оправдание. Тем не менее какая-то другая часть меня считала, что я поступаю честно — или настолько честно, насколько это вообще возможно после того, как я уехала с места катастрофы, сбежала от случившегося. Блейн говорил: бывает, иногда что-то происходит с нами просто так, без особой причины. Жалкий довод, но правдивый в самой своей сути. Всякое бывает. Мы не хотим, чтобы это случилось с нами. Такие события сами восстают из праха случайностей.

Я все скребла приборную панель, счищая уличную пыль и семена растений о затянутое в джинсовую ткань бедро. Сознание всегда стремится попасть в другое место, попроще, где не так тяжко. Мне хотелось запустить

мотор и умчаться к ближайшей реке, чтобы вместе с машиной скрыться под водой. Легкое прикосновение к педали тормоза, незначительное движение рулевого колеса обрели непостижимую неотвратимость, обернулись бездонной пропастью. Мне был необходим воздух. Я бы все отдала, чтобы стать одним из тех созданий, которые могут питаться исключительно на лету.

— Значит, в больнице вы не работаете?
— Нет. Не работаю.
— Это вы были за рулем? В тот день?
— Где была?
— Вы вели машину или нет?
— Вела, наверное.

То была единственная когда-либо произнесенная мною ложь, которая показалась мне абсолютно необходимой. Между нами что-то тихо хрустнуло: машины, тела, судьбы.

Киран сидел рядом, уставив прямо перед собой невидящий взгляд. До меня донесся сдавленный звук, который более всего походил на смешок. Он поднял и опустил окно, погладил бортик, постучал костяшками пальцев о стекло, будто нащупывая возможные пути к бегству.

— Я скажу вам только одну вещь, — произнес он.
Вокруг меня трещали стекла. Еще немного — и полетят осколки.
— Одну только вещь, и все.
— Прошу вас, — сказала я.
— После аварии надо было остановиться.

Киран обрушил скатый кулак на приборную панель. Я хотела, чтобы он обругал меня, проклял с высоты своего роста — за то, что я пыталась унять собственную совесть, за ложь, за мое благополучное бегство, за мое появление в квартире его брата. Где-то в глубине души мне хотелось и другого: что ему стоило развернуться и ударить? По-настоящему ударить, чтобы брызнула кровь? Чтобы мне сделалось больно? Чтобы лицо превратилось в один сплошной синяк?

— Вот и все, — сказал он. — Ухожу.

Он положил ладонь на ручку дверцы. Толкнул ее плечом, и та распахнулась. Опустил ногу на асфальт. Потом поднял ее назад в кабину, снова закрыл дверцу и бессильно обмяк на сиденье.

— Черт подери, надо было остановиться. Почему вы не остались?

В промежуток между нами и следующей машиной впереди попытался втиснуться большой синий «олдсмобиль» с серебристыми плавниками. Мы молча сидели, наблюдая, как он ерзает вперед-назад, пытаясь устроиться в

этом просвете. Места было в обрез. Машина примерилась въехать, снова сдала назад, снова подалась вперед, уже под новым углом. Мы с Кираном смотрели на эти маневры так, будто на свете не было более захватывающего зрелища. Даже не шелохнулись. Водитель «олдсмобиля» все крутил свою баранку, озираясь через плечо. Перед тем как поставить машину точно по центру, он снова сдал назад и легонько коснулся радиатора моего «понтиака». Мы услыхали звяканье: из разбитой фары высыпались последние осколки. Водитель выскочил из «олдсмобиля» с высоко поднятыми в знак капитуляции руками, но я махнула, чтобы он не подходил. Мужчина был похож на филина, с очками на носу, и удивление сделало его лицо почти комичным. Он поспешил удалиться, то и дело оглядываясь, точно желал удостовериться в отсутствии погони.

— Не знаю, — сказала я. — Просто не знаю. Никак не объяснишь. Испугалась. Простите. Мне очень жаль. Никаких слов не хватит.

— Блин, — вздохнул Киран.

Он прикурил сигарету, немного приоткрыл окошко и выпустил дым в сторону, а потом и сам отвернулся.

— Послушайте, — сказал он наконец. — Нужно уехать отсюда. Просто высадите меня где-нибудь.

— Где?

— Даже не знаю. Может, кофе выпьем? Или чего покрепче?

Мы оба были в замешательстве от эмоций, переполнявших нас обоих. Я была свидетелем гибели его брата. Я была причиной этой смерти, я прервала эту жизнь. Ничего не говоря, только кивнув в ответ, я запустила мотор и, едва не царапнув «олдсмобиль», вырулила на пустынную улицу. Тихо пропустить стаканчик в полутемном баре — не худшая из судеб.

На исходе дня, уже добравшись домой, — если, конечно, я по-прежнему могла называть наше обиталище «домом», — я решила поплавать. Мутная вода кишила растительностью. Незнакомые листочки и стебельки. Звезды в небе казались блестящими шляпками гвоздей: выдерни несколько — и землю накроет тьма. Блейн завершил несколько полотен и расставил их вокруг озера, кое-где в лесу и у самой воды. Им завладело сомнение, словно он уже понял, что затея была дурацкой, но все равно намеревался продолжить эксперимент. Не существует настолько глупых идей, чтобы на них не нашелся хотя бы один покупатель. Я оставалась в воде, надеясь, что он уйдет спать, но Блейн уселся на мостки с полотенцем и, когда я наконец вышла, обернулся ко мне. Обхватив за плечи, он довел меня до лачуги. Свет керосиновой лампы был последним, в чем я сейчас нуждалась. Сердце ныло от тоски по проводам и выключателям, по

электричеству. Блейн намеревался уложить меня в постель, но я только сказала: нет, не хочу.

— Просто ложись спать, — сказала я ему.

Сидя за кухонным столом, я делала наброски. Прошло немало времени с тех пор, как я в последний раз работала углем. На бумажный лист ложились плавные линии, предметы обретали очертания. Мне вдруг вспомнилось, как, красуясь перед гостями на нашей свадьбе, Блейн поднял бокал со словами: *Пока жизнь не разлучит нас*. В его духе шуточка. Я в то время думала, что мы доживем до глубокой старости, чтобы вместе испустить последний вздох.

Пока я рисовала, мне пришло в голову, что на самом деле мне хочется только одного — спуститься с крыльца и идти, не останавливаясь, начать все заново.

* * *

Не произошло ничего особенного; во всяком случае, тогда мне казалось, что не происходит. Остаток дня выглядел довольно обычным. Мы с Кираном просто уехали подальше от кладбища, через весь Бронкс, по мосту на Третьей авеню, старательно избегая шоссе Рузвельта.

День выдался довольно жарким, небо было ярко-голубым. Мы не поднимали стекол в окнах, и ветерок ерошил Кирану волосы. В Гарлеме он попросил меня ехать помедленнее, пораженный видом зажатых домами церквей.

— Они похожи на овощные лавки! — недоумевал он.

На Сто двадцать третьей улице мы посидели немного у ворот баптистской церкви, прислушиваясь к репетиции хора. Под распевы высоких, ангельских голосов о райских кущах Киран рассеянно постукивал пальцами по приборной панели. Похоже, музыка входила в него и оставалась внутри, подпрыгивая и ударяясь о стенки. Он рассказал, что ему с братом медведь на ухо наступил, но когда они были маленькими, любили слушать, как мама играет на рояле. Один раз в Дублине брат Кирана выкатил рояль на улицу и толкал его вдоль полосы прибоя, Киран никак не мог вспомнить зачем. Вот ведь как забавно устроена память, сказал он. Порой самому не понять, как в самые неожиданные минуты что-то всплывает в памяти. Историю с роялем он не вспоминал уже много лет. Они вместе катили рояль по залитой солнцем улице. Насколько он помнил, в тот день его единственный раз в жизни приняли за брата. Мама спутала

имена и позвала: *Иди сюда, Джон, подойди ко мне, милый*, — и, несмотря на то что из двух братьев он был старшим, в этот момент Киран ощутил себя маленьким ребенком. Яркое ощущение детства осталось с ним, никуда не делось с годами, так что Киран, возможно, и сейчас еще остается там, сегодня и навсегда, вот только погибшего брата уже не отыскать.

Выругавшись, он топнул ногой о днище автомобиля: *Давайте наконец выпьем, сколько можно*.

Под эстакадой Парк-авеню в люльке из ремней и веревок болтался парнишка, распылявший краску из баллончика. Я сразу подумала о картинах Блейна. Тоже своего рода граффити, не более.

По Лексингтон-авеню мы въехали в Верхний Ист-Сайд и там, на Шестьдесят четвертой улице, нашли невзрачное маленькое заведение. Когда мы вошли, молодой бармен в большущем белом переднике даже не поднял на нас взгляда. Мы еще долго моргали, привыкая к полутьме бара. Музыкального автомата нет. Пол усеян арахисовой скорлупой. Посетителей всего ничего, зубов во рту у каждого — и того меньше. Несколько мужчин расположились у стойки, вокруг приемника, транслировавшего бейсбольный матч. Потемневшие от времени зеркала в осинах. Застарелый запах выжаренного масла. На стене — табличка: *Имеющий бумажник да узрит красоту.*^[95]

Мы устроились на обтянутом красной кожей диване в одной из кабинок и заказали две «кровавые Мэри». Откинувшись, я ощутила холодок вымокшей на спине блузки. Между нами колыхался огонек свечи, тусклое мерцание живого огня. Соринки кружились в расплавленном воске. Киран разорвал салфетку на множество маленьких кусочков и рассказал мне все о своем брате. На следующий день он собирался увезти его домой, сразу после кремации, и рассеять прах над водами Дублинского залива. Самому Кирану этот жест вовсе не казался ностальгическим. Просто он считал такой поступок единственным верным. Увезти брата домой. Он будет ходить вдоль линии прибоя, ожидая, пока прилив не достигнет набережной, и тогда развеет Корригана по ветру. Это вовсе не противоречило его вере. Корриган никогда не заговаривал о похоронах, и Киран твердо знал, что брат предпочел бы стать частью стихии.

Что ему нравилось в собственном брате, рассказывал Киран, это как тот заставлял людей меняться: они становились кем-то, кем и не надеялись стать. Он умел дотянуться до самых потаенных уголков их души. Открывал перед людьми новые, неожиданные пути. И даже умерев, продолжал это делать. Его брат считал, что Бог пребывает за одним из последних рубежей, недоступных человеческому знанию: ученые могут ставить какие угодно

эксперименты, но что лежит там, по другую сторону черты, так навсегда и останется тайной. Киран просто развеет прах и позволит каждой частичке отправиться, куда та пожелает.

— И что потом?

— Не представляю. Может, буду скитаться. Или останусь в Дублине. А может, и вернусь, тут попробую развернуться.

Когда Киран только оказался в Нью-Йорке, город ему не понравился — весь этот мусор и вечная спешка, — но со временем ему сделалось уютно, и город оказался не так уж плох. Приехать в незнакомый город — это как войти в туннель, объяснял он, и, к собственному удивлению, обнаружить, что свет в конце тоннеля вовсе не важен; бывает, что только туннель и делает свет терпимым.

— Этого нельзя знать заранее, в таком большом городе, — сказал он. — Обязательно нужно время.

— Значит, вы еще вернетесь? Когда-нибудь?

— Возможно. Корриган не думал, что задержится здесь надолго. А потом познакомился с одним человеком... Мне начало казаться, он останется навсегда.

— Он был влюблен?

— О да.

— А почему вы называете брата по фамилии — Корриган?

— Само получилось.

— И никогда не звали по имени — Джоном?

— «Джон» для него слишком заурядное имя.

Киран сдул на пол клочки салфетки и сказал нечто странное: слова хорошо подходят, чтобы описывать вещи, но иногда просто бессильны рассказать, чем те не являются. Он отвернулся и смотрел в сторону. Неоновая вывеска в витрине становилась все ярче по мере угасания дня.

Его рука бегло прикоснулась к моей. Желание. Слабое место человечества.

Мы просидели в баре еще с час. Молча, по большей части. Обыкновенные слова отчего-то отказывались мне подчиняться. Я встала, ноги ватные, по обнаженным рукам бегают мурашки.

— Я не вела машину, — сказала я.

Киран завис над столом всем своим телом, поцеловал меня.

— Это я уже понял.

Он указал на мое обручальное кольцо:

— Что он за человек?

И улыбнулся, когда я промолчала, но в этой улыбке была печаль всех

возможных оттенков. Повернулся к бармену, махнул рукой, заказал еще две «кровавые Мэри».

— Мне уже пора.

— Я сам их выпью, — сказал Киран.

Одну за себя, другую за брата, подумалось мне.

— Так и сделайте.

— Непременно, — сказал он.

В окне «понтиака» меня дожидались сразу две штрафные квитанции — одна за нарушение правил парковки, вторая забитую фару. У меня даже ноги подкосились. Перед тем как задуматься о возвращении в нашу лачугу, я вновь подошла к витрине бара и приникла к стеклу, затеняя глаза ладонями. Киран сидел у стойки, уперев подбородок в сложенные руки, говорил с барменом. Он оглянулся на витрину, и мое сердце ушло в пятки. Я разом отпрянула от стекла. Некоторые булыжники сидят настолько глубоко в почве, что, как бы ни трясл землю, каким бы глубоким ни оказался разлом, им никогда не увидеть света.

Думаю, в мире существует и такая фобия: боязнь влюбленности. Обязательно существует.

Страх любви.

И пусть несется мир прекрасный

На лугу оно то и дело привлекало к себе взгляд: плотно сплетенное гнездо в развилке ветвей, три птенца краснохвостого сарыча в нем. Птенцы предвосхищали возвращение матери. Начинали пищать, заранее довольные. Клювы распахивались, как ножницы, и лишь затем мать планировала к гнезду с зажатым в когтях голубем. Зависнув точно над гнездом, она опускалась в него с вытянутым крылом, прикрывавшим полгнезда. Срывая кусочки красного мяса с добычи, поочередно роняла их в открытые клювы птенцов. Все это делалось с легкостью и изяществом, для которых в словаре просто нет нужных слов. Баланс крыла и когтя. Идеально точный бросок красного куска плоти.

Он продолжал тренировки благодаря таким вот мгновениям. За последние шесть лет он упражнялся во множестве разных мест, этот луг — лишь одно из них. Травы тянулись почти на полмили, хотя длина троса составляла только 250 футов в центре луга, где ветер дул сильнее. В состоянии покоя проволоку удерживал целый набор оттяжек. Порой он ослаблял их, чтобы трос мог раскачиваться. Упражнение на балансировку. Выходил на середину троса, к самому сложному участку, и прыгал там с одной ноги на другую. Он нес шест для равновесия, слишком тяжелый, — просто чтобы тело ощутило разницу. Если заглядывал кто-то из друзей, он просил их стучать палкой по натянутой проволоке, чтобы та колыхалась, давая ему возможность научиться ладить с поперечными колебаниями. Однажды он даже попросил друга вскочить на проволоку — чтобы понять, сумеет ли устоять.

Его любимой забавой была пробежка по проволоке без шеста — чистейшее движение, какого только можно добиться от тела, только вперед, подобно потоку воды. Даже во время тренировки он хорошо понимал одну простую вещь: одновременно находиться и наверху и внизу никак не получится. Понятия «попытка» для него не существовало. Он мог задержать падение, схватившись за канат руками или обернув вокруг него ноги, но это означало бы неудачу, поражение. Ему постоянно требовались все новые упражнения: полный разворот на месте, ходьба на цыпочках, ложные промахи, кульбит, футбольный мяч на голове, переход со связанными лодыжками. Упражнения, не более. Ему бы и в голову не пришло выкинуть что-то подобное во время прогулки на высоте.

Как-то во время грозы он скользил на канате так, словно тот был

доской для серфинга. Он ослабил все оттяжки, и проволока ходила ходуном как никогда прежде. Волны, которые создавала стихия, были по три фута высотой: мощные, непредсказуемые, из стороны в сторону, вверх-вниз. Вокруг бушевали ветер и дождь. Балансирующий шест задевал верхушки трав, но ни разу не уперся в землю. Он смеялся прямо в свирепый оскал ветра.

Только потом, уже возвращаясь в хижину, он подумал, что шест в его руках служил громоотводом: во время грозы он мог сгореть как свечка на своем канате — стальная проволока, длинный шест, открытое пространство луга.

Деревянная хижина пустовала уже несколько лет. Единственное помещение с тремя окнами и дверью. Пришлось вывернуть шурупы из ставен, чтобы внутри стало светло. В окно сразу впорхнул несущий влагу ветер. С потолка свисала ржавая водопроводная труба, и однажды, забыв про нее, он так ударился головой, что лишился чувств. Он наблюдал за акробатическими выступлениями угодивших в паутину мух. Ему здесь было уютно, несмотря даже на скребущихся под половицами крыс. Окном решил пользоваться вместо двери: старая привычка, происхождения которой он уже не помнил. Положил на плечо шест и зашагал по высокой траве к своей проволоке.

Время от времени на краю луга появлялись олени-вапити, приходили щипать траву. Подняв головы, олени присматривались к нему и снова исчезали под деревьями. Он пытался представить себе, что именно они видели и как. Человек раскачивается над лугом. Длинный шест прыгает в воздухе. Когда олени стали задерживаться, это привело его в восторг. По двое, по трое они останавливались на опушке, не отваживаясь отойти от деревьев, но с каждым днем подбираясь все ближе. Он представил себе, как в итоге они дойдут до вкопанных глубоко в землю высоких деревянных столбов, станут теряться о них или примутся обгладывать, пока проволока не провиснет окончательно.

Как-то зимой он вернулся сюда — не чтобы упражняться, а просто отдохнуть и вновь обдумать свои планы. Остановился в бревенчатой хижине на краю луга. На грубых досках стола под выходившим в бездонную пустоту оконцем разложил чертежи и фотографии башен.

Однажды ранним вечером его вниманием завладел койот, который пробежался по сугробам и затеял веселые прыжки прямо под натянутой проволокой. Летом даже самая низкая, средняя часть каната поднималась на высоту пятнадцати футов над землей, но нынешней зимой намело столько снега, что койот запросто мог бы перескочить через нее.

Немного погодя он отошел подбросить дров в печурку, а когда вернулся, койота уже не было — тот исчез, словно растворив в воздухе. Он уже решил было, что померещилось, но различил в бинокль отпечатки лап на сугробах. После он вышел на мороз и двинулся по дорожке, которую прежде расчистил в снегу, в одних лишь ботинках, джинсах, шерстяной рубахе и шарфе. Взобрался по прибитым к шесту доскам, ступил на проволоку без шеста и двинулся вперед, чтобы встать над следами. От царящей вокруг белизны его бросило в жар. Ему казалось, шаг за шагом он движется к прохладному озеру впереди, ступая по хребту гигантского коня. Снег творил чудеса: падая на белое полотно, свет отражался, менял цвет, разбегался в стороны. Его охватило радостное возбуждение, прилив энергии, как под действием какого-то наркотика. Захотелось спрыгнуть вниз, в самый центр белизны, и плыть. Нырнуть в нее. Он отставил ногу и одним движением соскочил с проволоки с раскинутыми в стороны руками, с опущенными ладонями. И, уже падая, понял, какую ошибку совершил. Времени не осталось даже ругнуться. Падать надо было на спину, совсем в другой позе. Теперь он оказался в снегу по грудь и никак не мог высвободиться. Оказавшись в западне, пытался дергаться вперед-назад. Ноги казались чужими, ни тяжести в них, ни легкости. Он вдруг очутился в футляре, в снежной клетке. Вырвав локти, попробовал ухватиться за качавшуюся вверху проволоку, но без результата: слишком уж глубоко увяз. Снег просочился по лодыжкам в ботинки, рубашка задралась. Он будто приземлился в новую, ледянную кожу. Кристаллики снега шевелились на ребрах, в пупке и по бокам. Предстояло выжить в одиночку, побороться; быть может, это и есть все дело его жизни — сохранить ее. Скрипя зубами, он постарался хоть чуть-чуть приподняться. Тянувшая, остшая боль во всем теле. Он осел назад в снег, принял прежнюю позу. Угрожающее близился тусклый серый закат. Вдали — цепочка деревьев, похожих на бдительных часовых.

Люди вроде него способны подтянуться на одном пальце, но ухватиться здесь было не за что: проволока оставалась вне досягаемости. Его посетила мимолетная мысль просто остаться в снегу, закоченеть и дождаться прихода весны; тогда он опустится вместе с тающим снегом, его обезображенное гниением тело снова окажется в пятнадцати футах под проволокой, коснется земли и, быть может, даже даст пропитание тому самому койоту, проделки которого так его позабавили. Самое медленное падение в истории.

Руки оставались свободны, и он согревал их, напрягая и расслабляя мускулы. Медленно, экономным движением — он понимал, что в холода

сердцебиение замедляется, — стащил с шеи шарф, закинул на проволоку и потянул. На него просыпались снежные комочки. Он чувствовал, как натянулись нитки шарфа. О канате он знал все, что только можно знать, он чувствовал его душу: нет, он не предаст. А вот шарф, размышлял он, был старым и поношенным, вполне мог растянуться или порваться. Дергал застрявшиими внизу ногами, сминая снег, отвоевывая пространство, нашупывая возможность уплотнить его... Только бы не рухнуть назад. Всякий раз, когда он выпрямлялся, шарф растягивался все сильнее. Он перебирал пальцами, цеплялся повыше и тянул, тащил себя вверх. Понемногу стало получаться. Солнечный диск успел скрыться за деревьями. Он крутил пятками, стараясь высвободиться, выгибал тело, приминая снег, пока наконец не дернулся ввысь, не вырвал из цепкой хватки правую ногу и не забросил ее на канат, возвращая легкость движений.

Он подтянул себя на проволоку, встал на колени, а затем и вытянулся в полный рост; глядя в небо, ощутил, как хребет сливается воедино с натянутым канатом.

Никогда больше он не бродил по глубокому снегу: отныне подобная красота напоминала ему о том, что могло случиться. Шарф повесил на вбитый в дверь крюк, а на следующий вечер вновь увидел койота. Тот беспечно обнюхивал снег под проволокой, по-прежнему хранивший отпечаток его тела.

Иногда он выбирался в ближайший городок, шел по главной улице к бару, в котором собирались местные скотоводы. Суровые парни глядели на него свысока: он казался им маленьким, слабым, изнеженным. На самом же деле он был сильнее любого из них. Порой какой-нибудь работник ранчо предлагал ему померяться силой на кулаках или в армрестлинг, но нужно было поддерживать тело настроенным. Порванная связка обернется катастрофой, вывихнутое плечо отбросит назад по меньшей мере на полгода. Он успокаивал их шутками, показывал карточные фокусы, жонглировал подставками под пивные кружки. Покидая бар, хлопал каждого по плечу, незаметно извлекал из карманов ключи, отъезжал полквартала на их пикапах, оставлял ключи в замках зажигания и, смеясь, шел домой под звездами.

На двери его дома, изнутри, висела табличка: *Нельзя упасть наполовину*.

Он был убежден, что идти по канату нужно красиво, грациозно. Необходима была вера, что доберешься до другого конца. На тренировках он падал лишь однажды, да, один-единственный раз, но теперь чувствовал,

что новому падению не бывать, это попросту невозможно. Так или иначе, хоть один изъян да должен быть. В любом шедевре должен быть небольшой недочет. Но при падении он сломал несколько ребер, так что теперь, делая глубокий вдох, порой чувствовал укол в области сердца, как тихое напоминание.

Временами он упражнялся нагишом, просто чтобы видеть, как работают мускулы. Настраивал себя под ветер. Прислушивался не только к самим порывам, но и к предчувствию этих порывов. Тут все сводилось к шепоткам. К намекам. К догадкам. Даже влага его глаз улавливалась приближение ветра. *Вот он.* Какое-то время спустя научился выщипывать из его шума отдельные звуки. Даже ритм пения насекомых что-то сообщал ему. Он любил дни, когда ветер яростно несся по лугу, тогда он вплетал в него собственный свист. Если ветер становился чересчур сильным, прекращал насвистывать и сопротивлялся всем существом. Ветер обрушивался под самыми разными углами, порой он налетал со всех сторон сразу, неся с собой запахи деревьев, дыхание болот, брызги оленьей мочи.

Случалось, он чувствовал такую непринужденность, что мог подолгу наблюдать за оленями, следить за столбами дыма от лесных пожаров, любоваться семейством сарычей в гнезде, — но в минуты наивысшей концентрации глаза переставали видеть вовсе. Окружающие образы не достигали сознания. Нужно было рисовать их заново, лепить при помощи фантазии, заполнять пробелы несуществующими деталями: башня впереди, на дальнем конце обзора, очертания города внизу. Он старался удержать эту картинку, чтобы затем сосредоточиться на взаимодействии тела с канатом. Порой он укорял себя за то, что громоздит на этих лугах город, но обойтись без него никак не мог: в воображении он должен был сплавить пейзажи воедино — траву, город, небо. Могло показаться, что в своем сознании он поднимается все выше, ступая по другому канату.

Прежде ему доводилось упражняться и в других местах — пустующий склад на берегу, укромный болотистый участок на восточной оконечности Лонг-Айленда, поле на окраине штата, — но расставание с лугом далось труднее всего. Оглядываясь через плечо, он видел себя по шею в снегу и помахал самому себе на прощание.

Он погрузился в оглушительный шум города. Грохот стекла и бетона. Тарахтенье машин. Пешеходы обтекали его, как вода. Он ощущал себя иммигрантом прошлых веков, сошедшим на новые берега. Он обходил город по периметру, но почти всегда — в виду у башен. То был предел человеческих возможностей. Никому другому и в голову бы не пришло. Он

чувствовал, как его распирает от безрассудной отваги. Стараясь оставаться незамеченным, он обследовал обе башни. Мимо охранников. Вверх по лестнице. Строительство южной башни еще не завершено. Немалая часть здания так и оставалась незанятой, нежилась в не убранных пока лесах. Ему оставалось только догадываться, кем были люди вокруг, что им нужно. Он выбрался на незаконченную крышу — в строительной каске, чтобы избежать разоблачения. Мысленно сделал точный слепок обеих башен, отпечатал их в памяти. Вообразил двойные распорки на крыше. У-образную развилку туга натянутых канатов, которые здесь появятся. Отражения в окнах и то, как в них отразится он сам; под разными углами, вид снизу. Поставив одну ногу на кромку крыши, он покрутил над пропастью носком второй, сделал стойку на руках на самом краю.

Уходя оттуда, он чувствовал, будто вновь машет старому другу: по шею в снегу, но в четверти мили от земли.

Как-то на рассвете он обследовал периметр южной башни, помечая себе расписание развозивших товары автофургонов, когда заметил внизу женщину в зеленом комбинезоне. Проходя у основания башен, она то и дело склонялась, словно завязывая шнурки, с рук женщины спархивали легкие перья. Она собирала мертвых птиц в маленькие пакеты на застежках. Белошайных овсянок в основном, хотя попадались и певчие. Они мигрировали поздно ночью, когда воздушные потоки обыкновенно спокойны. Ослепленные буйством городских огней, они врезались в стекла или без конца летали вокруг башен, пока не падали без сил: город приглушал их природные способности к навигации. Женщина вручила ему перо черношайной славки; вновь покидая город, он захватил его с собой на луга и воткнул в щель на стене, у входа в хижину. Очередное напоминание.

Все кругом преследовало некую цель, передавало сигнал, обладало смыслом.

Но в итоге все сводилось к проволоке. Только он сам и его канат. Двести десять футов от земли и дистанция от края до края. Башни спроектированы так, чтобы в бурю могли раскачиваться с амплитудой в полные три фута. От мощного порыва ветра или даже резкого перепада температур здания станут качаться, и тогда проволока натягивается и запрыгивает. Одна из тех немногих вещей, которые зависят от случая. Если в этот момент он окажется на канате, придется оседлать скачущую дугу — или лететь вниз. Колебания башен могут даже порвать канат надвое. Оборванный конец каната способен снести человеку голову, на лету. Чтобы все правильно рассчитать, требовалась исключительная дотошность: катушка, зажимы, ключи, выправление и выравнивание, вся математика,

замеры сопротивления. Следовало достичь тягового усилия ровно в три тонны. Но чем сильнее натянут канат, тем больше смазки может из него выжаться. Даже небольшие перемены в погоде могли выдавать из сердечника каплю смазки.

Он тщательно обсудил планы с друзьями. Им придется незаметно пробраться во вторую башню, установить распорки, натянуть канат, осторегаться охранников, сообщать о происходящем по интеркому. Без этого переход невозможен. Они разложили схемы и чертежи, вырубили их наизусть. Лестничные клетки. Пункты размещения охраны. Изучили потайные места, где их ни за что не обнаружат. Будто планировали ограбление банка. В те ночи, когда не удавалось уснуть, он бродил по одинаково невыразительным улицам, окружавшим Всемирный торговый центр. На расстоянии, с освещенными окнами, две башни сливались в одну. Он останавливался на перекрестке и поднимал себя ввысь, воображал себя в небе — одинокая фигура, темнее самой темноты.

Вечером накануне перехода он растянул канат вдоль улицы, на целый квартал. Водители проезжавших машин недоверчиво глядели, как он его разматывает. Ему нужно было очистить проволоку. Он педантично прошел всю длину, протирая канат смоченной в бензине тряпкой, затем ошкурил наждаком. Надо увериться в том, что случайно отскочившая жилка не зацепит ногу прямо через балетку. Единственный отломок — не больше рыболовного крючка — мог оказаться фатальным. Кроме того, в канате каждая жила должна занимать отведенное ей место. Никаких сюрпризов. Канаты тоже подвержены спадам настроения. Самое худшее, что могло случиться, это внутренний момент: жилы проворачиваются подобно змее, выползающей из собственной шкуры.

Канат состоял из шести жил по девятнадцать струн в каждой. Семь восьмых дюйма в диаметре. Свит с идеальной точностью. Жилы обивали сердечник с определенным шагом, дававшим наилучшую опору ноге. Он и его друзья прошли по вытянутому кабелю, воображая себя высоко в небе.

В ночь перед переходом им потребовалось десять часов, чтобы незаметно натянуть канат. Он совсем выдохся. Не захватил достаточного количества воды. Думал даже, что не сумеет пройти по проволоке: казалось, тело настолько обезвожено, что легко переломится от движения. Но сам вид натянутого между башнями каната привел его в восторг. Прозвучал вызов интеркома с дальней башни. Все готово. Сквозь него словно прошел заряд чистой энергии, теперь он был свеж и полон сил. Тишина, казалось, создана специально, чтобы он мог в ней раскачиваться. Утреннее солнце медленно ползло по верфям, по реке, по серым

прибрежным кварталам, оно затопило низкорослое убожество Ист-Сайда, где окрепло и рассеялось, — дверные проемы, тенты, карнизы, подоконники, кирпичная кладка, ограды, коньки крыш, пока не совершило затяжной прыжок и не ударило по скученному, тесному пространству городского центра. Он прошептал несколько слов в микрофон интеркома и помахал рукой фигурке, ждавшей на южной башне. Время действовать.

Он поставил ногу на проволоку — свою толчковую, балансирующую ногу. Сначала вперед скользнули пальцы, затем стопа, потом и пятка. Канат лег в ложбинку между большим и вторым пальцами, поддерживая тело. Тапочки-балетки были тонкими, подошвы из кожи буйвола. Затем он ненадолго замер, натянул проволоку еще туже — силой собственного взгляда. Покачал в руках алюминиевый шест. Прохладный металл прокатился по ладони. Шест весил пятьдесят пять фунтов, половина веса женщины. Прохлада бежала по коже, подобно воде. Центр шеста он затянул в резиновый чехол, чтобы тот случайно не вырвался из рук. Поворотом левого запястья он мог натянуть мускулы в икре правой ноги. Мизинец повторял изгиб плеча. Большой палец удерживал шест на месте. Приподнял правую часть шеста — и тело немного сместилось влево. Движение руки было таким незначительным, что невооруженным глазом и не различишь. Сознание сдвинулось в пространстве, принимая опыт прежних упражнений. Никакой усталости в теле. Удерживая шест в мускульной памяти, он текуче скользнул вперед.

Затем произошло то, что на какой-то миг происходить было нечему. Его там даже не было. Возможность потерпеть поражение даже не всплывала в мозгу. По ощущениям это походило на плавный, неспешный дрейф. Он мог быть на лугу. Тело, расслабившись, приняло форму ветра. Игра локтя напрямую сообщалась голени. Горло могло успокоить пятку и увлажнить связки в лодыжке. Прикосновение языка к губам расслабляло икру. Локоть побратался с коленом. Стоило напрячь шею — и ей немедленно отвечало бедро. Ни малейшего движения в центре туловища. Свой живот он представлял себе чашей, полной воды. Если он допустит ошибку, чаша исправит ее, вернув себе равновесие. Он ощупал изгиб каната сводом ступни, а затем пяткой. Второй шаг и третий. Он вышел за первые оттяжки, все тело полностью синхронизовано.

Через какие-то секунды он воплотился в чистом движении и мог теперь делать все, что пожелает. Пребывал внутри и снаружи собственного тела, радостно проникаясь единением с воздухом, утратой прошлого и будущего, что придало походке показную небрежность. Он переносил свою жизнь с края на край, насторожившись лишь на короткий миг, пока

проверял, продолжает ли дышать.

Внутренней причиной для всего этого была красота. Ощущение прекрасного. Ходьба на высоте приносила неземную радость. Когда он шел по воздуху, все переписывалось заново. Человеческое тело обретало новую силу, доселе неведомые возможности. Равновесие было только началом.

На миг он ощутил себя нетварным. Испытал иное пробуждение.

Книга вторая

Тэг

Сыре и теплое, утро успело разойтись вовсю, застало его врасплох на площадке между вагонами. Пленки осталось еще на девять кадров. Почти все отщелкано в темноте. Как минимум два кадра — просто мимо, вспышка не сработала. Еще четыре — по ходу движения. И еще один, сделанный в туннеле Конкорса, — полный отстой, железно.

Он раскачивается на тонкой металлической платформе, пока поезд выворачивает на юг из терминала Гранд-Сентрал. Временами у него кружится голова от одного предвкушения следующего поворота. Эта скорость. Этот дикий скрежет в ушах. По правде говоря, они пугают его. Сталь дребезжит в костях. Будто весь поезд целиком уместился в кедах. Полный контроль, отсутствие мыслей. Иногда похоже, что он сидит в кабине, управляет составом. Слишком резко вывернешь налево — и поезд может врезаться в стену: шарах — и миллион изорванных тел разбросаны по рельсам. Слишком резко вправо — и вагоны завалятся набок: пока-пока, приятно было пообщаться, встретимся в газетных заголовках. Он оседлал состав еще в Бронксе, в одной руке фотокамера, другая цепляется за дверцу вагона. Балансирует на широко расставленных ногах. Прикованные к стене туннеля, глаза высматривают новые тэги.

Он направляется на работу в центр города, но пошли они к черту, все эти расчески, ножницы и бритвенные склянки, — утро должно начинаться с тэга. Только это может смазать скрипучие петли рабочего дня. Все остальное еле ползет мимо, но тэги, они вспыхивают прямо в глазных яблоках. *Фаза 2. Киву. Суперкул 223.* Он обожает скругления этих букв, их арки, завихрения и отвороты, языки пламени и облака.

Он едет на подземке, только чтобы увидеть, кто побывал тут за прошедшую ночь, кто приходил кинуть подпись, как глубоко они забрались во тьму. Уже не так важно, что творится на поверхности, на железнодорожных мостах, платформах, стенах складов, даже на мусоровозах. Порожняк это все. Кинуть плевок на стену может любое чмо; его самого давно уже интересуют только те тэги, что скрыты под землей. Те, которые прячутся в непроглядной темноте. Далеко внутри туннелей. Неожиданные. И чем дальше под землю, тем лучше. Всего на миг их высвечивают огни проходящего мимо состава, так что он никогда не знает наверняка, и впрямь они там были — или показалось. *Джо 182, Коко 144, Топкэт 126.* Некоторые представляют собой лишь быстрые росчерки.

Другие поднимаются от гравия путей до самой крыши, на такие может уйти по две, по три банки, буквы выгибаются петлями, не желая спешить к развязке, они будто едва набрали полную грудь воздуху. Изредка тэги тянутся по пять футов вдоль стены, но лучший из всех — восемнадцатифутовый стрэтч под Гранд-Конкорсом.

Какое-то время тэггеры работали только одной краской — чаще серебром, чтобы тэг сиял в темноте, — но этим летом перешли на два, три, четыре цвета: красный, синий, желтый, даже черный. Он реально обалдел, впервые такое увидев: кому-то не влом кинуть трехцветный тэг в месте, где никто его не увидит. Этот «кто-то» или неслабо накурился, или гений — или и то и другое. Весь день он ходил под впечатлением, так и сяк крутил тэг в голове. Размер бликов. Глубину теней. Парни даже использовали разные насадки на распылитель — сразу ведь видно, по фактуре брызг. Он представлял себе, как тэггеры бегут по туннелю, не обращая внимания на третий рельс, крыс и кротов, сажу и вонь, металлическую пыль, люки и лестницы, огни семафоров, кабели, трубы, развилики путей, мусор, решетки, лужи.

Самое прикольное, они делали это в подземельях под городом. Будто наверху давно не осталось чистых стен. Будто тут они наткнулись на неизведенную территорию, где еще не было людей. Это мой дом. Прочти и охреней.

Было время, он балдел от бомб, когда доводилось ездить в целиком задутом вагоне: сам себе кажешься цветным пятном среди сотни других. Несешься по крысиным норам, прорытым под городским центром. Некуда деться. Он закрывал глаза, вставал у дверей вагона и катал плечи, думая о движении красок вокруг. Не каждому бомберу хватит куража целиком забомбить поезд, от крыши до колес. Надо быть по уши в теме. Перелезть через забор отстойника, скакать там по путям, задуть конкретно все, чтобы кусок железа отправился утром по маршруту без единого окошечка, весь поезд в тэгах с головы до пят. Пару раз он даже пытался притереться на Конкорсе, где отвисали пуэрториканские и доминиканские тэггеры, но у тех не было времени нянчиться, ни у кого; парни объявили, что он не может толком базарить, опять дразнили: *Simplón, Cabronazo, Pendejo*.^[96] Так уж вышло, весь год в школе он получал только высшие баллы. Не добивался этого специально, но что было, то было. Единственный, кто не прогуливал уроков. В общем, когда его высмеяли, он отвалил. И даже прикидывал, не прибиться ли к черной тусовке на другой стороне Конкорса, да в итоге раздумал. Вернулся туда с фотиком из парикмахерской, пошел к пуэрториканцам и сказал, что может сделать их

знаменитыми. Они опять давай ржать, а какой-то желторотый высокочка лет двенадцати еще и накидал ему.

А затем, посреди лета, по дороге на работу, он влез на площадку между вагонами; поезд встал, немного не доехав до Сто тридцать восьмой улицы, и он как раз осваивался на своей стальной жердочке, когда поезд снова пошел, и на глаза ему мельком попалось размытое пятно. Он понятия не имел, что это такое: мимо пролетела какая-то громадная серебристая штука, выжгла пятно на сетчатке и задержалась там на весь суетливый день в парикмахерской.

Тэг был там, принадлежал ему, он владел им. Такой тэг нельзя смыть. Туннель метро не запихнешь в кислотную ванну. Такой не замажешь. Максимальный тэг. Настоящее откровение, волосы дыбом.

На обратном пути к родным многоэтажкам он снова прокатился снаружи поезда, просто чтобы заценить, и на тебе: *Стегз 33*, жирный и одинокий, посреди темного туннеля, вне братства других тэгов. Его прямо затрясло при мысли, что какой-то тэггер спустился в туннель и кинул подпись, а после просто вышел обратно, мимо третьего рельса, вверх по черным от сажи перекладинам, наружу из ржавого люка — на свет, на улицы, в город, — оставив свое имя далеко внизу, у всех под ногами.

С тех пор он проходил по Конкорсу с ухмылкой, небрежно косясь на тэггеров, что весь день торчали наверху. Ну, кто теперь *Pendejo*? У него появилась своя тайна. Он знал реальные места. Завладел ключом. И ходил теперь мимо них, катая плечи.

Он начал ездить между вагонами как можно чаще, прикидывая: а берут ли тэггеры фонарики, когда идут вниз? Или они работают командами по двое, по трое, как бомберы в отстойниках? Один стоит на щухере, другой светит фонарем, третий бросает тэг. Его даже перестала злить нужда ездить в центр, в принадлежащую отчиму парикмахерскую. По крайней мере, мотаться по рельсам этот летний приработок не мешал. Сначала он ездил, пялясь в окна, а потом приоровился качаться между вагонами, не отрывая глаз от стен туннеля, высматривая случайную подпись. Он предпочитал думать, что тэггеры работают в одиночку, в кромешной темноте, разве что запалят спичку время от времени — только чтоб оценить плавность линий, или оживить цвета, или задуть пустой участок, или вывести букву. Партизанская работенка. Перерыв между поездами не более получаса, даже посреди ночи. Больше всех прочих ему нравились здоровые тэги с фристайлом по контуру. Пока поезд шел мимо, он намертво выжигал их в мозгу и потом весь день ходил, вращая в сознании, прослеживая линии, изгибы, точки.

Сам он в жизни не кидал тэгов, но появись у него хоть один убойный шанс, без последствий, без ремня отчима, без домашних арестов, он бы изобрел целый новый стиль, стал бы кидать черным по черноте, бледно-белым по густо-белому, замутил бы что-нибудь с красным, белым и синим, смешал бы устоявшиеся цветовые схемы, вставил бы немного от пуэрториканцев, немного от черных, разгулялся бы вовсю, всех бы запутал, а что такого, в этом вся фишка и есть — пусть почешут в затылках, пусть встряхнутся и обалдеют. Он бы точно сумел. Гений, так это называется. Но ты станешь гением, только если придумаешь что-то первым. Это ему учитель сказал. Гений всегда одиночка. У него как-то возникла потрясная идея. Он хотел раздобыть слайд-проектор и засунуть внутрь фотографию отца. Собирался спроектировать эту фотку на весь свой дом, в каждый угол. Тогда, куда бы мать ни глянула, везде ей попадется муж, которого она выставила вон, которого он не видел уже двенадцать лет, которого она променяла на Ирвина. Он бы с радостью спроектировал своего отца на стену там, внизу, будто большой тэг, чтобы в темноте туннеля его лицо сделалось сразу и призрачным, и сверхреальным.

Он до сих пор не возьмет в толк, возвращаются ли туннельные райтеры к собственным тэгам или только оглядывают их напоследок, отступив на шаг, когда те едва готовы и еще не просохли. Отходят за третий рельс, чтобы по-быстрому глянуть и уйти. Осторожно, в этой штуке пара тысяч вольт. А не рельс, так поезд — они ведь могут нарисоваться в любой момент. Или копы нагрянут прочесать туннель, прихватив свои фонарики и дубинки. Или какой-нибудь волосатый бродяга выйдет вдруг из теней: белые глаза блестят, в руке пляшет ножичек, того и гляди обчистит карманы, изобьет или кишки выпустит. Уж лучше по-быстрому сделать дело и дать деру, пока не замели.

Ноги пружинят, компенсируя тряску вагона. Тридцать третья улица. Двадцать третья. Юнион-Сквер, где он пересекает платформу, чтобы пересесть на пятый маршрут, забирается между вагонами, ожидая первого толчка. Этим утром новых тэгов на стенах что-то не видно. Иногда ему кажется, что нужно просто купить пару банок, спрыгнуть с поезда и кидай себе на здоровье, но в глубине души он понимает, что ему недостанет духу. Другое дело камера. С ее помощью он может запечатлеть чужие тэги, вытащить из кромешной тьмы, поднять из крысиных нор на поверхность. Когда поезд набирает скорость, он прячет камеру под подол рубашки, чтобы случайно не тюкнуть. Пятнадцать кадров уже использованы, а пленка всего на двадцать четыре. Он даже не уверен, что хоть один получился. В прошлом году в парикмахерской один мужик подарил ему фотоаппарат —

какой-то богатый дядя, которому приспичило почудить. Просто сунул ему машинку, с кейсом и всем прочим. А он не представлял себе, что с ней делать. Сперва вообще пихнул под кровать, но потом одумался, вытащил вечерком и попытался понять, как эта фиговина устроена. Начал фоткать все, что видел вокруг.

Привык помаленьку. Стал повсюду таскать свою камеру. Спустя какое-то время мать даже заплатила за печать снимков, так ее поразила увлеченность сына. «Минолта SR-T 102». Ему нравилось, как плотно она сидит в ладонях. Когда его что-то смущало — ну, скажем, Ирвин ляпнет глупость, или мать наедет, или просто на школьном дворе не знаешь, куда себя деть, — можно было прикрыть лицо фотокамерой, спрятаться за ней.

Жаль только, нельзя остаться тут, внизу: в темноте, в духоте он целый день носился бы взад-вперед на площадке между вагонами, щелкал бы стены в надежде прославиться. В прошлом году он слыхал об одной девчонке, чья фотка угодила на первую полосу «Виллидж войс». Целиком задутый поезд мчится в туннель у Конкорса. Ей удалось поймать нужный свет — не слишком солнечно, не слишком темно. Сноп лучей от фар бьет прямо вперед, а сзади растянулись все тэги. Верный выбор и времени, и места. Ему сказали, девчонка заработала приличные деньги, пятнадцать долларов или даже больше. Сначала он решил, что это пустой треп, но потом сходил в библиотеку и отыскал старый номер газеты: так и есть, причем внутри еще целый разворот фотографий, и в уголке каждой — ее имя. И потом, он слыхал про двух пацанов из Бруклина, которые тоже пробились, один с «Никоном», другой со штуковиной под названием «Лейка».

Он и сам пробовал разок. Принес снимок в «Нью-Йорк таймс» в начале лета. На нем райтер кидает краску, высоко зависнув под эстакадой шоссе Ван Вайка. Красивая вышла карточка: все подчеркнуто тенями, мужик с банкой в руке болтается на своих веревках, а в небе над ним висят пышные такие облака. Хоть сейчас на первую полосу, и думать нечего. Он отпросился из парикмахерской на полдня, даже напялил рубашку с галстуком. Явился в здание на Сорок третьей и сказал, что хочет встретится с редактором по иллюстрациям, у него при себе верный кадр общим планом. Набрался словечек в одной книжке. Охранник, здоровенный смуглак, позвонил кому-то и, перегнувшись через стол, предложил:

- Просто оставь конверт, братишка.
- Мне бы с редактором перетереть.
- Сейчас он занят.
- Когда-то ведь освободится. Будь другом, Пепе, ну пожалуйста.

Охранник прыснул и отвернулся, потом уже по второму разу, и только тогда уставился на него:

— Слышь ты, Пепе.

— Сэр.

— Тебе сколько лет?

— Восемнадцать.

— Брось, малыш. Сколько?

— Четырнадцать, — ответил он, отведя глаза.

— Горацио Хосе Алгер! [\[97\]](#) — хлопнул по столу охранник, радостно хохоча. Сделал еще пару звонков и тогда, насупившись, поднял взгляд. Видно, уже знал. — Посиди пока вон там, парень. Я скажу, когда он выйдет.

Вестибюль был сплошь стекло, пиджаки и точеные гладкие икры. Он просидел там два битых часа, пока охранник не подмигнул наконец. Подскочив к редактору по иллюстрациям, он впихнул ему конверт. Мужик жевал на ходу сэндвич «рубен», [\[98\]](#) кусочек латука торчит в зубах. Тоже, наверное, был раньше фотографом. Хрюкнул «спасибо» и вышел вон, почесал по Седьмой авеню, мимо стриптиз-баров и бездомных калек-ветеранов, с его фотографией под мышкой. Он шел за редактором кварталов пять, пока не потерял его в уличной давке. И с тех пор ни слуху ни духу, вообще ничего, полный ноль. Он ждал, когда же зазвонит телефон, но тот все молчал. Он даже вернулся в тот вестибюль, отпахав три смены, но охранник сказал, что ничем больше помочь не может. «Прости, дружок». Может, редактор просто посеял фотку. Или собирался свистнуть ее. Или еще позвонит, с минуты на минуту. Или, может, он оставлял сообщение в парикмахерской, да Ирвин забыл передать. Короче, ничего не вышло.

После этого он звякнул в дерымовую местную газетенку, какие в Бронксе рассовывают по почтовым ящикам, но даже там его встретили твердым «Нет!», на другом конце линии кто-то даже заржал. Ничего, когда-нибудь они приползут к нему на коленях. Когда-нибудь они будут лизать ему кеды. Когда-нибудь они будут отпихивать друг дружку, чтобы только первыми заговорить с ним. Фернандо Юнке Маркано. Имажист. [\[99\]](#) Слово, которое ему сразу понравилось, даже с испанским выговором. Никакого смысла, зато звучит потрясно. Будь у него визитки, именно так бы и написал: *Фернандо Ю. Маркано. Имажист. Бронкс. США*.

Однажды он видел по ящику одного парня, заработавшего кучу бабок; тот только и делал, что вытаскивал из стен кирпичи. Просто потеха, но вроде как ясно, в чем прикол. Дело в том, как здание выглядело после. Как

свет просачивался через дыры. Люди сразу начинали смотреть по-другому. Задумываться. На мир нужно смотреть под таким углом, под каким никто больше не смотрит. О подобных вещах он размышлял, подметая пол, прополаскивая ножницы, выравнивая склянки с лосьонами. Все эти крутейшие брокеры, которые забегают быстренько подровнять сзади и по бокам. Ирвин говорил, что стрижка — тоже искусство. «Самая большая художественная галерея, какая только бывает. Весь Нью-Йорк прямо здесь, у кончиков твоих пальцев». А он думал в ответ: «Захлопни пасть, Ирвин. Ты мне не отец. Подметай молча. Сам вычишишь свои расчески». Вот только сказать вслух ни разу не решился. Временный обрыв связи между мозгами и ртом. Тут фотокамера приходилась как нельзя кстати. Отгораживала от всех остальных.

Поезд содрогается, и он невозмутимо ставит ладони на каждый из двух вагонов, чтобы удержаться в равновесии. Те начинают разгон, но затем резко тормозят, скрежещут колесами, и его бросает вбок, плечо принимает всю тяжесть удара, а нога врезается в цепи. Он быстро проверяет фотоаппарат. Ништяк. Без проблем. Вот и он, самый обожаемый момент. Полная остановка. В туннеле, уже недалеко от платформы, но пока еще в темноте. Он нащупывает пальцами металлическую кромку двери. Выпрямившись, прислоняется к ней.

Бесстрастность. Покой. Темнота туннеля вокруг. Между Фултоном и Уолл-стрит. Все пиджаки и прически готовятся высыпать из вагонов.

Машинист вырубил мотор, и как же он любит эти секунды тишины — они позволяют хорошо осмотреть стены. Бросает быстрый взгляд внутрь вагона, чтобы убедиться: копов нет. Ставит ногу на цепь и рывком заскакивает на нее, хватается за оконечность крыши, подтягивается одной рукой. Если залезть на вагон, можно будет пощупать круглый свод туннеля — вот где бы кинуть тэг! — но он просто держится за край, озираясь по сторонам. Какие-то белые и красные значки на стенах, где туннель начинает загибаться, парочка сернисто-желтых огней вдалеке.

Он ждет, чтобы глаза привыкли к темноте, чтобы погасли искры на сетчатке. По всему составу, до самого конца, узкие цветные полоски тянутся со стен на крышу, где окончательно теряют четкость. И только на стенах пусто. Настоящая Антарктика, куда не ступала нога тэггера. А чего он ждал? Навряд ли в центре города можно встретить нормальных райтеров. Хотя как знать. Это был бы просто гениальный ход. Веское слово. Попробуйте-ка замазать, говнюки.

Он чувствует, как под ногами вздрагивают цепи, — первое предупреждение о скорой отправке — и крепче сжимает пальцы на краю

крыши. Еще никто из бомберов не работал на потолке. Нехоженая зона. Вот бы самому начать движуху, распахать новое поле. Он бросает еще один взгляд вдоль вагонов и привстает на цыпочки. Там, в дальнем конце туннеля, на восточной стене виднеется какое-то пятно, похожее на краску, что-то быстрое и вытянутое, с красноватыми штрихами вокруг серебра. То ли R, то ли R, а может, и 8. Облака и языки пламени. Ему бы быстренько проскочить через все вагоны, огибая мертвых и спящих — и подойти поближе к стене, разобрать тэг, но как раз в этот миг состав дергается вторично, и это последнее предупреждение, ему ли не знать, так что он спрыгивает вниз, на площадку, и растопыривает руки. Пока стучат колеса, он жадно крутит в уме увиденный фрагмент, сравнивает со всеми старыми тэгами, которые встречал в других участках туннелей, и решает: это нечто совершенно новое, ну точно же, — и в восторге потрясает кулаком: *йес!* Кто-то приехал в центр и оставил тут самый первый тэг.

Через какие-то секунды состав выползает под тусклые лампы станции на Уолл-стрит, двери с шипением едут в стороны, но его глаза закрыты: он помечает новый тэг на мысленной карте, его высоту, цвет, глубину, пытается сообразить, где тот расположен, чтобы потом, по дороге домой, увидеть его опять, завладеть им, сфотографировать, забрать себе.

Статические щелчки переносной радио. Приближаются. Он высовывает голову. Копы! Семенят с дальнего края платформы. Конечно, они его видели. Хотят снять с поезда и оштрафовать. Целых четверо, ремни на животах трясутся. Он отодвигает створку двери вагона и, пригнувшись, забирается внутрь. С тоской ждет хлопка тяжелой ладонью по плечу. Ничего. Он откидывается на прохладный металл двери. Успевает заметить, как копы выбегают за турникеты. Спешат будто на пожар. И все четверо бренчат на бегу: наручники, пушки, дубинки, блокноты, фонарики... что там еще. Кто-то обчистил банк, решает он. Кто-то пошел и обчистил банк.

Он бочком выдирается из закрывшихся было дверей, держа фотокамеру на отлете, чтобы не стукнуть. Двери злобно шипят за спиной. Размашистым, пружинящим шагом — сквозь турникеты и вверх по ступеням. К черту парикмахерскую! Ирвин подождет.

Вызывает Запад

Уже далеко за полночь, лампы дневного света то и дело моргают. Расслабляемся, оторвавшись от работы над графикой. Деннис гоняет софтовый «блю-бокс»^[100] через PDP-10, нашупывая подходящие линии.

Сегодня мы висим вчетвером: Деннис, Гарет, Комптон и я. Деннис у нас самый старый, вот-вот тридцатник стукнет. Под настроение мы зовем его Дед: он пару раз уже сгонял во Вьетнам и обратно. Комптон выпускался из Калифорнийского университета в Дэвисе. Гарет, наверное, уже лет десять как программирует. А мне восемнадцать, но все зовут меня Малышом. Я торчу в институте с двенадцати лет.

— Сколько звонков, парни? — спрашивает Комптон.

— Три, — говорит Деннис, будто наша затея ему уже опостылела.

— Двадцать, — говорит Гарет.

— Восемь, — говорю я.

Комптон бросает на меня удивленный взгляд.

— А Малыш-то разговаривает! — поражается он.

И то верно, чаще за меня говорят мои программы.

Так уж заведено — с тех самых пор, как в далеком шестьдесят восьмом я забрался в подвальный этаж института. Я прогуливал школу, обычный сопляк в коротких штанишках и с разбитыми очками на носу. Компьютер выплевывал длинную змею телетайпной ленты, и ребята за пультом разрешили мне посмотреть. А на следующее утро нашли меня спящим на институтском крыльце. «Эй, вы гляньте, это ж Малыш!»

Теперь я сижу здесь битые сутки, каждый божий день, — по правде говоря, я лучший программист, какой у них только есть, это ведь я прописал все патчи для нашего «блю-бокса».

Трубку берут с девятого звонка, и Комптон хлопает меня по плечу, склоняется над микрофоном и мурлычет скороговоркой, чтобы не спугнуть человека на другом конце линии:

— Привет! Только не вешайте трубку, с вами говорит Комптон.

— Что, извините?

— Говорит Комптон, кто на связи?

— Это телефон-автомат.

— Не вешайте трубку.

— Но это телефон-автомат, сэр.

— Кто говорит?

— А какой номер вам нужен?
— Я попал в Нью-Йорк, правильно?
— Послушайте, мне сейчас некогда...
— Вы находитесь вблизи от Всемирного торгового центра?
— Да, приятель, но я...
— Не вешайте трубку.
— Вы, должно быть, ошиблись номером.

Связь оборвана. Комптон тычет в клавиатуру, оживает «быстрый набор», и трубку снимают на тринадцатом звонке.

— Пожалуйста, не вешайте трубку. Я звоню из Калифорнии.
— Чего?
— Вы случайно не стоите рядом с Всемирным торговым центром?
— Поцелуй меня в зад.

Мы слышим сдавленный смех — и трубка падает на рычаг. Комптон пулеметной очередью набирает шесть цифр, ждет.

— Здравствуйте, сэр!
— Да?
— Сэр, вы находитесь в городе Нью-Йорке, в центре?
— А кто говорит?
— Поднимите голову к небу, если вам не трудно.
— Очень смешно, ха-ха.
Линия опять отрубается.
— Здравствуйте, мэм.
— Боюсь, вы набрали неверный номер.
— Алло! Только не вешайте трубку.
— Извините, сэр, но мне нужно спешить.
— Прошу прощения...
— Перезвоните оператору, пожалуйста.
— Да чтоб меня! — говорит Комптон, когда она отключается.

Мы начинаем соображать, не пора ли сворачиваться, чтобы вернуться к прерванным трудам. Сейчас то ли четыре, то ли пять часов утра, скоро вылезет солнце. Думаю, захоти мы, можно было бы разойтись по домам и славно всхрапнуть на подушках, вместо того чтобы каждому завалиться под свой стол, как тут принято. Коробки из пиццерии под головой, спальные мешки вперемешку с проводами.

Но Комптон упрямо жмет клавишу ввода.

Мы сплошь и рядом развлекаемся таким образом: запускаем «блю-бокс», чтобы дозвониться до службы «Набери-Диск» в Лондоне,[\[101\]](#) например, или узнать прогноз погоды у милой девушки в Мельбурне, или

послушать «говорящие часы» в Токио, или набрать номер телефонной будки на Шетландских островах — просто хохмы ради, чтобы снять напряг после долгих часов программирования. Мы петляем, заметаем следы, громоздим соединения, направляем и перенаправляем вызовы, чтобы никто не сумел нас накрыть. Проникаем в систему по коду 800,[\[102\]](#) чтобы не пришлось бросать монетку: «Хертц», «Эйвис»,[\[103\]](#) «Сони» и даже армейский вербовочный пункт в Виргинии. Гарет хохотал как безумный: его комиссовали после Вьетнама с определением «4F».[\[104\]](#) Даже Деннис, не снимавший футболку *Смерть идет с Запада* с той поры, как сам вернулся с войны, веселился на всю катушку.

Как-то ночью нечем было заняться, так что мы взломали базу секретных кодов для срочного доступа к президенту, а потом набрали номер Белого дома. Мы провели звонок через Москву, просто по приколу. Деннис говорит: «У меня срочное сообщение для президента» — и выпаливает кодовую фразу. «Минутку, сэр», — говорит телефонистка. Мы чуть штаны не обмочили. Прошли еще двух операторов, нас вот-вот должны были соединить с самим Никсоном, только Деннис чего-то струхнул и говорит парню: «Передайте президенту, у нас в Пало-Альто кончилась туалетная бумага». От смеха мы едва не полопались, хотя потом еще долго шугались при стуке в дверь. В итоге обратили это в шутку: парень, доставлявший нам пиццу, получил кодовое имя «Секретный агент Номер Один».

Этой ночью Комптон получил сообщение по каналам ARPANET: оно появилось на круглосуточной доске объявлений со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс. Сперва мы глазам своим не поверили — что за дела, какой-то парень разгуливает по проволоке над Нью-Йорком? — но затем Комптон связался с оператором, представился электриком, тянувшим магистраль телефонных автоматов, и потребовал выдать ему номера будок по соседству со зданиями Всемирного торгового центра. Идет проверка аварийных систем, сказал он. Мы забили номера в машину, протащили по системе и сделали ставки на то, упадет этот крендель или нет. Проще не придумаешь.

Сигналы скачут в компьютере — такой многочастотный писк, будто авангардная пьеса для флейты, — и с девятого звонка кто-то снимает все-таки трубку.

— Э, типа. Алё.

— Вы находитесь рядом со Всемирным торговым центром, сэр?

— Алё! Чё ваше?..

— Это не розыгрыш. Ты рядом со Всемирной Торговлей?

— Да тут просто телефон звонил, чувак. Я просто-просто трубку взял.

Явный нью-йоркский говорок, молодой хрипловатый голос, словно парень только что выкурил одну за другой целую пачку сигарет.

— Понятно, — кивает Комптон, — но тебе видны башни? С того места, где ты сейчас стоишь? Там, наверху, кто-нибудь есть?

— А кто говорит?

— Наверху есть кто-нибудь?

— Да я прямо щас на него гляжу.

— Ты чего делаешь?

— Гляжу на него.

— Обалдеть! Тебе его видно?

— Да я на него смотрю уже двадцать минут, чувак, а то и больше. А ты, это?.. Тут телефон звонил, так я...

— Он его видит!

Комптон в восторге хлопает ладонями по крышке стола, хватает карманный чехол для инструментов и швыряет через весь зал. Его длинные волосы пляшут, скрывая довольное лицо. Гарет танцует жигу у стола с распечатками, а Денис подскакивает ко мне и, схватив в «стальной зажим», елозит костяшками пальцев мне по затылку, дескать, в принципе, плевать он на все хотел, но рад видеть нас счастливыми, — будто он до сих пор армейский сержант или вроде того.

— Говорил я вам! — орет Комптон.

— А кто звонит-то? — спрашивает неизвестный.

— Обалдеть!

— Да кто, на хрена, звонит?!

— А он все еще на канате?

— Что происходит, ваще? Это чё там, типа прикол?

— Он еще наверху?

— Да он гуляет уже минут двадцать, двадцать пять!

— Просто стоит там?

— Да!

— Он просто стоит? В воздухе?

— Ага, развлекается своей дубиной. Подбрасывает в руках.

— Посередине каната?

— Не, ближе к концу.

— У самого края?

— Да не особо. Довольно близко.

— Ну, на глаз. Пять ярдов? Десять ярдов? Он уверенно стоит?

— Точно приклеенный. А кто хочет знать? Имя у тебя есть?

— Комптон. А твое?

— Хосе.

— Хосе? Клёво. *¿Qué onda, amigo?*^[105]

— Чего?

— *¿Qué onda, carnal?*^[106]

— Я не болтаю по-испански, чувак.

Комптон жмет кнопку отключения микрофона и бьет Гарета по плечу:

— Как тебе этот красавец?

— Главное, не упусти его.

— Мне встречались пункты из вопросника SAT^[107] которые были разумнее этого идиота.

— Не дай ему бросить трубку, умник!

Склонившись над пультом, Комптон снова врубает микрофон.

— Ты можешь рассказать, что там творится, Хосе?

— Чё тебе рассказать, чувак?

— Опиши, что происходит.

— Во, блин... Ну, стоит он на верхотуре...

— И что?

— Да ничё. Просто стоит.

— И?

— А ты откуда звонишь, ваще?

— Из Калифорнии.

— Эй, я серьезно.

— Я тоже серьезно.

— Ты мозги мне пудришь, да?

— Нет.

— Это какой-то розыгрыш, чувак?

— Никаких розыгрышей, Хосе.

— Нас чё, по ящику показывают? Мы в телике, что ли?

— Нет тут у нас телика. У нас компьютер.

— Чё?

— Это сложно объяснить, Хосе.

— По-твоему, я типа с компьютером разговариваю?

— Не бери в голову, чувак.

— Чё за фигня? Это чё, «Скрытая камера»? Ты щас на меня смотришь, так? Меня показывают?

— Где показывают, Хосе?

— В телешоу. Хорош уже, я вас всех раскусил. Тут где-то камера спрятана. Давай признавайся, чувак. Взаправду. Я обожаю твое шоу, чувак! Обожаю!

— Никакое это не шоу.

— Это чё выходит, ты Аллен Фунт, [108] чувак?

— Что?

— Где твои камеры? Не вижу никаких камер... Эй, чувак, так ты засел в Вулворт-билдинге, что ли? Это ты вон там? Эге-гей!

— Говорю же тебе, Хосе, я звоню из Калифорнии.

— Выходит, я с компьютером говорю?

— Типа того.

— Ты, значит, в Калифорнии... Народ! Эй, люди!

Он орет во всю глотку, развернув трубку к толпе, и мы слышим гомон множества голосов и свист ветра, и я догадываюсь, что Хосе стоит в одной из тех уличных будок, заклеенных полуголыми девицами и всем прочим, и до нас доносится вой далеких сирен, их зычные высокие стоны, и женский смех, и какие-то глухие выкрики, и автомобильные гудки, и вопли продавца жареных орешков, и бурчание какого-то парня, дескать, у него неподходящий объектив, нужен другой угол обзора, и какой-то другой мужик кричит: «Только не упади!»

— Народ! — надрывается Хосе. — У меня в трубке этот псих, он из Калифорнии, прикиньте!.. Эй, ты еще здесь?

— Здесь, Хосе. Он все еще наверху?

— А ты чё, выходит, дружбан ему, что ли?

— Нет.

— А откуда знаешь? Это ж ты звонил.

— Сложно объяснить. Мы играем с телефонной сетью. Взломали систему... Чувак, он еще наверху? Мне от тебя больше ничего не нужно.

Хосе снова убирает трубку от лица, его голос теряется в уличном шуме.

— Откуда ты звонишь? — кричит он.

— Из Пало-Альто.

— Без шуток?

— Честное слово, Хосе.

— Он говорит, этот парень из Пало-Альто! Как его звать?

— Комптон.

— Парня зовут Комптон! Ага, Комп-тон! Да. Да. Погодь секунду. Эй, чувак, тут один парень хочет знать, Комптон — и дальше чё? Фамилию его знаешь?

— Нет-нет, это меня зовут Комптон.

— А его как зовут, чувак, как *его* зовут?

— Хосе, ты можешь просто сказать, что там происходит?

— Подкинь мне того дерьяма, на котором вы торчите, ладно? Балдеете там, да? Ты точно его дружбан? Эй! Слышьте! У меня тут один приколист висит, из Калифорнии. Говорит, этот мужик из Пало-Альто. Канатоходец живет в Пало-Альто!

— Хосе, Хосе! Прошу тебя, хоть секунду меня послушай, о'кей?

— Плохо слышно. Как его звать, ты говоришь?

— Да не знаю я!

— Связь совсем хреновая. Тормозной какой-то, ничего не разобрать, чего он там плетет, чувак. Компьютеры и прочее дерьмо. Ух, ни фига себе! Ни фига!..

— Что там, что?

— Лопни мои глаза...

— Да что там? Алло!

— Нет!

— Хосе! Ты еще тут?

— Гос-споди...

— Алло, ты меня слышишь?

— Иисус и Мария...

— Алло!

— Даже не верится.

— Хосе!

— Да тут я, никуда не делся. Он только что подпрыгнул. Чувак, ты это видел?

— Что он сделал?

— Он типа подпрыгнул. Это ж рехнуться можно!

— Он спрыгнул?

— Нет!

— Упал с каната?

— Нет, чувак.

— Он погиб?

— Да ни фига!

— А что тогда?

— Он перескочил с одной ноги на другую! Он одет в черное, чувак. Даже отсюда видно. Он все еще наверху! Этот мужик, он что-то с чем-то! Вот блин! Я уж решил, каюк ему! А он встал на ногу, скакнул, а второй ногой... Ох, чувак!

— Он подпрыгнул?

— Точняк!

— Как зайчики прыгают?

— Не, типа как «ножницы»... Он просто... Чувак! Держите меня. Ох, чувак. Держите меня, пятеро. Он такие финты выделявал... На канате, чувак!

— Балдеж.

— И не говори, чувак, самому не верится. Он чё, гимнаст какой-то? Похоже, он вроде как танцует. Может, он танцор? Слыши, чувак, твой дружбан танцор?

— Он мне вовсе не друг, Хосе.

— Богом клянусь, он точно привязан к чему-то или типа того. Привязан к канату. Спорим, привязан. Он там, наверху, и вдруг вертит «ножницы»! Охренеть можно.

— Хосе, послушай меня. Мы тут с ребятами как раз заключили пари. Как этот парень выглядит?

— Он держится, чувак, он держится.

— Тебе его хорошо видно?

— Да какое там! Точно муравей. Это ж какая высотища. Но он точно подпрыгнул. Весь в черном, уж ноги-то видно.

— А ветер дует?

— Не-а. Духота как в заднице.

— Ветра точно нет?

— Там, наверху, должен быть. Господи Иисусе! Он же, типа, на самой верхотуре. Уж не знаю, как они собираются снимать его оттуда. Фараонов нагнали аж тыщу. Полным-полно.

— А?

— Копов полно, говорю. Так и кишат наверху. С обеих сторон.

— Они пытаются втащить его назад?

— Не, он слишком далеко. Теперь он просто стоит. Держит свою палку. Да быть этого не может! Нет!..

— Что? Что там, Хосе?

— Он присел, согнулся и присел. Ты зацени!

— А?

— Ну, типа он встал на колени.

— Он что сделал?

— Теперь уже сидит, чувак.

— То есть, как это — сидит?

— Сидит на своем канате. Да этот парень ненормальный!

— Хосе?

— Ты глянь, ты глянь!

— Алло!

Тишина, в динамиках только прерывистое дыхание.

— Хосе. Эй, амиго! Хосе? Друг мой...

— Быть не может.

Комптон вплотную прижимается к компьютеру, касается микрофона губами:

— Хосе, дружище? Ты меня слышишь? Хосе, ты еще там?

— Что за хрень...

— Хосе.

— Я не прикалываюсь...

— Что?

— Он уже лежит.

— На канате?

— Да, на долбаном канате.

— И?..

— Он подложил под себя ногу. Глядит в небо. Это все так... странно.

— А дубина?

— Чего?

— Ну, шест?

— Положил себе на брюхо, чувак. Ваше нереально.

— И просто лежит там?

— Ага.

— Типа, он решил вздремнуть?

— Чего?

— У него там сиеста?

— Ты чего мне мозги полощешь, чувак?

— Я не... что? Конечно, нет, Хосе. Ничего такого. Нет.

Наступает долгая тишина, словно Хосе сам перенесся наверх, оказался рядом с канатоходцем.

— Хосе? Эй. Алло. Хосе? Как он намерен вернуться, Хосе? Хосе... То есть, если он лежит на канате, как он собирается подняться? Ты уверен, что он лежит? Хосе! Ты здесь?

— Ты чё, думаешь, я лапшу тебе вешаю?

— Нет! Просто хочу разговор поддержать.

— Вот и растолкуй, чувак. Ты щас в Калифорнии?

— Да, чувак.

— Докажи.

— А как я тебе...

Комптон опять вырубает микрофон:

— Принесите мне кто-нибудь чашу цикуты.

— Найди другого, — говорит Гарет. — Скажи, пусть передаст трубку.

— Тому, кто хотя бы читать умеет.

— Парня зовут Хосе, а он даже по-испански не говорит!

Комптон снова утыкается в микрофон:

— Сделай мне одолжение, Хосе. Ты можешь передать трубку дальше?

— На кой хрен?

— Мы тут эксперимент проводим.

— Ты ведь из Калифорнии звонишь? Без брехни? Ты решил, что я тормоз? Так ты решил, да?

— Дай трубку еще кому-нибудь, лады?

— Чё вдруг? — говорит Хосе и, наверное, снова убирает телефонную трубку от лица; вокруг него толпа, слышно, как все охают и ахают. Чуть погодя он роняет трубку вообще, и та раскачивается взад-вперед: Хосе что-то непонятное тараторит, и его голос то стихает вовсе, то крепнет, разносимый ветром.

— Кто-то хочет поболтать с этим кексом? Воображает, будто звонит из Калифорнии!

— Хосе! Просто позови еще кого-нибудь, будь другом!

Похоже, трубка успокаивается на своем проводе, голоса обретают устойчивость, а на их фоне воют сирены, кто-то вопит о хот-догах, и вся эта сцена яркой картинкой всплывает в моем сознании: запруженный людьми перекресток, намертво вставший поток транспорта, вытянутые шеи и телефонная трубка, которая болтается у коленей Хосе.

— Ох, я ума не приложу, чувак! — говорит он. — Какой-то калифорнийский хрен с бугра. Даже не знаю. Думаю, он хочет, чтобы ты ему что-то сказал. Ага. Насчет того, типа, что происходит. Ты хочешь?..

— Эй, Хосе! Хосе! Отдай этому парню трубку, Хосе.

Через секунду-другую он опять берет трубку:

— Тут один мужик хочет потрещать с тобой.

— Слава тебе господи.

— Алло, — говорит очень низкий мужской голос.

— Привет, меня зовут Комптон. Мы здесь, в Калифорнии...

— Привет, Комптон.

— Будьте любезны, опишите для нас происходящее.

— Ну, прямо сейчас это не просто.

— Почему же?

— Случилось нечто ужасное.

— А?

— Он упал.

— Он что?

— Расшибся насмерть об асфальт. Тут сейчас такая суeta. Вы слышите звук сирен? Слышино его? Прислушайтесь.

— Мало что слышно.

— Копы носятся по улице. Так и снуют вокруг, тут их полно.

— Хосе? Хосе? Это ведь ты? Там кто-то упал?

— Он рухнул прямо тут. У меня под ногами. Все в кровище и деръме.

— Кто говорит? Это ты, Хосе?

— Послушай сирены, чувак.

— Отдай кому-нибудь трубку.

— Тут вся улица в его мозгах.

— Прикальваешься, да?

— Чувак, это просто кошмар.

Трубка падает на рычаг, соединение вырубается, и Комптон обводит нас выпученными глазами.

— Думаете, он погиб?

— Нет, конечно.

— Это был Хосе! — уверен Гарет.

— Голос-то другой.

— Ничего подобного. Это точно Хосе, он подкалывал нас. И как только додумался.

— Набери еще раз номер!

— Ну, даже не знаю. Может, и правда. А вдруг он упал?

— Звони!

— Ты не получишь ни цента, — кричит Комптон, — пока я не буду знать наверняка!

— Ой, да ладно тебе, — говорит Гарет.

— Парни! — говорит Деннис.

— Мы должны услышать по телефону. Пари есть пари.

— Парни!

— Ты вечно не платишь по счетам, признайся.

— Набери номер еще раз.

— Парни, у нас полно работы, — говорит Деннис. — Думаю, сегодня мы еще успеем добить тот патч.

Хлопает меня по плечу и задорно переспрашивает:

— Верно, Малыш?

— Сегодня уже завтра, — поправляет его Гарет.
— А что, если он все-таки упал?
— Ничего подобного. Это выходки Хосе, говорят тебе.
— Линия занята!
— Так звони по другой!
— Загляни в ARPANET, парень.
— Башкой думай.
— Звони в другой телефон-автомат!
— Набирай по очереди.
— Невероятно, но все линии заняты.
— Так освободи их.
— Я не господь бог.
— Так тащи его сюда, приятель.
— Ты соображаешь, брат? Они звонят наперебой!

Деннис перешагивает через стопку коробок из пиццерии, проходит мимо печатной машины, хлопает ладонью по корпусу PDP-10, а затем стучит себя в грудь кулаком, прямо в надпись *Смерть идет с Запада*.

— Работаем, парни!
— Ох, да брось ты, Деннис.
— Уже пять часов утра!
— Нет, давайте все выясним.
— Дело не терпит, парни. Пора работать.

В конце концов, компания принадлежит Деннису, и это он раздает наличные каждую неделю. Впрочем, я не припомню, чтобы кто-то из нас покупал хоть что-нибудь, кроме комиксов да свежих номеров «Роллинг Стоун». Все остальное выдает Деннис, даже зубные щетки в уборной в подвальном этаже. Всему, что было важно знать, его научили во Вьетнаме. Деннис часто нам повторяет, что только закладывает фундамент, лепит свой маленький ксерокс с «Ксерокса». Свои деньги он зарабатывает на заказах из Пентагона, но, в принципе, его куда больше интересует технология передачи файлов по кабелю.

И века не пройдет, как ARPANET начнут встраивать прямо в головы, уверяет он. У каждого из нас в основании черепа окажется маленький компьютерный чип, с помощью которого мы сможем отправлять друг другу сообщения на электронные доски объявлений — просто силой мысли. Сплошное электричество, говорит он. Фарадей. Эйнштейн. Эдисон. Уилт Чемберлен^[109] будущего.

Такая мысль мне по душе. Это круто. Это возможно. Если идеи Денниса когда-нибудь осуществлятся, люди и думать забудут про

телефонные линии. Нам никто не верит, но это чистая правда. Когда-нибудь будет достаточно подумать — и желание исполнится. *Выключить свет* — и лампа сразу гаснет. *Сварить кофе* — и автомат оживает.

— Брось, мужик, потерпи хоть пять минуточек.

— Договорились, — соглашается Деннис. — Еще пять минут. Не больше.

— Эй, у нас все фреймы залинкованы? — спрашивает Гарет.

— А как же.

— Попробуй вон оттуда.

— Если есть сигнал, будет и звонок.

— Давай, Малыш, тащи туда свою задницу. Запускай «блю-бокс».

— Ловись, рыбка!

Свой первый детекторный приемник я собрал в семь лет. Немного проволоки, бритвенное лезвие, огрызок карандаша, наушник, пустая картонка из-под туалетной бумаги. Множество слоев алюминиевой фольги и пластика в качестве конденсатора, все крепится на одном-единственном винтике. Без батареек. Схему взял из комикса про Супермена. Приемник ловил всего одну станцию, но это было неважно. Я забирался под одеяло и слушал его по ночам. За стенкой ссорились предки, они вечно заводились с пол-оборота. Вмиг переключались со смеха на слезы и обратно. Когда станция прощалась со слушателями, я прикрывал наушник ладонью и впитывал щелчки.

Только потом, уже собрав другое радио, я выяснил, что антенну можно сунуть в рот. Тогда и прием получше, и посторонние шумы не так донимают.

Знаете, когда корпишь над программой, происходит то же самое: мир вокруг уменьшается и застывает. Забываешь обо всем. Попадаешь в особую зону, где оглянуться назад уже не получится. Звуки и свет подталкивают тебя вперед. Набираешь скорость, несешься все дальше и дальше. Переменные выстраиваются самым благоприятным образом. Звук закачивается внутрь через воронку, как взрыв наоборот. Все сближается, стремясь в единственную точку. И неважно, над чем ты ломаешь голову — над программой распознавания речи, или шахматным симулятором, или над вертолетным радаром по заказу «Боинга»; единственное, что тебя заботит, это следующая строка программы, которая уже спешит к тебе. В хороший день они бегут тысячами, эти строчки. В плохой день не получается понять, где именно они сбили строй.

Мне по жизни не очень-то везет, хотя я не жалуюсь, тут уж ничего не попишешь. Но на этот раз я устанавливаю связь за рекордные пару минут.

— Стою на Кортленд-стрит, — говорит женщина на другом конце.

Я разворачиваюсь в кресле и потрясаю в воздухе кулаком:

— Есть!

— У Малыша есть контакт.

— Малыш!

— Подожди, я сам с ней поговорю.

— Прошу прощения? — говорит она.

У меня под ногами разбросаны куски пиццы и пустые бутылки из-под содовой. Парни спешат ко мне, пинают их ногами, из одной коробки улепетывает испуганный таракан. Я подключил к компьютеру двойной микрофон: пенопластовые кружки вырезаны из упаковочного материала, стойка согнута из проволочной вешалки. Мой микрофон крайне чувствителен, у него низкий уровень искажений, я сам его сделал, просто две маленькие пластины с небольшим зазором, изолированные. Динамики тоже самопальные, я сотворил их из радиоотбросов.

— Вы гляньте только, — говорит Комптон, щелкая пальцем по большим пенопластовым кружкам моего микрофона.

— Прошу прощения? — повторяет женщина.

— Это вы меня извините. Привет, меня зовут Комптон, — говорит он, выдавливая меня с кресла.

— Здравствуйте, Колин.

— Он все еще там, наверху?

— На нем черный комбинезон.

— Говорил же вам, он не падал.

— Ну, не совсем рабочий комбинезон. Скорее, спортивный костюм с треугольным вырезом по горлу. Расклешенные брючины. Он держится с достоинством и чрезвычайно уравновешен.

— Что, простите?

— Вот провалиться мне, — говорит Гарет. — «Уравновешен»? Она живая? Откуда вообще берутся такие слова?

— Заткнись, — говорит Комптон, снова поворачиваясь к микрофону. — Мэм? Алло! Там, наверху, только один человек, правильно?

— Ну, какие-то помощники у него должны быть.

— То есть?

— Ну, невозможно же перебросить канат с одной башни на другую. Я хочу сказать — в одиночку. У него, должно быть, целая команда.

— Вы еще кого-то видите?

— Только полицейских.

— И давно он наверху?

— Приблизительно сорок три минуты, — отвечает она.

— «Приблизительно»?

— Я вышла из подземки в семь пятьдесят.

— А, хорошо.

— И он едва успел начать.

— О'кей. Я понял.

Комптон старается одной рукой прикрыть оба микрофона, но в итоге сдается и, отвернувшись к нам, просто крутит пальцем у виска.

— Благодарю вас за помощь.

— Мне не сложно, — говорит она. — Ой.

— Вы еще тут? Алло.

— Вот, он опять пошел. Снова переходит на другую сторону.

— А сколько всего было переходов?

— Сейчас уже в шестой или в седьмой раз. Только теперь он что-то торопится. Очень-очень торопится.

— Он что, бежит по канату?

На заднем плане слышен всплеск аплодисментов, и Комптон отстраняется от микрофона, чуть поворачивается в кресле.

— Эти чертовы штуки похожи на леденцы, — говорит он.

Склонившись к микрофону, делает вид, что облизывает его.

— Похоже, там у вас вечеринка что надо, мэм. Сколько народу собралось?

— Только на этом углу, ну, должно быть, шесть или семь сотен человек, а то и больше.

— Как вы думаете, он еще долго будет ходить по канату?

— Ох, ничего себе!

— Что это было?

— Ну, просто я опаздываю.

— Задержитесь еще хоть на минутку, прошу вас.

— Хорошо, но я ведь не смогу весь день стоять и разговаривать...

— А что делают копы?

— Полицейские расположились вдоль всей крыши. Думаю, они хотят заманить его обратно. Ммм... — умолкает она.

— Что? Алло!

Тишина.

— Что происходит? — тревожится Комптон.

— Ну, два вертолета прилетели. Только очень уж они близко.

— Совсем близко?

— Надеюсь, они не сдуют его с каната.

— И насколько они близки?

— Что-то около семидесяти ярдов. Но не больше сотни. Все, теперь уже улетают. Боже мой.

— Что там?

— Ну, полицейский вертолет отлетел подальше.

— Так?

— Силы небесные...

— А теперь?

— Сейчас, в эту самую секунду, он машет рукой. Склонился над проволокой, удерживает шест на колене. Точнее, на бедре. На правом бедре.

— Серьезно?

— И он машет рукой.

— Откуда вы знаете?

— По-моему, это называется «салютовать».

— Что делать?

— Ну, приветствовать публику. Он опустился на проволоку, балансирует, убрал одну руку с шеста, и он, в общем, да, он нам салютует.

— Как вы разглядели?

— Вот я и попалась, — говорит она.

— Что? С вами все в порядке? Леди?

— Нет-нет, все хорошо.

— Вы еще с нами? Алло!

— Прошу прощения?

— Как вам удалось так ясно его рассмотреть?

— Стекла.

— А?

— Я наблюдаю за ним сквозь стекла. Мне сложно сразу держать и стекла, и трубку. Подождите секундочку, пожалуйста.

— «Сквозь стекла»? — недоумевает Деннис.

— У вас при себе бинокль? — спрашивает Комптон. — Алло. Алло! У вас бинокль?

— Да, да, театральный бинокль.

— Иди ты! — восторгается Гарет.

— Я вчера была на выступлении Мараковой.^[110] В АТБ. И забыла вернуть его. Бинокль то есть. Кстати говоря, она великолепна. Они танцевали с Барышниковым.^[111]

— Алло. Алло!

— В сумочке. Бинокль всю ночь пролежал в моей сумочке. Такой

удачный конфуз.

— «Конфуз»? — радуется Гарет. — Эта дамочка жжет!

— Захлопни пасть, — командует Комптон, прикрывая микрофон. — Вам видно его лицо, мэм?

— Минутку, пожалуйста.

— Где теперь вертолет?

— О, далеко.

— А этот парень, он по-прежнему салютует?

— Одну минуточку, пожалуйста.

Похоже, она убирает телефонную трубку от лица, какое-то время мы слышим лишь веселое гудение толпы, смешанные в кучу крики и хлопки, и мне вдруг уже ничего не хочется знать, только бы она вернулась к нам, забудьте про канатоходца, я хочу услышать эту женщину с биноклем, ее глубокий голос, эти забавные интонации в слове конфуз. Мне думается, она не особо молода, но это не так уж важно, дело не в моем влечении, не в этом смысле. Я не запал на нее, ничего подобного. У меня в жизни не было подружки; ну и что, обходился же до сих пор. Мне просто нравится звук ее голоса. И потом, это ведь я до нее дозвонился.

Кажется, ей лет тридцать пять или даже больше, у нее изящная шея и юбка-карандаш, но, кто знает, ей может быть все сорок, или сорок пять, она может быть даже старше, волосы уложены лаком, а в сумочке болтается запасная пара вставных челюстей. Как ни крути, она, сдается мне, настоящая красавица.

Денис отступил в самый угол, качает головой и улыбается. Комптон водит по столу пальцем, Гарет пытается не захочотать. А мне хочется одного: чтобы они выметались с моего рабочего места. Хватит уже пользоваться моими вещами, я имею полное право на собственное оборудование.

— Спроси, как она там оказалась, — шепчу я.

— Малыш снова заговорил!

— Ты в порядке, Малыш?

— Просто спроси ее.

— Не будь занудой, — рекомендует Комптон.

Он откидывается на спинку и смеется, прикрывает мой микрофон обеими руками и начинает подпрыгивать в кресле. Топает по полу, и коробки из-под пиццы разлетаются в стороны.

— Извините, — говорит женщина. — На линии какие-то помехи.

— Спроси, сколько ей лет. Давай же, спрашивай.

— Заткнись, Малыш.

— Сам ты заткни... Заткнись, Комптон.
Комптон щелкает меня по лбу.
— Делай, как Малыш говорит!
— Ну, давай, просто спроси ее.
— Американская конституция гарантирует право удовлетворять похоть.

Гарет наконец ржет в полный голос, и Комптон снова зависает над микрофоном:

— Вы все еще с нами, мэм?
— На связи, — говорит она.
— Наш парень все еще салютует?
— Нет, теперь он стоит на проволоке. Полисмены тянутся к нему. С края крыши.
— А вертолет?
— Даже не видать.
— Наш зайка больше не скачет?
— Извините?
— Этот парень, он подпрыгивал на канате, как зайчик. Больше не прыгает?
— Этого я не видела. Нет, он не прыгал. Какой еще зайчик?
— С одной ноги на другую, типа того.
— Он настоящий артист.
Гарет прыскает в кулак.
— Вы меня записываете?
— Нет-нет-нет, честное слово.
— Я слышу голоса на заднем плане.
— Мы в Калифорнии. Все в полном порядке, даже не беспокойтесь.

Мы занимаемся компьютерами.

— Только не надо меня записывать.
— И в мыслях не имели. А вы молодец.
— Такие вещи запрещены законом.
— Разумеется.
— Так или иначе, мне давно следует...
— Еще немножко, — говорю я, сгибаясь над столом через плечо Комптона.

Комптон отпихивает меня, не оборачиваясь, и спрашивает, не нервничает ли канатоходец. Женщина на том конце провода не торопится с ответом, словно обсасывает саму идею и не спешит проглотить.

— Что ж, он выглядит вполне спокойным. Вернее, его тело. Оно

исполнено спокойствия.

— Значит, его лица вам не видно?

— Не то чтобы нет...

Она начинает гаснуть, словно не желает больше разговаривать, блекнет на горизонте, но мне так хочется, чтобы она осталась, даже не знаю почему, у меня такое чувство, будто она приходится мне родной тетей или вроде того, будто мы знакомы много лет, и это, конечно, невозможно, но мне уже на все плевать, и я хватаю микрофон, разворачиваю в сторону от Комптона и говорю:

— Вы работаете в одном из этих зданий, мэм?

Комптон запрокидывает голову, чтобы опять захочтать, Гарет хватает меня за промежность, и я одними губами говорю ему: «Козел».

— Ну да, я библиотекарь.

— Правда?

— «Хоук, Браун и Вуд». В справочном отделе.

— Как вас зовут?

— На пятьдесят девятом этаже.

— Ваше имя?

— Право, я даже не уверена, стоит ли мне...

— Я не хотел вас смутить.

— Нет, нет.

— Меня зовут Сэм. Я работаю в исследовательском центре. Сэм Питерс. Мы занимаемся компьютерами. Я программист.

— Понятно.

— Мне восемнадцать лет.

— Поздравляю! — смеется она.

Наверное, ей слышно, как я заливаюсь краской на своем конце линии. Гарет складывается пополам, так ему смешно.

— Сейбл Сенаторе, — произносит она наконец мягким, текучим голосом.

— Сейбл?

— Совершенно верно.

— Могу ли я спросить?..

— Да?

— Сколько вам лет?

Снова молчание.

Парни корчатся от смеха, но у нее такой милый голос, что мне не хочется вешать трубку. Я пытаюсь вообразить ее себе — там, под этими высокими башнями, с обращенным к небу лицом, с театральным биноклем

на цепочке, как она готовится вернуться к работе, в какой-то адвокатской конторе с деревянными панелями стен и с кофейными кружками.

— Сейчас половина девятого утра, — говорит она.

— Простите?

— Как правило, свидания назначают на более поздний час.

— Извините, пожалуйста.

— Что ж, мне двадцать девять лет, Сэм. Старовата для вас.

— О.

Ну точно: Гарет сразу давай ковылять по залу, будто он согнутый годами старик с палочкой, Комптон издает пещерное уханье, и даже Деннис придвигается ближе, чтобы шепнуть мне: «Любовничек».

Затем Комптон отодвигает меня от стола, лопоча что-то про свое пари и про то, что ему обязательно надо все выяснить.

— Где он, Сейбл? Где он сейчас?

— Это снова Колин?

— Комптон.

— Он стоит почти у самой Южной башни.

— А каково расстояние от одной башни до другой?

— Сложно сказать. Где-то пара сотен... О, вот это скорость!

Вокруг нее страшный шум, и свист, и улюлюканье, и восторженные вопли, словно все срывается вдруг с петель, скатывается в один снежный ком, и я думаю о тысячах зрителей, сошедших с поездов и автобусов, впервые представляю их себе и жалею, что там нет меня, рядом с ней, и у меня слабеют колени.

— Он снова улегся? — спрашивает Комптон.

— Нет-нет, ни в коем случае. Он закончил.

— Он свернул выступление?

— Просто ушел с каната. Снова салютовал, помахал рукой и сошел с каната на крышу. Очень быстро. Убежал, можно сказать.

— Все кончено?

— Блин.

— Я выиграл! — ликует Гарет.

— Только не это. Он закончил? Вы уверены? Это все?

— Полиция встречает его на краю крыши. Они забрали у него шест. Вы только послушайте.

— Он закончил? Алло? Вы меня слышите?

Рядом с телефонной трубкой ревут аплодисменты, радостно кричат люди, множество людей. Комптон выглядит расстроенным, а Гарет крутит перед ним пальцами, словно отсчитывая купюры. Яприникаю ближе к

микрофону.

- Сейбл, — начинаю я.
- Ну вот, — говорит она, — теперь мне действительно пора.
- Прежде чем вы уйдете...
- Это Сэмюэль?
- Разрешите задать вам личный вопрос?
- Ну, полагаю, вы уже его задали.
- Вы не оставите мне номер своего телефона? — спрашиваю я.
- Она смеется, ничего не отвечает.
- Вы замужем?
- Новый смешок, с ноткой сожаления.
- Простите, — говорю я.
- Нет.
- Что вы сказали?

Я никак не могу сообразить, на что она ответила «нет»: на просьбу оставить свой телефон, или на вопрос о замужестве, или, может, сразу на все, но затем она тихо смеется, и этот смешок гаснет в общем гвалте толпы.

Комптон роется в кармане, выгребая деньги. Пятидолларовую бумажку он толкает по столу к Гарету.

- Мне тут подумалось...
- Правда, Сэм, мне нужно бежать.
- Я не какой-нибудь урод.
- Позвольте откланяться.

Раздаются гудки. Я поднимаю голову: Гарет и Комптон откровенно на меня таращатся.

- «Откланяться»! — ликует Гарет. — Вот тебе! «Уравновешенный»!
- Заткнись, ладно?
- «Конфуз»!
- Умолкни, зараза.
- Наш мальчик обиделся!
- Кое-кто влюбился, — с ухмылкой говорит Комптон.
- Да я просто подкалывал ее. Дурачился.
- «Позвольте откланяться»!
- «Не оставите ли телефончик»?!
- Захлопни рот.
- Эй. Не злите Малыша.

Я подхожу к аппарату и вновь жму клавишу набора, но гудки следуют друг за другом, трубку никто не берет. На лице у Комптона странное выражение, словно он видит меня в первый раз, будто мы с ним едва

знакомы, но я плевать на это хотел. Набираю снова: телефон продолжает звонить. Я воображаю, как Сейбл отходит от будки, идет по улице, заходит в одну из башен Всемирного торгового центра, поднимается на пятьдесят девятый этаж, кругом сплошь деревянные панели да полки с папками для бумаг, она говорит «Привет!» адвокатам, усаживается за свой стол, закладывает за ухо карандаш.

— Как называлась та адвокатская фирма?

— «Позвольте откланяться», — говорит Гарет.

— Лучше выкинь из головы, — советует Деннис. Он стоит рядом с моим столом в своей футболке, волосы взлохмачены.

— Она уже не вернется, — говорит Комптон.

— Отчего ты так уверен?

— Женская интуиция, — фыркает он.

— Пора бы нам заняться тем патчем, — говорит Деннис. — За дело!

— Нет уж, дудки, — говорит Комптон. — Я сваливаю домой. Не спал уже год.

— Сэм? Что скажешь?

Это он про ту программу, из Пентагона. Мы подписывали бумагу о неразглашении. Довольно простая задачка. Любой ребенок справится — это я так думаю. Всего-то дел: берешь программу радара, вбиваешь в нее силу гравитации, может, еще добавляешь какие-то врацательные дифференциалы — и сразу понятно, где приземлится тот или иной снаряд.

— Малыш?

Когда включаются сразу много компьютеров, комната начинает гудеть. Это не просто «белый шум». Это такой особенный гул, от которого начинает казаться, что на самом деле ты — почва под небом, синий гул, звучащий вверху и вокруг тебя, но если на нем сосредоточиться, он станет слишком громким и надоедливым, а тебя самого сделает крошечной песчинкой. Ты запечатан, закупорен им: проводами, трубами, неустанным бегом электронов, да только на самом деле никакого движения нет, абсолютно никакого.

Я отхожу к окну. Это подвальная амбразура, в которую не заглядывает солнце. Вот чего я никак не могу взять в толк: на кой вставлять окна в подвалах? Однажды я пытался его открыть, но рама даже не шелохнулась.

Могу поспорить, снаружи уже рассвело.

— Позвольте откланяться! — говорит Гарет.

Нестерпимо хочется пересечь комнату и ударить его, со всей силы, по-настоящему ударить, сделать ему больно, — но я сдерживаюсь.

Усаживаюсь за пульт, жму клавишу выхода, «N», потом «Y», выхожу

из «блю-бокса». Хватит на сегодня телефонных развлечух. Открываю интерфейс программирования, ввожу свой пароль: `samus17`. Мы уже шесть месяцев корпим над этим проектом, а Пентагон потратил на него годы. Случись новая война, моя программа пойдет в ход — это уж точно.

Я поворачиваюсь взглянуть на Дениса. Уже сгорбился над своим пультом.

Программа загружается. Слышно, как щелкает.

В работе над новой программой есть свой кайф. Это классно. И довольно просто. Можно забыть об отце с матерью, вообще обо всем. На столе перед тобой раскидывается целая страна. Америка. Ты первооткрыватель, тебе открыты все пути. Программирование — это связь, доступ, шлюзы. Это как командная игра в шепот: если хоть кто-то ошибется, придется вернуться и все начинать сначала.

Вот дом, который построил Конь

Эти гады не пустили меня на похороны Корригана. Я бы с радостью забыла, как курят дурь, только бы попасть туда, но вместо этого меня опять запихнули в камеру. Я сразу свалилась на нары и закрыла глаза рукой.

* * *

Я видала список своих приводов в полицию, пятьдесят четыре пункта на желтой бумажке. Не особо аккуратно отпечатано. Вся моя жизнь, под копирку. В папочке. Хантс-Пойнт, Лекс и Сорок девятая, Вест-Сайдское шоссе, аккурат до самого Кливленда. *Празношатание. Проституция. Нарушение общественного спокойствия, класс «А». Хранение вещества, ограниченного в обращении — 7-й степени. Пасягательство на чужую собственность — 2-й степени. Хранение наркотических веществ, уголовное преступление класса «Е». Преставание с целью оказания сексуальных услуг, клас «А». Административное правонарушение — 0-й степени.*

По правописанию у копов — твердый трояк.

Те, что из Бронкса, пишут хуже прочих. Кол им за все, не считая наших арестов на нашей же территории.

* * *

Тилли Хендерсон, также известная как Мисс Нега, Пазл, Роза П., Булочка.

Цвет кожи, пол, рост, вес, цвет волос, тип волос, комплекция, цвет глаз, шрамы, другие приметы, татуировки (отсутств.).

* * *

Просто обожаю торты из супермаркета. На желтой бумажке об этом ни слова.

* * *

В день, когда нас повязали, Боб Марли^[112] пел по радио: *Ну же, стойте за свои права*. Коп-юморист врубил погромче и глядит на нас, лыбится. Джаззлин завопила: «Кто присмотрит за моими детками?»

* * *

Ложку я оставила в банке с детской смесью. Тридцать восемь лет. Не подарочек.

* * *

Проституция у меня в крови. Это не гон. В жизни не мечтала о нормальной работе. Я жила точнехонько напротив панели на перекрестке Проспект-авеню и Восточной Тридцать первой. Мне было тогда восемь. Смотрела из окна спальни, как работают девушки. На ногах красные туфли на каблучках, на головах высокие начесы.

Мимо проходили папики, направляясь в Турецкий отель. Там они подбирали пары своим девочкам. В их здоровенных шляпах хоть танцы устраивай.

Во всех фильмах сутенеры разъезжают на «кадиллаках». Истинная правда. Папики катаются на «кисках». Души не чают в белых ободках на покрышках. Впрочем, меховые игральные кости в жизни встречаются куда реже.

Впервые я попробовала помаду, когда мне было девять. Губы блестели в зеркале. В одиннадцать лет пыталась примерить синие мамины сапоги. Те оказались велики: я могла бы целиком в них спрятаться, только голова торчит.

Когда мне стукнуло тринадцать, моя рука уже лежала на бедре у мужика в малиновом костюме. У того парня была женская талия, но был он крепко. Звали его Файн. Так меня любил, что не пускал работать на панели. Говорил, занимается моим воспитанием.

* * *

Моя мать носа из Библии не высовывала. Мы ходили в церковь Духовных Детей Израилевых. Там надо было запрокидывать голову и

глаголить во языщех. Она тоже работала на панели. Много лет тому назад. Бросила это делать, когда выпали все зубы. Она говорила мне: «Не бери с меня пример, Тилли».

Поэтому я поступила точнехонько наоборот. Зубы пока на месте. Хотя...

* * *

За деньги я не продавалась, пока мне не стукнуло пятнадцать. Сама вошла в лобби Турецкого отеля. Кто-то присвистнул, все повернули башку, и я туда же. И только потом доперла, что свистят мне. Прямо там я начала ходить, виляя задом. Из кожи вон лезла. Мой первый папик сказал: «Закончишь с клиентом, приходи ко мне домой».

Чулки, тесные шорты, высокие каблучки. Вся панель аж гудела.

Одна из первых хитростей, которым ты учишься, заключается в том, чтобы не подходить с распущенными волосами к открытым окнам. Стоит лажануться, какой-нибудь псих обязательно ухватит, затащит к себе и отдерет так, что своих не узнаешь.

* * *

Самого первого папика забыть невозможно. Ты души в нем не чаешь, пока он не полезет драться монтировкой. Два дня спустя вы вместе меняете колеса у его машины. Он покупает тебе блузку, которая подчеркивает фигуру везде, где надо.

* * *

Крохотульку Джаззлин я оставила у матери. Она дрыгала ножками и смотрела на меня снизу вверх. Когда она родилась, кожа у нее была белая-белая. Я уж решила сперва, что мне чужую подсунули. Не могу сказать, кем был ее отец. Выбирайте любого из списка длиной отсюда до воскресенья. Люди говорили, скорее всего, он был мексиканцем, но я что-то не припомню, чтобы на мне потел какой-то Пабло. Я взяла ее на руки и сразу сказала себе: «Я буду заботиться о ней всю ее жизнь».

Первое, что делаешь, когда появляется ребенок, ты говоришь: «Она

никогда не выйдет на панель». Приносишь клятву. Только не моя детка. Ни за что, там ей не место. И поэтому идешь на панель сама — только б удержать ее подальше оттуда.

Так оно и было, едва не три года на панели и бегом домой, взять дочку на руки, но потом я смекнула, что делать. И говорю: «Пригляди за ней, мама, я скоро вернусь».

* * *

Самая тощая псина, которую я только видела в жизни, намалевана на боку у автобусов «Грейхаунд».[\[113\]](#)

* * *

Едва приехав в Нью-Йорк, я сразу легла на тротуаре рядом с автовокзалом, просто чтоб увидеть все небо целиком. Какой-то дядя перешагнул через меня, даже не глянув вниз.

* * *

Я занялась делом с первого же дня. Водила мужиков в клоповники на Девятой улице. Небо можно увидеть и на потолке, дело нехитрое. В Нью-Йорке полным-полно моряков.

Помню, мне нравилось танцевать в их смешных шапочках.

* * *

В Нью-Йорке работать приходится на дядю. Этот дядя — твой папик, даже если кроме тебя девушек у него нет, у бедняги. Найти папика легко. Мне почти сразу повезло, я наткнулась на Шустрика. Он взял меня под крыло, и я работала на лучшей панели в городе: перекресток Сорок девятой и Лексингтон. Это там, где ветром задрало юбку у Мэрилин. Над решеткой подземки. Следующей в хит-параде была панель на Вест-Сайде, но там Шустрику было не по вкусу, так что я редко туда выходила. Столько деньжат на Вест-Сайде все равно не поднять. И копы вечно сверкали

своими значками, отстаивали территорию. Они интересовались последней датой в списке приводов, чтобы понять, когда тебя заметали в последний раз. Если тебя уже давно никто не арестовывал, они потирали ладошки и говорили: «Пошли со мной».

Мне больше нравился Ист-Сайд, даже если тамошние копы наглые и злые.

На Сорок девятой и Лекс не часто встретишь цветную девушку. Там работали беленькие, с хорошими зубами. Одевались с иголочки. Никогда не носили больших колец, те мешают в работе, зато маникюр всегда был чудесный, и ногти На ногах аж блестели. Стоило мне нарисоваться, они встретили меня криком: «Какого хрена приперлась?» А я отвечаю: «Работать, девочки». И уже очень скоро мы перестали скандалить. Перестали царапаться. Перестали стараться переломать пальцы друг дружке.

* * *

Я была первой негритянкой, вышедшей на ту панель. Меня знали там как Розу Паркс. Девушки говорили, я похожа на пятно жвачки. Черная. И на тротуаре.

Жизнь так устроена, вы уж поверьте. Люди должны смеяться.

* * *

Я сказала себе, я говорю: вот заработаю денег и вернусь к Джаззлин, куплю ей большой дом с камином и чтобы столик на заднем дворе, обставлю красивой мебелью. Вот чего хотелось.

Я такая бестолочь. Нет на свете большей дурехи. Только никто об этом не узнает. Это моя тайна. Я шагаю по миру так, будто им владею. Смотрите, какое пятно. Какие изгибы.

* * *

У меня есть сокамерница, она держит живую мышь в коробке из-под туфель. Лучшая ее подружка. Она разговаривает с ней, гладит. Даже целует иногда. Однажды мышь укусила ее за губу. Я со смеху чуть не лопнула.

Она села на восемь месяцев за ножевое ранение. Со мной даже разговаривать не желает. Скоро ее переведут в тюрьму на задворках штата. Говорит, у меня мозгов нет. Зато меня никуда не переведут, не-а, так и буду мотать срок в Нью-Йорке. Я заключила договор с дьяволом — лысый такой коротышка в черной шапочке.

* * *

В семнадцать лет у меня было шикарное тело. Из-за такого Адам бросил бы Еву глазом не моргнув. Высший сорт, без прикрас говорю. Все на своих местах. У меня были ноги в сто миль длиной и попка, за которую умереть не жалко. Адам так бы и заявил своей Еве: *Дорогая Ева, я пошел*. А Иисус стоял бы рядом, приговаривая: *Ай да Адам, везучий ты гондон*.

* * *

На Лексингтон была одна пиццерия. На стене огромная фотка: куча парней в трусах, с гладкими лицами и мячом, — короче, картинка что надо. А в самой забегаловке, наоборот, мужики сидели жирные, волосатые и, чуть что, отвешивали шуточки про пепперони. Их пиццу впору было салфеткой промокать, чтобы поменьше масла. Кроме того, там вечно торчали парни из синдиката. С ними не шути, с синдикатами. У них на брюках стрелочки, а сами пахнут бриолином. Такие позовут девчонку отведать итальянской кухни, а наутро и след простыл, ищи ее потом в сырой земле.

* * *

Шустрик был выпендрежник. Он носил меня типа как драгоценность какую на руке. У него было пять женушек, но я была *нумеро uno*, звездой на елке, свежайшим мясом в витрине. Для своего папика стараешься вовсю, зажигаешь для него фейерверки, любишь его до самого заката, а уж потом выходишь на панель. Я зарабатывала больше всех прочих, и Шустрик обращался со мной как с царицей. Катал меня на переднем сиденье, пока остальные женушки смотрят с улицы, только пар валит из ушей.

Единственная незадача — чем больше он тебя любит, тем сильнее

колотит. Вон оно как устроено.

Один доктор в травмопункте влюбился в меня без памяти. Он зашивал мне бровь в тот раз, когда Шустрик побил меня серебряным кофейником. Шил, шил, а потом вдруг наклонился и поцеловал. Там, где торчала нитка, было щекотно.

* * *

В тихие дни, когда лил дождь, мы много воевали, я и другие женушки Шустрика. Я носилась по улице с париком Сьюзи, внутри которого оставались клочья ее собственных волос. Но вообще-то мы были большой дружной семьей, правда-правда. Никто мне не верит, но так и было.

* * *

В Лексингтон есть гостиницы с обоями, обслуживанием и настоящей золотой каймой на тарелках. Там есть номера, где на подушки кладут маленькие шоколадки. Там останавливаются бизнесмены, приехавшие в город на денек. Белое пузо, брючки-рейтузы. Стоит такому задрать рубашку, и я сразу чую панику — будто его жена вот-вот выскочит из телевизора.

Конфеты на подушках оставляют горничные. Моя сумочка была вся набита зелеными фантиками. Я выходила из номера, комкая бумажки, а мужик внутри изнывал, предвкушая встречу с женой.

Я занималась этим исключительно лежа на спине. Ничего другого толком не умела, но со мной мужикам было хорошо, просто лучше не бывает. *О, детка, дай потрогаю. Ты так меня заводишь. Только не бросай эту кость другим шавкам.*

В запасе у меня была сотня этих глупых прибауток. Я заводила свою старую песенку, и парни жадно ее лакали.

* * *

«Как тебе это, Булочка?» — «Зашибись как хорошо!» (Полторы минуты — и готово дело: новый рекорд.)

«Послади, сладенькая». — «Ооо, слишком ты под поцелуй заточен,

чтоб тебя целовать!» (Лучше б я сливную трубу облизала.)

«Что, девочка, я на высоте?» — «О да, на высоте, еще как на высоте, аж дух захватывает от высоты!» (Жаль только, инструмент у тебя маловат.)

* * *

На выходе из «Вальдорф-Астории» я совала деньги охране, коридорным и лифтеру. Они знали всех девочек на панели. Лифтер ко мне неровно дышал. Однажды я отсосала ему в гостиничном холодильнике. Когда мы уходили, он стащил с полки стейк. Сунул его под мундир. Сказал, что ему по вкусу недожаренное мясо.

Такой душка. Подмигивал мне, даже когда в лифте было полно народу.

* * *

У меня был бзик насчет чистоты. Перед каждым разом я старалась принимать душ. Когда мне удавалось затащить клиента в душ вместе со мной, я намыливалась его с головы до пят и смотрела, как поднимается тесто. Так и говорила им: «Поделишься хлебушком, родной?» А когда тащила его в свою печурку, тот едва не лопался.

Стараешься, чтобы он кончил минут за пятнадцать, максимум. Но не раньше двух-трех. Парням не нравится, когда слишком быстро. Они жалеют потраченных денег. Чувствуют, что замарались да опаскудились. У меня ни разу не было мужика, который бы не кончил. Ну, не то чтобы вообще ни разу, но если дело не идет, стоит только поскрести ему спину и поговорить с ним этак душевно, без ругани, и порой он заплачет: «Я просто хочу поговорить, милая, больше ничего, только поговорить с тобой». А порой изменится в лице и как заорет: «Долбаная шлюха, я так и знал, что с тобой у меня не выйдет, черная ты сучка!»

И я сижу, надувши губки, будто он мне сердце разбил, а потом придвигаюсь поближе и шепчу, что, между прочим, мой папик из «Пантер», на него работает целая толпа здоровенных ниггеров, такие разговоры им совсем не по нутру, ясно? Быстроенько натягивают штаны и бросаются наутек — топ-топ, типпети-топ, одни пятки сверкают.

* * *

Шустрик с удовольствием лез в драку. У него в носке был спрятан кастет. На случай, если сбывают с ног, вот тогда он его и доставал. Но голова у него работала. Шустрик подмазывал копов, подмазывал синдикат, а все остальное оставлял себе.

Умный папик высматривает девочек, которые работают поодиночке. Я работала на саму себя целых две недели. Огайо. «О, хей-о!»

Я сделалась современной женщиной. Приняла Пиллюлю. Мне не была нужна новая Джаззлин. Посыпала ей открытки с почтового отделения на Сорок третьей улице. Парень за прилавком поначалу не признал меня. Вся очередь разволнилась, когда я протопала прямо к окошку, но я подошла, виляя задом. Парень покраснел и отсыпал мне бесплатных марок.

Своего-то клиента я везде узнаю.

* * *

Моего нового папика знали все. Кличка у него была — Пазл. У него был шикарный костюм, который он называл «мой боевой прикид». Из кармана торчал платочек. Главный секрет Пазла состоял в том, что внутри платочка были спрятаны лезвия для опасной бритвы. Он вмиг мог их вытащить и раскрошить кому-нибудь лицо, превратить в головоломку, да такую, что фиг соберешь. Ходил Пазл слегка подволакивая ногу. У всего красивого имеется свой маленький дефект. Копы терпеть его не могли. Прослышиав, что за мной присматривает Пазл, они стали чаще меня арестовывать.

Их мучила сама мысль о том, что ниггер может нажить большие бабки, особенно бабки из белых карманов. А на Сорок девятой улице клиенты сплошь были белыми. Это ж был чок-таун.[\[114\]](#)

Бабла у Пазла было побольше, чем у самого Господа Бога. Он купил мне на шею красивую цепочку и нитку нефритовых бус. Заплатил из денег, отложенных на судебный залог. Даже тачка у него была чуть покруче «кадиллака». Мой папик ездил на «роллс-ройсе». Серебристом. Нистолечко не вру. Старая модель, но каталась. Деревянный руль. Мы, бывало, залезем в тачку и гоняем взад-вперед по Парк-авеню. Вот когда живешь на полную катушку. У «Колонии»[\[115\]](#) опустили стекло и говорим: «Эй, дамочки, компания не нужна?» Как те перепугались! А мы укатили с криком: «Да ну их, поехали купим себе по сэндвичу с огурцом!»

Мы двинули прямо на Таймс-сквер, громко вопя: «Срежь с них

корочку, детка!»

* * *

Пазл на руках меня носил. На перекрестке Первой и Пятьдесят Восьмой у него была квартирка. Там все блестело, даже ковры. Повсюду вазы. И зеркала в золотых рамках. Клиенты балдели, когда я приводила их туда. Войдет и ахнет: Ого! Видно, держали меня за деловую женщину.

И еще, они все время искали кровать. А вся штука в том, что кровать выезжала из стены, стоило кнопку на пульте надавить.

Шикарная была хата.

* * *

Парней, которые расплачивались сотенными бумажками, мы прозвали Шампанским. Когда на нашу улицу выворачивала крутая тачка, Сьюзи так и говорила: «Вон едет мое Шампанское!»

Как-то ночью был у меня один из тех футболистов, что играли за «Нью-Йорк Джайентс», лайнбекер с такой мощной шеей, что парня прозвали Секвойей. У него был бумажник, каких я еще не видела, раздутый от стодолларовых бумажек. Я думаю: вот и десяток Шампанских по мою душу, пузыри-пузырики, сейчас я заработаю целую штуку.

Выяснилось, он хотел развлечься задарма, так что я слезла на пол, согнулась, сунула голову между ног, крикнула: «ПОДАЧА!» — и швырнула ему меню обслуживания в номерах.

Бывает, такое отмочу, самой смешно.

* * *

В ту пору я звала себя Мисс Нега, просто потому что была счастлива. Мужчины были телами, которые двигались на мне. Цветные пятна, да и только. Ни фига для меня не значили. Порой я чувствовала себя иголкой в музыкальном автомате: ложусь на дорожку и какое-то время еду по ней. Сдули пыль, поехали дальше.

* * *

Про копов из убойного отдела я знаю одно: они носят отличные костюмы. И ботинки у них всегда начищены до блеска. У одного прямо под столом стоял трехногий автомат для чистки обуви. Щетки, тряпочки, черная вакса и все прочее. Да и сам парень был очень даже ничего. Не надеялся развлечься задарма. Единственное, чего он хотел, это выяснить, кто уложил Пазла. Я знала, но ничего ему не сказала. Когда кто-то ловит пулю, надо держать рот на замке. Таков закон улицы: тр-р-р — и губы застегиваются на молнию, тр-р-р-р — ни словечка не скажу, тр-р-р-р, тр-р-р-р.

* * *

Пазл заработал сразу три пули. Я видела, как он лежал там, на мокрой земле. Одна угодила прямо в лоб, все мозги вышибла. А когда санитары расстегнули ему рубашку, на груди у Пазла мы увидели лишнюю пару красных глаз.

Кровавые брызги на асфальте, на столбе, на почтовом ящике. Официант вышел из пиццерии, чтобы почистить фургон, включая и зеркало с пассажирской стороны. Оттирал его передником, так качая головой и бормоча ругательства, будто кто кальсоны ему прожег. Будто Пазл нарочно расплескал свои мозги на его зеркало! Будто он специально это устроил.

Потом официант ушел обратно в свою пиццерию, а когда мы в следующий раз забежали туда подкрепиться, он давай наезжать: «Эй, шлюхам тут не место, пошли отсюда, тащите свои продажные задницы В-О-Н, особенно ты, Н-И-Г-Г-Е-Р». Мы говорим: «Ого, да он умеет читать по буквам!» Но, богом клянусь, лично мне хотелось запихнуть яйца этого итальянки ему же в глотку, сжать посильнее и назвать «адамовым яблоком».

Сьюзи заявила, что терпеть не может расистов, особенно расистов-макаронников. Мы давай ржать, дотопали до Второй авеню и купили себе по куску пиццы в «Рэйз Фэймоус». До того вкуснющая, даже масло промокать не пришлось. С тех пор ноги нашей не было в той забегаловке на Лекс.

Не видать расистским свиньям наших денежек.

* * *

Денег у Пазла было навалом, но скончали его на участке для нищих. Чего-чего, а похорон я в своей жизни навидалась. Думаю, тут я ничем не отличаюсь от всех прочих. Даже не знаю, кто заграбастал Пазловы деньги, но я бы сказала, виноват синдикат.

Только одна вещь умеет двигаться со скоростью света — наличные.

* * *

А спустя пару месяцев я встретила на улице Энди Уорхола. У него были большие глазищи, голубые и сумасшедшие, будто он весь день соску сосал. Я говорю: «Эй, Энди, дружочек, хочешь развлечься?» А он мне: «Я не Энди Уорхол, я просто парень в маске Уорхола, ха-ха». Я ушипнула его за задницу. Он аж подскочил и говорит: «Уууу!» Чурался меня немножко, но мы с ним проболтали минут десять, не меньше.

А я надеялась, он запихнет меня в фильм. Так и подпрыгивала на своих каблучках. Я б его расцеловала, лишь бы только он устроил меня сниматься в кино. Но в итоге оказалось, он просто ищет себе мальчика. Ничего ему больше не надо, только парнишку помоложе, чтобы забрать домой и устроить там кутерьму. Я ему говорю, что могла бы взять с собой большой резиновый член на ремешке, розовый, а он: «Ой, перестань, ты меня заведешь».

Всю ночь я ходила потом по панели, повторяя: «Я завожу Энди Уорхола!»

* * *

Был у меня один клиент, которого я тоже вроде как узнала. Еще довольно молодой, но уже с лысиной. Эта его лысина была совсем белая, точно ледяной каток на макушке. У него был снят номер в «Вальдорф-Астории». Первым делом он плотно задернул шторы, потом упал на кровать и говорит мне: «Давай-ка по-быстрому».

А я ему и говорю:

— Ой, а мы с тобой случайно не знакомы?

Он поглядел на меня этак пристально и говорит:

— Нет.

— А ты уверен? — говорю я, само остроумие. — Кого-то ты мне напоминаешь.

— Нет! — говорит он, уже сердито.

— Эй, прими успокоительное, милый, — говорю я. — Простая проверка.

Я вытянула ремень, расстегнула ему брюки, а он давай стонать: *О да, о да-да-да...* Ну, как все они, в общем. Закрыл глаза и стонет, и тогда уж не знаю как, только до меня наконец доперло. Это ж тот мужик, который расписывает прогноз погоды на Си-би-эс! Только без парика! Видать, думал, никто не узнает. Ну, кончил он, я оделась, помахала на прощанье, а у двери развернулась и говорю:

— Слыши, дядя, на востоке облачно, скорость ветра достигает десяти узлов, возможны осадки в виде снега.

Ну не могу я без выпендрежа.

* * *

Мой любимый анекдот заканчивался фразой: *Но, ваша честь, я был вооружен только крыльышком жареного цыпленка.*

* * *

Хиппи портили весь бизнес, они верили в свободную любовь. Я старалась держаться подальше. К тому же они воняли.

Лучшими моими клиентами всегда были военные. Возвращались домой с одной только мыслью — оттрахать кого-нибудь. Им едва удалось унести ноги от своры недоделанных узкоглазых ублюдков, и им хотелось поскорее об этом забыть. Ничто на свете не поможет забыть лучше, чем первоклассный трах с Мисс Негой.

Я соорудила маленький значок с надписью: *Мисс Нега рекомендует: займись войной, а не любовью.* Вот только никто не подумал, что это смешно, даже мальчишки, которые возвращались из Вьетнама, так что значок быстренько очутился в мусорном ящике на углу Второй авеню.

Они пахли, как маленькие ходячие кладбища, эти парни. Но они нуждались в любви. Я была для них все равно что социальный работник, чес-слово. Исполняла свой долг ради Америки. Иногда я даже мурлыкала

им ту детскую песенку, пока они оглаживали меня по спине. *Хлоп, и нет куницы!* То-то было радости.

* * *

Коп из отдела нравов по имени Боб имел здоровый стояк на черных девушки. Должно быть, за свою жизнь я чаще видала его значок, чем съела горячих завтраков. Он арестовывал меня, даже когда я не работала. Сижу один раз в кафе, а он сует мне под нос свой жетон со словами: «Пройдем со мной, Самбетта».

Воображал, видно, что классно пошутил. Я говорю: «Поцелуй меня в мою черную задницу. Боб». А он все равно потащил в кутузку. Выполнял обычную норму, а за работу сверх того ему приплачивали. Я мечтала порубить Боба на кусочки своей пилкой для ногтей.

* * *

Однажды я целую неделю провела с одним мужиком в номере «Шери-Нидерланд». С потолка там свисал подсвечник в виде веток с гроздьями винограда, а штукатурка вокруг сплошь была украшена скрипками и всем таким прочим. Мужик был маленьким, толстым, лысым и смуглым. Он сразу поставил пластинку. Похоже на музыку, которую факиры играют своим змеям. И говорит: «Ну разве не божественная комедия?» А я ему отвечаю: «Какие вы странные вещи говорите». Он только заулыбался. И акцент у него был такой приятный.

Нам таскали кокаин в кристаллах, черную икру и ведерки с шампанским. Мы договаривались на оралку, но мужик только попросил меня читать ему книжки. Персидскую поэзию. Я решила, что уже угодила в рай и плаваю там на облаке. Он много чего рассказывал мне про Сирию древнюю да Персию. Я лежала на кровати вся раздетая и читала при свете свечей. Он даже не хотел меня потрогать. Сидел себе в кресле и смотрел, как я читаю. Когда я уходила, он вручил мне восемьсот долларов и книжку Руми. В жизни не читала ничего подобного. Даже захотелось иметь дерево, на котором бы росли фиги.

Это было еще до того, как я очутилась в Хантс-Пойнт. Задолго до того, как меня занесло под опоры Диган. За целую вечность до того, как Джаз и Корри отправились навстречу гибели в том чертовом фургоне.

Но если б мне позволили пережить заново одну неделю своей жизни, одну-единственную, я бы выбрала именно ее — ту неделю в «Шериндерланд». Я просто лежала на кровати голышом, читала книжки, а тот мужик вел себя страшно мило, он все повторял, какая я красавица, дескать, в Сирии и Персии все с ума посходили бы. Не бывала я ни в Сирии, ни в Персии, ни в Иране, или как он там называется. Когда-нибудь обязательно съезжу, вот только захвачу с собой дочек Джаззлин и выйду замуж за нефтяного шейха.

* * *

Одна незадача: в голову лезут мысли о петле.

* * *

Тут любой повод сгодится. Перед тем как отправить в тюрьму, тебя проверяют на сифилис. Чего нет, того нет. А я уж думала: может, хоть теперь они отыщут у меня эту болячку? А что, отличный повод.

* * *

Терпеть не могу швабры. И метелки ненавижу. Из тюрьмы хитростью не выберешься, тут приходится мыть окна, скоблить полы, тереть губками плитку в душевых. В блоке С-40 я единственная проститутка. Остальных отправили с глаз долой подальше, на границу штата. Одно знаю наверняка: красивых закатов в те окна не увидишь.

Все бучи сидят в С-50. Я, значит, угодила к жучкам. Тут у нас всех лесби называют «жучками». Вот уж не знаю почему, слова часто бывают с причудью. В столовке все жучки только и хотят, что расчесывать мне волосы. Я в эти игры не играю. В жизни не играла. Не желаю носить шнурованные ботинки. Стараюсь, чтобы тюремная форма на мне не висела, но ленточки заплétatать тоже не желаю. Даже если собралась помирать, можно помереть и красулей.

* * *

Я не набиваю брюхо, как некоторые. По крайней мере, блюду фигуру. И горжусь этим.

Я, может, и в жопе, но телом своим горжусь по-прежнему.

По-любому, такую жратву и собакам не кинут. Собаки бы удавились на своих поводках, только прочитав меню. Завыли бы и закололись вилками.

* * *

У меня остался брелок с фотографиями моих крошек. Люблю цеплять его на палец, пусть крутится. А еще у меня есть кусок алюминиевой фольги. Не то чтобы зеркало, но в него посмотришь и допрешь, что до сих пор красотка. Лучше, чем с мышью-то шушукаться. Моя соседка по камере обстругала боковину кровати, только чтоб ее мышь кайфовала в деревянных стружках. Однажды я читала книжку про парня, у которого была мышь. Его звали Стейнбек — парня, а не мышь. Я не тупая. Я не ношу дурацкий колпак, который двоечникам в школе надевают. Шлюхе без мозгов никак нельзя. Тут у нас устраивали проверку интеллекта, так у меня вышло 124 пункта. Не верите, сами спросите тюремного мозгоправа.

Раз в неделю мимо скрипит библиотечная тележка. Только у них нет тех книжек, которые мне по вкусу. Я спросила, есть ли у них Руми, а они в ответ: «Чё за хрень?»

В спортзале я играю в пинг-понг. Бучи поют хором: «Ооо, гляньте, какая подача!»

* * *

По большей части мы — я и Джаз, то бишь, — никогда никого не грабили. Оно того не стоило. Но тот говнюк, он притащил нас из Бронкса аж в Адскую Кухню^[116] и наобещал золотые горы. Вышло по-другому, так что все, что мы сделали, — это избавили его от тяжкой ноши, вот правильное слово, избавили. Просто облегчили ему карманы, и только. Я все взяла на себя. Джаззлин хотела вернуться к своим деткам. К тому же каково ей будет в тюрьме, без героина-то? Она ведь на коня крепко присела. Мне хотелось, чтоб она с него слезла, но переломаться бы не вышло. Не в камере. Я-то что, я ни в одном глазу была. Мне все напочем, я уж полгода как держалась трезвой. Закидывалась кокаином время от времени, иногда толкала коня, которого брала у Энджи, но в общем ходила сухая.

В обезьяннике Джаз чуть глаза себе не выплакала. Детектив перевалился ко мне через стол и спрашивает: «Ну что, Тилли, хочешь, чтоб у твоей дочки все вышло тип-топ?» А я типа: «Еще как, сладкий». А он мне: «Вот и ладно, пиши признание, и я ее отпущу. Дадут полгода, не больше, обещаю». Я тут же села и во всем созналась. То было старое обвинение, кража второй степени. Джаз выудила у того парня пару сотен и сразу пустила их по вене.

Вот так бывает.

Все летит к черту, прямо сквозь ветровое стекло.

* * *

Мне сказали, Корриган все кости себе переломал, когда наткнулся грудью на руль. И я подумала: что ж, по крайней мере, на небесах той латиноске будет проще ухватить его за сердце, только руку протянуть.

* * *

Я растяпа. Другого слова не найти. Все взяла на себя, а Джаззлин заплатила по счету за обеих. Теперь я мать, у которой нет дочери. Надеюсь, в ту последнюю минуту она улыбалась.

Я растяпа каких свет не видывал.

* * *

Даже тараканам не по нутру порядки в «Райкерс».^[117] Тараканы и те нашу тюрьму не переваривают. Тараканы — они похожи на судей, окружных прокуроров и прочее деръмо. Они выползают из щелей в стенах в своих черных сюртучках и говорят: «Мисс Хендерсон, настоящим я приговариваю вас к тюремному заключению сроком на восемь месяцев».

Все, кто видал тараканов, знают, как те цокочут. Точно так. Они цокочут по полу.

* * *

Лучше, чем душевые, места не найти. На этих трубах слона можно подвесить.

* * *

Иногда я так долго бьюсь головой о стену, что вообще перестаю что-то чувствовать. Так сильно бьюсь иногда, что в итоге вырубаюсь. Просыпаюсь, башка болит, и опять по новой. Дерет только под душем, когда все бучи пляются.

Вчера у нас порезали белую девчонку. Заточенным обломком подноса из столовки. Сама напросилась. Белее белого. На воле меня это не парило, будь ты белая, черная, коричневая, желтая, да хоть розовая. Но тюрьма, наверное, просто обратная сторона жизни на воле: слишком много ниггеров и слишком мало белых, потому что те всегда откупаются.

На такой долгий срок меня еще не сажали. Делать нечего, вот и лезет в голову всякое. В основном про то, какая я все-таки растила. И еще про то, куда бы веревку прицепить.

* * *

Когда мне рассказали, что случилось с моей Джаззлин, я лишь стояла и билась головой о решетку, будто птичка в клетке. Меня выпустили на похороны, а потом опять посадили под замок. Деток туда не привели. Я всех спрашивала, где теперь девочки, и мне говорили: *Не беспокойся о детях, за ними присматривают*.

* * *

Мне все снится тот номер в «Шери-Нидерланд». Чем меня так зацепил тот мужик, ума не приложу. Он был мне даже не клиент, а любовник, и лысина не помеха.

На Ближнем Востоке мужики знали толк в уличных женщинах. Они их баловали, покупали им подарки, заворачивали их в простыни и повсюду с ними гуляли. Тот мужик попросил меня встать у окна, чтобы получился силуэт. Специально, чтобы свет падал. Я слышала, как он ахает. А я всего только и делала, что стояла. В жизни мне не бывало так хорошо: он просто

смотрел на меня, весь в восторге. Настоящие мужчины так и делают — они ценят то, что видят. Причем он не играл с собой, ничего такого, просто сидел в кресле и смотрел на меня, едва дыша. Сказал, что я свожу его с ума, что он все бы отдал, только бы остаться там навечно. Я, конечно, ляпнула в ответ какую-то шуточку, но на самом деле думала про то же самое. Так маялась потом, что сморозила гадость. Сквозь землю хотела провалиться.

Он напрягся на секунду-другую, но потом вздохнул. Сказал мне что-то такое про пустыню в Сирии и про то, что лимонные деревья похожи на яркие цветные вспышки.

И совершенно внезапно — вот прямо там, у окна с видом на Центральный парк, — я так захотела увидеть свою дочку, как еще ничего в жизни не хотела. Тогда Джаззлин было лет восемь или девять. Мне просто позарез захотелось обнять ее. Шлюхи тоже любят, любви в них не меньше, чем во всех прочих, никак не меньше.

Парк потемнел. На улице зажглись фонари, хотя неразбитых оставалось всего ничего. Они осветили деревья.

— Прочитай мне стихотворение о базаре, — попросил мой мужик.

В том стихе один человек покупает себе на базаре ковер, прямо идеальный ковер, ни ниточки мимо, и тогда на него обрушаются всякие напасти и прочее дерымо. Мне пришлось включить свет, чтобы читать, и это испортило всю атмосферу, я сразу поняла. И он говорит:

— Тогда просто расскажи мне что-нибудь.

А мне ничего в голову не лезло, кроме одной истории, которую я слышала от клиента за пару недель до того. И вот стою я там с занавесками в руках и рассказываю:

— Одна пожилая пара бродила как-то у отеля «Плаза». Дело было вечером. Они шли себе, держась за руки. И уже собирались войти в парк, когда коп свистнул в свой свисток и остановил их. Коп говорит: «Туда сейчас нельзя, скоро совсем стемнеет, гулять по парку в эти часы слишком опасно, вас там ограбят». А старики ему в ответ: «Но нам очень нужно туда попасть, побродить по парку, сегодня наша годовщина, мы познакомились здесь ровно сорок лет назад». Коп прямо удивился: «Да вы спятили. По Центральному парку уж давно никто не гуляет». Но пожилая парочка все равно направилась в парк. Им страсть хотелось походить теми самыми дорожками, что и сорок лет назад, обойти вокруг пруда. Чтобы вспомнить. В общем, они и пошли себе прямо в темноту, рука об руку. И знаешь, что дальше? Тот коп, он тихонько пошел за ними, в двадцати шагах, прямо вокруг пруда и по всем дорожкам, просто убедиться, что этих двоих никто не напугает, разве не чудо?

Такая вот история. Стою себе не шевелясь. Занавески в руках аж намокли. Я почти слышала, как улыбается мой ближневосточный мужик.

— Расскажи еще раз, — говорит он.

Я встала чуть поближе к окну, где свет падал как по заказу. И все рассказала опять, только с новыми подробностями, про звук их шагов и все такое.

* * *

Эту историю я даже Джаззлин не рассказывала. Собиралась, да так и не собралась. Все выжидала верный момент. Когда я уходила, мужик вручил мне книжку стихов Руми. Я сунула ее в сумочку, решила, не бог весть что за ценность, но со временем книжка наползла на меня, как свет от тех фонарей.

Он очень мне нравился, мой маленький, лысый, коричневый мужичок. Я ходила в «Шери-Нидерланд» поглядеть, живет ли он там, но управляющий отеля выставил меня пинками. У него в руках была папка для бумаг. Он тыкал ею в меня, словно корову погонял. И все повторял: «Вон, вон, вон!»

Я только и делала, что читала Руми. Мне нравились его стихи, потому что в них много деталей. У него хорошо подобраны слова. Я начала плести своим клиентам всякие небылицы. Говорила, что обожаю эти стихи из-за отца, который изучал персидскую поэзию. А порой говорила, это был мой муж.

Не было у меня ни отца, ни мужа. В любом случае, не припомню, чтобы были. Я не скую, не жалуюсь. Факт есть факт.

* * *

Я растяпа, которая осталась без дочери.

* * *

Джаззлин однажды спросила у меня про папу. Своего настоящего папу — не про того папу, который «папик». Ей и было-то восемь лет. Мы с ней по телефону говорили. Междугородный звонок из Нью-Йорка в Кливленд.

Мне это ничего не стоило, у нас все девушки знали способ получить обратно свою монетку. Научили солдатики, которые возвращались тогда из Вьетнама с овсянкой в черепушках.

Мне очень нравился ряд телефонных будок на Сорок четвертой улице. Когда мне делалось скучно, я звонила в ближайший автомат и бежала снимать трубку. Брала ее и разговаривала сама с собой. Развлекалась как могла. *Привет, Тилли, как ты там поживаешь, детка? Неплохо, Тилли, а ты как? Шевелюсь помаленьку, Тилли, а как там у тебя с погодой, девочка? Дождик идет, Тилли-о. Что за черт, здесь тоже льет как из ведра, Тилли, вот это совпадение!*

* * *

Я как раз стояла у телефона рядом с аптекой на углу Пятидесятой и Лекс, когда Джаззлин меня и спрашивает: «А кто мой настоящий папочка?» Я ей говорю, что пapa был отличным парнем, но однажды вышел за сигаретами и назад не вернулся. На эти вопросы так принято отвечать. Все так отвечают, уж и не знаю отчего, — видать, все мудилы, которые не желают видеть собственных детей, заядлые курильщики.

Больше она про него не спрашивала. Ни разочка. Мне самой, бывало, приходило на ум: что-то он долго ходит за своими сигаретами, кем бы этот козел ни был. Может, так и болтается у прилавка, мой Пабло, ждет сдачу.

* * *

Я вернулась в Кливленд, чтобы забрать Джаззлин. Шестьдесят четвертый или шестьдесят пятый год, какой-то из этих, и ей было то ли восемь, то ли девять лет. Она ждала меня на крыльце. На ней была маленькая курточка с капюшоном, и она сидела на ступеньках с надутыми губками, а потом подняла голову и увидела меня. Клянусь, это было до жути похоже на фейерверк. «Тилли!» — крикнула моя дочь. Она никогда не звала меня «мамой». Спрыгнула с крыльца. В жизни никто не обнимал меня крепче, чем она в тот день. Никто. Чуть не задушила. Уселись я рядышком с ней и разрыдалась. Говорю: «Погоди, вот увидишь Нью-Йорк, Джаз, тогда и восторгайся».

Моя собственная мама стояла в кухне и сверлила меня свирепым змеиным взглядом. Я протянула ей конверт, а в нем две тысячи долларов.

Мать тут же растаяла: «Ох, милая, я так и знала, что ты выбьешься в люди, прямо сердцем чувствовала!»

Мы собирались попутешествовать по стране, я и Джаззлин, но в итоге сели на тощую собаку и прикатили в Нью-Йорк прямо из Кливленда. В автобусе дочка только и делала, что спала на моем плече с пальцем во рту. Где это видано, самой девять лет, а она палец сосет. Потом, уже в Бронксе, я услыхала, что это у нее такой прикол, в числе прочих: нравилось ей сосать собственный палец, пока она развлекается с клиентом. Меня чуть наизнанку не вывернуло. Ну растяпа я, и все тут. Только это имеет значение.

Тилли Раствора Хендерсон. Вылитая я, только без бантиков.

* * *

Не полезу я в петлю, пока не погляжу на деток моей детки. Я и смотрительнице сегодня сказала, что я, дескать, бабушка, а она молчит. Я ей говорю: «Хочу повидать внучек, ну почему никто не приведет ко мне моих крошек?» А она и глазом не моргнула. Старею, наверное. Тридцать девятый день рождения придется справить прямо тут, за решетками. На целую неделю только и дел, что свечки задувать.

Я уж и так ее просила, и сяк, все канючила и канючила. Она сказала, с детьми все в порядке, за ними приглядывают, они на попечении у социальных служб.

* * *

В Бронксе я оказалась с подачи папика. Он называл себя Эл-Эй Рекс. [118] Терпеть не мог ниггеров, даром что сам ниггер. Он сказал, Лексингтон только для белых, и точка. Сказал, что я состарилась. Сказал, что толку ноль. Сказал, что слишком много нянчусь с Джаззлин. Он сказал мне, что я похожа на кусок сыра. Он говорит: «Чтоб ноги твоей больше не было в Лекс, иначе я тебе руки переломаю, слышишь, Тилли?»

* * *

В общем, так он и сделал — переломал мне руки. И пальцы заодно.

Поймал меня на углу Третьей и Сорок восьмой, и мои бедные пальчики защелкали, что твои куриные кости. Он сказал, Бронкс — отличное место, чтоб уйти на покой. Ухмыльнулся и говорит: «Там почти что Флорида, только без пляжей».

Пришлось возвращаться домой к Джаззлин с обеими руками в гипсе. Даже не помню, сколько я их лечила.

У Эл-Эя Рекса был бриллиант в зубе, вот не вру. Он немного смахивал на Косби,^[119] того парня из телика, только без кудрявых фанковых бачков, которые Косби себе отрастил. Эл-Эй даже оплатил мои больничные счета. А потом не выставил на панель. Я себе думаю: *Что это за хрень такая творится?* Порой мир просто невозможно понять.

В общем, от меня все отстали. Я нашла себе жилье. Про панель и думать забыла. Хорошие такие пошли годы. Найду, бывало, на дне сумочки забытую монетку, тут тебе и счастье. Все шло прямо как по маслу. Такое чувство, будто опять стою за занавеской у окна. Отдала Джаззлин в школу. Сама устроилась в супермаркет клеить ценники на консервы. С работы домой, из дома на работу, и так по кругу. Панель обходила стороной. Не затащишь меня туда ничем. И вот однажды, ни с того ни с сего, я даже не помню, по какому именно слушаю, я дошла до опор шоссе Диган, задрала палец в воздух и стала ждать клиента. И тут же кто-то — хлоп меня по шее. А это был папик с погонялом Скворечник, он вечно ходил в шляпе «отвали придурак», никогда ее не снимал, чтобы люди не пялились на стеклянный глаз. И говорит: «Хей, подруга, как делишки?»

* * *

Джаззлин понадобились учебники. Я почти уверена, что так и было.

* * *

На углу Сорок девятой и Лекс я не таскала с собой зонтик. Он мне пригодился только в Бронксе, я специально стала с ним ходить. На самом деле, чтобы прятать лицо. Этой тайной я ни с кем не буду делиться. Тело у меня всегда было хорошее. Хоть я и пихала в него всякое дермо, оно осталось гладким, с плавными формами, аппетитное донельзя. Я никогда не болела ничем таким, от чего не смогла бы избавиться. И только перебравшись в Бронкс, завела себе зонтик. Клиент не видел лица, зато

видел мою крепкую попку. Я еще могла ею покачать. В моей попке еще хватало электричества, чтоб с полтычка осветить весь Нью-Йорк.

В Бронксе я принаоровилась быстренько залезать в машину, и тогда клиент уже не мог отвертеться. Попробуй-ка выпихнуть девушку из тачки, не заплатив; дождь из лужи выхлебать и то проще.

В Бронксе всегда работали девицы постарше. Все, не считая Джаззлин. Я не отпускала ее далеко, держала рядом, за компанию. Хотя время от времени она смыпалась от меня в центр. На нашей панели всегда шла нарасхват. Все остальные просили двадцатку, а Джаззлин могла задрать цену и до сорока, и до пятидесяти. Ей доставались молодые парни. И старики с толстыми кошельками, те жирные типы, что строят из себя красавцев. У всех глаза блестели, пока они с моей Джаззлин. У нее были прямые волосы и хорошие губы, а ноги росли прямо от шеи. Кое-кто из парней звал ее Раф, такая была красавица. Если б под шоссе Диган стояли деревья, она могла бы слизывать листья с самых высоких веток, как жирафы делают.

В ее желтой бумажке так и сказано, в списке кличек. Раф.^[120] Однажды она была с тем британцем, который не умолкая изображал из себя пикирующий бомбардировщик. Сам жарит что есть мочи и при этом тараторит всякое дерньмо, типа: «Уже подлетаю, спасательная миссия, Фландерс один-ноль-один, Фландерс один-ноль-один! Иду на снижение!» А когда кончил, говорит: «Вот видишь, я тебя спас». И Джаззлин ему: «Да неужто? Ты меня спас?» Потому что мужикам нравится думать, что они могут тебя спасти. Будто ты лежишь больная, а у них при себе редкое лекарство, которым они могут поделиться. Забирайся, детка, разве ты не хочешь, чтобы кто-то постарался тебя понять? Я тебя понимаю. Я единственный на свете знаю, каково тебе приходится. У меня хер длиной в Третье авеню, а сердце размером побольше всего Бронкса. Они даже трахают тебя, словно делают бог весть какое одолжение. Каждому мужчине позарез охота спасти шлюху, вот вам прописная истина. Если меня спросите, это само по себе болезнь. А потом глядишь — он отстрелялся, застегнул штаны и пошел, посвистывая. Уже забыл про тебя. Говорю же, у них у всех голова набекрень.

Некоторые из этих засранцев думают, что у тебя золотое сердце. Ни у кого нет золотого сердца. У меня точно нет, уж поверьте. Даже у Корри его не было. Даже Корри запал на ту латинскую кралю с идиотской татушкой на ноге.

* * *

Когда Джаззлин было четырнадцать, она явилась домой с первой красной точкой на сгибе локтя. Я ее так отшлепала, что чернота едва не сошла, и тогда она вернулась с отметиной между пальцами ноги. Она сигареты-то не выкурила еще, и на тебе, подсела на коня. Тогда она болталась по улицам в компании Бессмертных. Те сильно враждовали с Братством Гетто.

Я гнала ее на панель, чтобы удержать подальше от этой дури. Голова садовая.

* * *

У Большого Билла Брунзи^[121] есть песня, слушать которую я б не стала, хоть она мне и по душе. *Я на самом дне, детка. Говорю тебе, я гляжу снизу вверх на самое дно.*

* * *

Когда ей исполнилось пятнадцать, я уже смотрела, как она гоняет коня по вене. Сидела на тротуаре и думала: вот она, моя девочка. А потом говорила себе: погоди-ка одну ебицкую секунду, это, что ли, моя девочка? Это и впрямь моя девочка?

И потом думала: *Да, так и есть, это моя девочка, моя плоть и кровь, это она, без вопросов.*

Это все я натворила.

* * *

Бывало, я сама затягивала резиновый шнур у нее на руке, чтобы выскоцила вена. Старалась, чтобы все было как надо. Помогала обезопаситься. Только этого мне и хотелось.

* * *

Вот дом, который построил Конь. Вот дом, который построил Конь.

* * *

Как-то в пятницу Джаз явилась домой и говорит: «Эй, Тилл, как тебе понравится стать бабушкой?» А я говорю: «А что, бабуля Ти, это ж я и есть». И она давай всхлипывать, а потом зарыдала на моем плече: я бы даже обрадовалась, если б это не взаправду.

Я сразу рванула в «Фудлэнд»,^[122] но у них оставались только дешевенькие «Эйтентеманис».

Она сидела, ела торт, а я смотрела на нее и думала: вот она, моя детка, уже носит своего ребеночка. Я ни кусочка не проглотила, пока Джаз не отправилась спать, а уж потом в один присест сожрала все, что оставалось. Весь пол устряпала крошками.

* * *

Когда я стала бабушкой по второму разу, Энджи закатила в мою честь целую вечеринку. Она уболтала Корри одолжить в приюте кресло-каталку и возила меня взад-вперед под опорами Диган. Мы нанюхались кокaina и смеялись до изнеможения.

* * *

Ох, что же мне было делать? Надо было проглотить пару наручников, пока Джаззлин еще сидела в моем животе. Вот как надо было поступить. Дать ей фору, чтоб заранее знала, какая жизнь ее ждет. Сказать: вот так, ты уже арестована, ты совсем как твоя мать и ее мать до нее, длинная цепочка матерей, которая тянется до самой Евы, — француженки, африканки, голландки и бог знает кто там еще, прежде меня.

Боже, надо было проглотить наручники. Проглотить целиком, не жуя.

* * *

Последние семь лет я протрахалась в грузовиках-рефрижераторах.

Последние семь лет я проторхалась в грузовиках-рефрижераторах. Ага. Последние семь лет я проторхалась в грузовиках-рефрижераторах.

* * *

Тилли Раствора Хендерсон.

* * *

Мне сказали, кто-то пришел меня повидать. Я прям загорелась. Привела в порядок волосы, намазала губы помадой, надушилась тюремными духами и все такое прочее. Почистила зубы ниткой, выщипала брови и даже убедилась, что мои тюремные тряпки нигде не топорщатся. Я думала: на всем свете только два человека могут прийти повидать меня. Я вприпрыжку спускалась по тюремным ступеням, будто лезла по пожарной лестнице. Я уже чувствовала запах неба. Подождите, мои крошки, к вам идет Мамочка вашей Мамочки.

Дошла до Сторожки. Так тут называется комната для свиданий. И смотрю во все глаза, отыскиваю своих деточек. Там полно кресел и пластиковых стекол, вверху целое облако сигаретного дыма. Движешься словно в ароматном тумане. Я встаю на цыпочки и гляжу, гляжу по сторонам. Все уже рассаживаются, встречаются со своими родными. Тут тебе и охи, и ахи, и смех, и крики, вся комната звенит от радости, и дети визжат, и только я стою на цыпочках, высматривая своих крошек. И очень скоро ряд кресел пустеет, не считая последнего. Какая-то белая сучка сидит напротив за стеклом. Мне кажется, я откуда-то знаю ее, может, она из комиссии по условно-досрочному, или социальная работница, или еще кто. У нее светлые волосы, зеленые глаза и жемчужно-белая кожа. И она говорит: «О, привет, Тилли!»

Я думаю: «Не надо мне этих *привет*, Тилли, кто ты вообще такая, мать твою *растак*?» Эти белые, они вечно запанибрана. Будто видят тебя насквозь и все понимают. Будто они лучшие твои друзья.

Но я только говорю: «Привет» — и вползаю в кресло. Чувствую, будто из меня вышел весь воздух. Она называет свое имя, и я пожимаю плечами: впервые слышу. «Сигареты есть?» — говорю, и она отвечает: «Нет, я бросила». И я думаю: в ней даже меньше проку, чем пять минут назад, а пять минут назад она вообще была бесполезна.

И я говорю: «Это у тебя мои малыши?»

Она говорит: «Нет, за ними кто-то другой присматривает».

Посидела немного и давай расспрашивать меня про тюремную жизнь, и хорошо ли здесь кормят, и когда я отсюда выйду. Я смотрю на нее во все глаза, будто она десять фунтов дерьма в пакете на пять фунтов. Сидит как на иголках, переживает и все такое. Наконец не выдерживаю и говорю, так медленно, что у нее от удивления глаза распаиваются: «Ты — кто — блядь — такая?» И она отвечает: «Я знакомая Киринга, мы с ним дружим». И я типа: «Что за Киринг, мать его?» И она для меня говорит по буквам: «К-и-р-а-н».

Тут меня осеняет, и я думаю: ну точно, она же была на похоронах Джаззлин с братом Корригана. И что забавно, это ведь он отдал мне брелок. [\[123\]](#)

— Так ты из святош? — спрашиваю я.

— Я что, прости?

— Под Иисусом ходишь?

Она мотает головой.

— Тогда зачем пришла?

— Просто хотела узнать, как тебе живется.

— Чё, правда?

И она говорит:

— Правда, Тилли.

Тут я с нее слезаю. Говорю:

— Ну и ладно, как знаешь.

И она наклоняется к стеклу, говорит, как она рада снова меня увидеть, в последний раз, когда мы встречались, ей так было меня жалко, эти свиньи держали меня в наручниках, у могилы и все такое. Так и говорит — «свиньи», хотя мне-то ясно, что обзываюсь она не привыкла, просто крутую из себя строит, а выходит не очень-то. И я себе думаю: вот и пусть, ну и что, свиньи так свиньи, надо же как-то убить пятнадцать минут, что такое пятнадцать-двадцать минут?

Она красивая. Блондинка. И одета нормально. Я рассказываю ей про девушку в блоке С-40, которая с мышью, и каково в женской тюрьме, если ты не лесби, и какая отвратная тут жратва, и как я скучаю по своим деткам, и как мы подрались у телевизора из-за шоу «Чико»[\[124\]](#) и того, ханыга Скэтмен Крозерс[\[125\]](#) или нет. А она все кивает и мычит: угу, хмм, вот как, ясно, очень интересно, Скэтмен Крозерс, он такой милый. Будто залипла на нем. Но я вижу, она ничего девчонка. Улыбается без натуги, смеется. И умненькая в придачу — я-то смекаю, она умная и богатая. Говорит, что

сама художница, что встречается с братом Корригана, хоть сама и замужем, он ездил в Ирландию высыпать прах Корригана и сразу вернулся, они влюбились друг в друга, она пытается наладить свою жизнь, раньше торчала на наркоте, да и сейчас еще любит выпить. Говорит, что подкинет немного деньжат на мой тюремный счет, так что я, возможно, смогу купить себе сигарет.

— Может, еще что добыть? — спрашивает.

— Моих деток.

— Я постараюсь, — говорит она. — Разузнаю, у кого они. Посмотрим, удастся ли мне привести их встретиться с тобой. Может, еще что, Тилли?

— Джаз, — говорю я.

— Джаз? — недоумевает она.

— Верни мне Джаззлин, приведи и ее.

У нее аж губы побелели.

— Джаззлин погибла, — шепчет, будто я идиотка сраная. У нее в глазах такой ужас, точно я в живот ее лягнула. Глядит на меня, а подбородок весь тряется.

И тут звенит этот чертов звонок. Время визита истекло, и мы с ней расшаркиваемся через стекло, и потом я оборачиваюсь и спрашиваю:

— Чё пришла-то вообще?

Она смотрит в пол, а потом улыбается мне, губы еще дрожат, но она не отвечает, просто качает головой, а в уголках глаз стоят слезы.

Просовывает в прорезь пару книжек, и я типа поражена: ух ты, Руми, ей-то, ёбт, с чего знать?

Говорит, что обязательно придет снова, и я опять прошу ее привести моих деточек. Говорит, что поспрашивает, они у социальных служб или еще где. Потом машет мне рукой: пока-пока; идет прочь, утирая слезы. А я такая: что за нах?

Я поднималась по лестнице и все думала, как она могла узнать про Руми, и только тогда вспомнила. И сразу давай смеяться про себя, но порадовалась, что не сказала ей ни словечка про Кирана и его маленький хоботок. Какой смысл? Он хороший парень, этот Брелок. Брат Корри — и мне брат.

* * *

Нету праведности. Корриган точно это знал. Ни разу не грузил меня каким-то нравоучительным дерьямом. Вот брат у него слегка с придурию.

Это сразу видно. Но придурков вокруг пруд пруди, и он хорошо заплатил мне за тот единственный раз. К тому же я сбила его с толку своим Руми. Денег у него хватало — работал то ли барменом, то ли еще кем. Глядела вниз и думала: вот она, моя черная сиська, в ладони у брата Корригана.

* * *

В жизни не видела Корригана голым, но слово даю: он был мужик первый сорт, даже если брат у него — вылитая канарейка Твити.[\[126\]](#)

* * *

В самый первый раз, когда мы увидели Корригана, мы приняли его за копа под прикрытием. Твердо были уверены. Копы часто берут ирландцев в агенты. Большинство копов и сами ирландцы: у них большие животы и гнилые зубы, но им еще хватает ума смотреть на мир с юмором.

Как-то раз мы глядим, а фургон Корригана весь в пылище, вот Энджи и написала пальцем на боку: *А жена твоя тоже замарашка?* Так смеялись, что чуть не падали. Корри даже не заметил. Тогда Энджи нарисовала на другом боку фургона рожицу с улыбкой и подписью: *Посмотри с другой стороны.* Он колесил по всему Бронксу с этой хренотенью на тачке и ни разу даже не прочел ее. Он жил в каком-то другом мире, наш Корри. В конце недели Энджи подошла к нему и ткнула пальцем в свои каракули. Он весь зарделся, как это бывает у ирландцев, даже заикаться стал.

— Но я не понимаю... У меня нет жены, — сказал он Энджи.

Мы так не хотели с тех самых пор, как Христос ушел из Цинциннати.

* * *

Каждый день на панели мы вешались на него, требуя, чтоб он арестовал нас. А он в ответ только: «Девочки, девочки, девочки, ну пожалуйста». Чем больше мы к нему цеплялись, тем чаще он бормотал: «Девочки, девочки, не надо, ведите себя хорошо, девочки».

Однажды папик Энджи раздвинул нас, ухватил Корри за шиворот и посоветовал убраться подальше. Приставил ему к горлу ножичек. Корри

просто смотрел на него. Глаза стали круглые, но в остальном он будто страху не знал. Мы запели: «Йо, чувак, просто уйди». Папик Энджи щелкнул лезвием, и Корри пошел прочь, в черной рубашке, на которую капала кровь.

Всего пару дней спустя он опять спустился к нам, принес кофе. Шея перевязана полоской бинта. Мы ему: «Йо, Корри, шел бы ты подобру, тебе сейчас наваляют». Он только плечами пожал: дескать, не беспокойтесь. Тут же явились папик Энджи, и папик Джаззлин, и папик Саччи — все втроем, прям как библейские волхвы. Я смотрю, а Корри стоит весь белый. Еще не видала, чтобы он так бледнел. Белее мела.

Он поднял руки, типа сдается, и говорит: «Эй, парни, я просто принес им кофе».

Папик Энджи подался вперед: «Во-во, а я добавлю сливок».

* * *

Эти ребята круглую неделю метелили Корри до беспамятства. Даже не знаю, сколько раз они его избили. Конечно, ему было больно. Еще как. Даже Энджи повисала на спине у своего папика, пыталась выщарапать ему глаза, да все без толку, нам их было не остановить. А Корри все приходил и приходил, день за днем. В итоге даже папики стали его уважать. Корри ни разу не позвал копов или Гарду, как он их называл, такое у него было ирландское прозвище для полиции. Так и говорил: «Я не стану вызывать Гарду». И все равно наши папики время от времени выбивали из него дурь, просто чтоб не задавался.

Мы только потом узнали, что он священник. Не то чтобы настоящий, но из тех парней, которые вроде монахов: живут отдельно, потому что воображают, что так надо, потому что у них есть долг, мораль и прочая херня, с ерундовыми клятвами вроде целомудрия и так далее.

* * *

Люди говорят, все мальчишки мечтают быть первыми, кто переспит с девушкой, а девушки, наоборот, хотят быть последними. Но с Корри мы все хотели быть первыми. Джаз говорила: «Я была с Корри прошлой ночью, он такой вкусный и так радовался, что я у него первая». А Энджи ей в ответ: «Фигня, эту вкуснятину я съела еще на обед, чуть не поперхнулась». А

Саччи ей вторит: «Обе вы гоните, я намазала его на свои булочки и сосала их за утренним кофе».

Мы так хотели, за много миль было слышно.

* * *

У него как-то был день рождения, кажется, тридцать один год исполнился, он совсем был молодой, и я купила ему торт, мы все вместе съели его прямо под автострадой. Торт был весь усыпан вишнями, целый миллион и еще штук шесть. Мы совали вишни Корри в рот и слева, и справа, а он все канючил: *Девочки, ну пожалуйста, девочки, мне придется позвать Гарду*. [\[127\]](#) Даже шутки не понял.

Мы чуть не упали со смеху.

Он разрезал торт и каждой раздал по кусочку, а последний оставил себе. Я держала вишню у его рта и подначивала ее сорвать. Он шел за мной по улице. Я такая в купальнике. Наверное, со стороны мы с Корри казались сладкой парочкой, оба перемазаны вишневым соком.

Не верьте никому, кто говорит, что панель — сплошь грязь, и дермо, и стыдные болячки. Так и есть, кто спорит, иногда, ну конечно, но иногда и здесь бывает хорошо. Иногда просто держишь вишенку перед лицом у мужика. Иногда надо позволять это себе, чтоб не разучиться улыбаться.

Когда Корри смеялся, все его лицо шло морщинками.

* * *

— Ну-ка, Корри, скажи: дазабейнаэтаващще.

— Дазабейнаэтовообще.

— Нет-нет-нет, ты скажи: дазабейнаэтаващще!

— Дазабейнаетовоопще.

— Да уж, чувак, забей на эта ваще.

— О'кей, Тилли, — говорит он, — я забью на эта, ваще.

* * *

Если б с кем из белых спать, то с Корриганом. Без брёха. Он говорил мне, бывало, мол, куда ему до меня. Говорил, что как бы ни старался, все

курам на смех и обсвистать даже нечего. Говорил, что я вся красотка, не чета ему. Корриган зашибись чувак. Я б вышла за него. Так бы и слушала этот его забавный акцент. Я увезла бы его подальше из города и приготовила ему целый пир, из первоклассной говядины и капусты, и он бы у меня решил, что остался единственным белым на свете. Я бы в ушко целовала его, дай только шанс. Сколько ни есть во мне любви, всю бы ему слила. Ему и тому дядечке из «Шери-Нидерланд». Оба годные.

Мы ему набивали мусорное ведро по семь, по восемь, по девять раз на дню. Паскудство. Даже Энджи считала это паскудным, а уж она-то паскудничала за всех, она и тампоны свои там оставляла. Я ж говорю, паскудство. Подумать только, Корри видел всю эту грязь и не говнился ни разу, просто шел выносить ведро и возвращался домой. Священник! Монах! Колокольные звоны!

А эти его сандалики! Боже-ты-мой! Издалека было слыхать, как он шлепает по улице.

* * *

Он сказал мне однажды, что по большей части люди поминают любовь, чтобы всем доложить про свою голодуху. Только он по-другому как-то выразился, вроде чтобы *возвеличить свои аппетиты*.

Так и сказал, с этим своим восхитительным акцентом. Я бы уплела все, что говорил Корри, я бы проглотила все его словечки. Он говорил: «Вот твой кофе, Тилли», и я думала, что не слыхала ничего милее. Коленки подгибались. Белая моя музыка.

* * *

Джаззлин все повторяла: любит его, как шоколадки.

* * *

Уже много времени прошло с тех пор, как меня навестила та девица Лара, — может, десять дней, а может, и все тринадцать. Она сказала, что приведет моих крошек. Пообещала. Вроде с годами привыкаешь никому не верить, но... Люди вечно обещают. Даже Корри разбрасывал обещания.

Подвесной мост и прочее дермо.

* * *

С Корри как-то была одна смешная история, ввек не забуду. Единственный раз он притащил с собой клиента, специально для нас. Приезжает как-то посреди ночи, открывает заднюю дверцу фургона и выкручивает старику в кресле-каталке. И Корри весь аж дергается. Ну, то есть, он же священник или как там — и вдруг тащит к нам клиента! Все оглядывался по сторонам. Жутко переживал. Совестью мучился, что ли. Я говорю: «Привет, папуля!» — и у него лицо делается белое, и я уж молчу в тряпочку, ничего не говорю. Корри кашляет в кулак и все такое. Короче, выясняется: у старика сегодня день рождения, вот он все ныл да ныл, чтобы Корри вывез его куда-нибудь. Говорит, он не бывал с женщиной со времен Великой депрессии, а это ж было лет восемьсот тому назад. И старик тот еще хлыщ, обзывает Корри всеми словами и ругает на чем свет стоит. Только с Корри вся ругань как с гуся вода. Пожимает плечами, поворачивает ручку тормоза на коляске и оставляет Мафусаила сидеть прямо на тротуаре.

— Не мое это дело, но Альби желает воспользоваться вашими услугами.

— Я ж просил не говорить им мое имя! — волнуется старикин.

— Заткнись, — бросает ему Корри и уходит.

Потом оборачивается к нам еще разок, смотрит на Энджи и говорит:

— Пожалуйста, не отбирай у него все деньги.

— Да чтоб я? Обчистила калеку? — таращится Энджи, глаза на мокром месте и прочее дермо.

А Корри только поднимает взгляд к небесам и качает головой.

— Слово дай, — говорит он, хлопает дверцей своего коричневого фургона и сидит там, внутри. Ждет, значит.

Потом врубает радио, да погромче.

Мы переходим к делу. Оказывается, у нашего Мафусаила денег хватит, чтобы все мы какое-то время жили припеваючи. Наверное, накопил за много лет. Мы решаем устроить ему вечеринку. Так что заталкиваем коляску в кузов грузовичка, в котором возят овощи-фрукты, проверяем на ней тормоза, снимаем с себя шмотки и танцуем. Трясем своими сокровищами прямо перед ним. Тремся об него вверх-вниз. Джаззлин скачет по овощным ящикам. И мы все, голые, играем в «Лови!» кусками

латука и помидорами. Уморительно.

И самое прикольное, этот наш старишок, а ему лет небось тыщи две, просто закрывает глаза и сидит, откинувшись на спинку своей коляски, он вроде как вдыхает нас внутрь себя с этакой тонкой улыбочкой. Мы предлагаем ему все, чего ни пожелай, а он даже глаз не открывает, будто вспоминает о чем-то, и все это время сидит с ухмылкой на физии, точно в рай попал. Глаза закрыты, только ноздри шевелятся. Как один из тех парней, которым ничего другого не надо, только бы все обнюхать. И он говорит нам что-то про то, как он голодал, и как он познакомился со своей женой, когда вокруг был страшный голод, и как они вместе перешли границу, оказались в Австрии, и как его жена умерла сразу после этого.

У старикина голос, как у твоего Ури Геллера.^[128] Обычно, когда клиенты заводят с нами разговоры, мы просто говорим: «Да-да», будто отлично их понимаем. У этого старика по лицу аж слезы текли, частью слезы радости, частью — еще чего-то, уж и не знаю. Энджи сунула ему под нос свои титьки и говорит: «Ну-ка, согни эту ложку, вялый ты перец!»

Некоторым девушки нравятся старики, потому что им мало надо. Энджи, скажем, от них не шарахается. А вот я не люблю старых клиентов, особенно когда те снимают рубаху. У них такие мерзкие вислые груди, словно подтаявшая глазурь на торте. Но тю, этот чувак башляет, — и мы хором повторяем, как молодо он выглядит. Дурила прямо раскраснелася весь.

Энджи все вопила:

— Не доведите его до инфаркта, девочки, не выношу «скорые»!

Старик отпустил тормоза на своей коляске и, когда мы закончили, заплатил нам вдвое больше, чем мы просили. Мы спустили коляску с грузовика, и старикин сразу начал озираться, высматривая Корри:

— Где этот чудило, баба эдакая?

А Энджи ему:

— Ты кого бабой назвал, сморщенная ты задница, сухой стручок?

Корри выключил приемник и выбрался из коричневого фургона, где сидел и ждал, всем сказал спасибо и затолкал коляску со стариком внутрь. И что забавно, небольшой кусок латука так и остался в колесе, застрял в спицах и все крутился, крутился и крутился внутри.

И Корри говорит, типа:

— Напомните потом, чтобы я больше не ел салат, никогда-никогда.

И тут мы давай смеяться! Одна из лучших ночей, какие только бывали под Диганом. Я думаю, Корри просто хотел нам подсобить. Старикин был набит деньгами. Пахло от него так себе, но игра стоила свеч.

* * *

Всякий раз, когда в тюремной баланде мне попадается обрезок латука, я начинаю ржать, ничего не могу поделать.

* * *

Старшая надзирательница положила на меня глаз. Вызвала в свой кабинет и говорит: «Распахни свой комбинезон, Хендерсон». Ну я и расстегнулась, выставила свои прелести. А она сидит в своем кресле и не двигается, только глаза закрыла и дышит тяжко. А потом, через минуту, говорит мне: «Свободна».

* * *

Жучки ходят в душевую отдельно от бучей. Только все одно. В душе чего только не творится, всякая дичь. Я уж думала, всего насмотрелась, а на тебе. Порой будто и не тюрьма вовсе, а какой-то массажный салон. Кто-то притащил однажды масло из кухни. Даже растопили заранее. Надзирательницы со своими дубинками обожают на это смотреть, сразу кончают. Это запрещено, но они, бывает, приводят охранников из мужских блоков. Думаю, я бы сдружила такому всего за пачку сигарет. Когда они являются, только стоны слышны, охи да вздохи. Но они не пристают к нам, не насилуют. Знают меру. Только пялятся и кончают себе тихонько, прямо как старшая надзирательница.

Один раз был у меня клиент-англичанин, он это дело называл *устроить веселье*. «Эй, красотка, может, устроим веселье?» Мне это нравится. Вот устрою себе веселье, всем будет весело. Повешусь на трубе в душевой, то-то веселуха.

Пусть глядят, как я танцую, болтаясь на своей веселой трубе.

* * *

Как-то написала я Корри записку и оставила в туалете. Там было сказано: *Я реально балдею от тебя, Джон Эндрю*. Единственный случай,

когда я назвала его настоящим именем. Он сказал его мне и предупредил, что это секрет. Сказал, имя ему не нравится, его так назвали в честь отца, который ирландская сволочь. «Прочти записку, Корри», — говорю я. Он развернул бумажку. И сразу вспыхнул. Самое клевое, это когда он краснел. Рука прямо тянулась за щеку щипнуть.

Он говорит: «Спасибо», только это прозвучало похоже на *Пасиб*, и давай рассказывать про то, как ему позарез нужно помириться с Богом, но я ему тоже нравлюсь, сказал он, точно нравлюсь, вот только с Богом у него какие-то свои счеты. Сказал, у них с Богом что-то вроде боксерского поединка. Я говорю: тогда мое место — в первом ряду. А он цоп меня за руку и говорит: «Тилли, ты чудо».

* * *

Где теперь мои крошки? Одно знаю точно: я перекармливала их сахаром. Всего-то полтора годика, а уже леденцы сосут. Паршивая я бабка, что уж тут. У них же плохие зубы от этого вырастут. Вот встретимся мы на небесах, а у них на зубах скобки.

* * *

В первый раз, когда я была с клиентом, сразу потом пошла и купила себе торт в супермаркете. Большой такой, белый, с глазурью. Воткнула в него палец и облизала. Палец пах мужиком.

Когда я впервые отправила Джаззлин работать, тоже купила ей торт. «Особый праздничный» из магазина «Фудлэнд». Только для нее, чтобы настроение поднять. Она пришла, а полторта как не бывало. Она встала посреди комнаты, в глазах слезы: «Ты сожрала мой хренов торт, Тилли!»

А я сижу там, вся физиономия в крошках, и хнычу: «Нет, неправда, Джаз, это не я, да я бы ни за что».

* * *

Корри вечно заводил свою песенку про то, как он повезет ее в старинный замок и прочее. Будь у меня замок, я опустила бы подвесной мост и выпустила всех на все четыре стороны. Я расплакалась на

похоронах. Надо было держать себя в руках, да не сумела. Малышек там не было. Почему моих девочек туда не привели? Я готова была убить кого-нибудь, чтобы увидеть их. Только это мне и было нужно. Кто-то сказал — за ними приглядывает социальная служба, а кто-то другой говорит — нет, но с ними все будет хорошо, они в надежных руках.

Это всегда было самое тугое. Найти кого-то, кто присмотрит за детьми, пока мы работаем на панели. Порой с ними сидела Джин, порой это была Мэнди, а порой Латиша, но лучше их всех были бы мы с Джаззлин. Я точно знаю.

Надо было сидеть дома да трескать торты из супермаркета, пока не станет сил из кресла вылезать.

* * *

Знать не знаю, каков из себя этот Бог, но попадись Он мне в ближайшие дни, я бы приперла Его к стенке, пока не расскажет всю правду.

Уж я бы Его выдrala, уж бы отыгралась, возила бы по полу, покуда ног не сможет таскать. Покуда не будет смотреть на меня снизу вверх. Вот тогда пусть и расскажет, почему Он сотворил со мной то, что сотворил, и почему так поступил с Корри, и почему все хорошие люди умирают, и где сейчас Джаззлин, и что она такого сделала, чтобы там оказаться, и как Он позволил мне так с ней обойтись.

Выплывет Он на своем распрекрасном белом облаке, вокруг ангелочки трепещут распрекрасными белыми крыльями, а я выйду вперед и спрошу Его в лоб: какого хрена Ты позволял мне все это вытворять, Бог?

Тогда Он весь такой потупится. И если только Он скажет, что Джаз сейчас не в раю, если скажет, что ей не повезло, вот тут-то я и надеру Ему задницу. Он у меня получит мощного, увесистого пинка, это уж точно.

Я так Ему наподдам, как еще никто и никогда.

* * *

Я сделаю, что задумала, и не стану ныть ни до, ни после. Хотя, наверное, ныть *после* у меня все равно не получится. Как представишь себе мир без людей, так идеальная ж картинка. Благолепие и все такое. Но потом являются люди, и они все только портят, на хрен. Будто у тебя в спальне Арета Франклин,[\[129\]](#) старается изо всей мочи, поет только для тебя,

выкладывается, вся горит, по специальной заявке от Тилли Х., и тут откуда ни возьмись из-за занавески высовывается Барри Манилоу.[\[130\]](#)

Когда миру придет конец, на свете останутся одни тараканы и пластинки Барри Манилоу — так говаривала Джаззлин. Умела она сострить, моя Джаз.

* * *

Я тут ни при чем. Одна мерзавка из С-49 полезла на меня с куском свинцовой трубы. И угодила в лазарет с пятнадцатью стежками на спине. Кое-кому кажется, что меня на испуг взять — нефиг делать, коль я красуля.

Не хотите дождя — не кантуйте облака над головой Тилли Хендерсон. Я всего только разок и наподдала ей, по-хорошему. Ни в чем я не виновата. Просто не собиралась с ней сюсюкать, так-то вот. Не надо мне это все, она сама напросилась.

* * *

На меня сразу накинулась старшая надзирательница. Заявила, что отправит меня подальше из города. Так и говорит: «Последние месяцы заключения ты проведешь на границе штата». А я ей, типа: «Что за нах?» Она говорит: «Ты меня слыхала, Хендерсон, следи за языком в моем кабинете». Я говорю: «Ради вас, босс, я готова раздеться до нитки, а потом и ее сниму». Она как заорет: «Что ты себе позволяешь?! А ну, не хами! Гадость какая!» Я ей говорю: «Пожалуйста, не отправляйте меня на границу штата. Я хочу повидать своих крошек». Она замолкла, а я стою там, дрожу, а потом опять ляпнула что-то не особо приличное. Она и говорит: «Вон с глаз моих».

Тогда я зашла за ее стол. Всего-то собиралась распахнуть комбинезон, сделать ей приятное, но она, дура, надавила «тревожную кнопку». Влетают охранники и давай меня крутить. Вовсе я этого не хотела, вот еще, зачем мне бить ее по лицу, я всего-то ногой дернула. И выбила ей передний зуб. Думаю, уже неважно, чего я там хотела. Теперь уж точно поеду подальше из города. Выписала себе билет без пересадок.

Старшая надзирательница не стала даже дурь из меня выколачивать. Полежала на полу немного, и, клянусь, она почти улыбалась, когда вдруг говорит: «Какой приятный сюрприз я тебе приготовила, Хендерсон!» Меня

заковали в наручники и оформили как преступницу, все честь по чести. Посадили в фургон, оприходовали и повезли судить в Квинс.

Я признала себя виновной в нападении, и мне добавили еще восемнадцать месяцев срока. С тем, что я уже отсидела, получается почти два года. Адвокат защиты сказал, что мне крупно повезло, могли дать три, четыре, пять лет, даже семь. Он сказал: «Соглашайся, лапуля». Ненавижу адвокатов. Мой был того сорта, у каких кол в заднице, такие в упор тебя не видят, хоть флагом у них перед носом размахивай. Сказал, что упрашивал судью и все такое. Так и сказал судье: «У нее одна трагедия за другой, ваша честь».

Я сразу ему сказала, что трагедия тут одна: я что-то деток своих не нахожу. Как так вышло, что моих крошек не привезли в зал суда? Вот чего мне хотелось знать. Я громко это крикнула: «Как вышло, что их тут нету?»

Я-то надеялась, хоть кто-то явится, эта девица Лара или еще кто, но там вообще никого не было.

Судья, он был черным, небось прямиком из Гарварда. Я уж думала, он-то сумеет понять, но ниггер с ниггером хуже бывает, чем белый. Говорю ему: «Ваша честь, нельзя ли привести моих малышек? Я только разочек на них погляжу». А он пожал плечами и сказал, что они в хороших руках. Ни разу в лицо мне не посмотрел. Говорит: «Опишите в точности, что произошло». А я говорю: «Все произошло так: у меня родилась дочка, а у нее родились свои детки». А он мне: «Нет-нет-нет, про нападение». Тут я не выдержала: «Ой, да кому, ебть, интересно слушать про это ебаное нападение? ЕдриТЬ нас всех — и меня, и тебя, и жену твою». Адвокат меня заткнул. Судья глянул на меня в свои очки и только вздохнул. Сказал что-то про Букера Т. Вашингтона,[\[131\]](#) только я не особо слушала. Объявил, короче, что администрация моей тюрьмы обратилась к суду с просьбой отправить меня в исправительное учреждение на границе штата. И слово *исправительное* пропел, будто он мне царь и бог. Я молчать не стала: «И попугая твоего тоже едриТЬ, говнюк».

Он — хлоп молотком об стол, и делу конец.

* * *

Я глаза им хотела выщербить. Скрутили меня ремнями и сунули в больничное крыло. Всю дорогу к новой тюрьме, в автобусе, я опять сидела в кандалах. Хуже того, они не сказали, что повезут меня вон из штата Нью-Йорк. Я все орала про своих деточек. На границу штата еще бы ладно, но в

Коннектикут? Я вам не крестьянская девчонка. Когда приехали, устроили мне прием у психолога и выдали желтый комбинезон. Если кому-то захочется напялить на себя желтый комбинезон, с головой точно неладно.

Меня привели в кабинет, и я заявила мозгоправу, что сама не своя от счастья. Оказаться в чистом поле в Коннектикуте! Счастье, счастье-то какое. Я ей сказала, что, будь у меня нож, я бы всем показала, какая я счастливая. Я бы вырезала *счастье* себе на запястьях.

«В камеру ее», — сказала она.

* * *

Мне дают пилюли. Оранжевые такие. И смотрят, как я их глотаю. Иногда мне удается притвориться и спрятать пиллюлю в дальнем углу рта, за зубами. Когда-нибудь я наберу побольше пилюль и проглошу их все сразу, как большой вкусный апельсин, а потом заберусь на веселую трубу — и поминай как звали.

* * *

Я даже не знаю имени соседки по камере. Она жирная и носит зеленые носки. Я ей сказала, что собираюсь повеситься, все рассказала про веселую трубу. А она мне на это говорит: «О». И еще, несколько минут погодя: «Когда?»

* * *

Наверное, эта белая женщина, Лара, все устроила, или кто другой, где-то, как-то. Я вхожу в зал для свиданий. Детки! Детки! Деточки!

Они сидели рядышком, на коленях у большой черной женщины в белых перчатках по локоть и с новехонькой красной сумочкой, будто с тахты Господней поднялась только что, ей-богу.

Понеслась я к стеклянной стене, сунула руки в прорезь внизу.

— Детки! — кричу. — Малышка Джаззлин! Джанис!

Они меня не узнали. Сидят себе на коленях у той бабы, сосут свои пальчики и глазеют по сторонам. У меня сердце разрывается. А они жмутся к ее груди да улыбаются. Я все говорю: «Идите к бабушке, подойдите,

дайте ручки ваши потрогать». Только оно и получится через ту прорезь внизу стекла — там пара дюймов, чтобы можно было за руки подержаться. Это жестоко. Так хотелось обнять их, своих родненьких. Только они с места не стронулись, видно, тюремщики их напугали, уж и не знаю. У женщины был южный говор, но это лицо я помнила по многоэтажкам, видела раньше. Лично я считала ее задавакой: в лифте она всякий раз норовила отвернуться. Она сказала, что не могла решить, приводить ко мне малышек или нет, но слыхала, что я очень хотела их повидать, а раз они теперь живут в Поукипси, у них хороший дом и красивый забор, и это совсем недалеко, то они все-таки пришли. Она уже какое-то время считается их приемной матерью, оформила опекунство через Бюро по опеке и попечительству, им пришлось несколько дней пробыть в Доме Симанс^[132] или где-то вроде этого, но теперь хороший уход за ними обеспечен, сказала она, беспокоиться не о чем.

— Идите к бабушке, — позвала я снова.

Малышка Джаззлин уткнулась лицом женщине в плечо. Джанис все сосала пальчик. Я гляжу, у обеих шеи отмыты дочиста. И ноготки на ручках красивые и круглые.

— Простите, — говорит женщина. — Наверное, просто стесняются.

— Они хорошо выглядят, — говорю я.

— И хорошо кушают.

— Только не перекармливай их говном всяким, — говорю.

Она посмотрела на меня этак строго, из-под бровей, но смолчала. Она ничего, нормальная. Ни словечка не сказала про мои выражения. Мне сразу это понравилось. Она не станет чваниться, не будет осуждать напропалую.

Мы помолчали немного, и потом она рассказала, что у девочек есть теперь красивая комната в маленьком доме на тихой улице, там куда спокойнее живется, чем в многоэтажках, она заново покрасила в их комнате пол, наклеила обои с нарисованными зонтиками.

— Какого цвета?

— Красные, — говорит она.

— Отлично, — обрадовалась я, потому что не хотела б, чтобы детки смотрели на розовые зонтики. — Идите к Тилли, потрогайте меня за пальчики, — снова позвала я, но крошки так и не тронулись с колен той женщины. Я просила и упрашивала, но чем дольше я их уговаривала, тем чаще они от меня отворачивались, пряча свои лица. Думаю, это их тюрьма напугала, охрана и все остальное.

Женщина выдавила улыбку, от которой ее лицо сделалось немного виноватым, и сказала, что им, пожалуй, пора уходить. Я не знала точно,

нравится мне эта дама или нет, порой мозги не могут выбрать между плохим и хорошим. Меня подмывало рвануться вперед, расколотить стекло и вцепиться в ее пышные волосы, хотя как посмотреть — она ведь заботится о моих детках, они не живут в каком-то жутком приюте, не голодают, и я готова была расцеловать ее за то, что она не пичкает их леденцами, от которых зубы гниют.

Когда раздался звонок, она поднесла деток к стеклу, чтобы они поцеловали меня на прощанье. В жизни не забуду их запах, сквозь узкую прорезь внизу стекла, такой приятный. Я просунула под стекло мизинец, и Джанис, кроха, погладила его. Настоящее чудо. И я снова прижалась к стеклу. Они пахли в точности как настоящие деточки — присыпка, молоко и все прочее.

Когда я возвращалась в камеру, шла по тюремному двору, у меня было чувство, будто кто-то вырезал мне сердце, а потом пустил его идти впереди меня. Так мне казалось — вон оно, мое сердечко, топает само по себе прямо передо мной, скользкое от крови.

* * *

Всю ночь я проплакала. И ни капельки не стыдно. Не хочу, чтобы мои деточки пошли потом на панель. Как я могла сотворить такое с Джаззлин? Вот чего мне хотелось бы знать: почему я сделала то, что сделала?

* * *

Из-за чего меня всю корежило — так это стоишь под мостом Диган, а вокруг одни белые кляксы голубиного дерьяма. Глянешь вниз, а там прям ковер из дерьяма. Я терпеть этого не могла, не выносила. Только бы мои детки не видели такого.

* * *

Корри говорил, существует тысяча причин прожить эту жизнь до конца, и каждая сгодится, да только где он теперь со всеми своими причинами, а?

* * *

Соседка по камере сдала меня тюремщикам. Сказала, что беспокоится обо мне. Но мне не нужен психолог, чтобы понять: меня и вправду не будет в живых, если я залезу в петлю. Ей платят за эту херню? Эх, упустила я свое призвание. Могла бы миллионы зашибать.

Вот идет Тилли Хендерсон, в белой докторской шапочке. Ты была плохой матерью, Тилли, а бабушка из тебя и вовсе барахло. Твоя собственная мать тоже была так себе. А теперь давай сюда сотню баксов, спасибо, замечательно, следующий, пожалуйста, нет, я не принимаю чеки, только наличные.

* * *

У тебя маниакально-депрессивный синдром, и у тебя тоже маниакально-депрессивный синдром, а ты так вообще депрессивная маньячка, девочка. А вот ты, в углу, ты попросту долбаная дура унылая.

* * *

Жаль только, когда придет пора, у меня не окажется при себе зонтика. Я бы качалась под веселой трубой и снизу смотрелась бы что надо.

Я сделаю это ради девочек. Ни к чему им бабуля вроде меня. Нечего им ловить на панели. Без меня им только лучше будет.

Эгей, мои веселые трубы! Ждать уже недолго!

Буду прям как Мэри Поппинс — болтаться в воздухе, да еще с зонтиком.

* * *

Они тут в зале для свиданий устраивают религиозные сходки. Я пошла сегодня утром. Поговорила с капелланом насчет Руми и прочего дерьяма, а он мне в ответ: «Это не духовное, это просто поэзия». ЕдриТЬ того Бога. ЕдриТЬ Его. ЕдриТЬ Его и спереди, и сзади, и всяко-разно. Он не хочет говорить со мной. Что-то не видать ни горящих кустов, ни колонн из света.

Не втирайте мне про свет. Он горит на другом конце уличного фонаря, и весь сказ.

Прости меня, Корри, но Богу давно пора навешать.

* * *

Почти самое последнее, что сделала Джаз, она закричала и выбросила брелок из дверцы полицейского фургона. Тот шмякнулся о землю, и мы все увидели, как Корри выходит на улицу, чеканя шаги. Весь прямо красный. Орал на копов. Жизнь была хороша. Я бы даже сказала, это один из лучших моментов, — ну не странно ли? Помню, будто вчера было, как меня арестовывали.

* * *

Никто не может вернуться домой. Как ни прикинь, таков закон жизни. Спорим, на небесах нет никаких «Шери-Нидерланд». Никаких «Шери-Неверлэнд».[\[133\]](#)

* * *

Помню, я как-то купала Джаззлин. Ей тогда всего несколько недель было. Кожа прям сияет. Я глядела на нее и думала, что слово *прекрасная* придумано специально для нее. Завернула ее в полотенце и пообещала, что ей никогда не придется выходить на панель.

Иногда я хочу воткнуть себе каблук прямо в сердце. Когда Джаззлин выросла, я смотрела, бывало, как она уходит с мужиками. И говорила себе: «Эй, это мою дочь ты сейчас трахаешь. Это мою девочку ты потащил на переднее сиденье. Мою кровиничку».

Я была тогда наркошай. Наверное, всю жизнь ею была. Это не оправдание.

Даже не знаю, простит ли меня весь этот мир за зло, которым я замарала свою доченьку. Но малышкам нечего опасаться, с ними я так не поступлю. Только не я.

* * *

Вот дом, который построил Конь.

* * *

Я бы попрощалась, да только не знаю с кем. Не жалуюсь, не ною. Это, ебть, правда. Богу давно пора навешать.

Я иду к тебе, Джаззлин, выходи встречать. Это мама.
У меня в носке кастет.

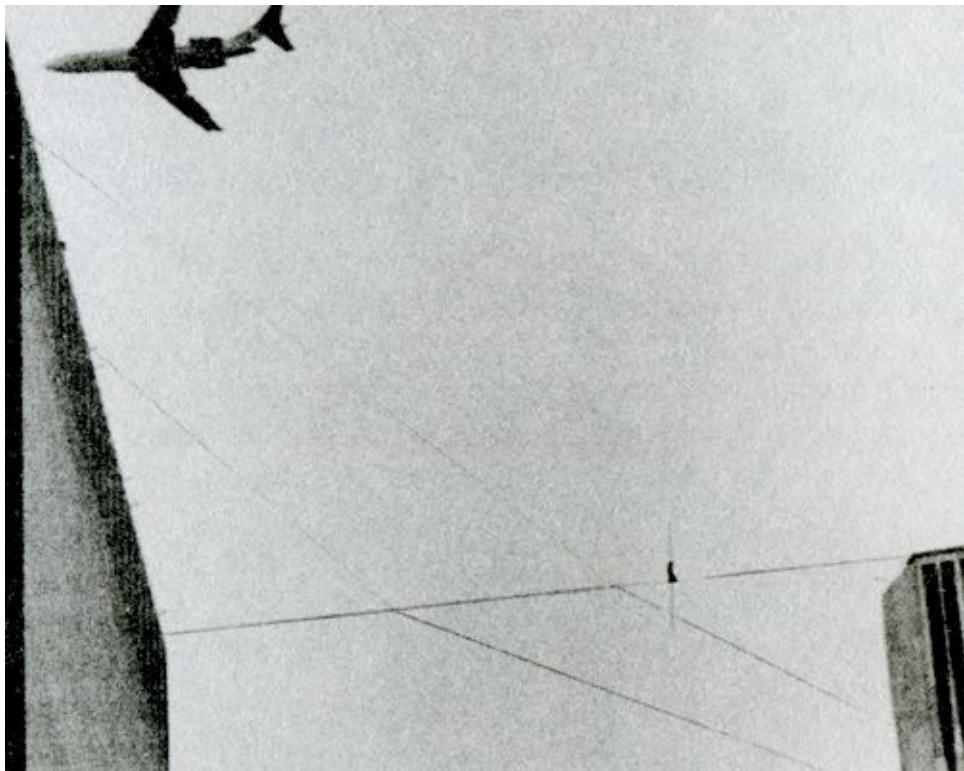


Фото: © Фернандо Юнке Маркано

Колеями перемен

Перед вылазкой к небу он приходил выступать в парк Вашингтон-сквер. Здесь пролегала граница, за которой начинались небезопасные районы. Ему хотелось шума, напряжения в теле, прочных связей с грязью и ревом. Натягивал проволоку между ребристыми фонарными столбами. Выступал для туристов, на цыпочках пробегал по канату в черном шелковом цилиндре. Чистый театр. Раскачаться и сымитировать падение. Посмеяться над гравитацией. Он мог нависать над канатом под невероятным углом и затем выпрямляться. Ходил, удерживая зонтик на кончике носа. Подбрасывал ногой монетку — и та аккуратно приземлялась на макушку. Кульбиты вперед и назад. Стойка на руках. Он жонглировал булавами, шарами и горящими факелами. Он изобрел игру с пружиной «Слинки»: металлические кольца игрушки словно выпрямлялись, путешествуя по его телу. Восторженные туристы охотно бросали деньги в цилиндр. Мелочь в основном, но изредка в шляпу летел доллар или целых пять. За десятку он спрыгивал на землю и раскланивался, делал обратное сальто.

В первый же день его выступление собрало всех местных торговцев наркотой вместе с их клиентами. Они держались поодаль, но внимательно смотрели, сколько он зарабатывает. В конце дня он рассовал все деньги по карманам клеш, но понимал, что спокойно уйти с выручкой ему не дадут. Перед последним трюком собрал последние монеты, водрузил цилиндр на голову, усился на одноколесный велосипед, прокатился по проволоке из конца в конец, а потом спрыгнул на землю с высоты десяти футов и покатил себе дальше, по площади и Вашингтон-плейс. Не оглядываясь, помахал рукой зрителям. На следующий день вернулся за канатом, но эта последняя вчерашняя уловка понравилась толкачам, и ему позволили остаться: привлеченные им туристы были легкой добычей.

Он снимал квартирку с холодной водой на Сент-Маркс-плейс. Как-то ночью протянул простую веревку от окна своей спальни к пожарной лестнице у окна жившей напротив японки; та зажгла для него свечи. Он провел у нее восемь часов, а выбравшись на уже обвисшую, ставшую опасной веревку, обнаружил, что какие-то дети успели забросить на нее связанные шнурками ботинки — странный городской обычай. Добравшись до своего подоконника, он сразу понял, что в квартире похозяйничали воры. Обнесли вчистую. Забрали даже одежду. И все деньги из карманов

брюк. Японка тоже исчезла: обернувшись, он не увидел свечей. Первая кража в его жизни.

Таков был встретивший его город: что тут скажешь, и на его хитрый болт нашлась хитрая гайка.

Время от времени его приглашали выступить на частных вечеринках. Деньги ему были нужны. Предстояли серьезные расходы, а все сбережения украдены. Один только канат обойдется в тысячу долларов. Кроме того, следовало купить катушки, фальшивые документы и шест для балансирования, разработать сложные маневры, чтобы незаметно поднять все это на крышу. Он был готов на все ради сбора нужной суммы, но вечеринки заставили напрячься. Ему платили как фокуснику, но всем устроителям он сообщал, что не сможет гарантировать выступление. Они должны были заплатить, но он мог провести весь вечер за столом, не трогаясь с места. Эффект неизвестности работал лучше не придумаешь. Приглашения так и сыпались. Он купил себе смокинг, галстук-бабочку и камербанд.

Гостям он представлялся бельгийским торговцем оружием, экспертом-оценщиком аукционного дома «Сотбис» или жокеем, участвовавшим в кентуккском дерби. Он чувствовал себя вполне уютно в каждой из этих ролей, однако самим собой становился, только ступив на натянутую проволоку. Он мог выудить длинный побег спаржи из салфетки сидящего рядом гостя. Он мог найти винную пробку за ухом хозяина дома, вытянуть бесконечный платок из чьего-то нагрудного кармана. Прямо во время десерта он мог подбросить над столом вилку и поймать ее на нос. Или далеко откинуться на своем стуле, раскачиваться на одной ножке и делать вид, будто он настолько пьян, что обрел нирвану, которая не позволит упасть. Гости вечеринок замирали в восторге. По столам пробегал шепоток. Женщины подходили к нему, выставляя вперед разрезы декольте. Мужчины втихаря брали его за коленку. Он уходил, выпрыгнув в окно, удалившись через черный ход или под видом официанта, с подносом нетронутых закусок над головой.

В самом начале вечеринки, устроенной в доме 1040 на Пятой авеню, он объявил, что перед уходом назовет точную дату рождения всех присутствующих мужчин. Гости были заинтригованы. Дама в сверкающей тиаре буквально прижалась к нему: *Отчего бы не назвать и даты рождения женщин?* Он отпрянул: *Потому что возраст дам выдавать невежливо.* Так ему удалось очаровать половину своей публики. Больше он не произнес ни единого слова. *Ну, давай, смеялись гости, расскажи нам, когда мы родились.* Он пристально разглядывал их, пересаживался с одного

стула на другой, внимательно изучал каждого, даже пробегал кончиками пальцев по линии их волос. Хмурился и качал головой, будто в замешательстве. Когда внесли мороженое, он устало забрался на стол, указал на каждого гостя пальцем и перечислил даты их рождения — за единственным исключением. 29 января 1947 года. 16 ноября 1898 года. 7 июля 1903 года. 15 марта 1937 года. 5 сентября 1940 года. 2 июля 1935 года.

Женщины зааплодировали, мужчины оцепенели.

Единственный гость, на которого он не указал, довольно откинулся на спинку стула: *А как же я?* Канатоходец небрежно махнул рукой: *Никому не интересно, когда вы родились.*

Публика все еще смеялась, когда он стал обходить сидящих за столом женщин, по очереди извлекая водительские удостоверения их мужей из сумочек, из обеденных салфеток, из-под тарелок, а у одной даже из ложбинки между грудей. На каждом удостоверении — точная дата рождения. Единственный гость, чья дата не была названа, смеясь, объявил остальным, что не привык носить с собой бумажник, поэтому день его рождения так и останется тайной. Молчание. Канатоходец спустился со стола, подтянул шарф на шею и, отвесив поклон в дверях гостиной, помахал ему рукой: 28 февраля 1935 года.

Гость засиял краской, все остальные дружно захлопали, а жена обманутого незаметно подмигнула канатоходцу, когда тот бочком выскальзывал за дверь.

* * *

Было во всем этом немало самоуверенности, он знал, но на канате самоуверенность равнялась выживанию. Только на высоте он мог полностью раствориться, утратить себя самого. Порой он думал о себе как о человеке, желавшем возненавидеть себя. Отделаться от стопы. От пальца. От голени. Отыскать точку неподвижности. Многое здесь имело отношение к старому дару забвения. Ему удалось стать анонимом, заставить тело впитать личность без остатка. Но хотелось ему и сплетения реальностей — чтобы сознание пребывало там, где телу было легко.

Будто сонтие с ветром. Обдувавшие его потоки все усложняли, они подталкивали, обтекали с двух сторон и, сомкнувшись, мчались дальше. Да и сама проволока причиняла постоянную, непрерывную боль: режущая кромка металла, вес шеста, сухость в горле, пульсация в запястьях, — но радость перевешивала боль, она ослабляла ее, и та переставала иметь

значение, То же и с дыханием. Чтобы канат дышал, а сам он обратился в ничто. Чувство абсолютной потери. Каждого нерва. Каждого волоска. И, оказавшись меж двумя башнями, он добился своего. Логические связи полопались. Настал миг, когда остановилось само время. Тело предугадывало порывы ветра заранее, за долгие годы.

Он был весь в движении, когда подлетел полицейский вертолет. Еще одно насекомое, зависшее в воздухе, оно ничуть его не расстроило. Оба вертолета щелкали, как суставы. Он был вполне уверен, что копы не совершают глупость, попытавшись подлететь ближе. Его поразило, что звук полицейских сирен оказался способен поглотить все прочие шумы; он словно ввинчивался в воздух, воронкой устремляясь ввысь. На крыше собирались десятки копов, они что-то кричали ему, носились взад-вперед. Один из них, без фуражки, свесился из-за колонны на Южной башне, всем телом подался вперед, перетянутый синими ремнями страховки, обзывал его ублюдком, орал, чтобы ебаный ублюдок немедленно сошел со своей, едриТЬ ее, веревки, сию, мать его, секунду, а то он отправит едрицкий вертолет забрать его с ублюдоchного каната, слышишь, ты, ублюдок, сию же, бля, секунду! — и канатоходец подумал: «Какой странный язык!» Улыбаясь, он развернулся к другой башне, и там тоже ждали копы, эти вели себя потише, они говорили по рации, и он был уверен, что слышит, как рации щелкают, и вовсе не хотел испытывать терпение полицейских, но вернуться не спешил: такого шанса может больше не представиться.

Крики, вой сирен, глухие городские звуки. Он позволил всем им слиться, затихнуть, обратиться в белый шум. Потянулся к прежней тишине и обрел ее. Он просто стоял, точно посредине каната, в сотне футов от каждой из башен, глаза закрыты, тело неподвижно, проволока не существует. Он открыл рот, и город с готовностью наполнил легкие.

Кто-то кричал в мегафон: «Мы отправляем вертолет, сейчас подлетит вертолет! Слезай оттуда!»

Канатоходец улыбался.

«Немедленно сойти с каната!»

Он задумался, не в этом ли заключено таинство смерти: шум окружающего мира и миг высвобождения из него.

Он понял вдруг, что спланировал только первый шаг и ни разу даже не думал о последнем. Выступление следовало завершить изящным росчерком. Он обернулся к мегафону и немного подождал. Кивнул, точно соглашаясь. Да, он возвращается. Поднял ногу. Темный силуэт тела прекрасно виден стоящим внизу. Ногу повыше, добавим драматизма. Теперь ставим стопу поперек каната. Утиная походка. Вторую ногу, потом

опять первую и так дальше, пока поступь не сделалась автоматической, и тогда он побежал — быстро, как никогда еще не бегал по канату, — опираясь на пятку, отвернув пальцы в сторону, шест в вытянутых вперед руках, с середины проволоки к краю.

Копу пришлось отскочить назад, чтобы схватить его. Канатоходец буквально вбежал в его объятия.

— Вот же засранец, — ухмылялся коп.

Еще многие годы он будет идти над городом: в темных тапочках, в клешеных брюках, подвижный и ловкий. Это будет настигать его в самые странные моменты — во время поездки по шоссе, или перед бурей, в процессе приколачивания ставен к оконным рамам хижины, или во время ходьбы по высокой траве исчезающих лугов Монтаны. Снова высоко в небе, с туго натянутым сквозь ступни кабелем. Обвеваемый ветрами. Внезапное чувство высоты. Замерший внизу город. Он мог пребывать в любом настроении, в любом месте, когда все возвращалось — без приглашения, не предупредив. Он мог просто доставать гвоздь из своей плотницкой сумки, чтобы вклютить его в кусок дерева, или тянуться на сторону пассажира, чтобы открыть бардачок, или крутить стакан под струей воды из крана, или показывать карточный фокус друзьям, — как вдруг, совершенно неожиданно, его тело теряло все ощущения, кроме толчка крови, сопровождавшего один-единственный легкий шаг. Будто тело некогда сделало снимок на память и теперь раскрывало альбом перед его внутренним взором, чтобы потом вновь его захлопнуть. Бывало, перед ним возникала вся ширь города, залитые светом аллеи, арфа Бруклинского моста, плоская подушка серого дыма над Нью-Джерси, быстрый взмах крыльев голубя, говоривший о том, что полет — это просто, желтые кабинки такси внизу. Он никогда не видел себя в опасных или отчаянных ситуациях, а потому не возвращался к моментам, когда он вытянулся, лежа на канате, или когда подпрыгивал, или когда бежал с Южной на Северную башню. Его посещали видения обычных шагов, сделанных без особой помпы. Те воспоминания казались совершенно подлинными, никогда не затуманивались.

Сразу после прогулки его охватила жажда. Он мечтал о глотке воды и думал, как бы убедить всех этих людей снять канат: оставлять его в натянутом состоянии опасно. Он сказал: «Надо убрать проволоку». Копы решили, что он смеется над ними. Им невдомек. Канат мог натянуться на ветру, разорваться, снести кому-нибудь голову. Его оттолкнули к центру крыши. «Пожалуйста!» — умолял он. И испытал невероятное облегчение, увидев, как рабочий подходит к катушке, чтобы ослабить натяжение

проводки. Усталость вернулась, украдкой вползла в тело, заполнила жилы.

Когда он, уже скованный наручниками, покидал комплекс башен-близнецов, собравшиеся зрители встречали его радостными воплями. Его вели двое полицейских, сопровождаемые репортерами, телекамерами, людьми в строгих костюмах. Щелкали вспышки.

На посту управления охранными службами Всемирного торгового центра он подобрал скрепку, так что открыть наручники оказалось не сложно: те щелкнули от небольшого бокового давления. Он помахал рукой, не сбавляя шага, поднял руку вверх под общие овации. Прежде чем полицейские успели сообразить, что произошло, он вновь защелкнул наручники на заведенных назад запястьях.

— Умник, блин, — выругался коп в чине сержанта, пряча скрепку в карман. Впрочем, в голосе сержанта звучал и восторг: всю оставшуюся жизнь он будет рассказывать об этой скрепке.

Канатоходец миновал ограждение, выставленное на площади. Полицейский автомобиль ждал его у подножия ступеней. Странно было снова вернуться в этот мир: щелканье каблуков, крики продавца хот-догов, далекие звонки телефона-автомата.

Остановившись, обернулся посмотреть на башни. Он даже отсюда мог различить свой канат — его медленно, осторожно втягивали, вместе с цепью, веревкой и рыболовной леской. Это было похоже на детскую игру в «волшебный экран», только теперь затирали само небо: линия исчезала с серебристого полотнища, песчинка за песчинкой. И в итоге не осталось совсем ничего, только ветер.

Они толпились вокруг, выкрикивая вопросы. Им хотелось услышать имя, выяснить причины его поступка, получить автограф. Он стоял неподвижно, глядя вверх, воображая, что могли видеть зрители, где пролегала линия, разрезавшая небо напополам. Журналист в белой кепке крикнул: «Зачем?» Но слова отказывались сложиться в ответ: ему не нравился вопрос. Башни всего-навсего стояли здесь. Они тут. Одного этого достаточно. Ему хотелось спросить журналиста, зачем тот спрашивает «Зачем?». В сознании всплыл давно забытый детский стишок, монотонная дробь: *зачем, за тем, зачем, за тем*.

Он почувствовал легкий толчок в спину. Кто-то потянул за плечо. Он отвернулся от башен, и его повели к машине. Коп положил ладонь ему на голову: «Забирайся, дружок». Его, все еще в наручниках, бережно опустили на твердое кожаное сиденье.

Фотографы уtkнули линзы объективов в окна. По стеклам растеклись ослепившие его вспышки. Щурясь, он отвернулся в сторону. Новые

вспышки. Он стал смотреть прямо вперед.

Включилась сирена. Все вокруг озарилось красно-синим завыванием.

Книга третья

Зубчик шестеренки

Представление началось вскоре после ланча. Коллеги-судьи, и судебные приставы, и репортеры, и даже стенографистки уже обсуждали новость, словно та относилась к обычным происшествиям, иногда оживляющим этот город. Будто настал один из тех выходящих-за-рамки дней, которые позволяют хоть иногда вырваться из трясины дней обыкновенных, ничем не примечательных. Так уж заведено в Нью-Йорке. Время от времени город вытрясает из себя душу. Бросает в лицо своим жителям гротескную перчатку в виде образа, или ситуации, или преступления — что-то до такой степени кошмарное или прекрасное, что человеку не под силу полностью осознать событие, остается только недоверчиво качать головой.

На этот счет у него имелась собственная теория. Все это случалось, а затем повторялось снова, поскольку город не интересовался историей. Подобные странные вещи происходили именно потому, что город не испытывал должного пietета к прошлому. Существовал в некоем ежедневном настоящем. Город не покоился на вере в славное прошлое, в отличие от Лондона или Афин, и не считал себя форпостом Нового Мира, вроде Сиднея или Лос-Анджелеса. Нет, этот город плевать хотел на свои корни. Однажды ему попалась на глаза футболька с надписью: *Город бля Нью-Йорк*. Будто других городов, кроме него, не было и не будет.

Нью-Йорк продолжал двигаться вперед исключительно потому, что чихать ему хотелось на оставленное позади. Он был подобен городу, покинутому Лотом: он рассыплется в прах, стоит только оглянуться. Два соляных столпа, Лонг-Айленд и Нью-Джерси.

Он часто повторял жене, что в этом городе прошлое не задерживается. Вот почему здесь не так уж много памятников. Нью-Йорк не похож на Лондон, где на каждом углу то военный мемориал, то вырезанный в камне исторический деятель. Во всем Нью-Йорке он смог бы отыскать всего около десятка настоящих статуй, и большинство — в Централ-парке, вдоль Аллеи литераторов, хотя кому в наши дни охота в Централ-парк? Потребуется поддержка танковой дивизии, только чтобы пройти мимо сэра Вальтера Скотта. На других известных перекрестках, вдоль по Бродвею или Уолл-стрит, по диаметру Грейси-сквер, например, никто не удосужился позаботиться о сохранении исторической памяти. К чему старания? Статую не съешь. Памятник не трахнешь. Выжать миллион долларов из куска меди

тоже не получится.

Даже здесь, на Сентр-стрит, практически не осталось памятных знаков, которые бросались бы в глаза. Ни фигуры Правосудия с повязкой на глазах. Ни великих мыслителей, завернутых в тоги. Ни даже вырезанной над гранитными колоннами уголовного суда надписи: *Не слышу зла, не вижу зла, не говорю зла.*^[134]

В частности, поэтому судья Содерберг посчитал выступление канатоходца над городом шагом поистине гениальным. Живой памятник. Своим поступком этот человек превратил себя в статую, только в типично нью-йоркскую, на краткий миг явившуюся высоко в небе и затем пропавшую. В статую, которой не было дела до истории. Циркач поднялся на башни Всемирного торгового центра, самые высокие в мире, и натянул между ними свой канат. Башни-близнецы. Каков выбор! Такие дерзкие. Такие зеркальные. Устремленные вперед. Само собой, чтобы расчистить место для башен, Рокфеллерам пришлось снести парочку зданий в неоклассическом стиле, равно как и несколько других исторических строений, — Клэр возмутилась, прочтя о таком вандализме, — но по большей части в них размещались затрапезные магазины электротоваров да дешевые лавочки, где люди с хорошо подвешенными языками сбывали прохожим всевозможную дребедень: картофелечистки, фонарики со встроенным радио да музыкальные «снежные шары». Там, где прежде орудовали эти мошенники. Портовое управление поставило два высиявших над городом, доставших до неба маяка. Их стеклянные грани отразили небо, ночь, многоцветие; прогресс, идеал красоты, капитализм.

Содерберг был не из тех, кто сидит сложа руки, стеная об ушедших временах. Город же — больше, чем все его здания и люди, их населяющие. У него немало своих нюансов. Город с готовностью принимал все, что уготовила судьба: преступность, и насилие, и редкие проблески добра, сквозившие из повседневности.

Он заключил, что канатоходец, по всей видимости, задолго обдумал свое выступление. Не просто так погулять вышел. Канатоходец делал заявление собственным телом, и если б он упал... ну что ж, значит, упал бы, — но, выжив, делался памятником, не изваянным в камне или отлитым в бронзе, одним из тех нью-йоркских монументов, которые заставляют людей переспрашивать друг у друга: *Представляете?* И непременно с бранным присловьем. В настоящей нью-йоркской фразе без такого никак не обойтись. Даже в устах судьи. Сам Содерберг не был любителем соленых выражений, но мог оценить их по достоинству, когда те приходились к месту. Человек идет по канату в ста десяти этажах от земли, вы себе, бля,

представляете?

* * *

Содерберг едва разминулся с канатоходцем. Его эта мысль сильно расстроила, но так уж вышло: он пропустил выступление, опоздал на считанные минуты, секунды даже. Прибыл в центр города на такси. Водителем был угрюмый чернокожий, которого не веселил даже грохот музыки в колонках. Запах марихуаны в салоне. Если вдуматься, омерзительно — приличные нью-йоркские таксисты, видимо, перевелись. Опрятность и предупредительность ушли в прошлое. Растафарианская музыка в восьмиканальнике. Таксист высадил его у заднего фасада дома номер 100 по Сентер-стрит. Содерберг прошел мимо офиса окружного прокурора, остановился у запертой металлической дверцы сбоку — единственной уступки их расположению, отдельного входа в здание, устроенного специально, чтобы судьям не приходилось пробиваться через толпу посетителей на парадной лестнице. Дверь не слишком потайная, да, в сущности, и не такая уж это привилегия. Отдельный вход требовался судьям, чтобы какому-нибудь идиоту не взбрело в голову разобраться по-своиски. Впрочем, дверца нравилась Содербергу: тайный проход в храм правосудия.

У двери он быстро оглянулся по сторонам. В окнах верхних ярусов соседнего здания несколько человек глазели на запад, указывая на что-то пальцами, но судья не придал значения: ну и что, очередная авария или другое утреннее происшествие. Отпер дверь своим личным ключом. Ему стоило только обернуться и хорошоенько взглянуться в фигуры зевак, тогда, возможно, любопытство заставило бы его по прибытии наверх самому выглянуть в окно и стать свидетелем далекого спектакля. Но он лишь вошел, вновь запер замок, вызвал лифт, подождал, пока не раздвинутся аккордеонные мехи его дверей, и поднялся на четвертый этаж.

Прошел по коридору, аккуратно ступая черными туфлями «на каждый день». Темные стены с глубоко въевшимся запахом грибка. Скрип подметок в тишине. Вокруг витала летняя меланхолия. Его кабинет в дальнем конце коридора — комната с высоким потолком. Когда он впервые надел судейскую мантию, пришлось делить с коллегой закопченную коробку, которая не подошла бы и чистильщику обуви. Он был в смятении от того, как обращались с ним и с его коллегами. Мышиный помет в ящиках стола. Стены, отчаянно нуждавшиеся в покраске. Шуршавшие на подоконнике

тараканы — так, словно им тоже не терпелось вырваться отсюда. Но прошло пять лет, и его перевели в новое помещение. Нынешний кабинет не настолько убог, да и к нему самому начали проявлять чуточку больше уважения. Рабочий стол красного дерева. Хрустальная чернильница. Фотография в рамке — Клэр и Джошуа на морском берегу во Флориде. Намагниченный держатель для канцелярских скрепок. На высоком древке за спиной судьи, у окна, звездно-полосатое полотнище, которое иногда шевелилось на ветерке. Не самый роскошный кабинет в мире, но ему хватало. Кроме того, Содерберг не из тех, кто станет жаловаться на подобные мелочи, этот порох он держал сухим на случай, если тот действительно потребуется.

Клэр купила ему новенькое вращающееся кресло, с глубокими ямами в коже отделки, и он полюбил этот момент — каждое утро, первым делом, — когда усаживался и крутился в нем. Длинные ряды книг на полках. Сборники решений комиссии по апелляциям, отчеты апелляционного суда, нью-йоркские приложения. На отдельной полке — полное собрание Уоллеса Стивенса, подписанное автором. Выпускной фотоальбом Йельского университета. На восточной стене — копии всех дипломов. У двери — карикатура из «Нью-Йоркера» в аккуратной рамочке: Моисей на горе, с десятью заповедями, а в толпе внизу два юриста. *Нам повезло, Сэм! Ни слова об обратном действии!*

Он включил кофеварку, развернул на столе свежий номер «Нью-Йорк таймс», вытряс из пакета пару порций сливок. Полицейские сирены. Их вой неслышно преследовал Содерберга на протяжении всего рабочего дня.

Деловой раздел он успел просмотреть уже до середины, когда дверь со скрипом отворилась, впуская еще одну сияющую лысину. Едва ли справедливо, но в коридорах юстиции ощущалась заметная нехватка волосяного покрова. И это не просто тенденция, это факт. Все вместе — плешивая команда. С самого начала судебной практики их преследовала эта фантомная боль: линия волос на голове каждого неуклонно отступала назад. Оракулам не хватало фолликул.

— Здорово, старина.

Широкое лицо судьи Поллака горело. Глаза — блестящие металлические шайбы. Смахивает на рыбью-молот. Поллак бубнил о каком-то человеке, подвесившем веревку между башнями. Содерберг сначала решил, что речь идет о суициде, кто-то повесился, спрыгнув со строительного крана или какой-то подобной конструкции. В ответ кивнул и лишь перевернул газетную страницу; сплошь Уотергейтский скандал, и где же тот Мальчик-с-Пальцем,^[135] когда он так нужен? Он даже не замедлил

отпустить сомнительную, если вдуматься, шутку: на этот раз Дж. Гордон Лидди^[136] заткнул пальцем не ту дырку, — вот только шутка вылетела у Поллака в другое ухо. Ох уж этот Поллак, кусочек сыра на манишке черной судейской мантии, изо рта — белые брызги слюны. Воздушный десант. Содерберг откинулся на спинку кресла и уже собирался указать коллеге на беглые остатки завтрака, когда тот упомянул вдруг шест-балансир и натянутый канат. Картина начала проясняться.

— Как, как?

Человек, о котором рассказывал Поллак, отнюдь не повесился; напротив, он прошел между башнями. Мало того, он ложился на канат. Подпрыгивал. Танцевал на нем. Он буквально перебежал по нему над пропастью между зданиями.

Содерберг повернулся вместе с креслом на решительные девяносто градусов, распахнул занавески и попытался что-то разглядеть. Взгляд зацепил уголок Северной башни, но остальная картина оказалась блокирована другими домами.

— Короче, ты все пропустил, — поставил точку Поллак, завершая рассказ.

— Делалось официально, так ведь?

— Что, прости?

— С разрешения властей? Реклама?

— Нет, конечно. Этот малый забрался туда еще ночью. Натянул проволоку и вышел прогуляться, а мы смотрели с верхнего этажа. Нам охранник сказал.

— Он вломился во Всемирный торговый центр?

— Псих, по-моему. А ты как считаешь? Ему самое место в Бельвию.

— Как ему удалось натянуть канат?

— Без понятия.

— Арестован? Его арестовали?

— Разумеется, — фыркнул Поллак.

— Номер участка?

— Первый, старина. Интересно, кому он достанется?

— Сегодня я слушаю предъявление обвинений.

— Везунчик, — вздохнул Поллак. — Проникновение на режимный объект.

— Злонамеренное нарушение общественного порядка.

— Самовозышение, — заулыбался Поллак.

— Глядишь, денек задастся.

— Заряди щелкоперов.

— Борзости хватит.

Содерберг и сам не был уверен, что в точности подразумевает под словом *борзость* — удаль или скудоумие. Подмигнув, Поллак по-сенаторски махнул ему рукой, громко хлопнул дверью.

— У даль, — сказал Содерберг закрытой двери.

Но просвет и верно намечается, подумалось ему. Лето стояло жаркое и напряженное, и столько было смертей, предательств, поножовщины, и ему необходимо слегка развлечься.

Заседания по предъявлению обвинений шли только в двух залах, — стало быть, у Содерберга был пятидесятпроцентный шанс получить дело. Обвиняемого требовалось доставить в срок. Могли протащить канатоходца по-быстрому — если, конечно, сочтут всю историю заслуживающей освещения в печати. В таком случае могут сделать все, что захотят. Утрясти все в считанные часы. Снять отпечатки пальцев, допросить, олбанизировать^[137] — и с рук на руки. Приведут прямо сюда, где обвинят в совершении мелкого правонарушения. Возможно, и сообщников вместе с ним. Что заставило Содерберга задуматься — как, черт возьми, канатоходец умудрился протянуть кабель с одной крыши на другую? Канат-то должен быть стальным, ну? Как он его перекинул-то? Не веревка же, точно? Веревка не удержала бы человека на таком расстоянии. Как тогда тяжелый железный канат оказался натянут между башнями? Вертолетом? Краном? Может, как-то через окна? Или он спустил один конец вниз, чтобы затем подтянуть с другой стороны? Содерберг просто дрожал от радостного предвкушения. Время от времени ему доставалось отменное дело, заряд на весь день. Изюминка. Нечто, достойное обсуждения в городских кулуарах. Но что, если дело окажется по другую сторону коридора? Если он его не получит? Пожалуй, стоило бы переговорить с окружным прокурором и судебными секретарями — потихоньку, разумеется. В судебных палатах существовала целая система взаимных услуг. *Уступи канатоходца, за мной не заржавеет.*

Он забросил ноги на стол и допил кофе, размышляя о предстоящем дне, с перспективой в кой-то веки выслушать обвинение, которое не покажется тоской смертной.

Надо признать, большинство дней были губительны. Приливная волна билась о его судейский стол, а затем откатывалась к дверям. И все эти люди оставляли после себя наносные отложения. Теперь он уже был готов воспользоваться словом *отбросы*. А ведь в прежние времена и в голову бы не пришло. Но увы, как правило, именно таковы они и были, как ни горько признать. *Отбросы*. Грязный прибой, наступающий на берега и

оставляющий после себя шприцы, пластиковые пакетики, окровавленные майки, кондомы и сопливых, неумытых детей. Он имел дело с худшими из худших. Многие знакомые считали, что он живет в некоем подобии лоснящегося полировкой рая, занимает идеальную позицию с прекрасными перспективами, хотя, по сути дела, не считая репутации, работа была так себе. Она изредка могла обеспечить неплохой столик в дорогом ресторане, чему семейство Клэр радовалось нескованно. На вечеринках гости оживлялись. Выпрямляли спины, расправляли плечи в его присутствии. Начинали выбирать слова. Не повод торжествовать, но все же лучше, чем ничего. Время от времени вырисовывалась возможность получить повышение, одолеть несколько ступеней до палат Верховного суда, но пока — никаких серьезных подвижек. В конечном итоге многое сводилось к приземленности, к рутине. К бюрократическим играм.

В Йельском университете, когда Содерберг был еще молод и упрям, не приходилось сомневаться, что он станет осью вращения мира, оставит неизгладимый след. Подобные мысли свойственны юным. Это почти определение молодости — вера в свое предназначение. В след, который обязательно оставишь в истории. Впрочем, рано или поздно каждый становится умнее. Занимает небольшую нишу, обустраивается в ней. Хорошенько использует отведенное время. Приходит домой к любящей жене и помогает ей успокоить нервы. Усаживаясь, непременно хвалит расстановку столовых приборов. Благодарит судьбу за полученное супругой наследство. Выкуриивает хорошую сигару и надеется время от времени покататься вместе с любимой в шелковых простынях. Покупает ей красивые украшения в «Де Наталес» и целует в лифте, потому что она по-прежнему прекрасна, хорошо сохранилась, несмотря на бегущие мимо годы, чистая правда. И каждый день целует ее снова, уходя на работу, и вскоре понимает, что боль утраты далеко не так остра, как у всех окружающих. Скорбит по погившему сыну и просыпается среди ночи рядом с плачущей женой, идет на кухню, делает себе сэндвич с сыром и думает: ну что ж, по крайней мере, это сэндвич с сыром на Парк-авеню, могло быть и хуже, все могло кончиться значительно хуже. И вздох облегчения служит ему наградой.

Адвокаты и прокуроры знали истину. Судебные приставы тоже. И другие судьи, разумеется. Здание суда на Центр-стрит было деревенским сортиром. Они так его и называли: *сортир*. Когда случайно сталкивались по работе. *Как там сегодня сортир, Эрл? Я оставил портфель в сортире.* Они даже превратили это прозвище в глагол: *Ты завтра сортирничаешь, Томас?* Как бы ни претило признавать это, даже мысленно, но такова

истина. Себя он представлял стоящим на перекладине деревянной лестницы: хорошо одетый мужчина, привилегированная персона, обладающая безупречными манерами и обширными знаниями, в черной мантии, во дворце правосудия, голыми руками тащит гниющие листья и ветки из недр выгребной ямы.

Это уже не так беспокоило его, как прежде. Дело в том, что он был частью системы. Теперь он уверен. Крошечным кусочком шкуры громадного, сложного существа. Зубчиком шестеренки, приводившим в движение целый набор других рычагов. Может статься, это просто подступающая старость. Перемены оставляешь поколениям, идущим на смену. Вот только следующие поколения разлетаются в клочья во вьетнамском кафе, а ты тянешь свою лямку, обязательно надо тянуть, потому что, даже если их больше нет с нами, о них все еще можно помнить.

В молодости Содерберг примерялся к позиции бунтаря-одиночки, порвавшего с традиционным укладом жизни еврея, и, хотя давно перестал быть бунтарем, отказывался сдаваться на милость победителя. Признав поражение, прекратив борьбу и тем самым погрешив против истины, он не смог бы и дальше уважать себя.

Когда, давно минувшим летом шестьдесят седьмого, ему предложили место судьи, он решил, что на новой должности будет являть собой образец добродетели. Нет, он не станет просиживать штаны, на новом поприще он добьется успеха и признания. Он свернул прежнюю работу и не дрогнул от уменьшения заработка на пятьдесят пять процентов. Они с Клэр уже отложили немалую сумму, их текущие счета были в полном порядке, наследство оказалось значительным, а Джошуа успел обустроиться в Пало-Альто. Даже если сама мысль о том, чтобы стать судьей, явилась полной неожиданностью, она пришла к нему по сердцу. В начале карьеры он провел несколько лет в офисе федерального прокурора и от работы отнюдь не увиливал, трудился и в государственной налоговой комиссии, где приобрел репутацию и продвинулся, сойдясь с нужными людьми. В свое время занимался сложными делами, твердо отстаивал позицию, нащупывал баланс. Написал передовицу для «Нью-Йорк таймс», в которой исследовал правовой статус призывников-уклонистов и аспекты психологии страны, где военная служба осуществляется по призыву. Изучив предметы морали и конституционных прав, в итоге твердо высказался в поддержку военных. На вечеринках, что устраивались на Парк-авеню, Содерберг встречал мэра Линдсея, [\[138\]](#) но знакомство оставалось шапочным, и, когда речь зашла о назначении, он решил, что его разыгryвают. Повесил трубку. От души посмеялся. Телефон зазвонил снова. *Вы хотите, чтобы я сделал что?*

Разговор зашел и о дальнейшем повышении: сначала на пост исполняющего обязанности судьи в Верховном суде Нью-Йорка, а потом — кто знает? Оттуда все дороги по-прежнему открыты. Многие из назначений буксовали, пока перед городом брезжила перспектива банкротства, но Содерберга это не смущило, как-нибудь выкрутимся. Он был человеком, свято верившим в абсолютную власть закона. Ему будет дано взвешивать и рассекать, размышлять и проводить изменения, он наконец сможет хоть что-то вернуть городу, в котором родился. Содербергу всегда казалось, что свой город он обходит стороной, чиркает по самому краю, и вот теперь он был готов принять урезанную чуть ли не вдвое плату, чтобы отважно броситься в самые недра, в самую сердцевину городской жизни. Дух закона впрямую подвластен чтению его буквы; всем нам свойственно совершать порой глупейшие ошибки. Содерберг верил утверждению, гласившему: даже если закон выбит в камне, это еще не означает, что его ни в коем случае не следует менять. Закон станет его работой. Предметом исследования. Содерберга не столько интересовали возможные способы прочтения буквы закона, сколько единственно верный вариант. Он спустится в этот угольный рудник. Он станет одним из самых уважаемых горняков, разрабатывающих жилу морали. Достопочтенный Солomon Содерберг.

Даже имя звучало весомо. Пускай его использовали как пушечное мясо юстиции, как замазку для зияющих щелей системы, Содерберга это не особенно беспокоило: нет худа без добра. Как мудрый раввин, он станет руководствоваться соображениями блага, будет внимателен и заботлив. И потом, всякого юриста только пальцем ковырни — и найдешь судью.

В свой первый рабочий день он вступил во дворец правосудия с пылающим в груди сердцем. Через парадный вход. Хотел насладиться величием момента. Он явился в новом, пошитом у модного портного с Мэдисон-авеню костюме. В галстуке от «Гуччи». В кожаных ботинках с кисточками. Подходя к зданию суда, был исполнен предвкушения. Над широкими позолоченными дверьми виднелись выбитые слова: *Народ есть фундамент власти*. Задержавшись на миг, он вдохнул в себя все это. Холл внутри был наполнен движением. Осведомители, репортеры и адвокаты в поисках клиентов. Мужчины в малиновых ботинках на «манной каше». Женщины, тянувшие за собою детей. Бродяги, похрапывающие в альковах окон. С каждым новым шагом Содерберг ощущал, как сердце опускалось все ниже. На какую-то минуту могло показаться, что здание еще способно удерживать надлежащую атмосферу — высокие потолки, старые деревянные перила, мраморный пол, — но чем больше он осваивался в

нем, тем сильнее падал духом. Залы судебных заседаний были даже хуже, чем ему помнилось. Бродил по этажам, потерянный и разочарованный. На стенах коридоров красовались граффити. Люди покуривали на задних скамьях прямо по ходу судебного процесса. В уборных обсуждались сомнительные сделки. На локтях обвинителей зияли дыры. Всюду шныряли продажные полицейские в поисках наживы. Подростки обменивались замысловатыми рукопожатиями. Отцы рядом с дочерьми-героинщицами. Рыдающие матери с длинноволосыми сыновьями. Красная кожаная обивка дверей крупнейшего зала заседаний изрезана бритвой. Адвокаты бегали по коридорам с истрепанными портфелями в руках. Содерберг невидимкой проскользнул мимо всего этого люда, на лифте поднялся наверх, придинул стул к новому рабочему месту. И сразу наткнулся на засохший комок жевательной резинки, прилепленный к ящику стола.

Только спокойствие, сказал он себе. Очень скоро он все это изменит. Справится. Повернет реку вспять.

Однажды вечером он упомянул о своем намерении при всех, на вечеринке в честь выхода Кеммерера на пенсию. По комнате прокатилась волна смешков. Так говорит Соломон, заметил кто-то из унылых законников. Рубите младенца, ребята. Общий смех и звон бокалов. Другие судьи уверили его, что когда-нибудь он свыкнется, узрит свет в тоннеле, — и не в конце его, а в самом тоннеле, не имеющем выхода. В служении закону главное — терпимость. Дураков следует принимать такими, какие они есть. Это в порядке вещей. Время от времени требуется прикрывать глаза шорами. Ничего, он еще научится проигрывать. Такова цена успеха. Поди попробуй, убеждали они. Попрешь против системы, Содерберг, и кончишь в дешевой пиццерии где-нибудь в Бронксе. Будь осмотрителен. Играй по правилам. Держись поближе к нам. И если он считает, что в Манхэттене плохо живется, пусть отправляется туда, где пылают настоящие костры, в пресловутый «американский Ханой» в конце 4-го маршрута, где каждый божий день в своем соку варятся отвратнейшие персонажи городских низов.

Долгие месяцы он отказывался верить, но постепенно к нему пришло понимание их правоты: он угодил в расставленные системой силки, стал ее частью, вернее говоря, деталью ее всесильного Механизма.

Стольким обвиняемым удавалось уйти от ответа! Их вытаскивала защита, или же он сам назначал им наказание в виде уже отбытого под стражей срока — просто чтобы разгрести завалы. Приходилось выполнять норму. Нести ответственность перед надзирающими инспекторами в

кабинетах этажом выше. Тяжкие преступления списывались как мелкие проступки. Еще один вид сноса — хочешь не хочешь, а кто-то должен сидеть в кабине бульдозера. Его судили по тому, как судил он сам: чем меньше работы подбрасывал своим коллегам наверху, тем чаще они улыбались при встрече. От девяноста процентов дел — даже если речь шла о серьезных правонарушениях — следовало избавляться. Содербергу хотелось добиться обещанного повышения, о да, но даже эта мысль не могла избавить его от чувства, что весь идеализм, какой у него только был когда-то, оказался скомкан и запрятан в недра черной судейской мантии; теперь, и перерыв ее всю, он не сумел бы найти пропажу, даже за подкладкой.

Пять раз в неделю он прибывал в дом 100 по Сентр-стрит, надевал мантию и блестящие от ваксы ботинки, подтягивал носки на икрах и по мере сил пытался вносить свою лепту в дело справедливости. Тут все сводилось, как он понимал, к верному выбору соперника. При желании он мог бы вести в день десяток решительных сражений или даже больше, стоило только захотеть. Он мог бы стронуть с места всю систему. Он мог бы выписывать людям, уродующим стены граффити, по тысяче долларов штрафа, чтобы те никогда не рассчитались за причиненный ущерб. Или мог бы приговаривать юных бездельников, жгущих костры на Мотт-стрит, к полугодичному тюремному сроку. Наркоманов мог бы отправлять за решетку хоть на год. Сковывать их по рукам и ногам жесткими условиями поручительства. Но, как он прекрасно знал, бумеранг вернулся бы к бросавшему. Все эти люди отказались бы признать себя виновными. И тогда в зачинщика закупорки судебной системы полетел бы увесистый том свода законов. Магазинные воришки, чистильщики обуви, попрошайки у гостиниц, наперсточники — все они в итоге заявили бы: *Невиновен, ваша честь*. И тогда город бы захлебнулся. Сточные канавы вспенились бы. Тротуары сделались бы непроходимым болотом. А кто виноват? Судья Содерберг.

В худшие минуты он думал: я рабочий-ремонтник, я привратник, я никуда не годный вышибала. Сидя в одном из залов суда, он наблюдал за парадом преступников, шагавших внутрь и наружу, поражаясь тому, до чего дошел город под его надзором, какими отвратительными стали его повадки. Этот город поднимал младенцев за волосы, он насиловал семидесятилетних старух, он поджигал скамейки, на которых спали влюбленные, и еще — он совал за пазуху шоколадки, он безжалостно крошил ребра, он позволял демонстрантам-пацифистам плевать в лица копов, а профсоюзам — помыкать собственным начальством, да еще мафия

захватила власть над набережными, отцы тушат сигареты о дочерей, драки в барах окончательно выходят из-под контроля, и вот уже бизнесмены в дорогих костюмах мочатся на стену Вулворт-билдинга, а вооруженные грабители стригут мелочь с убогих закусочных, и людей убивают целыми семьями, и пациенты дробят черепа санитарам «скорой помощи», и наркоманы колют героин под языки, и мошенники проворачивают аферы, в которых старики теряют все сбережения, и продавцы никак не научатся отсчитывать верную сдачу, и мэр врет напропалую и ни разу не поморщится, в то время как целый город уже догорает, готовясь к собственным скромным похоронам: дымящееся пепелище и преступность, преступность, преступность...

Судья Содерберг стоял дозором над своей сточной канавой, и ни одна мерзость, случившаяся в городе, не ускользала от его глаз. Все равно что бороться с липкими отложениями на стенках: если наблюдать достаточно долго, слив забывается грязью, сколько бы ты ни чистил, как бы ни старался.

Все эти тушицы без перебоя доставлялись в Могильники из своих круглосуточных варьете, стриптиз-баров, шоу уродцев, магазинов приколов, мотелей-клоповников — и время, проведенное за решеткой, лишь закаляло их. Однажды, сидя за судейским столом, Содерберг своими глазами видел, как таракан в буквальном смысле выбрался из кармана обвиняемого, заполз ему на плечо и побежал по шее. Осознав, что происходит, обвиняемый просто стряхнул насекомое и как ни в чем не бывало продолжил свой монолог о раскаянии. Виновен, виновен, виновен. Практически все они объявляли себя виновными и в награду получали приговор, с которым могли ужиться, довольствовались уже отбытym сроком, сплевывали мизерный штраф, чтобы преспокойно вернуться к привычному разгулу. Самодовольным, кичливым шагом они удалялись за двери, чтобы не вспоминать о раскаянии и, вновь совершив прежнюю глупость, оказаться в суде всего неделю или две спустя. Это ввергало Содерберга в состояние непрерывного смятения. Он купил себе эспандер для разработки пальцев, который умещался в кармане. Он просовывал руку в прорезь на мантии и доставал его из кармана пиджака: две деревянные ручки на пружинах, которые он незаметно сжимал под своим одеянием. Оставалось только надеяться, что никто не видит. Конечно, эту лихорадочную активность можно было понять неверно: судья копошится под мантией! Но она успокаивала его по мере рассмотрения все новых дел, помогала выполнить дневную норму. Система считала героями судей, которым удавалось избавиться от большинства рассматриваемых дел за считанные секунды. Открыть шлюзы! Пусть убираются вон.

Всякий, кто крутился поблизости, кто так или иначе был задействован в системе, получал свою порцию. Тяжкие преступления направлялись к обвинителям — изнасилования, убийства, поножовщина, грабежи. Молодые, неопытные заместители окружного прокурора бывали потрясены списками чудовищных актов насилия, которые им вручались. Приговоры направлялись к судебным приставам; те были похожи на разочарованных копов и порой позволяли себе неодобрительно свистеть сквозь зубы, если судья не проявлял должной строгости. Невнятное бормотание обвиняемых ловили судебные репортеры. Очевидная тяжесть ложилась на плечи бесплатных защитников. Условиями освобождения занимались надзирающие инспекторы. Вульгарные выходки недоумков исследовали судебные психологи. Оформление бумаг поручалось копам. Штрафы — сколь бы ничтожны те ни были — выписывались осужденным. Небольшими суммами залога занимались профессиональные поручители. Все эти люди кружились в одном водовороте, и работой Содерберга было сидеть в самом центре, раздавая каждому свое и нашупывая справедливый баланс между добром и злом.

Добро и зло. Лево и право. Верх и низ. Он представлял себя замершим в вышине, на краю зияющей пропасти, чувствующим слабость и дурноту, безотчетно глядящим вверх.

Одним полновесным глотком Содерберг прикончил кофе. Сливки придавали напитку дешевый привкус.

Сегодняшний канатоходец должен достаться ему — ни тени сомнения.

Он набрал номер кабинета окружного прокурора, но никто не спешил снять трубку. Взглянув на маленькие настольные часы, он понял, что час утренней чистки конюшен уже пробил.

Содерберг устало поднялся с кресла, но заулыбался, направляясь к двери по вышарканной на полу прямой линии.

* * *

Ему нравилось носить летом тонкую черную мантию. Та была немного потерта на локтях, но ничего, зато она дышала и не тяготила. Он подобрал регистрационные книги, сунул их под мышку, бегло оглядел свои раздавшиеся черты в зеркале: сеточка кровяных сосудов на лице, запавшие глазницы. Пригладил несколько последних волосков на макушке и степенно прошел по коридору мимо лифта. Пружилистым шагом сошел по лестнице. Мимо стайки надзирателей и чиновников службы probation, в

задний вестибюль зала судебных слушаний по предъявлению обвинения «1-А». Худшая часть всего путешествия. В задней части здания располагались камеры, где держали заключенных под стражу. Чистилище, как тут их называли. Верхние камеры предварительного заключения растянулись на полквартала. Решетки, выкрашенные кремово-желтой краской. Воздух, спертый из-за телесных запахов. Судебные приставы распыляли за день по четыре баллончика с освежителями.

Вдоль ряда камер располагалось предостаточно полицейских и судебных приставов, и преступникам хватало ума держать язык за зубами, когда он проходил мимо. Шел быстро, с опущенной головой, и служители закона расступались перед ним.

- Доброе утро, судья.
- Отличные ботинки, ваша честь.
- Рад встрече, сэр.

Короткий кивок каждому, кто приветствовал его. Поддерживать демократичную прохладцу, без каких-либо исключений, было крайне важно. Отдельные судьи болтали, смеялись, отпускали шуточки и сходились с этими людьми накоротко, но только не Содерберг. Он быстрым шагом миновал камеры и вышел за деревянные двери — в объятия цивилизации или ее жалких останков, к своей темной деревянной кафедре, микрофону и лампам дневного света, взбежал по ступенькам к своему возвышенному рабочему месту.

На Бога уповаem.^[139]

Утро спешило своим чередом. Сетка слушаний забита до отказа. Весь обычный набор. Вождение с просроченными правами. Оскорбление и угрозы в адрес полицейского при исполнении. Непристойное поведение в общественном месте. Одна женщина хватила ножом по руке своей тетки, потянувшейся за социальными талонами на продовольствие. Одного тупоголового парня удалось склонить сознаться в угоне машины. Один мужчина получил срок общественных работ за глазок, который он встроил в половицы, чтобы наблюдать за соседкой снизу. Чего не знал Любопытный Том,^[140] так это того, что дамочка развлекалась тем же и давно соорудила собственный глазок: она подглядывала за тем, как этот тип подглядывал за ней. Бармен повздорил с клиентом, дошло до рукоприкладства. Убийство в Чайна-тауне немедленно отправилось выше — условия залога установлены, и делу конец.

Все утро напролет он уговаривал и негодовал, высмеивал и заискивал.

— Так имеется ли у вас на руках непогашенный ордер?

— Скажите напрямик, вы ходатайствуете или нет?

— Просьба о снятии обвинения удовлетворена. Отныне будьте друг с другом повежливей.

— Срок заключения отбыт!

— Переходите же к сути заявления, с вами с ума сойдешь!

— Офицер, вы можете сказать толком, что произошло? Чем он там занимался, на тротуаре? Жарил курицу?! Вы издеваетесь надо мной?

— Устанавливается общая сумма залога в две тысячи долларов. Тысяча двести пятьдесят долларов наличными.

— Какая встреча, мистер Феррарио! В чей карман вы залезли на сей раз?

— Вы на предъявлении обвинения, защитник, а не в Шангри-Ла.[\[141\]](#)

— Освободить обвиняемую под собственное поручительство.

— Эти жалобы не указывают на состав преступления. Дело закрыто!

— Кто-нибудь здесь слышал о приоритете очередности выступлений?

— Не возражаю против домашнего ареста.

— Ввиду раскаяния обвиняемого суд снижает степень тяжести совершенного проступка.

— Срок заключения отбыт!

— Думаю, самолюбование клиента целиком на вашей совести, защитник!

— Я хочу услышать от вас нечто более существенное, уж будьте любезны.

— Вы собираетесь растянуть свою речь до пятницы?

— Срок заключения отбыт!

— Срок заключения отбыт!

— Срок заключения отбыт!

Стольким тонкостям нужно было научиться. Пореже смотреть в глаза обвиняемому. Улыбаться еще реже. Делать вид, будто страдаешь геморроем, — это придает лицу сосредоточенное, неприкасаемое выражение. Сидеть под слегка неудобным углом — во всяком случае, чтобы со стороны угол казался неудобным. Постоянно что-нибудь царапать на бумаге. Выглядеть раввином, согнувшись над рукописью. Время от времени потирать седеющие виски. Когда не знаешь, как поступить, оглаживать темечко. Оценивать личность обвиняемого по списку его прошлых проступков. Убедиться в отсутствии в зале суда репортеров. Если они есть, дважды подчеркнуть правила поведения. Прислушиваться к голосам. Вина и невиновность — в нюансах эмоций. Не давать послаблений адвокатам. Не позволять им разыгрывать еврейскую карту.

Никогда не отвечать на обращения, произнесенные на идише. Немедленно давать отповедь льстецам. Аккуратнее работать эспандером. Быть начеку в отношении шуток о мастурбации. Никогда не смотреть на зад сидящей впереди стенографистки. Отправляясь на ланч, быть осторожным в выборе. Всегда носить при себе мятные леденцы. Неизменно видеть в своих каракулях шедевры графики. Заранее убедиться, что воду в графине поменяли. Влажные отпечатки на стакане — государственная измена. Покупать рубашки шире в воротнике как минимум на размер, чтобы потом не задохнуться.

Слушания начинались и заканчивались, дела текли своим чередом.

К концу утренней сессии он провел двадцать девять слушаний и лишь тогда поинтересовался у секретаря — судебного пристава в безупречно накрахмаленной блузке, — не слышно ли новостей о деле канатоходца. Секретарь ответила, что все только о нем и говорят, канатоходец быстро движется в недрах системы и к позднему вечеру, по-видимому, появится на слушании. Она не знала, какие в точности обвинения будут предъявлены, скорее всего, проникновение на охраняемую территорию и беспечность, угрожавшая здоровью окружающих. Окружной прокурор лично ведет с ним переговоры, сказала она. По-видимому, канатоходец покается во всем, в чем его обвинят, если предложить достаточно выгодные условия. По всему выходило, что окружной прокурор вознамерился раздуть из этой истории как можно больше шума. Старался, чтобы все прошло легко и гладко. Единственная заминка случится, если система не успеет совладать с волокитой до сессии ночного суда. [\[142\]](#)

— Значит, у нас есть шанс?

— Я бы сказала, даже неплохой. Если его протолкнут достаточно быстро.

— Великолепно. Стало быть, ланч?

— Да, ваша честь.

— Объявляется перерыв до четырнадцати пятнадцати!

* * *

Всегда можно было перекусить у Форлини, или у Сэла, или у Кармине, или у Суита, или у Неряхи Луи, или в «Дельмонико» у Оскара, но заведение Гарри казалось ему уютнее. От Сентр-стрит оно располагалось дальше всех прочих, однако расстояние не играло роли: короткая поездка на такси позволяла Содербергу расслабиться. Он вышел на Уотер-стрит,

дошел до Ганновер-сквер, встал у окон ресторана и сказал себе: *Здесь я свой!* И дело не в брокерах. Или в банкирах. Или в торговцах. Дело в самом Гарри, греке до мозга костей, с приятными манерами и неохватным радушием. Гарри одолел весь долгий путь «американской мечты» и пришел в итоге к выводу, что вся мечта состояла в достойном ланче и темно-красном вине, от которого взлетаешь. Но Гарри также мог заставить запеть и обычный стейк, выложить духовую партию завитками спагетти. Обычно он пропадал в кухне, укрощая огонь, но затем снимал передник, надевал пиджак, приглаживал волосы и выплывал в зал ресторана — стильно, с достоинством. Особенно теплые отношения у него сложились именно с Содербергом, хотя оба не могли бы сказать почему. Гарри чуть дольше задерживался с ним в баре или выуживал великолепную бутылку, чтобы вдвоем посидеть под фигурами монахов на стенной фреске, провести немного времени вместе. Потому, возможно, что во всем заведении лишь они двое не особенно интересовались биржевыми сводками. Они оба были чужаками в мире колокольного звона финансовых потоков.[\[143\]](#) О состоянии дел на рынке оба давно научились судить по уровню окружавшего их шума.

К одной из стен ресторана Гарри брокерские дома подтянули связку отдельных телефонных линий. Телефоны для парней из «Киддер», «Пибоди» — там; для «Диллон» и «Рид» — здесь; «Первый бостонский» — отдельно; за ним, в углу бара, «Бер Стернс»; у самой стены с росписями ютится «Л. Ф. Ротшильд». Тут постоянно прокручивались круглые суммы, но все это делалось элегантно, с учтивостью по отношению к окружающим. Ресторан Гарри был привилегированным клубом. Но пообедать здесь не стоило целое состояние. Человек мог войти, не опасаясь за свою бессмертную душу.

Он уселся на табурет у бара, подозвал Гарри поближе и рассказал ему о канатоходце, как этим утром он разминулся с ним, так и не видел выступления, зато молодчик арестован, и уже очень скоро система подаст его на блюде.

— Он тайком пробрался в башни, Гар.

— Значит... Умница.

— А если бы упал?

— Соломки бы никто не подстелил, Сол.

Содерберг пригубил красного вина; глубокий цельный букет поднялся по нёбу к ноздрям.

— Тут такое дело, Гар, он мог убить кого-то. Не только себя. Два человека разбились бы в лепешку...

— Эй, а мне ведь нужен хороший метрдотель. Положим, я мог бы

нанять его?

— Вполне возможно, его обвинят по дюжине статей, а то и больше.

— Тем паче. Я мог бы сделать его помощником. Он встал бы за пароварки. Лущил бы чечевицу. Мог бы нырнуть с высоты прямо в кастрюлю с супом.

Гарри глубоко затянулся сигарой и выдул облачко дыма к потолку.

— Я даже не уверен, что буду слушать дело, — сказал Содерберг. — Если не повезет, его придержат до ночной сессии.

— Ну, если его судьбой займешься ты, выдай ему мою визитку. Скажи, я угощу стейком. И подарю бутылку «Шато Кло-де-Сарпен», «Гран-Кру» шестьдесят четвертого.

— После такого он вряд ли сможет ходить по канату.

Лицо Гарри расцвело морщинками — карта возможного будущего: полнота, живость, великолодущие.

— Что такого есть в вине, Гарри?

— Ты о чем?

— Как ему удается лечить нас?

— Его делают, чтобы прославить богов и устыдить олухов. Давай-ка еще.

Они сдвинули бокалы в косом луче света, бьющего из верхнего ряда окон. Могло показаться, стоит только голову поднять — и высоко в небе увидишь нового канатоходца. В конце концов, это Америка. То самое место, где дозволяется ходить так высоко, как пожелаешь. Но что, если внизу тоже идет человек? Если канатоходец действительно упал бы? Вероятно, он мог погибнуть сам, заодно прихватив с собой добрый десяток зевак. Опасная небрежность и свобода — когда они слились в единый коктейль? Этот вопрос всегда мучил Содерберга. Закон вставал на защиту слабых и устанавливал пределы произволу власти имущих. А если слабые не заслуживают того, чтобы ходить внизу? Что, если их защита вредит всем, включая их самих? Иногда, раздумывая об этом, он чувствовал, что встает на сторону Джошуа. Такой ход мыслей не был ему приятен, он не хотел думать о сыне. Ни за что, только не об утрате, о своей страшной утрате. Боль этой потери разрывала ему сердце. Пронизывала существо. Следовало бы привыкнуть к мысли о том, что сын ушел навсегда. К этому все сводилось. По сути дела, Джошуа был стражем, хранителем истины. Он влился в армейский строй, чтобы представлять свою страну, и Клэр слегла от горя, когда он не вернулся. Да и сам Содерберг слег. Только не показывал вида. Никогда. Не было такой привычки. Он разрешал себе поплакать только в ванне, и то лишь когда бегущая вода заглушала всхлипы. Соломон,

премудрый Соломон, само хладнокровие. Бывали вечера, когда он вынимал пробку и позволял воде бежать без конца.

Порядок нарушен. Содерберг сделался сыном собственного сына — он остался жить, Джошуа опередил его.

Давно забытые мелочи обрели особую важность. Мицва^[144] маакех. Огради крышу дома своего, дабы никто не упал с нее. Он спрашивал себя, к чему, столько лет назад, было дарить сыну игрушечных солдатиков? Он изводил себя, вспоминая, что сам заставил Джошуа разучить на рояле «Знамя, усыпанное звездами».^[145] Раздумывал, не привил ли сыну, когда учил того играть в шахматы, военный склад ума. Проводи атаку по диагонали, сынок. Никогда не позволяй загнать себя в угол. Не иначе, он сам когда-то внушил мальчику подобные мысли. И все же эта война была справедливой, верной, правильной. Соломон принимал ее как есть, она несла благо. Она оберегала краеугольные камни свободного мира. Стояла за те самые идеалы, которые каждый день подвергались нападкам в его суде. Только так Америка могла защитить себя, коротко и ясно. Время убивать и время врачевать.^[146] Но порой что-то подталкивало согласиться с Клэр: война — лишь бесконечная фабрика смерти. Кто-то набивал карманы, и их сына, пусть из богатой семьи, просто-напросто послали открыть ворота, впустить денежный поток. Однако Содерберг никак не мог позволить себе подобные мысли. Ему следовало оставаться твердым, крепким, неколебимым. Он редко говорил с кем-либо о Джошуа, даже с Клэр. Если и захочет поговорить, то только с Гарри, который кое-что понимал в причастии и причастности. Впрочем, сейчас говорить об этом не стоило. Он был осторожен, Содерберг, всегда осторожен. Быть может, даже слишком, — подумалось вдруг. Порой ему хотелось сказать это вслух: *Я сын своего сына, Гарри, и моего мальчика уже нет.*

Он поднял бокал к лицу, вдохнул насыщенный, земной аромат вина. Краткий миг легкости, пусть даже легкомыслия, — вот и все, что требовалось. Минутка спокойствия и тишины. В обстановке тепла, вдали от шума. Скоротать час-другой в компании со старым другом. Или, быть может, даже позвонить в суд и сказаться больным, отправиться домой и провести остаток дня с Клэр, один из тех вечеров, когда можно просто сидеть рядом и читать, один из тех чистых моментов, которые они с женой все чаще разделяли по мере течения их брака. Он был счастлив, плюс-минус. Ему повезло, плюс-минус. Он не имел всего, чего желал, но хватало и этого. Да. Все, что нужно, это тихий вечер небытия. Тридцать с лишком лет брака не сделали сердце каменным, нет.

Еще чуточку молчания. Легкий жест в сторону дома. Положить руку на запястье Гарри и шепнуть ему на ухо всего пару слов: *Мой сын*. Только это и требовалось сказать, но зачем все усложнять?

Он поднял бокал и чокнулся с Гарри.

— Твое здоровье.

— Чтобы не падать, — сказал Гарри.

— Чтобы, упав, суметь подняться.

Содерберг перестал предвкушать появление канатоходца в суде: слишком много сил оно потребует, к чему так напрягаться. Он бы предпочел провести эти часы за длинной барной стойкой рядом с дорогим ему другом, наблюдая, как гаснет день.

* * *

— Открывается слушание о предъявлении обвинения, зал судебных заседаний «1-А». Прошу всех встать.

Голос судебного секретаря напоминал Содербергу о криках чаек. Эдакие всхлипы, окончания слов будто сносило ветром куда-то в сторону. Но слова эти призывали к молчанию, и гул в конце зала постепенно затих.

— Прошу тишины. Слушанием руководит достопочтенный судья Содерберг.

Он немедленно понял, что дело канатоходца досталось именно ему. В рядах, отведенных для зрителей, виднелись репортеры. Об их профессии сообщали характерные черты: отвисшие подбородки, другие следы неумеренности. Рубахи с открытым воротом, мешковатые брюки. Щетина на лицах, всклокоченные волосы. Более очевидной подсказкой служили блокноты с желтыми обложками, торчащие из карманов пиджаков. Все они вытягивали шеи, ожидая, кто же покажется из расположенной за спиной судьи двери. На передних рядах устроились несколько свободных полицейских. Кое-кто из незанятых на слушании приставов. Какие-то бизнесмены, возможно, даже шишки из Портового управления. Еще какие-то люди, может, несколько охранников. Содерберг заметил рыжеволосого, долговязого судебного художника. И это могло означать только одно: за порогом судебного зала ждут телекамеры.

Он чувствовал вино в кончиках пальцев ног. Нет, он вовсе не был пьян, ничего подобного, просто вино проникло в тело, даже в дальние его уголки.

— Порядок в зале суда. Тишина! Слушание открыто.

За спиной скрипнула дверь, и появились ссутулившиеся обвиняемые,

зашаркавшие к скамьям вдоль боковой стены. Обычная шпана: пара жуликов, мужчина с рассеченной бровью, две потрепанные шлюхи, а вслед за всеми прочими, с улыбкой от уха до уха, пружинящим шагом двигался молодой белый мужчина в необычной одежде; это мог быть только канатоходец.

Люди на галерке задвигались, зашаркали ногами. Репортеры достали авторучки. Всплеск шума, будто всех их окатили водой.

Гениальный циркач оказался даже меньше ростом, чем Содерберг мог вообразить. Озорник. Черная рубашка и брюки клеш в обтяжку. Странные, тонкие балетные тапочки на ногах. В нем даже можно было различить какую-то изможденность. Русые волосы, двадцать с чем-то лет, тот типаж, который подойдет на роль официанта где-нибудь в театральном квартале. И все же он излучал некую уверенность, в нем ощущалась внутренняя сила, которая пришла Содербергу по вкусу. Канатоходец был похож на уменьшенную, сжатую копию его собственного сына: манера держаться выдавала блестящие способности, словно внедренные в его тело извне, запрограммированные кем-то вроде Джошуа, так что исполнительское искусство теперь сделалось единственным доступным ему образом жизни.

Сразу было ясно: канатоходцу еще никто и никогда не предъявлял обвинений. По первому разу все бывали ошеломлены. Все они входили сбитые с толку, с распахнутыми глазами, потрясенные происходящим.

Канатоходец замер и оглядел зал суда одним широким взглядом, от стены до стены. Мимолетные испуг и удивление. Словно слишком многие здесь говорили на чужих языках. Он был строен и гибок, нечто кошачье во всем облике. И еще проницателен: оглядев зал, он взорвался на судейскую кафедру на помосте впереди.

На краткий миг Содерберг позволил им взглядам пересечься. Нарушил собственное правило, и что с того? Канатоходец все понял и коротко кивнул. В глазах его пряталось какое-то бесшабашное веселье. Что Содерберг мог с ним поделать? Какой подход испробовать? Все его манипуляции разобьются о факты. В конце концов, речь идет как минимум об опасной ситуации, созданной по неосторожности, и дело вполне может угодить наверх: тяжкое преступление с наказанием в виде лишения свободы на срок до семи лет. Как насчет мелкого хулиганства? В глубине души Содерберг понимал, что в эту сторону и смотреть бессмысленно. Проступок окажется сведен к нарушению общественного порядка, и ему придется обсудить это с окружным прокурором. Надо помозговать, разыграть карту по всем правилам. Вытащить из шляпы что-нибудь необычное. В придачу за каждым его движением следят репортеры.

Художник со своими карандашами. Телекамеры — по другую сторону дверей.

Он позвал секретаря и шепнул ей на ухо: *Кто у нас первый?* Такая вот маленькая шутка, Эбботт и Костелло^[147] в зале суда. Она показала расписание, и он бегло просмотрел список дел, заглянул в перечень грехов, тяжко вздохнул. Он не был обязан рассматривать дела в предусмотренном порядке, вполне мог перемешать весь список, но постучал кончиком карандаша по первому же указанному в списке делу.

Секретарь сошла со ступеней и громко прокашлялась.

— Слушается дело за номером, оканчивающимся на шесть-восемь семь, — возгласила она. — «Народ против Тилли Хендерсон и Джаззлин Хендерсон». Обвиняемые, встаньте.

Заместитель окружного прокурора, Пол Конкромби, одернул рукава пиджака. По другую сторону от него общественный защитник закинул назад длинные волосы и подался вперед, разворачивая на столе папку. Когда обе женщины поднялись с мест, в дальних рядах зала кто-то из репортеров издал еле слышный стон. Проститутка помоложе была высока, темная кожа словно разбавлена молоком; ярко-желтые туфли на шпильках, неонового цвета купальник под расстегнутой черной рубашкой, нитка крупных бус. На той, что постарше, был мужской пиджак поверх купальника да серебристые туфли на высоком каблуке, лицо в разводах туши для ресниц. Она выглядела бывалой сидельщицей, не раз и не два проходившей прежним маршрутом.

— Ограбление с отягчающими обстоятельствами, второй степени. Обвинение представлено на основании действующего ордера на арест от 19 ноября 1973 года.

Проститутка постарше, обернувшись, послала кому-то воздушный поцелуй. Белый мужчина на галерке покраснел и опустил голову.

— Здесь вам не ночной клуб, дамочка.

— Простите, ваша честь... Я б вас тоже расцеловала, да целовалка устала.

Зал суда облетел быстрый залп смешков.

— Попрошу соблюдать порядок, мисс Хендерсон.

Содерберг был вполне уверен, что у нее из-под языка выползло словечко *говнюк*. Никогда не мог взять в толк, отчего они так старательно роют себе яму, эти шлюхи. Он уставился на списки старых приводов. Две блистательные карьеры. За годы та, что постарше, накопила не менее шести десятков обвинительных актов. Вторая едва успела приступить к скоростному этапу спуска: ее аресты как раз приобрели регулярность, со

временем девушка наберет обороты. Все равно что кран открыть.

Содерберг поправил на переносице очки для чтения, откинулся на спинку кресла и с измученным видом взорвался на заместителя окружного прокурора:

— Итак. Откуда такая заминка, мистер Конкромби? Все это случилось почти год назад.

— В данном деле прорыв наметился совсем недавно, ваша честь. Обвиняемые были арестованы в Бронксе, и...

— Жалоба потерпевшего не отзвана?

— Нет, ваша честь.

— И заместитель окружного прокурора намерен вывести дело на уровень уголовного судопроизводства?

— Да, ваша честь.

— Стало быть, ордер аннулирован?

— Да, ваша честь.

Содерберг шел по накатанной, в этом он мастер. Вроде трюка фокусника. Плавный жест, черный цилиндр. Пассы затянутой в белую перчатку рукой. Кролик исчез прямо на ваших глазах, леди и джентльмены. Он видел, как, подхваченные общим потоком, согласно закивали головы на скамьях публики, как они уловили заданный ритм. Он надеялся, что от внимания репортеров не ускользнет та степень контроля, какой он распоряжается в своем судебном зале, несмотря даже на вино по краям сознания.

— Тогда чем мы сейчас заняты, мистер Конкромби?

— Ваша честь, я говорил с присутствующим здесь общественным защитником, мистером Федерсом, и мы пришли к единому мнению: в интересах правосудия, приняв во внимание все детали, Народ намерен просить об освобождении дочери от ответственности по данному делу.

— Дочери?

— Джаззлин Хендерсон. Прошу прощения, ваша честь, мы имеем дело с семейным бизнесом.

Содерберг бросил быстрый взгляд на списки приводов. И был удивлен, узнав, что матери всего тридцать восемь лет.

— Итак, вы двое родня.

— Семья есть семья, ваш-честь!

— Мисс, я попросил бы вас впредь помолчать.

— Так вы же сами хотели...

— Мистер Федерс, предупредите своего клиента, пожалуйста.

— Но вы спросили...

— Молчите, не то просить придется вам. Все ясно, юная леди?

— Ох, — только и сказала она.

— Отлично. Мисс... Хендерсон. Держите рот на замке, понятно? На замке. Итак. Мистер Конкромби. Продолжайте.

— Так вот, ваша честь. Изучив материалы дела, мы не считаем, что Народ сумеет представить необходимые доказательства. При отсутствии разумных оснований для сомнения.

— По какой же причине?

— Что ж, установление личности в данном случае проблематично.

— Да? Я жду продолжения.

— Следствие установило, что здесь имело место ошибочное опознание.

— И кто же ошибся?

— Э, ваша честь, в деле имеется чистосердечное признание.

— Так и быть. Только не надо давить на меня, мистер Конкромби. Значит, вы ходатайствуете о прекращении судебного преследования мисс... э-э... мисс Джаззлин Хендерсон?

— Да, сэр.

— При взаимном согласии всех сторон?

Присутствующие дружно закивали.

— Хорошо, дело прекращается.

— Дело прекращается?

— Вы чё, серьезно? — изумилась молодая проститутка. — Это все?

— Это все.

— Было и прошло? Он меня отпускает?

Содерберг вроде бы услышал, как девица тихо ахнула: *ЕдриТЬ твою налево!*

— Что вы только что произнесли, юная леди?

— Ничё.

Потянувшись к ней, общественный адвокат что-то яростно зашептал ей в ухо.

— Ничего, ваша честь. Простите. Я ничего не говорила. Спасибо.

— Проводите ее на выход.

— Поднять веревку! Один человек выходит!

Молодая проститутка обернулась к матери, чмокнула точно в бровь. Станный выбор. Мать, усталая и измученная, приняла поцелуй, погладила дочь по щеке, притянула к себе. Содерберг наблюдал за их объятием. Как измерить ту бездну жестокости, думал он, которая допускает существование подобных семей?

Тем не менее его всегда поражало, какой любовью эти людшки способны оделять друг друга. Мало что до сих пор волновало Содерберга в собственном зале суда, кроме этой вот обнажавшейся, саднящей кромки жизни: влюбленные раскрывают друг другу объятия после жестокой драки, семья радостно принимает в свое лоно блудного сына, мелкого воришку, нежданное прощение изредка озаряет стены этого зала. Редко, но бывало такое, и сама эта редкость — необходима.

Молодая проститутка шепнула что-то матери, и та, рассмеявшись, снова помахала через плечо белому мужчине в рядах зрителей.

Судебный пристав не поднял веревки. Молодая проститутка сделала это сама. Она прошлась по залу, развязно качая бедрами, будто уже выставляя себя на продажу. Вразвалочку нахалка двинулась между рядами скамей для посетителей, прямиком к белому мужчине с сединой на висках. Подходя к нему, она стянула с плеч черную рубашку и осталась в одном купальнике.

Содерберг почувствовал, как пальцы у него на ногах подогнулись от неловкости при одном только виде этого бесстыдства.

— Наденьте рубашку, сейчас же!

— Это свободная страна, разве нет? Вы меня освободили. Это его рубашка.

— Наденьте, — сквозь зубы выдавил Содерберг, придинувшись вплотную к микрофону.

— Он хотел, чтобы я прилично выглядела на суде. Так ведь, Корри? Он передал ее мне прямо в Могильники.

Белый мужчина пытался притянуть ее за локоть, что-то быстро говорил на ухо.

— Накиньте на себя рубашку — или я привлеку вас за неуважение к суду... Сэр, вы приходите к этой юной особе родственником?

— Не совсем, — ответил мужчина.

— И что означает это ваше «не совсем»?

— Я ее друг.

У него был ирландский акцент, у этого седеющего сутенера. Он упрямо задрал подбородок, словно боксер старой гвардии. Худое лицо с запавшими щеками.

— Друг, значит? Тогда проследите за тем, чтоб она оставалась в рубашке.

— Да, ваша честь. Разрешите только, ваша честь...

— Делайте, что вам говорят.

— Но, ваша честь...

Содерберг хлопнул молотком о стол:

— Хватит!

И наблюдал, как молодая проститутка целует ирландца в щеку. Мужчина было отвернулся, но затем с нежностью охватил ее лицо обеими ладонями. Даже на сутенера не похож. Неординарный типаж. Впрочем, неважно. Они бывают всех видов и расцветок. Правда состоит в том, что эти женщины — жертвы мужчин, и так будет всегда. Если разобраться, в тюрьму следует сажать таких вот мерзавцев, вроде этого сутенера. Содерберг испустил долгий вздох и вновь повернулся к заместителю окружного прокурора.

Одна вздернутая бровь говорила больше, чем любые слова. Осталось разобраться с матерью проститутки — и переходим к главному номеру программы.

Он метнул один быстрый взгляд на канатоходца, сидевшего в стороне со сконфуженным видом. Его преступление было настолько уникальным, что он явно не мог сообразить, зачем его вообще сюда привели.

Содерберг постучал по микрофону, и публика в зале встрепенулась.

— Насколько я понимаю, оставшаяся у нас обвиняемая, которая приходится матерью...

— Тилли, ваш-честь.

— Я не с вами говорю, мисс Хендерсон. Насколько я понимаю, господа, преступление все же имело место. Следует ли суду квалифицировать его как малозначительное?

— Ваша честь, мы уже достигли согласия. Я обсудил этот вопрос с мистером Федерсом...

— И что же?

— Народ готов ходатайствовать об изменении формулировки обвинения: «ограбление» станет «мелкой кражей» в случае, если обвиняемая признает себя виновной.

— Вы намерены пойти на эту сделку, мисс Хендерсон?

— А?

— Вы готовы сознаться в совершении этого преступления?

— Он говорил, мне дадут не больше полугода.

— Для вас — не больше года, мисс Хендерсон.

— Если только я смогу видеть моих крошек...

— Прошу прощения?

— Я согласна, — объявила она.

— Великолепно. Если я удовлетворю ходатайство, обвинение получит формулировку «мелкая кража». Понимаете ли вы, что в том случае, если я

услышу от вас признание, оговоренное условиями ходатайства, у меня будет возможность приговорить вас к тюремному сроку протяженностью до года?

Она быстро развернулась к общественному защитнику, который кивнул, успокаивающе положил ладонь на ее запястье и растянул уголки губ.

— Да, я все понимаю.

— Вы понимаете также, что признаете себя виновной в мелкой краже?

— Да, сладкий.

— Что, простите?

Содерберг ощутил болезненный укол где-то в переносице и в глотке. Как удар хлыстом. Она что, в самом деле назвала его *сладким*? Быть того не может. Она стояла, глядя на него во все глаза, почти усмехаясь. Может, сделать вид, что не расслышал? Спустить ей с рук? Или оштрафовать за неуважение? Если проявить жесткость, что тогда случится?

В тишине зал заседаний, казалось, уменьшился в размерах. Адвокат рядом с проституткой выглядел так, словно готов ухо ей откусить. Пожав плечами, она заулыбалась и снова помахала рукой над плечом, посыпая привет в задние ряды.

— Я уверен, вы не это имели в виду, мисс Хендерсон.

— Имела что, ваш-честь?

— Слушание продолжается.

— Как скажете, ваш-честь.

— Впредь выбирайте выражения.

— Заметано, — кивнула она.

— А иначе...

— По рукам.

— Итак, понимаете ли вы, что тем самым отказываетесь от права на рассмотрение дела в судебном порядке?

— Ага.

Общественный защитник брезгливо осклабился, случайно задев губой ухо женщины.

— То есть да, сэр.

— Вы обсудили перспективу признания виновности со своим адвокатом и полностью удовлетворены его разъяснениями? Вы признаете свою вину по собственной воле?

— Да, сэр.

— Вы понимаете, что тем самым отказываетесь от права на слушание дела в суде?

— Да, сэр. Еще как.

— Итак, мисс Хендерсон, что вы скажете в ответ на предъявленное вам обвинение в мелкой краже?

— Виновна.

— Великолепно, а теперь расскажите мне, как было дело.

— А?

— Опишите, что произошло, мисс Хендерсон.

Содерберг смотрел, как судебные приставы перекладывают бумаги из желтой папки в голубую, соответствующую мелким правонарушениям. На скамьях зрителей репортеры, скучая, теребили спирали на корешках блокнотов. Содерберг понял, что должен поспешить, если намерен устроить им хорошее представление с участием канатоходца.

Проститутка подняла голову. Уже по тому, как она стояла, Содерберг совершенно ясно осознал ее виновность. По одной только позе. Никогда не ошибался.

— Это давно уже было. Ну, типа, я не хотела ехать в Адскую Кухню, но у нас с Джаззлин, то есть нет, только у меня была там забита стрелка, и этот мужик, он вечно болтал про меня всякое дерымо.

— Достаточно, мисс Хендерсон.

— Дескать, я и старая, и всякое такое. Дерьмо, короче.

— Следите за языком, мисс Хендерсон.

— И тут его бумажник выскочил, ну прямо передо мной.

— Благодарю вас.

— Я еще не закончила.

— Этого достаточно.

— Я не такая уж плохая. Вы небось думаете, я совсем пропаща.

— Этого мне вполне достаточно, леди.

— О'кей, папаша.

Содерберг видел, как хмыкнул один из приставов. Щеки вспыхнули. Подняв очки на лоб, он пригвоздил проститутку испытующим взглядом. Ее глаза внезапно показались ему очень большими, она смотрела на него умоляюще, и он на миг вдруг понял, как эта женщина может казаться кому-то привлекательной, даже в худшие свои дни, разглядев под наносными слоями некую внутреннюю красоту, различил целую повесть о любви.

— Итак, вы сознаете, что, признавая себя виновной, действуете без принуждения?

Качнувшись к защитнику, она обратила на Содерберга усталый взгляд.

— Да-да, — сказала она. — Никто меня не принуждал.

— Мистер Федерс, даете ли вы свое согласие на немедленное

оглашение приговора и отказываетесь ли от того, чтобы рассказать суду о личности и жизненных обстоятельствах обвиняемой?

— Да, ваша честь.

— Итак, мисс Хендерсон, желаете ли вы выступить с заявлением прежде, чем я вынесу приговор по вашему делу?

— Я хочу попасть в «Райкерс».

— Видите ли, мисс Хендерсон, настоящий суд не выносит решений о месте вашего будущего заключения.

— Но мне говорили, я попаду в «Райкерс». Мне пообещали.

— И отчего же, скажите на милость, вам хочется туда попасть? Как хоть кому-то может захотеться...

— Из-за деток.

— На вашем попечении есть малолетние дети?

— У Джаззлин есть.

Она махнула через плечо в сторону дочери, ссугулившейся на скамье для публики.

— Так и быть. Ничего не обещаю, но помечу для судебных приставов, чтобы ваше желание было по возможности исполнено. В деле «Народ против Тилли Хендерсон» обвиняемая признала себя виновной и приговаривается не более чем к восьми месяцам тюремного заключения.

— Восемь месяцев?

— Совершенно верно. Могу довести до года, если хотите.

Она приоткрыла рот в беззвучном стоне.

— Я ж думала, мне дадут шесть.

— Восемь месяцев, леди. Желаете опротестовать свое признание?

— Блин, — сказала проститутка, передернув плечами.

Содерберг заметил, как ирландец на скамье для зрителей вцепился в локоть молодой проститутки. Попытался было сунуться вперед, чтобы сказать что-то Тилли Хендерсон, но судебный пристав отпихнул его, уперев в грудь кончик дубинки.

— Порядок в зале суда!

— Можно сказать, ваша честь?

— Нет. Садитесь. Немедленно.

Содерберг услыхал, как скрипнули его зубы.

— Тилли, я навешу тебя позже, ладно?

— Сядьте. А не то...

Сутенер развернулся в просвете между рядами скамей и упер взгляд в Содерберга. Зрачки слепяще-голубых глаз сужены. Содерберг вдруг почувствовал себя раскрытым, разоблаченным, незащищенным. Над залом

опустилась пелена зловещей тишины.

— Сядьте! Иначе я приму меры.

Сутенер опустил голову и попятился. Содерберг коротко выдохнул с облегчением, чуть повернулся в кресле. Поднял к глазам список дел, прикрыл микрофон ладонью и кивнул, подзывая пристава.

— Хватит с меня, — прошептал он. — Давайте сюда канатоходца.

Взгляд Содерберга скользнул по фигуре Тилли Хендерсон, которую выводили из зала суда в дверь справа от него. Она шла с низко опущенной головой, но в походке по-прежнему была заметна давно приобретенная упругость. Словно она была уже на свободе, уже спешила занять опустевшее место на панели. С обеих сторон ее поддерживали приставы. Пиджак на плечах смят и грязен. Рукава слишком длинны. Похоже, в нем могли бы поместиться две таких, как она. Несмотря на отсутствующее, какое-то уязвимое выражение на лице, в нем по-прежнему сохранялось нечто чувственное. Темные глаза. Брови выщипаны в ниточку. В ней был блеск, искра. Казалось, он видит ее впервые — вверх ногами, как картинка на сетчатке глаза, которую затем переворачивает мозг. Что-то хрупкое, точеное в лице. Вытянутый нос, который, по-видимому, был несколько раз сломан. Разлет ноздрей.

У двери проститутка повернулась и попыталась оглянуться через плечо, но пристав перекрыл обзор.

Одними губами она что-то сказала дочери и сутенеру, слова потерялись в общем гуле, и она коротко выдохнула, словно пускаясь в долгое путешествие. На долю секунды лицо женщины показалось Содербергу почти прекрасным, но затем она отвернулась, пошла дальше, дверь закрыли, и проститутка полностью растворилась в собственной безвестности.

— Канатоходца сюда, — сказал он секретарю. — Быстро.

Сентаво

Оно, по крайней мере, останется навсегда. Утро четверга. Моя квартира на первом этаже. В дощатом доме, обшитом вагонкой. На улице, где повсюду такие дома. В окне, на фоне голубого неба, мельтешение темных точек. Кто бы мог подумать, в Бронксе живут какие-то птицы. Лето в разгаре, так что Элиане и Хакобо не нужно собираться в школу. Впрочем, они уже проснулись: до меня доносится выкрученный погромче звук телевизора. Наш допотопный ящик навечно застрял на одном канале и показывает единственную программу — «Улицу Сезам». Я поворачиваюсь под покрывалом к Корригану. Он впервые остался ночевать. Мы не планировали этого заранее, просто так получилось. Шевелится во сне. У него сухие губы. Белые простыни шевелятся вместе с ним. Мужская щетина похожа на карту атмосферных потоков: россыпь света и тени, снежный буран седины на подбородке, темная впадина под нижней губой. Я поражена тем, как эта утренняя щетина изменила его, как она выросла за такое короткое время, даже вкрапления седины — там, где прошлым вечером их не было вовсе.

У любви есть особенность — мы оживаем в тела, которые нам не принадлежат.

Корриган уснул в рубашке, успев выпростать из рукава только одну руку. В спешке мы даже не успели толком раздеться. Все прощено. Я приподнимаю вторую его руку, расстегиваю деревянные пуговицы, одну за другой. Когда те выскальзывают из петель, стаскиваю рубашку с его руки. Под загорелой шеей у него белая кожа, цвета свеженарезанного яблока. Целую в плечо. Цепочка на шее оставила светлый след, но не крестик, спрятанный под рубашкой; Корриган словно носит ожерелье из белой кожи, которое обрывается, не успев сомкнуться на груди. Синяки до сих пор еще видны, заболевание крови.

Он приоткрывает глаза и принимается часто моргать, стонет то ли от боли, то ли от благоговения. Высовывает ногу из-под простыни, оглядывает комнату.

— Ого, — говорит Корриган. — Уже утро?

— Да, утро.

— Как туда попали мои брюки?

— Вчера ты выпил слишком много вина.

— *De veras?*^[148] — удивляется он. — И что, я стал... акробатом?

Над нами раздается шарканье шагов, соседи просыпаются. Корриган пережидает шум: громыхание ног, вставляемых в обувь.

— А дети?

— Сматрят «Улицу Сезам».

— Мы много выпили.

— Много.

— Я совсем отвык от этого. — Ведет ладонью по покрывалу, натыкается на изгиб моего бедра, отдергивает руку.

Новые звуки сверху — душ, падение чего-то тяжелого, цоканье каблучков по полу. Моя квартира, как губка, впитывает все шумы, даже из подвала. За сто десять долларов в месяц я поселилась внутри радиоприемника.

— Они всегда такие шумные?

— Погоди, еще услышишь, как проснутся их дети-подростки.

Он снова стонет, глядя в потолок. Я пытаюсь понять, о чем Корриган думает. Там, в вышине, его Бог, но прежде — мои соседи.

— Помогите, доктор, — просит он. — Расскажите что-нибудь потрясающее.

Корригану известно, что я всегда мечтала стать врачом, что я прибыла сюда из Гватемалы именно за этим, но мне не удалось закончить медицинский институт дома, и он знает, что здесь мне тоже не повезло, я ни разу даже не дошла до крыльца университета, скорее всего, у меня с самого начала не было ни единого шанса, и он все равно называет меня «доктор».

— Хорошо. Сегодня утром, проснувшись, я сразу поставила себе диагноз: счастье на ранней стадии.

— В жизни не слыхал о такой болезни, — говорит он.

— Очень редкое заболевание. Я подхватила его прямо перед тем, как проснулись соседи.

— Оно заразное?

— А ты еще не заболел?

Он целует меня в губы, но затем отворачивается. Влачит тяжкую, невыносимую ношу: свою вину, свою радость. Лежит на левом боку, ноги согнуты, он повернулся прочь от меня, словно хочет укрыться, свернувшись в комочек.

В самый первый раз я увидела Корригана в окно приюта престарелых. Он был там, за грязными стеклами, загружал в фургон инвалидные коляски с Шилой, и Паоло, и Альби, и всеми остальными. Он с кем-то подрался; испещренное ссадинами и синяками лицо. На первый взгляд от Корригана

стоило бы держаться подальше. И все же в нем было нечто особенное, какая-то «верность» — только это слово я и смогла подобрать, *fidelidad*, — он показался мне верным этим старикам, потому, возможно, что знал, какую жизнь они ведут. Корриган вкатил коляски в фургон по деревянным планкам, пристегнул их как следует. Свой фургон он оклеил значками, утверждавшими мир и справедливость. Мне тогда подумалось, что, может, в комплекте с жестокостью у него и чувство юмора есть. Только потом я узнала, что ссадины и синяки ему оставили сутенеры; он терпел худшие побои и ни разу не ударил в ответ. Он был верен и тем бедным девушкам тоже, и своему Богу, но даже он понимал, что верность должна где-то заканчиваться.

Спустя минуту Корриган оборачивается ко мне, проводит пальцем по моим губам и ни с того ни с сего говорит: «Извини».

Прошлой ночью мы торопились. Он уснул прежде меня. Для женщины, может, оно волнующе — заняться любовью с мужчиной, который никогда прежде ни с кем не спал, и так оно и было, сама мысль, само движение навстречу, но я словно занималась любовью с множеством потерянных лет, и, по правде говоря, он плакал, опустив голову на мое плечо, старался не смотреть мне в глаза, не мог этого вынести.

Человек, который так долго хранил верность клятве, заслуживает исполнения любых своих желаний.

Я сказала, что люблю его, что всегда буду любить и чувствовать себя маленькой девочкой, которая бросила сентаво в фонтан и теперь ей не терпится кому-нибудь рассказать о своем самом заветном желании, даже если она понимает, что тайну нужно сохранить, иначе желание не сбудется. Корриган ответил, что беспокоиться не стоит: монетка еще не раз и не два покинет фонтан, чтобы снова в него вернуться.

Ему хотелось повторить попытку, снова попробовать заняться любовью. Каждый раз он заново удивлялся, вновь сомневался, словно не верил, что это с ним происходит.

Но вот он, миг, когда Корриган окончательно проснулся, — в тот день, который я буду вспоминать снова и снова, — и повернулся ко мне, и в его дыхании еще слышалось вино.

— Значит, — говорит он, — тебе удалось стащить с меня рубашку?

— Фокус-покус.

— Неплохо, — улыбается он.

Моя рука скользит по покрывалу навстречу ему.

— Нужно прикрыть *mirilla*, — говорю я.

— Что прикрыть?

— *Mirilla*, глазок, окошко для подглядывания, как бы оно ни называлось.

В каждую из дверей моей квартиры встроен глазок. Владелец дома, похоже, когда-то прилично сэкономил на этих дверях и развесил их повсюду. Из одной комнаты можно заглянуть в другую, и линзы сделают помещение узким или широким в зависимости от того, с какой стороны смотреть. Если заглянуть в мою кухню, мир сожмется. Если из нее выглянуть, он покажется громадным. Глазок на двери спальни направлен внутрь, так что Хакобо и Элиана могут смотреть на меня, пока я сплю. Они называют ее «карнавальная дверь». Когда они смотрят на меня сквозь линзы, им кажется, что я лежу в самой большой кровати на свете. Моя голова покоится на самых пышных в мире подушках. Стены вокруг меня раздвигаются. В первый же день, когда мы сюда въехали, я высунула из-под покрывала кончики ступней. *Мама, у тебя ноги больше головы!* Сын сказал, что внутри моей комнаты мир кажется вытянутым. Дочка сказала, он сделан из жвачки.

Корриган бочком выскользывает из постели. Тощая голая спина, длинные ноги. Он подходит к шкафу. Вешает свою черную рубашку на плечики, всовывает металлический крючок между дверью и притолокой. Качаясь, рубашка загораживает собой отверстие глазка. Снаружи доносятся телевизионные голоса.

— Надо бы еще и запереть ее, — говорю я.

— *¿Estás segura?*^[149]

Эти короткие испанские фразочки катаются у него во рту, как камни. Жуткий акцент веселит меня.

— Разве они не испугаются?

— Нет, если не испугаемся мы.

Он возвращается к кровати, обнаженный, смущенный, прикрывает себя рукой. Вползает под покрывало, утыкается мне в плечо. Поет. Фальшиво поет. «Расскажи мне, как-по-пасть, как-по-пасть на улицу Сезам!»

Я уже знаю, что смогу вернуться в этот день когда мне вздумается. Смогу вдохнуть в него жизнь. Сберечь его. Существует неподвижная точка, где настоящее, наше «сейчас», аккуратно сворачивается в моток пряжи без единого узелка. Река расположена не там, где она начинается или заканчивается, а ровно посередине — в месте, четко определенном всем тем, что уже случилось, и тем, что еще впереди. Стоит только глаза прикрыть — и вот он, легкий снежок над Нью-Йорком, а спустя какие-то мгновения ты уже загораешь на скале в Закапе, а еще через секунду несешься над

улицами Бронкса под парусом собственного желания. Вот-вот, стоит только пожелать. Никакими словами не получится обернуть, описать это чувство. Слова неподатливы, они сопротивляются. Слова придают таким вещам ненужные оттенки. Слова сдвигают их во времени. Они заставляют затвердеть то, что не способно останавливаться. Попробуйте описать вкус персика. Опишите его словами. Почувствуйте прилив сладкого сока во рту: мы занимаемся любовью.

Я даже не услышала похожего на барабанную дробь стука в дверь, но Корриган замирает, усмехается и целует меня, капельки пота блестят на бровях.

— Должно быть, Элмо.[\[150\]](#)

— Скорее, кто-то из Грязнуль.

Я встаю с кровати и снимаю рубашку с двери, заглядываю в глазок. Мне видны макушки моих детей, их маленькие, озадаченные глазки. Набросив на себя рубашку Корригана, я открываю дверь. Наклоняюсь, заглядываю в их лица. Хакобо держит в охапку старое одеяло. В руке Элианы пустой пластиковый стакан. Они проголодались, говорят мне дети — сначала по-английски, затем на испанском.

— Потерпите чуть-чуть.

Ужасная мать. Так нельзя. Прикрыв было дверь, я тут же распахиваю ее снова и спешу на кухню, накладываю овсянку в две плошки, наполняю два стакана водой.

— А теперь потише, *niños*.[\[151\]](#) Пообещайте мне.

Я отступаю в спальню,приникаю к глазку. Дети перед телевизором, роняют кашу на ковер. Пройдя по комнате, прыгаю в постель. Сбрасываю покрывало на пол и падаю рядом с Корриганом, притягиваю к себе. Он смеется, телу легко.

Мы торопимся, он и я. Снова занимаемся любовью. После он принимает душ в моей ванной.

— Расскажи что-нибудь потрясающее, Корриган.

— Что, например?

— Брось, твоя очередь.

— Ладно. Я только что научился играть на рояле.

— У нас нет рояля.

— Вот именно. Я просто сел за рояль и тут же сыграл все ноты до последней.

— Ха!

Верно. Именно такое ощущение. Я вхожу в ванную, где Корриган

стоит под душем, отдергиваю занавеску, целую его в мокрые губы, заворачиваюсь в свой халат и иду приглядеть за детьми. Мои босые ноги на вздутом линолеуме пола. Накрашенные ногти. Я смутно ощущаю, что каждая жилка в моем теле по-прежнему занимается любовью с Корриганом. Все вокруг я вижу словно впервые, подушечки пальцев откликаются на малейшее касание, вспыхивают теплом.

Он выходит из ванной комнаты, волосы влажны насквозь, и поначалу мне кажется, что с его висков исчезла седина. На нем прежние темные брюки и черная рубашка, потому что ничего другого у него с собой нет. Он побрился. Мне хочется отчитать Корригана за то, что он пользовался моим станком. Кожа выглядит блестящей и раздраженной.

Неделю спустя — после аварии — я приду домой и выложу его волоски на край раковины, буду создавать из них узоры, исступленно, опять и опять. Я пересчитаю их, чтобы распределить равномерно. Я соберу их на скруглении раковины, попытаюсь начертить ими его портрет.

В больнице мне показывали рентгеновский снимок. Набухшая тень сердца из-за тупой травмы грудной клетки. Сердечная мышца, сжатая кровью и жидкостью. Непомерно увеличенные яремные вены. Его сердце пускалось галопом и снова замедляло биение. Доктор воткнул иглу ему в грудь. Процедура, знакомая по годам работы медсестрой: нужно дренировать перикардий. Кровь и жидкость ушли, но сердце Корригана продолжало набухать. Его брат читал молитвы, заканчивал и начинал заново. Сделали еще один снимок. Яремные вены слишком раздулись, они давили на горло, мешали дышать. Все его тело похолодело.

Но пока что дети просто подняли головы: «Привет, Корри!» — так, словно в его появлении не было ровным счетом ничего необычного. Телевизор напротив дивана продолжает щебетать. *Считаем до семи. Пойте вместе с нами! Когда разрезали пирог, все птички стали петь...*

— *Niños, apaguen la tele.* [\[152\]](#)

— Потом, мамочка.

Корриган подсаживается к деревянному журнальному столику, стоящему за телевизором. Сидит спиной ко мне. У меня сердце екает всякий раз, когда он оказывается рядом с портретом моего погибшего мужа. Он ни разу не просил убрать фотографию. И никогда не попросит. Знает, зачем она здесь. Не имеет значения, что мой муж был грубой скотиной и погиб с оружием в руках у подножий гор Кецильтенанго, никакой разницы, — всем детям нужен отец. И потом, это всего лишь фотография. Она никому не мешает. Она ничем не угрожает Корригану. История моей жизни ему известна. Она вся содергится в этом застывшем

моменте.

И я думаю вдруг, глядя на Корригана через стол, что эти дни никогда не кончатся, что все таким и останется. Таково будущее, каким мы его воображаем. Резкие повороты и полный покой. Уверенность и сомнение. Корриган оглядывается на меня, улыбается. Проводит пальцем по корешку одного из моих медицинских учебников. Он даже открывает его наугад и листает, но я понимаю, что читать там нечего. Можно просмотреть иллюстрации — тела, кости, сухожилия.

Он листает все быстрее — так, словно ему не хватает пространства.

— Нет, правда, — говорит он. — Это неплохая мысль.

— Что именно?

— Раздобыть рояль или пианино, научиться на нем играть.

— Да? И куда же я поставлю рояль?

— Прямо на телевизор. Согласен, Хакобо? Эй, Бо! Рояль как раз здесь поместится, а?

— Не-а, — ноет Хакобо.

Корриган тянется через весь диван, ерошит темные волосы моего сына.

— Может, нам удастся найти рояль со встроенным телевизором?

— Не-а.

— А может, мы купим рояль, телевизор и машину для варки шоколада — в комплекте?

— Не-а.

— Телевидение, — с улыбкой говорит Корриган. — Идеальный наркотик.

В первый раз за много лет я жалею, что у нас нет своего садика. Мы могли бы выйти во двор, вдохнуть прохладный свежий воздух и посидеть вдвоем, подальше от детей, найти собственное местечко, укоротить окружающие дома до размеров травинок, чтобы резчики выдолбили в камне цветы у наших ног. Мне часто снилось, как я возвращаюсь в Гватемалу вместе с Корриганом. Там было одно место, куда мы с друзьями детства, такими же ребятишками, как и я в те годы, наведывались довольно часто, — рощица бабочек. Туда мы ходили по хорошо утоптанной тропе, ведшей в Закапу. Деревья расступались, кусты разбегались в стороны. Там росло множество красных цветков в форме колокольчиков. Девочки высасывали из них сладкий сок, а мальчики отрывали бабочкам крылья, чтобы понять, как те устроены. Некоторые крыльышки такие яркие, что насекомые наверняка были ядовиты. Покинув свой дом и прибыв в Нью-Йорк, я сняла скромное жилье в Квинсе, и вот однажды, будучи в полном

смятении, я наколола на ногу татуировку — широко раскинутые крылья. Одна из самых больших глупостей, какие только совершила в жизни. Я возненавидела себя за дешевку, на которую разменялась.

— Ты спиши с открытыми глазами, — говорит Корриган.

— Правда?

Моя голова лежит на его плече, но он смеется так громко, будто хочет покрыть этим смехом огромное расстояние, зарядить им каждую клеточку моего тела.

— Корри.

— Угу.

— Тебе нравится моя татуировка?

Он игриво тычет в меня пальцем.

— Я с ней мирюсь, — говорит он.

— Скажи правду.

— Нет же, она мне нравится, очень.

— *Mentiroso*,^[153] — говорю я, и он морщит лоб. — Врешь.

— Я не соврал. Дети! Дети, вы тоже думаете, что я вру?

Никто из них не произносит ни слова.

— Видишь? — спрашивает меня Корриган. — Я же говорил.

Бывают времена — хотя вовсе не часто, — когда мне хочется, чтобы детей не было. Пусть они исчезнут, Боже, на часок-другой, не больше, всего только на час. Сделай это быстро и не на моих глазах, пусть они растворятся в клубах дыма и улетучатся, но потом верни их мне нетронутыми, словно они и не исчезали вовсе. Дай мне только побывать одной, наедине с ним, с этим мужчиной, Корриганом, хотя бы немного, только мы с ним, вдвоем.

Я не убираю головы с его плеча, и он рассеянно касается моей щеки. Что может твориться в голове Корригана? О чем он думает? Существует столько вещей, столько забот, которые могут сделать его далеким. Иногда кажется, что Корриган целиком состоит из магнита. Он танцует в воздухе, вращается вокруг меня. Я иду на кухню и варю кофе. Ему нравится очень крепкий кофе с тремя полными ложечками сахара. Вытаскивает ложку из чашки и с видом победителя облизывает ее, будто ложка благополучно провела его через какое-то тяжелое испытание. Дышит на ложку и цепляет на кончик носа; та остается висеть там, нелепо раскачиваясь.

Оборачивается ко мне:

— Что скажешь, Ади?

— *Que payaso*.^[154]

— *Gracias* [155] — благодарит он со своим ужасающим акцентом.

Корриган становится перед экраном телевизора, ложка по-прежнему болтается на носу. Потом срывается, и он ловит ее, и снова дышит на нее, и опять вешает на нос: коронный номер. Дети восторженно хохочут: «Дай мне, дай мне, дай мне!»

Постоянно узнаю что-то новенькое. В нем достанет дурашливости, чтобы вешать ложку на кончик носа. И еще — он привычно дует на чашку, остужая кофе, три коротких выдоха, один длинный. И еще — он терпеть не может овсянную кашу. И еще — он умеет починить сломанный тостер.

Дети успокаиваются перед телевизором. Усевшись на прежнее место, Корриган допивает кофе. Пристально смотрит на дальнюю стену. Я знаю, он снова думает о своем Боге, и о своей церкви, и о потере, которую понесет, если решит уйти из ордена. Точно собственная тень вдруг вскинулась, чтобы схватить его. Я знаю это, потому что он улыбается мне, и в этой улыбке есть все, включая и легкое пожатие плеч, и затем он резко встает из-за стола, потягивается, идет к дивану и валится на него, сползает по спинке между детьми, словно просит у них защиты. Он кладет руки им на плечи, обнимает обоих. Я и люблю его за это, и проклинаю, все сразу. Я чувствую, как желание вновь тянет меня к нему, узнаю этот резкий привкус соли во рту.

— Между прочим, — говорит он, — у меня еще много работы.

— Не уходи, Корри. Побудь с нами чуть-чуть. Работа подождет.

— Ну да, — говорит он, будто сам в это верит.

Я никогда не догадаюсь, что же такого прекрасного он увидел; о чем он прошептал мне, когда мы нашли его смятое тело в больнице; о чем говорил, когда шептал в темноту, будто видел нечто такое, о чем не может забыть, мешанина, путаница из слов, человек, здание, я не все смогла разобрать. Остается только надеяться, что в последнюю минуту он обрел покой. Это могла быть какая-то заурядная мысль; или же он хотел сказать мне, что принял решение оставить орден, что отныне ничто не сможет его остановить, что он вернется в мой дом; или же это не имело особого смысла, обычный миг красоты, мелочь, о которой и говорить не стоит, случайная встреча или разговор, с Джаззлин или Тилли, шутка; или же, наоборот, он наконец принял решение, да, теперь он готов меня потерять, он останется в лоне Церкви и будет выполнять свою работу; или, возможно, он вовсе не имел в виду ничего такого, может, он просто был счастлив, или чувствовал приближение смерти, или морфий спутал ему мысли, — все эти варианты и даже больше, — узнать уже не получится. Его последние слова ускользнули от меня навсегда.

Я слышала о человеке, прошедшем по канату на огромной высоте. Тем более Корриган провел ночь в фургоне, припаркованном неподалеку от здания суда. Ему выписали штраф. На Джон-стрит. Быть может, он проснулся, выбрался на рассвете из машины размяться, вскинул голову и увидел в вышине человека, бросавшего Богу вызов, человека, стоящего не под крестом, а над ним? Не могу сказать, не знаю. Никто не знает. Или, возможно, дело в судебном слушании, когда циркача отпустили, а Тилли отправили за решетку на восемь месяцев, — может, это его смущило? Все так запутано, простых ответов нет. Быть может, он считал, что она заслуживает еще один шанс, тревожился из-за того, что ее должны были отправить в тюрьму? Или, возможно, его преследовала какая-то другая мысль, о чем-то совсем ином?

Корриган сказал мне однажды, что нет прочнее уязвленной веры, и мне думается иногда, не это ли он творил — уязвлял свою веру и так испытывал ее, — и не пробный ли я камень на пути его Бога?

Когда мне бывает особенно плохо, я ничуть не сомневаюсь, что в тот день Корриган спешил попрощаться со мной, что он вел машину слишком быстро, потому что нашел наконец верное решение и хотел сказать, что между нами все кончено. Но когда мне становится лучше, когда сердце поет, я вижу, как он с улыбкой подходит к крыльцу моего дома, как широко он распахивает объятия, чтобы остаться со мной.

И таким я постараюсь видеть его как можно чаще, насколько это в моих силах. То было — оно и сейчас есть — утро четверга за неделю до аварии, и оно умещается в пространстве каждого утра, когда я открываю сонные глаза. Корриган сидит между Элианой и Хакобо, на диване, руки раскинуты в стороны, пуговицы рубашки не застегнуты, взгляд устремлен вперед. Никогда и ни за что он не встанет с моего дивана. Обычная мебель, скромный и видавший виды диван, подушки разных мастей, прореха на истертом подлокотнике, но в щели под его спинкой остались лежать несколько монет, выпавшие у него из кармана. Я возьму их с собой, куда бы ни поехала, в Закапу, в приют для престарелых, в любое другое место, где бы ни оказалась.

Восславим Господа! — Аллилуйя!

Я будто сразу все поняла. Будто всегда знала. За этими двумя малютками надобен уход. Такое глубинное чувство, — видать, поселилось во мне давным-давно. Много думать о минувшем не годится, гордыня это все, но я считаю, человек может годами жить одним давним моментом, носить его с собой и чувствовать, как тот растет, как он пускает корни, которые протягиваются ко всему что ни есть вокруг.

Я росла на юге Миссури. Одна девочка и пятеро братьев. То была Великая депрессия. Все вокруг разваливалось, но мы держались друг за дружку как только могли. Жили в маленьком деревянном доме, каркас буквой А, как и большинство других домов на цветной стороне городка. Просевшие, некрашеные балясины-подпорки передней террасы. Внутри самого дома, сбоку, была большая вытянутая зала с плетеными креслами, лиловым диваном и длинным столом, вытесанным из днища сломанной телеги. Два больших дуба затеняли другую сторону дома, где окнами на восток устроены спальни, — чтобы встречать солнце поутру. Я развесила на ветках пуговицы и гвозди, ветряные колокольца. Полы в доме были настелены неравномерно, с разными промежутками. Ночами по жестяной крыше стучали капли дождя.

Мой отец говорил, бывало, что любит просто посидеть, послушать, как кряхтит дом.

Дни, которые я помню лучше прочих, ничем не примечательны: я играла в классики на разбитой бетонной плите, вместе с братьями бродила по кукурузным полям, волочила по дорожной пыли школьный ранец. Мы со старшими братьями в те годы читали много книг. Передвижная книжная лавка заезжала на нашу улицу каждые пару месяцев, задерживалась на четверть часа. Когда сломанный забор вспыхивал желтым на солнце, мы выбегали из дома, мчались на задворки скобяной лавки Чосера, чтобы поиграть у речки, которая теперь кажется мне мутным ручьем, а тогда представлялась полноводным потоком. Мы пускали пароходики по этой протоке, и старый ниггер Джим задавал Тому Сойеру ту еще трепку. Мы не знали толком, что делать с Хеком Финном, а потому он редко сопровождал нас в наших приключениях. Бумажные лодочки огибали поворот реки и пропадали из виду.

Мой отец по большей части зарабатывал маляркой, но больше всего остального любил выписывать вывески на дверях городских контор. Имена

важных чинов на матовом стекле. Золоченые буквы и тонко выведенные серебряные завитушки. Время от времени он выполнял заказы торговых домов, мукомолен и небольших детективных агентств. Музейм и евангелическим церквям тоже иногда требовалось обновить табличку. Работал он почти всегда в белой части города, но когда заказ приходил с нашего берега реки, то мы отправлялись с ним, придерживали лестницу, подавали кисти и тряпки. Еще он расписывал деревянные вывески, которые качались потом на ветру, — торговля недвижимостью, свежие моллюски, сэндвичи по пять центов за штуку. Отец был невысок. Отправляясь работать, всегда одевался опрятно, и неважно, откуда заказ. Он носил выглаженную рубашку с накрахмаленным воротничком, подкалывал галстук серебряной булавкой. Брюки подворачивал снизу и с довольной улыбкой говорил нам, что, присмотревшись, всегда мог различить отражение своей работы в начищенных туфлях. При нас он ни словом не упоминал деньги или отсутствие денег, а когда Депрессия разгулялась вовсю, просто обошел всех старых заказчиков и бесплатно подновил им вывески, надеясь, что их бизнес выстоит в эти тяжелые времена и потом, когда дела пойдут на лад, они подбросят ему доллар-другой.

Отсутствие денег не особо беспокоило нашу маму — она была из тех женщин, что повидали и лучшие, и худшие времена. Она достаточно прожила на свете, чтобы слышать рассказы о рабстве из первых уст, и была достаточно умна, чтобы видеть подлинную цену избавления от этого ига, — или, во всяком случае, того освобождения, какого люди могли добиться в те дни в южных областях Миссури.

Мама хранила на память квитанцию об оплате с того аукциона, на котором продали ее бабку, и держала при себе этот листок, чтобы помнить, откуда она родом; впрочем, когда ей предложили продать бумажку, так мама и сделала — продала ее музеиному куратору из Нью-Йорка. Купила себе на те деньги подержанную швейную машинку. Она тоже работала в нескольких местах, но основной ее работой была уборка газетной редакции в самом центре нашего городка. Она приносила домой газеты со всех концов страны и читала нам на ночь статьи, которые казались ей подходящими, — статьи, которые распахивали окна нашего дома, простые истории о спасении кошек с верхушек деревьев, о бойскаутах, помогавших пожарным, или о цветных, которые отстаивали добро и справедливость, — все то, что наша мама называла праведным.

Нет, она не подпевала Маркусу Гарви,[\[156\]](#) не было в ней той ненависти, — но и не ратовала за прежнюю жизнь. Наша мама держалась того мнения, что в теперешнем мире цветная женщина могла бы найти себе

место и получше.

У моей мамы было самое красивое лицо, какое я только помню, а может, и самое красивое из всех, какие я видела в жизни, — темное, как сама темнота, безупречно овальное, с глазами, которые будто мой отец нарисовал, и с печальными складками у рта, и с самыми ослепительными зубами: когда она улыбалась, все ее лицо словно вспыхивало. Мама читала нараспев, с высокими африканскими нотками, которые, как я думаю, поколениями передавались нам от живших в Гане предков. Американский говор впитал эти ноты, но они все же привязывали нас к далекой родине, о которой мы ничего не знали.

Пока мне не исполнилось восемь лет, нам с братьями позволяли спать вместе, но даже и после этого мама укладывала меня в кровать подле них и читала всем нам, пока мы не засыпали. Тогда она подхватывала меня широкими ладонями и уносила на мой собственный матрас, который из-за планировки дома стелили в узком коридоре за дверью ее спальни. Я и по сей день еще слышу, как мои родители шепчутся и смеются перед сном. Может статься, только это я и хочу помнить, прямо тут и нужно остановиться, быть может, мне стоит объявить концом и началом моей истории этот самый миг, пока из-за двери доносится тихий смех, — но, сдается мне, на самом деле ничто не имеет ни конца, ни начала, и только время все идет и идет.

Как-то вечером, в августе, когда мне было уже одиннадцать, отец вошел в дверь с пятном краски на ботинке. Мама как раз пекла хлеб; уставилась на него: никогда прежде, ни единого разочка, он не испачкал краской одежду. Она уронила чайную ложку на пол. Растеклась кляксса топленого масла. «Именем Лютера, что с тобой приключилось?» — прошептала она. Он стоял, бледный и осунувшийся, цеплялся за край нашей скатерти в красно-белую клетку. Нам казалось, отец пытается проглотить комок в горле, чтобы вернуть себе голос и ответить. Ноги не держали его, колени подгибались. Мама сказала: «Боже мой, это удар». И обняла его обеими руками.

Узкое лицо моего отца в больших маминых ладонях. Он отводит глаза. Мама оглянулась и крикнула мне: «Глория, беги за доктором!»

Я выскочила за дверь как была, босая.

В те времена дорога была грунтовая, и я могу вспомнить особенности каждого шага — порой мне кажется, что я так и бегу по ней. Доктор отсыпался с похмелья. Жена сказала, его ни за что нельзя беспокоить, и закатила мне по две оплеухи на каждую щеку, когда я попыталась проскочить мимо нее к лестнице. Но я была девочкой со здоровыми

легкими. Заорала во всю мочь, протяжно и громко. И даже удивилась, когда на лестнице показался доктор, посмотрел сверху вниз и пошел за своим маленьким черным портфелем. Тогда я впервые в жизни прокатилась на машине — до самого нашего дома, где отец так и сидел у стола, держась за плечо. Выяснилось, это вовсе не удар, просто сердечный приступ, так что отец с той поры не сильно переменился, но в мамине сердце вселилась тревога. Она не отпускала отца далеко, не давала ему скрыться из виду, все боялась, что в любой момент он может рухнуть замертво. Она лишилась работы в газете, когда попыталась настоять, чтобы он приходил посидеть с ней, покуда она убирает, — редакторам не глянулась мысль, что какой-то цветной станет рыться в их бумагах, хотя уборщица-женщина их прежде ничуть не смущала.

Самое прекрасное из всего, что я только видела, — я по сей день так считаю — сборы отца на рыбалку как-то вечерком, с друзьями, которых он завел у магазинчика на углу. Он неуклюже бродил по дому, укладывая все необходимое. Мама не хотела, чтобы он таскал такие тяжести, даже удочку со снастями, все боялась, что он надорвется. Отец только напихал лишних снастей в корзину для пикников, кричал, что прихватит с собой все, черт возьми, что ему вздумается. Даже сунул в корзину пару лишних бутылок пива и бутерброды с тунцом, угостить друзей. Когда за окном раздался свист, он обернулся в дверях и поцеловал маму, шлепнул ее по кorme и что-то шепнул на ухо. Мама выгнула спину и засмеялась — так что спустя годы я решила, что шутка была и смешной, и грубой. Она смотрела, как отец уходит, пока тот чуть ли не скрылся за поворотом, а потом вернулась в дом и опустилась на колени (заметьте, мама не была такой уж набожной, она то и дело повторяла, что вся загробная жизнь уместится на лопате могильщика) и давай молить о дожде, настоящая молитва по полной программе, ведь если пойдет дождь, отец поскорее вернется, и тогда они снова будут вместе.

Каждый наш день был напоен их любовью, так что и мне предстояло побороться за такую. Пока взрослеешь, сложно даже вообразить, чтобы твоя любовь могла с нею сравняться. Я раньше думала, что в семьях, где родители любят друг друга, детям приходится нелегко: им сложно выбраться из этой кожи, потому что порой в ней так уютно, что отращивать собственную даже не тянет.

В жизни не забуду тот плакат, что они развернули для меня спустя годы, когда я уже потеряла двоих братьев на Второй мировой, под городом Анцио,^[157] когда на Японию уже были сброшены бомбы, после всех речей и торжественных встреч. Я отправлялась на север, чтобы учиться в

колледже города Сиракузы, штат Нью-Йорк, и они сделали для меня небольшой плакат, любимой краской моего отца, драгоценной золотой краской, которую он берег для высококлассных заказов, и они подняли его на автобусной станции, укрепили рейками на манер воздушного змея, чтобы не хлопал на ветру, белый плакат с простой надписью: *Поскорее возвращайся, Глория!*

Не скоро я вернулась домой. Так и не вернулась, в общем. Не тогда, в любом случае. Я оставалась на Севере — не столько жила в свое удовольствие, сколько с головой ушла в книжки, а потом всем сердцем — в поспешный брак, а потом всей душой — в разочарование, а потом уже и головой, и сердцем — в трех мальчишек, моих собственных сыновей, и тогда время побежало само, я отпустила вожжи, как свойственно людям, только глядела, как оплывают щиколотки, так что домой, в Миссури, я понастоящему возвратилась только годы спустя, на автобусах борцов за свободу, слушала рассказы про полицейских с водометами, но слышала только мамин голос: что же ты, Глория, столько времени прошло, а ты ничего не добилась, ничего не сделала, где же ты пропадала, чем же ты занималась, почему не вернулась, разве ты не знала, что я молюсь о дожде?

* * *

Теперь, тридцать с лишком лет спустя, я сделалась женщиной в теле, и, встречая на улице, люди считают меня истовой прихожанкой. Ношу тесные платья, чтоб грудь не моталась. К левому плечу самого черного из них приколота позолоченная брошь. Таскаю с собой белую сумочку на длинной ручке. Натягиваю чулки до самых колен и еще надеваю иногда белые перчатки до локтя.

У меня и голос зычный, с эхом. Глядя со стороны, люди думают, что я вот-вот затяну спиричуэл времен сахарных плантаций, вот только, по правде сказать, я не видела Бога ни разу с тех давних дней, как оставила Миссури, и уж лучше вернусь в свою комнатку в Бронксе, поставлю Вивальди и натяну плед повыше, чем стану слушать, как какой-нибудь проповедник брызжет слюной про спасение мира.

Так и так, нынче я едва ли смогу уместиться на церковной скамье, мне вообще протискиваться между рядами трудно.

Я потеряла двух мужей и трех сыновей. Каждый ушел по-своему, и каждый разбил мне сердце, но Бог что-то никак не собирается склеить кусочки. Знаю, временами я выставляла себя дурой, и знаю, что Бог

дурчил меня никак не реже. Я не чувствую своей вины в том, что оставила Его. Большую часть своей жизни я поступала как должно, но вовсе не в Храме Господнем. Вот только с годами люди стали видеть во мне женщину набожную. Поглядят на меня, послушают и воображают, что я круглые сутки тем и занимаюсь, что распеваю госпелы. У каждого свое проклятие, так что, наверное, — пусть ненадолго — именно к набожным Клэр меня и причислила.

С такими, как она, у меня никогда не бывало споров. Мне она казалась замечательным человеком, спокойным и мягким. Даже своими слезами она не доводила меня до каления. Ее слезы шли из глубины, это изредка случается. И она здорово смущалась, я ведь видела, из-за всех этих штор, сервизов, портрета мужа на стене. Ее чашка ходуном ходила на блюдце,казалось, она в любую секунду была готова выпрыгнуть в окно — как есть, с седой прядкой в волосах, с тонкими, обнаженными руками, с длинной шеей в голубых прожилках вен. На стене в коридоре висели университетские дипломы, и вся кому было ясно, по какую сторону реки она родилась. Свой дом Клэр держала в чистоте, ни соринки, а в ее голосе звучал ритм, присущий всем южанам, так что если я и могла почувствовать себя в родстве с кем-то из нашего кружка, то только с ней.

Утро протекало незаметно и плавно, как любое другое славное утро.

Мы посудачили немного про парня на канате, а потом спустились с крыши, уселись за пончики, потягивали чай и болтали о том о сем. Солнце заливало гостиную. Полировка на мебели так и сверкала. Потолки в доме у Клэр были высокие, с роскошной лепниной. На полочке, под стеклянным колпаком, стояли часы на четырех ножках. Цветы, которые я принесла, красовались посреди стола. От тепла они уже начали раскрываться.

У остальных голова шла кругом от Парк-авеню, я-то видела. Когда Клэр ушла на кухню, они дружно подняли свои чашки повыше и давай разглядывать, что за штамп у них на донце. Дженет даже подняла стеклянную пепельницу с двумя раздавленными окурками. Подняла и уставилась на нее, словно рассчитывала увидеть вензель королевы Елизаветы. Я едва сдержала улыбку. «Ну мало ли», — просипела Дженет. У нее привычка отбрасывать волосы в сторону, почти совсем не дергая головой. Поставила пепельницу обратно на стол и тихонько фыркнула, будто говоря: *Как тебе не стыдно!* Поправила прическу легким движением и посмотрела на Жаклин. Они двое быстро нашли общий язык, известный белым женщинам; я достаточно навидалась, чтобы понимать: тут все во взгляде — они глядят по сторонам, потом на миг встречаются глазами, потом опять их отводят. Эту свою манеру они оттачивали сотни лет, меня

даже удивляет, что кто-то не играет в эти игры постоянно.

Я глянула в сторону кухни, но Клэр еще хлопотала — за прорезями жалюзи я видела ее тонкий силуэт, суетится, добывает лед. Стук формочек. Шум бегущей воды.

— Мигом вернусь, — кричит она с кухни.

Поднявшись, Дженет подкрадывается к портрету на стене. Он был очень хорошо нарисован, муж Клэр, совсем как фотография; в стаинном кресле, в костюме и синем галстуке. Присмотревшись к такой картине, а на ней и мазков почти не видно. Портрет смотрел на нас очень строго. Лысый мужчина с острым носом и намеком на дряблость под подбородком. Придвинувшись к нему вплотную, Дженет состроила гримасу. «Будто кол проглотил», — прошептала она. Забавно и похоже на правду, наверное, но я все равно почувствовала, как что-то сжимается в груди, ведь Клэр могла в любую секунду вернуться из кухни. Я повторяла себе; *Промолчи, промолчи, промолчи*. Протянув руку, Дженет кладет пальцы на раму картины; на губах у Марши играет озорная улыбка; Жаклинкусает губу. Еще чуть-чуть — и все три расхохочутся во все горло.

Рука Дженет скользнула вверх по раме и легла на колено нарисованному мужчине. Марша подпрыгнула на диване и зажала себе рот, будто ничего смешнее и придумать нельзя. А Жаклин сказала: «Смотри не перевозбуди бедняжку».

Сдавленные смешки. А мне подумалось: что бы они сказали, если бы это я осмелилась подойти и потрогать портрет за колено, провести рукой по нарисованной ляжке, — вообразить только! — но, естественно, не шелохнулась на своем стуле.

Мы услышали толчок в кухонную дверь, и Клэр вошла в комнату с большим кувшином воды со льдом.

Дженет отскочила от картины, Марша отвернулась к спинке дивана и сделала вид, что закашлялась, Жаклин прикурила новую сигарету. Клэр придвинула ко мне блюдо. Два рогалика и три пончика. Один с глазурью, другой в обсыпке, третий без всего.

— Если я съем еще хоть пончик, Клэр, — сказала я, — меня стошнит на улице.

Все равно что развязать нитку у воздушного шарика ипустить его носиться по комнате. Я особо и не собиралась никого смешить, но шутка, видно, удалась, и комната будто вздохнула с облегчением. Вскоре мы уже снова сидели, разговаривали — с серьезными лицами, — сказать по правде, разговор вышел хороший, честный, мы вспоминали наших мальчиков, какими они были, как росли, за что сражались на войне. Часы тикали себе

на полочке у книжного шкафа, а потом Клэр провела нас по коридору, мимо других картин и университетских дипломов, в комнату своего сына.

Она открывала дверь так, словно в последний раз делала это много лет назад. Та со скрежетом повернулась на петлях.

Похоже, к комнате никто не прикасался. Карандаши с точилками, бумажки, бейсбольные таблицы. Множество книжек на полках. Дубовый комод на высоких ножках. Плакат с Микки Мэнтлом^[158] над кроватью. Большое пятно протечки на потолке. Скрипучие половицы. Меня немного удивило, что комната оказалась такой маленькой, мы впятером едва в ней уместились. «Давайте я открою окно», — предложила Клэр. Я постаралась усесться поближе к изножью кровати, где опора была понадежней, мне не хотелось, чтобы она треснула подо мной. Я оперлась о матрас обеими руками, чтоб не запрыгал, и привалилась к стене, спиной ощутить ее прохладу. Дженет села в кресло-мешок — и почти не смяла его, — остальные расположились на дальней стороне кровати, а Клэр устроилась на небольшом белом стульчике у окна, где ее обдувал свежий ветерок.

— Вот мы и пришли, — сказала она.

Таким голосом, будто мы проделали невесть какой долгий путь.

— Что же, тут мило, — сказала Жаклин.

— Правда, мило, — откликнулась Марша.

Вентилятор под потолком крутился, и пыль кружила вокруг стайкой крошечных москитов. По полкам расставлены запчасти от приемников, какие-то плоские доски с электронными штуковинами, со свисающими проводами. Большие батарейки. Три экрана без задних крышечек, все потроха видны.

— Он разбирал телевизоры? — спросила я.

— О, это компьютерные детали, — ответила Клэр.

Протянув руку, она сняла со стола фотографию своего сына в серебряной рамке, передала по кругу. Тяжелая такая рамка, с наклейкой *Сделано в Англии* на черном бархате задника. Джошуа на снимке был тощим белым парнишкой с прыщами на щеках. Затемненные очки и короткая стрижка. Глаза, глядевшие в объектив. Простая одежда, не форменная. Клэр сказала, фотографию сделали незадолго до школьного выпуска, где Джошуа показал наивысшие академические результаты в своем классе. Жаклин опять закатила глаза, но Клэр и не заметила: каждое слово о сыне, которое она произносила, вызывало у нее улыбку. Она взяла со стола «снежный шар», встряхнула вверх-вниз. Сувенир из Майами, и мне еще подумалось: бывают же на свете шутники, придумать этакое — снег над Флоридой! Но, когда Клэр перевернула его, внутри шара вдруг

нарушились законы гравитации. Она дождалась, пока каждая кручинка не уляжется на стекле, и только тогда перевернула шар как нужно и рассказала нам все-все о нем, о своем Джошуа: как он пошел в школу, какие ноты рояля ему особо нравились, что он делал для своей страны, как прочел все книги на полках, как сумел собрать собственную счетную машинку, как поступил в колледж, а потом отправился работать в каком-то парке, где-то далеко, — в общем, он был парнем того сорта, что при желании могут отправить на Луну еще одного человека.

Однажды я прямо спросила у Клэр: как она считает, могли мои мальчики дружить с ее Джошуа? Она ответила: да, конечно. Но я-то ведь понимала, чего уж там, насколько мала такая вероятность.

Меня не покоробит признаться, что я чувствовала, как одиночество пронизывает меня насквозь. Это было немножко странно. Каждая из нас пряталась в собственном мирке, разрываясь от желания поговорить, каждой хотелось поведать свою историю, которую мы отчего-то начинали с середины, а дальше изо всех сил старались рассказать ее всю, ничего не упустить, насытить деталями, придать стройность и завершенность.

Меня ничуть не покоробит признаться, что я позволила Клэр говорить и говорить, без умолку. Я не перебивала, даже подбадривала ее: пусть выскажет, что лежит на душе. Еще много лет назад, в университете Сиракуз, я отточила манеру вставлять в разговор словечки, которые успокаивали людей, заставляли их беззаботно болтать, чтобы мне самой пореже приходилось открывать рот; сейчас я сказала бы, наверное, что возводила из них защитную стену. Бывая в гостях у обеспеченных людей, я до совершенства довела свойственную всем южанам привычку приговаривать: *Господи помилуй!* Или: *Боже ты мой!* Или: *Неужто!* То были выражения, которых я держалась, чтобы мне разрешили молчать; они служили мне опорой, моим последним прибежищем уж и не знаю, как долго, так я к ним привыкла. Ясное дело, в доме у Клэр я быстренько встроилась в старую колею. Она развернулась в собственном маленьком мире проводов, да компьютеров, да электрических машинок, а я только подкручивала, чтоб она не останавливалась.

По-моему, этого она не замечала — или не подавала виду, что замечает. Только поглядывала на меня из-под своей седой прядки и улыбалась, будто рассказывать ей было в новинку и она уже не знала, как остановиться. Клэр вся просто светилась счастьем, подбирая одну мысль за другой, повторяясь в рассказе, возвращаясь, перескакивая с предмета на предмет, объясняя нам еще одну тонкость про электронику, еще одну черточку характера Джошуа в школьные годы, она болтала о рояле во

Флориде, прыгала по жизни этого парнишки, как по «классикам» на асфальте.

В комнате постепенно становилось все жарче, мы же впятером туда набились. Стрелки будильника у кровати не двигались — может, батарейки сели, — но у меня явственно тикало в висках. Я чувствовала, что плыву, но вовсе не хотела уснуть посреди рассказа. Пришлось прикусить губу изнутри, чтоб незаметно не задремать. И уж конечно, я была не одна, мы все изнывали: то и дело ерзали, Жаклин странно дышала, Дженет постоянно покашливала, а Марша все вытирала лоб своим платочком.

Я понимала, что ноги затекли и меня ждет полный набор иголочек с булавочками, так что потихоньку начала шевелить пальцами, напрягать мышцы лодыжек, — думаю, и выражение лица у меня было не ахти, я все вертелась на кровати, производя слишком много шума.

Клэр улыбалась мне, но в этой улыбке мне виделась неестественность, небольшая натяжка по углам. Я улыбалась в ответ, изо всех сил стараясь никому не показаться и непоседливой, и неуклюжей. И дело вовсе не в том, что мне стало скучно от ее рассказов, они тут ни при чем, просто мое тело решило досадить мне во что бы то ни стало. Я снова напрягла пальцы, но это уже не сработало, и как можнотише я начала трясти коленом, отрывая его от края кровати, чтобы вернуть ноге хоть какие-то ощущения. Клэр уперла в меня взгляд, полный неодобрения, но первой с места поднялась не я, это Марша, не выдержав, вскочила, потянулась и совершенно открыто зевнула — так запросто взяла да зевнула, как ребенок вытаскивает длинную полоску жвачки изо рта, как бы говоря: *Поглядите, мне уже скучно, мне хочется зевать, и никто мне не запретит*.

— Простите, — сказала Марша, определенно не чувствуя за собой вины.

На миг все остановилось. Словно сам воздух развалился вдруг на части, чтобы все смогли посмотреть, из чего же он состоит.

Дженет потянулась вперед, похлопала Клэр по колену и говорит:

— Продолжай, ты интересно рассказываешь.

— Я не помню, о чём говорила, — пролепетала она. — На чём я остановилась?

Никто не шелохнулся.

— Я точно знаю, это было что-то очень важное, — сказала Клэр.

— Ты говорила о Джошуа, — подсказала Жаклин.

Марша обвела комнату гневным взглядом.

— Хоть убейте, не помню, о чём говорила, — повторила Клэр.

Она изобразила еще одну быструю, напряженную улыбку, словно ее

мозг наотрез отказывался верить неопровергимым фактам, вдохнула поглубже и начала говорить. Вскоре она вновь мчала во весь опор по гладким рельсам Джошуа: тот находился на пороге чего-то совершенно нового, сказала она, едва ли мир когда-нибудь поймет, что же он потерял, ее сын собирался заставить электронные машинки творить благо для человека и человечества, и когда-нибудь эти штуки смогли бы разговаривать друг с дружкой, совсем как люди, они смогли бы даже воевать вместо людей, в сущности, это сложно понять, но поверьте мне, сказала она, именно туда и зовет нас будущее.

Марша снова поднялась на ноги и принялась разминаться у дверей. Второй ее зевок не был таким наглым, как первый, но затем она спросила:

— Никто из вас, слушаем, не знает расписания паромов?

Клэр умолкла на полуслове.

— Не хотела тебя прерывать. Прости. Просто неприятно угодить в час пик, — объяснила Марша.

— Но день только начался.

— Знаю, но люди иногда бегут как сумасшедшие.

— О да, бегут, еще как, — пискнула Дженет.

— Иной раз часами приходится стоять в очереди.

— Часами...

— Даже по средам.

— Мы можем заказать что-нибудь на ланч, — предложила Клэр. — На Лексингтон открылся китайский ресторанчик...

— Право, не стоит. Спасибо.

Я видела, как покраснела Клэр. Она опять попыталась улыбнуться, такая нейтральная улыбка, и мне вспомнилась вдруг строчка: *И всего-то капля яду, а она так и пошла*. Это из старой песенки, которую я выучила еще девочкой, мама мне пела.

Клэр оправила на себе платье, потянула, чтобы не топорщилось. Потом взяла фотографию Джошуа с подоконника и тоже поднялась на ноги.

— Что ж, я очень благодарна вам за визит, — сказала она. — Уж и не помню, когда кто-то заходил в эту комнату.

Ее улыбкой стекло можно было резать.

А ответная улыбка Марши была как молотом. Жаклин оттерла лоб, словно прошла через невесть какое испытание. Комнату заполнили эхи, и охи, и вздохи, и неловкие паузы, и осторожный кашель, но Клэр так и стояла, прижав к платью серебряную рамку с фотографией. Все заговорили вразнобой: и какое вышло чудесное утро, и спасибо тебе огромное за гостеприимство, и каким храбрым парнем был Джошуа, и нам нужно

встретиться как можно скорей, и разве не чудо, каким умным он был, и как это я чуть не забыла, подскажите мне адрес пекарни, где вы покупали пончики, и всевозможные другие словесные кляпсы, какими мы только могли заткнуть окружавшую нас тишину.

— Не забудь свой зонтик, Дженет.

— Я родилась с этим зонтиком в руке.

— Дождя же не будет?

— Пока льет дождь, такси ни за что не поймаешь.

В коридоре Марша заглянула в зеркало, подновила помаду и повесила сумочку на локоть.

— В следующий раз, когда позовешь в гости, напомни мне захватить с собой палатку.

— Что захватить?

— Я разобью палатку прямо тут.

— И я тоже, — заявила Дженет. — Правда, просто потрясающая квартира, Клэр.

— Настоящий пентхаус, — поправила ее Марша.

В воздухе летала ложь всех форм и обличий, она носилась взад и вперед, сталкиваясь, и даже Марше было боязно первой повернуть ручку на двери. Она остановилась у подставки для шляп с ножками в виде львиных лап с шарами, коснулась ее плечом, и лапы застучали по полу. На подставке закачались зонтики.

— Я позвоню тебе на следующей неделе, сразу как проснусь.

— Это было бы чудесно, — сказала Клэр.

— Я буду вас ждать у себя, начнем все с самого начала.

— Отличная мысль... жду не дождусь.

— Мы выпустим в воздух желтые воздушные шарики, — предложила Дженет. — Вы помните их?

— У нас разве были шарики?

— Нет, на дереве.

— Я не помню, — сказала Марша. — У меня ум за разум зашел. — Затем она наклонилась, прошептала что-то на ухо Дженет, и они обе захихикали.

Снаружи до нас доносились щелчки лифта, который то ли поднимался, то ли опускался.

— Можно задать деликатный вопрос? — сказала Марша и с виноватым выражением на лице легонько коснулась локтя Клэр.

— Да, пожалуйста.

— Нам следует оставить лифтеру на чай?

— О нет, конечно же, нет.

Я кинула последний быстрый взгляд в зеркало в коридоре и опустила глаза, чтобы проверить застежку на сумочке, когда Клэр вдруг потянула меня за локоть и оттащила в сторонку от двери.

— Может, захватишь с собой несколько рогаликов, Глория? — спросила она во всеуслышание.

— О, я уже съела сколько могла, — сказала я.

— Просто задержись еще немного, — едва слышно попросила Клэр.

У ее глаз начинала собираться влага.

— Правда же, Клэр, хватит с меня рогаликов.

— Останься на минутку, — прошептала она.

— Клэр, — сказала я, пытаясь попятиться, но она вцепилась мне в локоть так, словно тот был последней соломинкой.

— Когда остальные уйдут?

Я видела, как легко трепещут ее ноздри. У нее было такое лицо, к которому присмотришься поближе — и покажется, что оно вдруг состарилось. В голосе звучала мольба. Дженет, Жаклин и Марша были в дальнем конце коридора, подталкивали друг друга, разглядывая картину на стене.

Конечно, мне не хотелось оставлять Клэр наедине с рассыпанными по ковру крошками от пончиков и с сигаретными окурками в пепельницах; думаю, я вполне могла бы остаться, закатать рукава и перемыть посуду, подмести пол и рассовать ломтики лимона по пластиковым коробочкам, но знаете ли, мне просто пришло в голову, что много лет назад мы не за тем колесили по стране в автобусах, обклеенных плакатами, ратовавшими за свободу и равноправие, чтобы теперь заниматься уборкой квартир на Парк-авеню, — какой бы умницей ни была Клэр, как бы она ни старалась, сколько бы ни улыбалась. Ничего против нее я не имела. У нее были такие большие, добрые глаза, она так широко их раскрыла. Я была вполне уверена, что смогу просто сидеть на диване, а она станет усердно прислуживать, поднося лакомые кусочки, но и не ради этого мы поднимали в свое время лозунги.

— Сохрани-помилуй, — вырвалось у меня.

Ничего не могла с собою поделать.

— Хм! — громко сказала Жаклин от парадной двери, будто прочищая горло, чтобы произнести речь.

— Кока-кола, раз-два-три, [159] — сказала Марша.

Я услышала, как Дженет щелкает подошвой туфли о деревянный пол. Жаклин опять прокашлялась. Не переставая что-то бормотать себе под нос,

Марша уставилась в зеркало и стала приглаживать волосы.

Такая вот история. Я б ни за что не поверила, расскажи мне кто: три белые женщины хотят, чтобы я ушла с ними, а четвертая настаивает, чтобы я осталась в гостях. Они меня как канат перетягивали, да так, что я чуть напополам не разорвалась. Сердце стучало как молот о наковальню. В глазах Клэр скапливались слезы, и она так на меня смотрела, что было ясно: решать нужно быстро. Или я сейчас ухожу с остальными, спускаюсь на лифте и выбираюсь на улицу, где мы сможем немного постоять и проститься. Или остаюсь у Клэр. Мне совсем не хотелось терять наши общие утренние посиделки из-за игр в лучшую подругу, и неважно, насколько доброе у нее сердце и насколько шикарная квартира: в общем, я отступила на шаг и наврала ей с три короба.

— Ну, мне пора отправляться домой в Бронкс, Клэр. Не могу опоздать. Днем у меня встреча в церкви, репетиция хора.

Соврав, я тут же почувствовала себя не в своей тарелке, до того неловко вышло. Клэр сказала: ну разумеется, да, она все понимает, какая же она глупая, — а затем поцеловала меня в щеку. Ее губы потерлись о мою заколку для волос, и она шепнула:

— Не переживай.

Словами не передать, как она на меня смотрела, — слов ведь не так уж и много, — это было словно набухание, медленный рост, подъем на поверхность из глубины, такое вот чувство, что и описать невозможно. На миг мне почудилось, что у меня в хребте что-то лопнуло, развязалось, у меня будто вся кожанатянулась, стала тесной, но что я могла сказать? Клэр ухватила меня за руку и потрясла ее, по второму разу повторяя, что она все понимает и вовсе не хочет, чтоб я пропустила занятия своего хора. Я опять отступила от нее, уверенная, что теперь с этим покончено, проблема разрешена ко всеобщему удовольствию, и коридор сразу словно осветился ярче, и все мы обменялись еще несколькими улыбками, и заявили друг другу, что в следующий раз встретимся у Марши, — хотя мне вдруг подумалось, что никакого следующего раза уже, пожалуй, не будет, вот где досада-то, мне ясно представилось, что теперь мы перестанем видеться, у каждой был свой шанс, мы все ненадолго вернули своих мальчиков к жизни, — и мы высипали из квартиры, и Клэр нажала кнопку вызова лифта.

Лифтер открыл перед нами раздвижную железную дверцу. Я заходила последней, и Клэр за локоть потянула меня назад, снова подошла вплотную, и на ее лице уже застывала маска глубокой печали.

Тут она прошептала:

— Знаешь, Глория, я была бы рада заплатить тебе.

* * *

Моя бабка была рабыней. И ее мать тоже. Мой прадед был рабом, который в конце концов сам себя выкупил у штата Миссури. Чтобы не забывать про это, он повсюду носил с собой хлыст. Я худо-бедно разбираюсь в том, что люди хотят купить и как, по их представлению, это можно сделать. Знаю, какие рубцы оставляют на женских щиколотках кандалы. Знаю, как выглядят шрамы на коленях от постоянной работы в поле. Я слыхала рассказы о том, как детей пускали с молотка. Читала книги, где описывалось, как стонал груз речных барж. Слыхала о колодках, в которые просовывали руки. Мне говорили, что случалось в первую же ночь, когда девочка становилась женщиной. Мне говорили, что простыни на кровати должны были так хорошо натягиваться, чтобы от них монета отскакивала, — так нравилось хозяевам. Я слушала рассказы старых южан в накрахмаленных белых рубашках и галстуках. Я видела взмывающий к небу лес кулаков. Я вместе с остальными пела песни. Я ездила в автобусах, к чьим окнам люди поднимали своих детей, чтобы те плонули внутрь. Я знаю, чем пахнет слезоточивый газ, и этот запах вовсе не такой сладкий, как уверяют некоторые.

Начнешь забывать, пиши пропало.

Клэр ударила в панику сразу, как произнесла это. Будто все лицо закрутилось вдруг в воронки ее глаз. Неожиданно вырвавшиеся слова втянули, всосали ее в себя. Задрожали веки. Она раскрыла перед собой вялую, покорную ладонь и уставилась на нее, словно говоря: вот, провалилась внутрь себя, теперь ее нет, осталась только незнакомая рука, которую она изо всех сил держала поднятой.

Я быстро отступила в лифт.

Лифтер проговорил:

— Приятного вам вечера, миссис Содерберг.

Пока он закрывал дверцу, я смотрела в глаза Клэр: хрупкое смирение.

Дверца щелкнула, закрываясь. Марша облегченно вздохнула. От Жаклин до меня донесся тихий смешок. Дженет зашикала на них, не сводя остановившегося взгляда с загривка лифтера, но мне было ясно, что она и сама едва сдерживает улыбку. Про себя я решила, что не стану играть в эти игры. Им хотелось выйти отсюда и пошептаться о том, что случилось. Знаешь, Глория, я была бы рада заплатить тебе. Я не сомневалась, что

они расслышали ее шепот и теперь захотят перемыть ей косточки, может, в какой-нибудь кофейне или закусочной, но я бы уже не выдержала новых разговоров, новых закрытых дверей, нового стука чашек о блюдца. Я просто предоставлю остальных самим себе, прогуляюсь, прочищу голову, ненадолго отдамся течению, буду ставить одну ногу впереди другой и думать, думать.

Внизу солнечный свет свободно струился по плиткам пола. Консьерж остановил нас словами:

— Прошу извинить, дамы, но миссис Содерберг только что вызвала меня по интеркому и попросила задержать вас на минутку, она сейчас спустится.

Марша издала один из своих длинных вздохов, а Жаклин сказала, может, она собирается вынести нам оставшиеся рогалики (словно смешнее ничего и быть не может), и я ощущала, как мои щеки наливаются пульсирующим жаром.

— Мне нужно спешить, — сказала я.

— Тихо-тихо, на сердитых воду возят, — промурлыкала Марша. Бочком придинулась ко мне и успокаивающе положила ладонь на мою руку.

— Мне нельзя опоздать на репетицию хора.

— Ах ты боже мой! — сказала она, глаза сужены до щелочек.

Я постояла, в упор глядя на нее, а потом выскользнула за дверь и пошла по авеню, чувствуя ожоги взглядов на спине.

— Глория, — пели они позади, — Гло-рия!

Вокруг меня прохожие уверенно и весело вышагивали по улице. Бизнесмены, и доктора, и нарядно одетые женщины — они все спешили на ланч. При виде чернокожей проезжавшие таксисты мигом гасили свои огоньки, никто не хотел останавливаться, хоть я и была в лучшем своем платье, даже среди бела дня, даже по летней жаре. Может, я отряжу их куда-то далеко, прочь из центра, где крутятся деньги и висят картины, куданибудь в Бронкс, где люди слыхом не слыхивали про деньги с картинами. В любом случае, вся кому известно, что таксисты терпеть не могут подвозить цветных женщин: те либо вовсе не оставляют на чай, либо какую-то мелочь, так они думают, и ничем это не изменишь, сколько ни езди на автобусах и ни тряси плакатами. Так что я просто ставила одну ногу впереди другой. Они были в лучших моих кожаных туфлях, в которых я хожу в оперу, и поначалу в них было вполне удобно, вовсе не так уж плохо, и мне казалось, прогулка поможет сбросить скорлупу одиночества.

— Глория! — снова услышала я, словно мое собственное имя

постепенно отдалялось, уходило все дальше и дальше.

Я не стала оглядываться. Была уверена, что Клэр побежит за мной, и все гадала, правильно ли я сделала, оставив ее позади, наедине с радиодеталями, расставленными по комнате сына, с книгами, с карандашами, с бейсбольными карточками, со «снежными шарами», с точилками, аккуратно разложенными на полках. Ее лицо всплыло передо мной, глубокая печаль, омывшая ее глаза.

Идите, стойте.[\[160\]](#)

Мне одного только хотелось: добраться домой и свернуться на кровати, склониться в своей квартире, подальше от автомобильных гудков. Ни к чему мне были стыд, или досада, или даже забота — я просто хотела прийти домой, закрыть двери, включить проигрыватель, чтобы меня окружил сюжет какого-нибудь либретто, присесть на диван со сломанной спинкой и глушить все остальное, пока оно не пропадет вовсе.

Идите, стойте.

Но с другой стороны, я стала думать, что мне не следовало так себя вести, может, я все неверно поняла, может, вся правда состояла в том, что Клэр была одинокой белой женщиной, живущей на Парк-авеню, потерявшей сына в точности как я потеряла троих собственных, она хорошо ко мне отнеслась, ни о чем не спрашивала, пригласила меня в свой дом, поцеловала в щеку, следила, чтобы не пустела моя чашка с чаем, да только в самом конце вдруг совершила ошибку, не сдержала всего одной короткой, глупой фразы, которой я воспользовалась, чтобы разрушить все остальное. Мне понравилось, как она сутилась вокруг нас, и она вовсе не хотела обидеть, может, у нее попросту сдали нервы. Люди бывают хорошими, только наполовину хорошими и только на четверть хорошими, и это соотношение вечно меняется, но даже в лучшие дни никто не идеален.

Я представляла себе, как она стоит перед закрывшейся дверью лифта, смотрит на обратный отсчет этажей, грызет пальцы, наблюдая, как все падает вниз. Ругает себя за то, что перестаралась. Бежит назад, в квартиру, к интеркому, и просит нас задержаться еще на минутку.

Пройдя почти десять кварталов, я почувствовала слабую резь в боку, внезапный укол. Прислонилась к двери медицинского офиса на Восемьдесят пятой улице, под навесом, тяжело дыша, и еще раз взвесила все в голове, но затем подумала: «Нет, я не вернусь назад, не сейчас, я пойду своей дорогой, это мой долг, и никому меня не остановить».

Каждому время от времени попадает вожжа под хвост. Я решила, что пойду домой пешком, каждый шаг, до самого конца, даже если дорога займет всю неделю, преодолею каждый дюйм этого пути, помолимся, вот

что я сделаю, только так я вернусь в свой Бронкс, и будь что будет.

Марша, Дженет, Жаклин уже не кричали мне вслед. Отчасти я испытывала облегчение от того, что не сдалась им на милость, не стала оборачиваться. Уж и не знаю, чем бы все кончилось, если б они так и семенили за мной, квартал за кварталом, какую сцену я бы им закатила. Но другая часть меня считала, что Клэр, во всяком случае, могла бы не останавливаться, могла бы догнать меня, уж этого-то я заслуживала, мне хотелось, чтобы она подбежала, постучала мне по плечу и попросила снова, чтобы я знала наверняка, для нее это было важно, как важны были для нас наши дети. И я бы не смогла поставить точку, не смогла бы отказать детям.

Я подняла голову и поглядела вдоль улицы. Парк-авеню была серой и широкой, впереди она немного приподнималась, взбираясь на низкий холм цветной ниточкой светофоров. Подтянув ремешки на туфлях, я шагнула на перекресток.

* * *

Когда мне было семнадцать, я уехала из Миссури и добралась до Сиракуз, где жила на академическую стипендию. В целомправлялась неплохо, даже если это я сама так говорю. У меня хорошо получалось составлять слова в глубокомысленные фразы, я умела вспомнить к месту немало событий из истории Америки, так что — как не многих цветных девушки в те времена — нас приглашали в красивые гостиные, в дома с деревянными панелями, и мерцавшими свечами, и тонкими хрустальными бокалами, где нас просили высказать свое мнение о том, что случилось с нашими парнями в далеком Анцио, и кем был У. Э. Б. Дюбуа,[\[161\]](#) и что на самом деле означало обрести свободу, и откуда взялись «Пилоты Таскиджи»,[\[162\]](#) и что подумал бы Линкольн о наших достижениях. Люди слушали наши ответы с остановившимся, остекленевшим взглядом. Словно изо всех сил хотели поверить в то, что говорилось в их присутствии, но нипочем не верили, что присутствуют.

Ближе к вечеру я садилась за рояль, играла чопорные классические пьесы, и все эти люди словно недоумевали: когда же, наконец, грянет джаз? Не такой музыки ждали от негритянки. Порой они резко вскидывали головы, будто только очнулись от сна и не понимают, где находятся.

Декан того или иного факультета в итоге торопил нас к выходу. Я понимала, что настоящие вечеринки начинались, только когда мы уходили

и за нами закрывали двери.

После посещения этих великолепных домов мне совсем не хотелось возвращаться в свою комнатенку в общежитии. В своих протертых до дыр туфлях я бродила по городу, по аллеям Торнден-парка и садам Уайт-Чейпл, пока не забрезжил голубоватый рассвет.

Большинство прочих дней я ходила, прижимая к груди сумку с учебниками и делая вид, что не слышу, как ребята из студенческого братства свистят мне вслед. Они бы не отказались от трофея в виде темнокожей студентки, прямо сафари устраивали.

Конечно, меня тянуло к проселочным дорогам за родным городком в штате Миссури, но для родителей, брось я колледж, это означало бы поражение, они не представляли, чем учеба была для меня. Они думали, их девочка отправилась на Север, в место, где молодую образованную женщину пускают на пороги богатых домов, чтобы узнать об Америке всю правду. Они уверяли, что мой южный шарм поможет мне все преодолеть. Отец писал письма, которые начинались обращением: *Моя маленькая красавица Гlorия*. Отвечала я на тонкой бумаге авиапочты. Рассказала им, как мне нравятся занятия историей, что было правдой. Рассказала, как люблю ходить по лесу, тоже чистая правда. Рассказала, что вовремя стираю постельное белье, истинная правда.

Ничего, кроме правды, и ни слова начистоту.

Несмотря ни на что, колледж я окончила с отличием. И стала одной из первых цветных девушек, кто добился этого в Сиракузах. Поднялась по ступеням, оглянулась вниз, на толпу черных шапочек и мантий, была встречена потрясенным аплодисментами. Широкую площадку перед колледжем поливал легкий дождик. Мне было страшно возвращаться в толпу друзей-студентов. Приехавшие из Миссури мама с отцом обняли меня. Они показались мне старыми и больными, держались за руки, будто были единое целое. Мы отправились в «Денниз» отпраздновать мой выпуск. Мама сказала: мы проделали долгий путь, мы и наш народ. Я съежилась, сжалась на стуле. Родители упаковали вещи так, чтобы я могла ехать на заднем сиденье. Нет, сказала я им. Я бы еще ненадолго осталась, если они не возражают, я еще не готова вернуться, не сразу. «О, — хором сказали они, чуть заметно улыбаясь, — так ты теперь янки?» В их улыбке было столько боли... думаю, такие называют гримасами.

Моя мама, на пассажирском сиденье впереди, поправила зеркало заднего вида, смотрела, как я ухожу, и махала мне рукой из окна, и кричала, чтобы я поспешила домой.

В свой первый брак я вступила без оглядки, не любя, но мечтая

любить. Мой будущий муж происходил из семьи, жившей в Де-Мойне. Он учился на инженера и был хорошо известен в негритянских ораторских кружках, никогда не лез за словом в карман, любой предмет мог разложить на ладони. У него была изрытая ямочками кожа и красивый нос чуточку набок. Его короткая, консервативная стрижка-афро светлела по краям. Он относился к людям, привычно поправляющим очки точным движением среднего пальца. Я встретила будущего мужа на собрании, где он заявил, что Америка в упор не видит одного — цензуры, которая пьет из нее соки, и так будет, покуда не изменится само понятие прав человека. Вместо «гражданских прав» он так и говорил: *права человека*. Весь зал тут же умолк, а у меня горло перехватило от желания быть с ним. Он глядел прямо на меня через ряды стульев. Мальчишеская худоба, полные губы. Мы встречались шесть недель, а потом решили: будь что будет. Мои родители и два еще живых брата приехали на нашу свадьбу. Праздновали в обветшалом танцзале на городской окраине. Танцевали до полуночи, а потом музыканты ушли, волоча за собою тромбоны. Пиджаки и куртки пришлось отыскивать в общей куче. Мой отец почти все время молчал. Поцеловал меня в щеку. Сказал, что по нынешним временам мало кто заказывает вывески, расписанные вручную, все хотят себе неоновые трубки, но если б такой плакат, один-единственный, он сочинил себе сам, на нем бы стояло: *Отец Глории*.

Мама надавала мне множество советов — я не запомнила ни слова, — а затем мой муж повел меня прочь.

Я поглядела на него с улыбкой, а он улыбнулся в ответ, и мы оба в ту же секунду со всей ясностью поняли, какую ошибку совершили.

Некоторым кажется, любовь — это конечный пункт на дороге, и, если тебе повезет попасть туда, уезжать не стоит. Другие считают, что любовь похожа на обрыв, с которого падает твоя машина. Но большинство людей, успевших пожить на свете, знают: любовь — это нечто, что меняется день ото дня, и ты сможешь удержать ее, только если будешь бороться. Если не выпустишь из рук, не потеряешь. Но иногда, случается, бороться нет смысла, ведь никакой любви нет и не было.

Наш медовый месяц был кошмаром. Холодное солнце было в окна небольшой гостиницы в маленьком городке на окраине штата Нью-Йорк. Я слышала, на свете есть немало невест, что провели первую брачную ночь отдельно от мужей. Поначалу меня это не беспокоило. Я видела, как он свернулся на тахте, без сна, и дрожал будто от лихорадки. Я его не торопила. Он заверил меня, что просто устал, и хмуро напомнил о напряжении дня; лишь годы спустя я узнала, что на свадебную церемонию

он спустил все семейные сбережения. Я по-прежнему чувствовала, как меня влечет к нему. Всякий раз, когда слышала, как он говорит, или когда он звонил сказать, что не придет сегодня домой, — казалось, слова сами находят его, его манера речи была как волшебство, но спустя время даже голос начал приедаться, а сам он стал напоминать цвета обоев в гостиничных номерах, которые снимал: цвета понемногу просачивались в него, покуда не завладели им целиком.

Чуть погодя он будто потерял даже свое имя.

А потом он сказал мне — в 1947 году, после одиннадцати месяцев нашей семейной жизни, — что уже какое-то время подыскивает себе другую пустую коробку, куда смог бы забраться. И это был парень, блиставший на негритянских собраниях ораторов. *Другую пустую коробку.* Такое чувство, будто мой череп исчез из головы. Мужа я бросила.

Только бы не возвращаться домой. Я сочиняла отговорки, опуталась целой вязью лжи. Мои родители все еще переживали за меня — какой был прок причинять им боль? Мысль о том, что они узнают о моем провале, скручивала внутренности. Я не могла бы пережить такое. Даже не рассказала о разводе. Я звонила маме и говорила ей, что муж моется в душе, или отправился на баскетбольную площадку, или устраивается на новую работу в большое конструкторское бюро в Бостоне. Я тянула телефонный шнур до самой входной двери, жала на кнопку звонка и говорила: «Ой, мне надо идти, мама, к Томасу пришли друзья».

Теперь, когда он исчез из моей жизни, к нему вернулось имя. Томас. Я написала его на зеркале в ванной, синим карандашом для подводки глаз. Глядела сквозь него на себя.

Надо было вернуться в Миссури, подыскать хорошую работу, устроиться жить у родителей, может, даже найти себе мужа, который не боялся бы мира вокруг, но я так и не вернулась; все обманывала себя, делала вид, что собираюсь домой, и довольно скоро мои родители умерли. Сначала мама, а неделю спустя — и отец, одинокий мужчина с разбитым сердцем. Помню, я думала, что они ушли от нас, как влюбленные. Не могли жить друг без друга. Всю жизнь словно дышали одним на двоих воздухом.

Свербевшее внутри чувство потери гнало меня дальше, и мне захотелось увидеть Нью-Йорк. Я слыхала, этот город умел танцевать. Прибыла на автовокзал с двумя красивыми чемоданами, на высоких каблуках и в шляпке. Мужчины предлагали помочь мне с тяжестями, но я шла дальше, высоко подняв голову, по Восьмой авеню. Я подыскала подходящую гостиницу-пансионат, отправила свои бумаги в образовательный фонд, но ответа не получила, так что ухватилась за

первую же работу, которую мне предложили, — принимать ставки на ипподроме Белмонт. Женщина в окошечке. Бывает, мы случайно оказываемся в месте, которое никак нам не подходит. Мы делаем вид, что так и должно быть. Мы думаем, что сможем сбросить это с себя, как пальто, одним движением плеч, но это вовсе не пальто, это как вторая кожа. Я могла бы подыскать работу куда лучше, но все равно согласилась. И каждый день ездила на ипподром. Мне казалось — ну поработаю еще неделю-другую и уволюсь, но эти мысли приходили редко, несли краткое удовольствие. Я знала, что такое удовольствие, но еще не успела изведать его сполна. Двадцать два года от роду. Мне всего-то и нужно было, чтобы моя жизнь хоть ненадолго обрела остроту, чтобы сложила из кирпичиков однообразных и скучных дней что-то новое, без оглядки на прошлое. Кроме того, мне нравился шум копыт, когда кони несутся галопом. По утрам, до начала скачек, я проходила между загонами, глубоко вдыхая запахи сена, и мыла, и седельной кожи.

Иногда мне кажется, что люди, возможно, продолжают отчасти пребывать в месте, которое давно покинули. На ипподроме в Нью-Йорке мне нравилось смотреть на лошадей вблизи. Их бока голубели, как крыльшки насекомых. Гривы реяли в воздухе. Они были словно привет из Миссури. Они пахли домом, полями, берегами нашей речушки.

Из-за угла вышел мужчина с щеткой для ухода за лошадьми. Высокий, черный, элегантный. В рабочем комбинезоне. Его улыбка была такой широкой, такой белой.

Мой второй и последний брак оставил меня в Бронксе на одиннадцатом этаже высотного дома, с моими тремя мальчиками — и, надо думать, с теми двумя девчушками тоже, как ни поверни.

Бывает, только взобравшись на высоту многих этажей, и можно разглядеть, что наше прошлое сотворило с настоящим.

* * *

Я двинулась прямиком по Парк-авеню и дошла до Сто шестнадцатой улицы, до перекрестка, и только тогда задумалась, а как бы мне перебраться через реку. Мостов, конечно, хватает, но у меня уже стали опухать ноги, а туфли просто вгрызались в ступни. Туфли я купила на полразмера больше, чем нужно. Специально взяла именно такие, для воскресных походов в оперу, где я люблю откинуться в кресле и тихонько сбросить туфлю с ноги, почувствовать холодок. Но теперь они с каждым шагом съезжали все

далъше, вырубая в пятке тонкую борозду. Я пробовала изменить походку, но кожа уже начинала слезать. С каждым новым шагом кромка врезалась чуточку глубже. У меня были при себе монетка на автобус и проездной на метро, но я сама дала себе зарок дойти до дома пешком, на собственной тяге, шаг за шагом. Короче, двинулась далъше на север.

Улицы Гарлема выглядели так, словно весь район осажден врагами: заборы, и ограды, и колючая проволока, в окнах радиоприемники, дети на тротуарах. Наверху женщины стоят, уперев в подоконники локти, словно высматривают, куда это подевались лучшие времена. Попрошайки на инвалидных колясках, с всклокоченными бородищами: наперегонки бросаются к вставшим на светофоре машинам. Свое состязание колесниц они воспринимали очень серьезно, и победитель получал право подобрать мелочь с тротуара.

Проходя мимо, я замечала обстановку чужих комнат: белый эмалированный кувшин на окне, круглый деревянный стол с расстеленной на нем газетой, стеганое покрывало на зеленом кресле. Какие звуки, гадала я, наполняют все эти комнаты? Мне как-то не приходило в голову, но в Нью-Йорке все построено на чем-то другом, здесь ничто не стоит особняком, все вещи вокруг не менее странны, чем все прочие, и тесно связаны между собой.

Каждый свой шаг я делала словно по тупому лезвию, но с болью еще могла совладать, ведь на свете бывают вещи и похуже, чем пара сбитых пяток. В моей памяти всплыла поп-песенка, в которой Нэнси Синатра^[163] пела, что ее сапожки сделаны для того, чтобы ходить. Я решила, что чем дольше буду ее напевать, тем меньше будут болеть мои ноженьки. *И когда-нибудь эти сапожки перешагнут через тебя.* От одного перекрестка до другого. Еще одна трещина в асфальте. Все мы так и ходим: если есть чем занять мысли, тем лучше. Я начала напевать погромче, ничуть не беспокоясь о том, кто может увидеть меня или услышать. Еще один перекресток, еще один куплет. Маленькой девочкой я шагала домой по полям, и гольфы потихоньку сползали внутрь ботинок.

Солнце еще и не думало садиться. Я шла медленно, часа два или даже больше.

По водостоку бежала вода: там, впереди, детишки откупорили пожарный гидрант и теперь весело танцевали в его брызгах. Их блестящие маленькие тела, такие красивые и темные. Дети постарше сидели кучками на ступеньках у домов, глядя на братишек и сестренок в промокших трусиках, — жалели, наверное, что слишком взрослые для такой игры.

Я перешла на освещенную сторону улицы.

За все годы, что я жила в Нью-Йорке, меня грабили семь раз. В этом есть какая-то неизбежность. Ты заранее чувствуешь, что это случится, даже если грабитель подскакивает со спины. Воздух вздрагивает. Свет на долю секунды меркнет. Умысел. На расстоянии, в засаде, за мусорной урной. Под кепкой или в футболке. Всего в одном скачке глаз от тебя. Еще один взгляд за спину. Когда это случается, тебя даже нет в этом мире. Ты в своей сумочке, а она уже убегает прочь. Такое вот ощущение. Вот она, моя жизнь, улепетывает по улице под частую дробь шагов.

На сей раз молоденькая девица, пуэрториканка, выбежала ко мне из подъезда на Сто двадцать семь. Одна-одинешенька. Развязность в походке. Вся в полосках теней от пожарной лестницы. Уперла нож в собственный подбородок. Наркотический глянец в глазах. Я и прежде встречала подобное выражение на лицах: если она не полоснет своим ножом меня, то порежет себя. Веки, выкрашенные блескучей серебряной краской.

— Мир совсем плох, — сообщила я своим «церковным» тоном, но она просто указала на меня острием ножа:

— Давай сюда долбаную сумку.

— Грешно делать его хуже, чем он есть.

Ремень моей сумочки она обернула вокруг ножа.

— Теперь карманы, — сказала девчонка.

— Спроси себя, зачем ты это делаешь.

— Ох, да заткни же ты пасть, — сказала она и поддернула сумку повыше к плечу. Видно, уже по весу она поняла, что внутри нет ничего, кроме носового платка и нескольких фотографий. Затем быстрым движением рванулась вперед и ножом вспорола боковой карман моего платья. Лезвие чиркнуло по моему бедру. В кармане лежали кошелек, водительские права и еще два снимка моих мальчиков. Точно так же она вспорола и второй карман.

— Сука жирная, — прошипела она и отбежала за угол.

Улица подо мною качалась. Сама виновата. Мимо пролетел собачий лай. Я задумалась о том, что больше терять мне, в сущности, и нечего; надо бежать за мерзавкой, отобрать у нее сумку, спасти себя, какой я была когда-то. Больше прочего я переживала из-за фотографий. Доковыляла до угла дома. Девчонка была уже далеко, так и неслась по улице. Фотографии веером рассыпаны по тротуару. Нагнувшись, я стала подбирать то, что осталось от моих сыновей. И в окне через улицу встретилась глазами с женщиной старше себя. Она стояла словно в раме из гнилого, трухлявого дерева. Подоконник, уставленный гипсовыми фигурками святых и

искусственными букетиками. В тот момент я была готова променять свою жизнь на ее, но женщина захлопнула окно и отвернулась. Пустую белую сумочку я прислонила к крыльцу и пошла дальше без нее. Пусть забирают. Берите все, только оставьте мне мои фотографии.

Вытянула руку, и рядом немедленно остановился частник. Я вползла на заднее сиденье. Он поправил зеркало.

— Слушаю, — сказал он, постукивая пальцами по рулю.

Попробуйте-ка взвесить некоторые дни на аптекарских весах.

— Эй, дамочка, — рыкнул он, — куда едем?

Просто попробуйте их взвесить.

— Перекресток Семьдесят шестой и Парк-авеню, — сказала я.

Ума не приложу почему. Какие-то вещи просто не поддаются объяснению. Я с тем же успехом могла отправиться домой: у меня под матрасом достаточно денег, чтобы заплатить за десять подобных поездок. И Бронкс был отсюда ближе, чем дом Клэр, уж это я знала наверняка. Но мы вписались в уличный поток. Я не стала просить шофера развернуть машину. Улицы щелкали мимо, и с каждым щелчком мною все сильнее завладевал ужас.

Консьерж позвонил ей снизу, и Клэр сбежала по ступеням прямо к машине, заплатила моему водителю. Опустила взгляд на мои ноги — пузыри крови вокруг ремешков туфель, порванные карманы платья, — и что-то повернулось в ней, какой-то ключ, и ее лицо смягчилось. Она позвала меня по имени, отчего я смутилась на миг. Она обняла меня за плечи, провела прямиком к лифту, затем по коридору — к своей спальне. Шторы задернуты. От нее пахло сигаретным дымом пополам со свеженанесенными духами. «Пришли», — сказала она, словно ее спальня была единственной комнатой на всем белом свете. Я уселась на чистый, несмятый лен простыни, а она пустила воду в ванну. Плеск упругой струи. «Бедная, бедная», — вздыхала Клэр. Запахло ароматической солью.

Мне было видно мое отражение в зеркале спальни. Лицо казалось опухшим и поношенным. Клэр что-то говорила, но я не могла разобрать слов за шумом бегущей воды.

Другая сторона кровати смята. Значит, она лежала здесь, а может, и плакала. Мне захотелось вдруг раскинуться на ее отпечатке, сделать его втрое шире. Дверь медленно отворилась. В проеме с улыбкой стояла Клэр. «Сейчас мы приведем тебя в порядок», — сказала она. Подошла к краю кровати, взяла меня под локоть, провела в ванную и усадила на деревянный табурет. Нагнувшись, попробовала температуру воды ладонью. Я спустила чулки. С пяток ткань слезала вместе с лоскутами кожи. Присев на краешек

ванны, я перебросила ноги внутрь. Вода вызвала боль. Вокруг ног расходилась кровь. Как исчезающий закат: красное свечение, растворявшееся в теплой воде.

Клэр выложила перед ванной, у моих ног, белое полотенце, протянула мне пластири с уже снятыми защитными бумажками. Я не могла отделаться от мысли, что она намерена высушить мне ноги своими волосами.

— Я в полном порядке, Клэр, — сказала я ей.

— Что они украли?

— Только сумочку.

Меня окатила вдруг волна страха: Клэр могла подумать, что я решила заработать те деньги, что она сулила мне, явилась за своей наградой, за кошелем с выручкой за проданных рабов.

— Там не было денег.

— Мы все равно позвоним в полицию.

— В полицию?

— А что?

— Клэр...

Она смотрела на меня пустым взглядом, но затем в ее глазах забрезжило понимание. Людям кажется, им известна тайна чужой жизни; они воображают, что понимают, каково тебе в твоей шкуре. Ничегошеньки они не знают. Никто не знает, кроме человека, который таскает эту шкуру по всему свету.

Я согнулась пополам и приkleила пластырь на пятки. Ранки были шире, так что потом придется отлеплять его прямо с мяса.

— Знаешь, что самое ужасное? — спросила я.

— Что?

— Она назвала меня жирной.

— Глория... Мне так жаль.

— Это все ты виновата, Клэр.

— Что, прости?

— Это ты виновата.

— О! — выдохнула она, с нервным трепетом в голосе.

— Говорила же, те последние пончики — лишние.

— О.

Клэр приподняла подбородок, кожа на шее натянулась, и тронула меня за руку.

— Глория, — сказала она, — в следующий раз только хлеб и вода.

— И разве что парочку пирожных.

Нагнувшись, я вытирала пальцы полотенцем.

— Тебе нужны тапочки.

Порывшись в шкафу, она вытащила пару мягких тапочек и халат — мужнин, должно быть, поскольку в ее собственный я б не влезла. Покачав головой, я повесила халат на дверной крючок. «Не обижайся», — сказала я. Меня вполне устраивало мое порезанное платье. Клэр повела меня в гостиную. Наши чашки и блюдца так и стояли неубранные. В центре стола красовалась бутылка джина: больше пустоты, чем джина. В чаше таял лед. Вместо лайма Клэр пользовалась лимонами, нарезанными к чаю. Подняв бутылку повыше, она пожала плечами. И, не спросив, достала второй стакан. «Прости, что пальцами», — сказала она, опуская в него лед.

С тех пор как я пила спиртное, прошло уж немало лет. Джин охладил мне горло. Ничто не имело значения, только этот мимолетный вкус.

— Господи, как же хорошо.

— Иногда выпивка — лекарство, — сказала Клэр.

В ее стакане плескалось солнце. Стакан вращался в руке, ярко светилась лимонная корочка. Могло показаться, Клэр взвешивает на ладони весь земной шар. Откинувшись на белую спинку дивана, она позвала:

— Глория?

— Угу.

Смотрела мимо, куда-то над моей головой, на висевшую в углу комнаты картину.

— Сказать правду?

— Скажи.

— Обычно я не пью, знаешь ли. Просто сегодня, ну, так вышло, со всеми разговорами. Думаю, я выставила себя дурочкой.

— Все было хорошо.

— Я не вела себя глупо?

— Ты была на высоте, Клэр.

— Ненавижу выставлять себя дурой.

— Не было ничего такого.

— Ты уверена?

— Конечно, уверена.

— Правда не может быть глупой, — сказала она.

Клэр вращала стакан, глядя, как джин завивается кольцами; циклон, в котором ей хотелось утопиться.

— То есть все, что я говорила про Джошуа. Не то, другое. Ну, в смысле, я почувствовала себя так глупо, когда предложила заплатить, чтобы ты осталась. Мне просто был нужен кто-то, кто тут посидел бы. Побыл бы,

ты понимаешь, со мной. На самом деле так эгоистично с моей стороны, и я чувствую себя ужасно.

— Бывает.

— Я не это имела в виду. — Она отвернулась в сторону. — И, когда ты ушла, я звала тебя. Хотела бежать за тобой.

— Мне было нужно пройтись, Клэр. Только и всего.

— Остальные смеялись надо мной.

— Ну что ты, никто не смеялся.

— Вряд ли я еще когда-нибудь их увижу.

— Еще встретимся, даже не сомневайся.

Клэр глубоко вздохнула, осушила стакан и налила по новой, на сей раз больше тоника, чем джина.

— Почему ты вернулась, Глория?

— За деньгами, разумеется.

— Что, прости?

— Шучу, Клэр, я пошутила.

Джин сделал мой язык неповоротливым.

— О, — сказала она, — сегодня я что-то туту соображаю.

— Понятия не имею, ей-богу, — сказала я.

— Я рада, что ты вернулась.

— Не смогла придумать ничего лучше.

— Ты забавная.

— Ничего забавного тут нет.

— Да?

— Истинная правда.

— Ох! — сказала она. — Репетиция хора. Я и забыла.

— Чего репетиция?

— Твоего хора. Ты сказала, спешишь на репетицию.

— Не пою я ни в каком хоре, Клэр. Никогда не пела. Никогда не спою. Извини. Нет никакого хора.

Похоже, она обсосала эту мысль до косточек и только тогда не сдержала улыбки:

— Ты ведь останешься, правда? Дашь ногам отдохнуть. Поужинаешь с нами. Муж должен вернуться часам к шести или около того. Ты останешься?

— Ох, не думаю, что мне стоит...

— Двадцать долларов в час? — спросила она с той же улыбкой.

— Кто ж откажется, — рассмеялась я.

Мы сидели в уютном молчании, и она кружила пальцами по ободку

своего стакана, но затем, оживившись, вдруг попросила:

— Расскажи мне снова о твоих мальчиках.

Эта просьба вызвала раздражение. Я и думать о своих мальчиках больше не хотела. Так странно, всего-то нужно было оказаться в чьем-то окружении, стать обстановкой чьей-то чужой комнаты. Взял дольку лимона, я сунула ее за щеку. Кислый вкус заставил встремиться. Думаю, мне хотелось услышать совершенно иную просьбу.

— Можно тебя попросить, Клэр?

— Ну конечно.

— Быть может, поставим какую-нибудь музыку?

— Что?

— То есть, наверное, я еще не успела оправиться от шока.

— Какую музыку?

— Да какая есть. От нее чувствуешь... даже не знаю, она успокаивает. Люблю слушать оркестр. У тебя есть оперная музыка?

— Боюсь, нет. Тебе нравится опера?

— Все мои сбережения. Хожу в Мет, когда только могу. Воспаряю. Туфли сброшу и уже лечу.

Клэр поднялась и отошла к проигрывателю. Мне не было видно конверта пластинки, которую она достала. Протерла виниловый диск мягкой желтой тряпочкой и аккуратно опустила на него иголку. Она все делала так, словно это что-то необыкновенное, необходимое. Комнату наполнила музыка. Глубокие, бравурные звуки рояля: молоточки, с силой бьющие по струнам.

— Он русский, — сказала Клэр. — Может пальцы растянуть на тринадцать клавиш.

* * *

В тот день, когда мой второй муж нашел себе билетик на поезд, несущийся к забвению, я не сильно расстроилась. В любом случае, шляпа всегда малость болталась у него на голове. Встретил девицу помоложе, собрал вещички и оставил меня с тремя сыновьями и видом на автостраду Диган. Я не переживала. Глядя вслед, я думала, что никому нельзя быть таким одиноким, как он. И меня не лишило духа ни встать и закрыть за ним дверь, ни гордость свою проглотить, получая ежемесячный чек.

Бронкс. Одуряющая жара летом, лютый холод зимой. Мои мальчики носили бурые охотничьи кепки с наушниками. Потом они выбросили кепки

и отрастили собственные шапки. Прятали карандаши в прическах. У нас были свои радости. Помню, как-то летним вечером мы вчетвером отправились в «Фудлэнд» и, чтобы отстудиться, гоняли на тележках взад-вперед мимо рядов с замороженными продуктами.

Только войне удалось поставить меня на колени. Вьетнам ворвался в наш дом и забрал всех троих у меня прямо из-под носа. По одному выдернул мальчиков из кроватей, разметал простыни и объявил: *Эти трое мои*.

Однажды я спросила у Кларенса, почему он решил поехать, и сын сказал мне пару слов насчет свободы, но, в сущности, он отправился на войну только из-за скуки. Брэндон и Джейсон сказали примерно то же, когда в почтовый ящик упали их повестки. Единственная почта, которую никому не хотелось украсть. Почтальон таскал на себе тяжелые мешки уныния. В те годы герой заполонил все этажи многоквартирных домов, и я решила, что мои сыновья правы, если хотят выбраться на свободу. Слишком много детей корчилось на улице, вены исколоты, ложки торчат из карманов рубах.

Я словно распахнула перед ними окна: пора лететь, дети, в добрый час. Они расправили крылья. Ни один не вернулся назад.

Каждый раз, когда я отращивала ветку приличного размера, налетал ветер и ломал ее.

Все дни напролет я сидела в гостиной, смотрела мыльные оперы по телевизору. Наверное, я ела. Думаю, этим я и занималась. Ела все, что попадало под руку. В одиночестве. Обложилась пакетиками «Велвиты»^[164] и соленых крекеров, изо всех сил старалась не вспоминать, переключала каналы, сыр и крекеры, только бы воспоминания не успели нагнать меня. Я смотрела, как разбухают лодыжки. У каждой женщины свое проклятие, и я думаю, мое не хуже иных.

В итоге в свои объятия нас принимает музыка. Сильный, красивый голос — единственное, в чем я находила утешение. Прожитые годы, спрессованные в звук. Каждое воскресенье я стала слушать радио, а все деньги, которыми правительство пыталось заглушить мою скорбь, тратила на билеты в Метрополитэн-опера. В моей комнате словно поселилось множество голосов. Музыка лилась из окон по всему Бронксу. Порой я так громко включала проигрыватель, что соседи жаловалась. Тогда я купила наушники. Огромные, на полголовы. В зеркало старалась не смотреть, но музыка служила мне лекарством, заглушала боль.

Тем вечером тоже — я сидела в гостиной у Клэр, и музыка омыvalа меня; это не была опера, мы слушали рояль, и такое удовольствие было мне

в диковинку, поразительно.

Мы прослушали три или четыре пластинки. В конце дня или в начале вечера, не скажу точно, я открыла глаза, а Клэр укутывает мне колени легким покрывалом. Она снова уселась на белых подушках дивана, поднесла к губам стакан.

— Знаешь, чего бы мне сейчас хотелось? — спросила Клэр.

— Чего?

— Я бы с удовольствием выкурила сигарету, вот прямо здесь, в комнате.

Она зашарила по столу, отыскивая пачку.

— Муж терпеть не может, когда я курю дома.

Клэр вытащила сигарету. Вставила в рот не тем концом, и мне показалось, сейчас она так ее и прикурит, но она рассмеялась и перевернула ее. Спички, оказалось, намокли и не хотели загораться.

Оторвавшись от спинки дивана, я поисками нашла другую картонку спичек. Клэр коснулась моей руки.

— Кажется, я слегка захмелела, — сказала она, но голос ее был ясен.

Тогда, в ту самую секунду, у меня возникло страшное чувство — что она может наклониться ко мне и попытаться поцеловать или сделать еще что-нибудь не менее дикое, из тех вещей, о которых иногда читаешь в журналах. Все мы, бывает, теряем контроль. Внутри опустело, по телу словно пробежал холодный ветерок, но ничего такого не случилось. Клэр просто откинулась назад и выпустила струйку дыма в потолок, и нас обеих вновь затопило музыкой.

Чуть погодя она накрыла стол на три персоны и разогрела рагу из курицы. Несколько раз прозвонил телефон, но она не сразу сняла трубку. «Наверное, муж немного задержится», — сказала она.

После пятого звонка она ответила. До меня донесся мужской голос, но слов было не разобрать. Клэр прижала трубку к себе, и я слышала, как она шепчет: *Дорогой, и Солли, и Люблю тебя*, но разговор был коротким и резким, словно она одна говорила, и у меня даже возникло странное ощущение, что человек на другом конце линии молчал.

— Он в своем любимом ресторане, — сказала Клэр, — отмечает удачное слушание с окружным прокурором.

Меня это нисколько не расстроило, я вовсе не хотела, чтобы этот строгий мужчина сошел сейчас со стены и попытался подружиться со мной, но в глазах у Клэр появилось далекое, отстраненное выражение, словно ей было нужно, чтобы ее спросили о муже, и поэтому я так и сделала. Она пустилась в долгий рассказ о бульваре, по которому решила

прогуляться, и о юноше в белых брюках, который шагнул навстречу, как он дружил с каким-то известным поэтом, как на выходных они вместе ездили в Мистик, в маленький ресторанчик, где он пробовал разные сорта мартини; она все говорила и говорила, устремив взгляд к входной двери, дожидаясь его возвращения.

И тогда меня посетила мысль: как это все, должно быть, странно, увидь нас кто-то со стороны, — то, как мы сидим за неспешной беседой, а за окнами медленно гаснет свет.

* * *

Не могу вспомнить, как меня угораздило наткнуться на то маленькое объявление на последней странице «Виллидж войс». Я ведь не питала к этой газете каких-то особых чувств, но однажды она просто попалась мне на глаза, как оно бывает, там-то я и углядела объявление Марши; как ни странно, это Марша дала то объявление, подумать только. Я уселась написать ей письмо за маленький столик на кухне и сочинила пятьдесят или шестьдесят вариантов. Все объясняла и объясняла о своих мальчиках, бог знает сколько раз, писала о том, что я цветная, живу в плохом месте, но стараюсь держать дом в чистоте и порядке, что у меня было трое сыновей, и что я дважды была замужем, и что на самом деле мне хочется вернуться назад в Миссури, но пока не могу найти ни повода, ни мужества, как я была бы рада встретиться с другими людьми, на чью долю выпало то же, что и мне, какая это была бы честь для меня. Всякий раз я рвала письма в клочья. Они попросту никуда не годились. И в итоге написала только: *Здравствуйте. Меня зовут Глория, и я тоже хочу встретиться.*

* * *

Наверное, было уже где-то десять часов, когда муж Клэр распахнул дверь нетвердой рукой. И прямо вот так и крикнул из коридора: «Милая, я дома!»

В гостиной он замер и округлил глаза; можно подумать, ошибся дверью на лестнице. Захлопал по карманам, точно ожидая наткнуться на другую связку ключей.

— Что-то случилось? — спросил он у Клэр.

Он был очень похож на собственный портрет, только чуть постарше и

без рамы. Галстук немного сбит на сторону, но рубашка застегнута до самого подбородка. Блестит большая лысина. В руке — кожаный портфель с серебряной пряжкой. Клэр представила меня, и ее муж, собравшись, прошел через комнату пожать мне руку. Слабое дуновение винных паров. «Рад знакомству», — сказал он, явно недоумевая, с чего бы ему радоваться, но сказал все равно, просто из вежливости. Теплая, пухлая рука. Поставил портфель к ножке стола и насупил брови, завидев пепельницу.

— У вас что, девичник? — спросил он.

Клэр поцеловала мужа высоко в щеку, у краешка глаза, и ослабила узел на его галстуке.

— Ко мне приходили подруги.

Он поднял опустевшую бутылку из-под джина, поднес ее к свету.

— Давай, посиди с нами, — позвала Клэр.

— Лучше я побегу приму душ, дорогая.

— Присоединяйся, посидим вместе.

— Я с ног валюсь, — сказал он, — но такое вам расскажу!

— Правда?

— Вы только послушайте.

Он расстегивал пуговицы на рубашке, и на миг мне показалось, что он снимет ее прямо здесь, на моих глазах, останется стоять в центре комнаты, как диковинная белая рыбина.

— Один малый прошел по канату, — сказал он, — у Всемирного торгового.

— Мы уже слышали.

— Вы слышали?

— Ну да, все уже знают. Весь мир только об этом и судачит.

— Ему предъявили обвинение, я вел слушание.

— Правда?

— И вынес ему идеальный приговор.

— Его арестовали?

— Сначала в душ. Да, разумеется. Потом все расскажу.

— Сол! — сказала Клэр, цепляясь за его рукав.

— Вернусь через минуту и все расскажу.

— Соломон!

Он бросил на меня взгляд.

— Дай привести себя в порядок, — сказал он.

— Нет, расскажи нам, прямо сейчас, — вскочила с дивана Клэр. — Ну пожалуйста.

Еще один быстрый взгляд в мою сторону. Я видела, что он стеснен

моим присутствием, ему неловко из-за того, что я сижу здесь, считает меня какой-то служанкой, домработницей или свидетельницей Иеговы, которую жена зачем-то впустила в дом, нарушив заведенный порядок, испортив праздничный, который он собирался себе устроить. Расстегнул еще одну пуговицу на рубашке. Словно открывал дверь на своей груди, пытаясь выставить меня вон.

— Окружной прокурор надеялся, что газетчики не подведут, — сказал он. — Все в городе говорят об этом парне. То есть нам нельзя было просто упечь его в тюрьму или как-то. К тому же Портовое управление рассчитывало привлечь внимание, заполнить башни людьми. Они ведь наполовину пусты. Любая пресса была бы как нельзя кстати. Но нам нужно было провести слушание, предъявить обвинение, понимаешь? Придумать что-то необыкновенное.

— Да, — сказала Клэр.

— В общем, он признал себя виновным, и я присудил штраф: по пенни за этаж.

— Ясно.

— Пенни за этаж, Клэр. Я оштрафовал его на доллар десять центов. Сто десять этажей! Ты поняла? Окружной прокурор был в экстазе. Погоди, сама прочтешь. В завтрашнем выпуске «Нью-Йорк таймс».

Он отошел к бару в рубашке, расстегнутой до пупа. Дряблая грудь на виду. Плеснул в бокал янтарного цвета жидкости, глубоко вдохнул аромат, тяжело выдохнул.

— А еще я приговорил его к повторному выступлению.

— Еще один проход по канату? — переспросила Клэр.

— Да, да. У нас будут билеты в первый ряд. В Централ-парке. Для детишек. Погоди, ты еще увидишь этого чудака, Клэр. Нечто особенное.

— Он выступит снова?

— Да, да, на этот раз в безопасном месте.

Взгляд Клэр обежал комнату, словно она пыталась удержать все полотна перед глазами, мысленно сшить их вместе.

— Неплохо, а? По пенни за этаж!

Соломон громко хлопнул в ладоши, донельзя довольный собой. Клэр смотрела в пол, словно была способна видеть все внизу, до расплавленного металла в центре Земли, заглянуть в суть вещей.

— И угадай, как ему удалось перебросить свой канат? — веселился Соломон. Смеялся, прикрывая рот рукой.

— Ох, я даже не знаю, Сол.

— Попробуй угадать.

— Мне как-то все равно.

— Угадай.

— Он метнул его?

— Эта штуковина весит две сотни фунтов, Клэр. Он все рассказал мне. В суде. Завтра об этом напишут газеты. Давай же, угадывай!

— Краном или каким-то подъемником?

— Он проделал свой трюк без разрешения, Клэр. Незаметно, под покровом ночи.

— Я и вправду не знаю, Соломон. Мы сегодня встречались. Собрались тут вчетвером, и еще я, и...

— Лук и стрелы!

— ...просто сидели и разговаривали, — закончила она.

— Этому молодчику надо было идти служить в «зеленые береты», [165]

— заявил он. — Я заставил его все подробно рассказать! Сначала его друг выстрелил тонкой рыболовной леской. Привязал к стреле и пустил из лука. По ветру. Верно рассчитал угол. Попал в край здания. А потом они тянули взад-вперед веревки потолще, пока те не смогли принять на себя вес. Потрясающее, правда?

— Да, — сказала Клэр.

С сухим стуком он поставил на стол свой широкий бокал, принюхался к рукаву рубашки.

— Я все-таки пойду в душ.

Подошел прямо ко мне, запахнув на ходу рубашку, но не застегивая ее. Дыхание, напоенное виски.

— Ну что ж, — сказал он. — Боже мой, мне так неловко. Признаться, я не расслышал вашего имени.

— Глория.

— Спокойной ночи, Глория.

Я слотнула застрявший в горле комок. Он имел в виду «До свидания». Ума не приложу, какого ответа он ждал от меня, я просто пожала ему руку. Развернувшись, он вышел прямо в коридор.

— Рад был знакомству, — бросил, уходя.

Соломон мурлыкал какую-то песенку. Рано или поздно все они поворачиваются спиной. Все уходят. С евангельских времен. Я была там. Я видела. Все так и делают.

Клэр улыбнулась и поджала плечи. Я понимала, как ей хочется, чтобы муж был лучше, чем он есть, что Клэр вышла за него по какой-то весомой причине и хотела бы, чтоб эту причину видели все, но ее не оказалось на виду, а он взял да рас прощался со мной, не взглянув дважды, и ей было

неудобно, что так получилось, ей хотелось исправить эту ошибку. У нее горели щеки.

— Я на секундочку, — сказала она.

Ушла вслед за мужем, по коридору. Далекое бормотание голосов в спальне, шум бегущей воды. Голоса звучали то тише, то громче. Я даже удивилась, когда Соломон появился в гостиной вместе с женой, через какие-то мгновения. Его лицо смягчилось, будто всего одна минутка наедине позволила ему расслабиться, стать другим человеком. Думаю, на таких вещах и строится брак, или строился, или мог бы быть построен. Роняешь маску. Позволяешь усталости овладеть тобой. Тянешься поцеловать годы, прожитые вместе, потому что только они и имеют значение.

— Мне очень жаль ваших сыновей, — сказал он.

— Спасибо.

— Сожалею, что вел себя так бесцеремонно. Я не хотел, простите.

— Спасибо.

— Вы примете мои извинения? — спросил он.

Отвернулся и сказал, пристально глядя под ноги:

— Я тоже скучаю порой по своему мальчику.

И ушел.

Наверное, я всегда догадывалась, насколько трудно быть только одним человеком. Ключ вставлен в замок, и дверь может распахнуться в любую секунду.

Клэр сияла. Широко улыбалась.

— Я подброшу тебя до дома, — сказала она.

Мысль об этом согрела, но я ответила:

— Нет, Клэр, все хорошо. Возьму такси. Ты не беспокойся.

— Я хочу подбросить тебя до дома, — сказала она, чеканя слова. — Прошу, оставь себе тапочки. Я принесу сумку для туфель. У нас выдался тяжелый денек. Воспользуемся услугами агентства.

Порывшись в ящике комода, она извлекла на свет маленький телефонный справочник. Я слушала, как бежит вода в ванной. Трубы протяжно пели, и стены вторили стоном.

* * *

На улице уже стемнело. Водитель ждал нас, покуривал, опервшись о капот автомобиля. Из старомодных шоферов, с угловатой фуражкой, в

темном костюме и галстуке. Увидав нас, он отбросил сигарету и помчался распахнуть дверцу. Клэр скользнула на сиденье первой, быстро отодвинулась и подтянула ноги. Шофер взял меня под локоть и помог устроиться. «Вот так!» — фальшиво пробасил он. Я сразу ощутила себя пожилой чернокожей женщиной, но что тут такого, человек старался как мог, вовсе не хотел унизить меня.

Я назвала адрес, и шофер помедлил немного, кивнул и обошел машину.

— Дамы, — сказал он.

Мы сидели молча. На мосту Клэр бросила быстрый взгляд назад, на центральные улицы. Повсюду огни — подвешенные в пустоте светящиеся полоски офисов, лужицы света под беспорядочно расставленными уличными фонарями, отсветы встречных фар, скользящие по нашим лицам. Мимо проносились бледные бетонные опоры. Замысловатые формы балок и ферм. Голые колонны со стальными перекладинами. Широкие воды реки под нами.

За мостом нас встретил Бронкс. Обшарпанные бакалейные лавки и псы в дверных проемах. Поля каменных обломков. Перекрученные железные трубы. Разбитые плиты на пустырях. Мы ехали дальше, за железнодорожные пути, мимо пляшущих теней туннеля, сквозь пылавшую огнями ночь.

Среди мусорных баков и куч отходов ковыляли неясные фигуры.

Клэр нервно выпрямилась на сиденье.

— Нью-Йорк... — вздохнула она. — Все эти люди. Ты никогда не задумывалась, что удерживает нас от отчаяния?

Мы с Клэр разделили одну большую улыбку. Теперь мы знали что-то о нас двоих: мы станем настоящими подругами, мало что способно отобрать это у нас, мы уже двинулись по этой дороге. Я могла впустить ее в свою жизнь, и она, похоже, сумела бы выжить. Она, в свою очередь, могла впустить меня в свою, чтобы я хорошенько там осмотрелась. Потянувшись к Клэр, я взяла ее за руку. Во мне больше не было страха. Я чувствовала едва заметный привкус железа в глотке, словно прикусила язык и тот немного кровоточил, но чувство было приятным. Мимо проносились городские огни. Мне вспомнилось отчего-то, как я, еще маленькой девочкой, бросала луговые цветы в большие бутыли с чернилами. Цветки на миг задерживались на поверхности, а затем стебель намокал, опускался, а за ним проникались тьмой и сами лепестки.

Когда мы подъехали к дорожке, ведущей к многоэтажкам, мне сразу показалось, будто люди чем-то взволнованы. На нашу машину никто даже

не обернулся. Мы прижались к забору, скрытому в тени эстакады. В глянце черных стальных столбов плясали городские огни. Ночных бабочек не было видно, хотя я заметила пару девиц в коротких юбочонках под фонарями ворот. Одна всхлипывала, цепляясь за плечо второй.

У меня не было времени на проституток, никогда не было. Я не питала к ним злобы, но и не рвалась пожалеть. У них были сутенеры и белые мужики, вот те пусть и жалеют. Такой уж жизнью все они жили. Сами ее выбрали.

— Мэм? — произнес шофер.

Я все еще держала Клэр за руку.

— Доброй ночи, — пожелала я.

Открыла дверцу и в тот самый миг увидела их, двух чудесных малюток, шедших под круглыми фонарями по ночной улице.

Я знала их. Видела прежде. Они были дочками проститутки, жившей двумя этажами выше. Я старалась держаться подальше от всего этого. Год за годом. Не подпускала их близко. Встречая в лифте их мать, еще совсем юную, хорошенькую и порочную, я отводила взгляд, рассматривала кнопки с цифрами.

Девочек вели по дорожке мужчина и женщина. Социальные работники с сияющей бледной кожей, с пугливым замешательством на лицах.

Девочки были одеты в розовые платьица с лентами. Волосы убраны бисером. Пластиковые сандалетки на ножках. Им было не больше двух-трех лет, прямо близняшки, да не совсем. Обе улыбались, и теперь, когда я вспоминаю об этом, их улыбки кажутся мне странными. Конечно, они не могли понимать, что происходит, но воплощали собой картину здоровья и радости.

— Какие славные, — сказала Клэр, и в ее голосе я расслышала нотку неподдельного ужаса.

У социальных работников были непреклонно-строгие взгляды. Они подталкивали девочек вперед, стараясь благополучно провести мимо оставшихся под эстакадой проституток. В отдалении стоял полицейский автомобиль. Собравшиеся люди пытались помахать девочкам, наклониться и сказать им что-то, может, даже взять их на руки, но социальные работники отстраняли всех, убирали с дороги.

Бывают моменты, когда в жизни что-то проясняется, вдруг встает на место, без всякой на то причины. В тот самый миг я поняла, что мне следует сделать.

— Эти люди забирают их с собой? — спросила Клэр.

— Похоже на то.

— Куда же их теперь?

— В какой-нибудь детский приют.

— Но они же совсем еще крошки.

Детей подталкивали к задней дверце машины. Одна из девочек заплакала. Она держалась за основание автомобильной радиоантенны и не хотела отпускать ее. Социальный работник тянул ее прочь, но малышка не сдавалась. Обойдя машину, женщина принялась отцеплять ее ручки, пальчик за пальчиком.

Я ступила на тротуар. Не узнавала собственное тело. Во мне проснулась стремительная грация. Сделав несколько шагов, я сошла с тротуара на шоссе. Как была, в тапочках Клэр.

— Подождите, — крикнула я.

Мне-то казалось, все кончилось давным-давно, все упаковано по коробкам и отправлено подальше. Но ничто не заканчивается. Проживи я еще хоть сто лет, ничто во мне не изменится.

— Подождите.

Дженис (так звали ту, что постарше) растопырила пальчики и потянулась ко мне. Давно я не чувствовала такой радости, так давно. Ее младшая сестренка, Джесслин, плакала навзрыд. Я оглянулась на Клэр, еще не успевшую выйти из машины, на ее освещенное фонарями лицо. Казалось, она и напугана, и счастлива.

— Вы знакомы с этими детьми? — спросил меня коп.

Кажется, я ответила: «Да».

Так ему и сказала. Пустяковая ложь, не хуже любой другой:

— Да, я их знаю.

Книга четвертая

Рвется к морю, я иду

Октябрь 2006 г.

Она часто размышляет, что способно удерживать человека так высоко в небе? Откуда этот онтологический клей? Что там такое, вверху, в этом пугающе одиноком силуэте, в темной черточке на фоне неба, в соломенной фигурке, затерянной в необозримо большом пространстве? Угол горизонта. Еле заметная нить, соединяющая края зданий. Тонкий шест в руках канатоходца. Безбрежная пустота вокруг.

Фотография сделана в тот самый день, когда ее мать погибла в автокатастрофе, — лишь одна из причин, заставившая ее привязаться к снимку: простой факт, что в тот день кто-то мог запечатлеть подобную красоту. Она увидела надорванную, слегка пожелтевшую карточку в Сан-Франциско, четыре года назад, на распродаже чьих-то пожитков. На самом дне коробки с фотографиями. Мир не устает преподносить свои маленькие сюрпризы. Она купила снимок, вставила в рамку и с тех пор брала с собой, перебираясь из одной гостиницы в другую.

Человек застыл посреди неба, в то время как самолет будто ныряет в угол небоскреба. Один мимолетный фрагмент истории, породнившийся с другим. Словно идущий по канату человек как-то предвидел грядущие события. Столкновение времени и истории. Кульминационный момент репортажей. Мы ждем взрыва, но его все нет. Самолет благополучно пролетает мимо, канатоходец добирается до конца проволоки. Мироздание не разваливается на части.

Ей кажется, что на снимке сохранен устойчивый, непреходящий момент: одинокий человек на шкале истории, еще способный творить мифы, несмотря на все прочие обстоятельства. Фотография стала одной из самых дорогих ее сердцу вещиц, без нее чемодан не казался собранным, не желал закрываться, в нем словно не хватало чего-то важного. Куда бы ни ехала, она непременно укладывала бережно завернутый в упаковочную бумагу снимок вместе с прочими памятными вещами — ниткой жемчуга, локоном волос сестры.

* * *

В очереди к пункту досмотра багажа в аэропорту Литтл-Рока она стояла за мужчиной в джинсах и потертой кожаной куртке. Он был по-своему красив, в своей бесцеремонной небрежности. Тридцать с гаком или все сорок — на пять-шесть лет старше ее самой. Пружинит шаг. Она подступила поближе. Ярлычок на дорожной сумке: *Врачи без границ*.^[166]

Сотрудник службы безопасности хмурился, разглядывая его паспорт.

— Вы везете с собой какие-либо жидкости, сэр?

— Только восемь пинт.

— Прошу прощения, сэр?

— Восемь пинт крови. Не думаю, что они прольются.

Мужчина стучит себя в грудь, и она смеется. По выговору ясно, что этот тип итальянец: окончания слов восторженно растянуты. Он оборачивается с улыбкой, но охранник аэропорта отступает на шаг, внимательно оглядывает его, словно картину в музее, а после говорит:

— Сэр, пожалуйста, выйдите из очереди.

— Простите?

— Выйдите из очереди, пожалуйста. Сейчас же.

Еще двое охранников подплывают ближе.

— Послушайте, я просто пошутил, — говорит итальянец.

— Сэр, пожалуйста, следуйте за нами.

— Это шутка, — оправдывается тот.

Его выталкивают в сторону, в направлении офиса.

— Я врач, я просто пошутил. Насчет перевозки восьми пинт крови, всего-навсего. Шутка. Неудачная шутка, и все.

Он всплескивает руками от досады, и охранник немедленно заламывает одну руку ему за спину, толкает в офис, и дверь закрывается за ними, громко хлопая.

Неприязнь волной бежит по толпе пассажиров, захлестывает очередь и ее саму. Когда охранник поворачивается, чтобы смерить ее взглядом, она чувствует, как по шее спускается холодок. Достает маленький пакетик на застежке, в котором везет флакончик духов, и осторожно ставит на стойку досмотра.

— Почему вы везете это в ручной клади, мисс?

— Он весит менее трех унций.

— И цель вашей поездки?..

— Частный визит. Хочу навестить подругу.

— Пункт вашего назначения, мисс?

— Нью-Йорк.

— Поездка деловая или развлекательная?

— Развлекательная, — говорит она, и слово застревает в горле.

Спокойная уверенность ответов обретена с годами практики, и, уже пройдя через решетку металлодетектора, она привычно поднимает руки, чтобы ее могли обыскать, хоть тревожного сигнала так и не последовало.

* * *

Самолет почти пуст. Итальянец в итоге поднимается на борт. Он тяжело ступает, полон смущения и раскаяния. Плечи опущены, словно высокий рост доставляет ему одни неудобства. Темно-русые волосы в полном беспорядке. Окрашенная сединой короткая щетина на подбородке. Устраивается в кресле позади, ловит на себе ее взгляд. Обмениваются осторожными улыбками. Она слышит, как итальянец стаскивает с себя кожаную куртку и со вздохом опускается на сиденье.

Где-то на середине полета она просит принести ей джин с тоником, и итальянец протягивает вперед двадцатидолларовую купюру, чтобы заплатить за напиток.

— В былые времена поили бесплатно, — говорит он.

— Вы всегда путешествуете на широкую ногу? Шикуете?

Она недовольна собой — взяла слишком резкий тон, но иногда это случается, слова вылетают из рта под неуклюжим углом, будто с самого начала разговора она встает в защитную стойку.

— Я? Ну что вы, — говорит итальянец. — Шику со мной не ужиться.

Так и есть: вышедший из моды широкий воротник рубашки, пятно чернил под нагрудным карманом. Он выглядит мужчиной того сорта, что стригутся самостоятельно. Не совсем обычный итальянец, но что такое вообще «классический итальянец»? Ей самой не по нутру то и дело слышать от людей, что она не похожа на «нормальную» афроамериканку, — так, будто где-то существует коробка с надписью «Нормальные», из которой, как чертики на пружинке, высказываются люди: шведы, поляки, мексиканцы... Что это вообще значит, она не похожа на «нормальную»? Не продевает в уши золотых хулахупов? Ведет себядержанно, одеваетсядержанно, все под контролем?

— Итак, — говорит она, — что вам сказали в аэропорту?

— Посоветовали никогда больше не шутить.

— Боже, храни Америку.

— Плохие шутки мы выжигаем железом. Кстати, вы слышали ту, про...

— Нет, нет!

— Про человека, который пришел к врачу с застрявшей в носу морковью?

Она уже смеется. Итальянец жестом просит разрешения пересесть поближе.

— Да, пожалуйста.

Она удивлена немедленно возникшей атмосферой взаимной симпатии, приглашает его присесть в соседнем кресле через проход, даже поворачивается к нему, еще больше сокращая дистанцию. Ей часто становится не по себе в компании мужчин и женщин одного с ней возраста, ее беспокоит их внимание, их желания и намерения. Она высока, с тонкой и гибкой фигурой, у нее кожа цвета корицы и белоснежные зубы за красиво очерченными губами, она не пользуется косметикой. Впрочем, ее темные глаза всегда будто хотят вырваться на волю, за пределы миловидной внешности. Окружающие воспринимают это свойство ее глаз как некую внутреннюю силу, видят в ней умного и опасного человека, пришельца из других миров. Время от времени она пробует пробиться сквозь стену собственной настороженности, но всякий раз сдается, выдыхается. Чувствует, как бурлят в ней необузданые эмоции былых поколений, но ей никак не вскипятить их.

На работе она из тех начальниц, у которых ледяная кровь. Когда из компьютера в компьютер начинает кочевать очередной офисный прикол, ее электронный адрес почти никогда не попадает в список рассылки; она бы с удовольствием посмеялась вместе со всеми, но такая возможность представляется крайне редко, шутить с ней избегают даже ближайшие коллеги. Работающие в фонде волонтеры шепчутся за ее спиной. Даже когда, одетая в футболку и джинсы, она присоединяется к ним на улице, ее не покидает неуловимое напряжение: плечи собраны в четко выверенную линию, манеры подчеркнуто холодны.

— ...И доктор с ходу говорит: «Я уже знаю, что с вами не так».

— Да?

— «Вы неправильно питаетесь».

— Опа-на! — говорит она, пугающе близко опуская голову к его плечу.

* * *

Четыре пластмассовые бутылочки из-под джина постукивают на его откидном столике. Попутчик кажется ей чересчур сложным человеком.

Родом из Генуи, разведен, двое детей. Успел поработать в Африке, в России и на Гаити, провел два года в Новом Орлеане, был врачом в Девятом районе.^[167] По его словам, он едва обосновался в Литтл-Роке, где развернул небольшой мобильный госпиталь для ветеранов, возвращающихся с войн.

— Пино, — представляется он, протягивая руку.

— Джеслин.

— А вы? — спрашивает итальянец.

— А что я?

Обаяние в глазах.

— Расскажите теперь о себе.

Что она может рассказать? Что в ее роду сплошь одни проститутки, что ее бабушка покончила с собой в тюремной камере, что их с сестрой удочерили, что обе выросли в Поукипси, что их мама Глория расхаживала по дому, фальшиво выводя оперные арии? Что сама она отправилась учиться в Йельский университет, в то время как сестра записалась в армию? Что обучалась на театральном факультете, но диплома так и не получила? Что официально сменила имя с Джаззлин на Джеслин? И сделала это не от стыда, вовсе не от стыда? Глория говорила, стыда не существует: человек живет, пока отказывается стыдиться.

— Ну, я вроде бухгалтера, — говорит она.

— Вроде бухгалтера?

— Да, работаю в маленьком фонде. Мы помогаем людям с налогами. Никогда не думала, что буду этим заниматься, то есть ни о чем таком не мечтала, но работа мне нравится. Хорошая работа. Мы обходим трейлерные парки, гостиницы и так далее. После Риты, Катрины и всего прочего. Помогаем людям заполнять декларации, держать бумаги в порядке. Потому что у некоторых не осталось ничего, даже водительских прав.

— Великая страна.

Она смотрит на него испытующее, но в итоге решает, что он мог говорить без подвоха. Действительно мог иметь это в виду. Мог ведь, это вполне возможно, думается ей, почему бы и нет, даже по нынешним временам.

Чем дольше он говорит, тем больше ей кажется, что в речи итальянца проглядывают акценты нескольких континентов, будто он высадился в каждом из пунктов и приобрел там несколько звуков на память. Теперь он рассказывает, как, еще мальчишкой в Генуе, ходил на футбольные матчи и помогал бинтовать раненых после потасовок на стадионе.

— Бывали и серьезные травмы, — говорит он. — Особенно когда

«Сампдория» играла с «Лацио». [168]

— Простите?

— Вы понятия не имеете, о чем я говорю, да?

— Верно, — смеется она.

Он вскрывает маленькую печать на еще одной бутылочке джина, половину выливает в ее стаканчик, половину в свой. Она чувствует, как в компании итальянца ей становится все уютнее.

— Ну, — говорит она, — когда-то давно я работала в «Макдоналдс».

— Вы это не серьезно.

— Отчасти. Хотела стать актрисой. В самом деле, почти то же самое. Надо только выучить роль: «Картошку фри будете заказывать?» Становишься на заранее сделанную отметку и вперед: «Картошку фри будете заказывать?»

— Кино?

— Театр.

Она тянутся к стаканчику, поднимает его, подносит к губам. Впервые за много лет она открылась незнакомцу. Зубы словно вязнут в абрикосовой шкурке.

— Ваше здоровье.

— *Salute*, — отвечает он по-итальянски.

Самолет разворачивается над городом. В иллюминаторах грозовые облака и дождевые капли. Огни Нью-Йорка внизу, под облаками, — словно скрытое дождем, призрачное свечение, едва заметное.

— И? — говорит он, указывая за окно, на укутанный тьмой аэропорт Кеннеди.

— Что?

— Нью-Йорк. Вы надолго прилетели?

— О, просто хочу встретиться со старой подругой.

— Ага. Прям старой?

— Очень.

* * *

Когда она была девочкой и еще не чуралась людей, ей нравилось выходить на уличку в Поукиси, где стоял их маленький домик, и бегать вдоль тротуара — одна нога на мостовой, другая на пешеходной дорожке. Это требовало гимнастической ловкости: попробуйте-ка бежать быстро, все время вытягивая одну ногу и поджимая другую.

Клэр приезжала навестить их в красивой городской машине, с шофером. Как-то она долго сидела, с удовольствием наблюдая за беготней Джеслин, а потом сказала, что та бежит, словно выполняя серию антраша: [169] четный-нечетный, четный-нечетный, четный-нечетный.

Потом Клэр с Глорией усаживались на деревянных стульях в садике позади дома, у пластикового бассейна, в сени красного забора. Они казались такими разными, Клэр в однотонной юбке и Глория в ситцевом платье с цветами, словно тоже бежали по разным уровням тротуара, пускай и в одном теле; сразу две женщины в одной.

* * *

У ленты выдачи багажа Пино ждет рядом с ней. У него нет чемодана, так что забирать ему нечего. Нервничая, она потирает руки. Отчего же это легкое напряжение? Даже два джина с тоником не сумели его одолеть. Но итальянец тоже не чувствует себя в своей тарелке: она замечает, как тот переминается с ноги на ногу, как поправляет ремень дорожной сумки на плече. Ей нравится его смущение, оно спускает его на землю, наделяет плотью и кровью. Он уже предложил подбросить ее на Манхэттен, если это ее устроит. В любом случае берет такси. Едет в Виллидж, ему хочется послушать джаз.

Ее так и подмывало сказать, что он не похож на ценителя джаза, что в нем есть нечто от фолк-рока, ему, скорее, придется впору одна из песен Боба Дилана, [170] в кармане его куртки вполне мог завалиться листок с текстом Спрингстינה, [171] а вот джаз как-то не совсем ему подходит. Так или иначе, ей нравились сложные характеры. Хотелось бы ей набраться смелости, повернуться к нему и сказать: «Обожаю людей, которые сбивают меня с толку».

Столько бездарно потраченного времени: тщательно обдумываешь, что сказать, но так и не решаешься. Если бы только она могла повернуться к Пино и объявить, что с удовольствием поедет с ним в джазовый клуб, они вместе посидят у лампы с абажуром на столике, ощутят восторг, когда тело отклиknется на саксофонную партию, встанут и выйдут на крошечную танцплощадку, расправят плечи и обнимут друг друга в медленном танце, и тогда, возможно, она даже позволит ему провести губами по ее шее.

Она смотрит, как с ленты конвейера на кольцо карусели выкатываются чемоданы, все чужие. На дальней стороне дети то запрыгивают на ленту, то

соскаивают с нее, к радости родителей. Она делает строгую гримасу младшему, усевшемуся на чай-то большой красный чемодан.

— А ваши дети? — говорит она, оборачиваясь к Пино. — У вас есть их фото?

Глупый, неловкий вопрос. Она заговорила, не подумав, слишком близко наклонилась к нему, задала слишком деликатный вопрос. Но он вытаскивает мобильный телефон и роется в снимках, показывает ей фотографию: смуглая, серьезная, интересная девочка-подросток. Он щелкает дальше, чтобы показать снимок сына, когда рядом с ним возникает сотрудник службы безопасности.

— В терминале нельзя пользоваться сотовыми, сэр.

— Что, простите?

— Никаких телефонов, никаких камер.

— Похоже, сегодня не ваш день, — усмехается она, наклоняясь за дорожной сумкой.

— Может, да, а может, и нет.

Охранник замечает детей, кружящих на чемоданах, и бросается стаскивать их с карусели. Те принимаются голосить. Они с Пино поворачиваются друг к другу. Она вдруг чувствует себя намного моложе: возбуждение от флирта делает ее легче, озаряет, словно теплым светом, все тело.

* * *

Когда они выходят из здания терминала, итальянец предлагает пересечь реку по мосту Квинсборо, если она не против. Он сперва высадит ее, а потом уже направится в центр.

Значит, Нью-Йорк ему знаком, думается ей. Он бывал здесь раньше. Город принадлежит и ему. Новый сюрприз. Одним из самых замечательных свойств Нью-Йорка ей всегда казалось то, что ты мог приехать откуда угодно и считанные минуты спустя почувствовать себя как дома.

* * *

Сабина-Пасс и Джонсон-Байо, Бьюрегар и Вермильон, Акадия и Нью-Иберия, Мерривилль и Дерицдер, Тибодо и Порт-Боливар, Наполеонвилль и Слоутер, Пойнт-Кадет и Касино-Роу, Мосс-Пойнт и Пасс-Кристиан,

Эскамбия и Уолтон, Даймондхед и Джонс-Милл, Америкус, Америка.
Названия захлестывают, наводняют память.

* * *

Дождь еще идет. Итальянец встает под узким козырьком терминала, вытягивает из внутреннего кармана куртки пачку сигарет. Постукивает по ладони, выбивает сигарету, предлагает ей. Она качает головой. Раньше курила, но потом бросила. Старая привычка, тянувшаяся еще с Йеля; в театре почти все курили.

Но ей нравится, что Пино прикуривает сам и позволяет голубому облачу дыма отлететь к ней: дымок запутается в волосах, его аромат останется надолго, будет принадлежать ей.

* * *

Такси подъезжает под струями дождя. Гроза уже отступает из города, она дает последний бессильный залп, сходит на нет. Когда такси замедляет ход у навесов на Парк-авеню, итальянец протягивает ей визитку. Номер мобильника нацарапан на обороте.

— Красота, — замечает он, оглядывая улицу.

Достает ее сумку из багажника, тянется к ней и целует в обе щеки. Она с улыбкой замечает, что Пино поставил одну ногу на мостовую, другую на тротуар.

Он роется в кармане. Она смотрит в сторону, когда до нее доносится щелчок камеры. Теперь в мобильнике у Пино появилась и ее фотография. Она колеблется, не зная, что теперь предпринять. Удалить снимок, сохранить, сделать фоновым рисунком? Она думает о карманном варианте себя самой, разбитом на цветные пиксели, в одной папке с его детьми — в джазовом клубе, в клинике, дома.

Она никогда прежде не делала этого, но достает собственную визитку и опускает ее в карман рубашки Пино, хлопает по нему ладонью. Чувствует, как снова каменеет лицо. Слишком напористо. Слишком игриво. Слишком просто.

Это страшно мучило ее в юности — то, что ее мать и бабка работали на панели. Ей казалось, что когда-нибудь это может аукнуться и в ее собственной жизни. Например, она обнаружит, что слишком любит секс.

Или что он будет казаться ей чем-то грязным. Или ее подруги обо всем узнают. Или, хуже того, ей захочется попросить парня заплатить за это. Из всех своих подруг она была последней, кто хотя бы целовался с мальчиком, один парень в школе даже назвал ее Несговорчивой Царицей Африканской. Первый в ее жизни поцелуй пришелся на короткий перерыв между уроком естествознания и лекцией по социологии. У него было широкое лицо и темные глаза. Они стояли у входа в аудиторию, и он держал ногой дверь. Только дробный стук учительницы заставил их оторваться друг от друга. В тот день он проводил ее до дома, рука в руке, по улицам Поукипси. Увидев ее с крыльца их маленького дома, Глория широко заулыбалась. Они продержались вместе до окончания колледжа. Она даже подумывала выйти за него, но он уехал в Чикаго, трейдером. Тогда она пришла домой к Глории и проплакала сутки напролет.

Потом Глория сказала ей, что любить тишину необходимо, но сначала придется устать от шума.

— Значит, ты мне позвонишь? — спрашивает она.

— Да, позвоню.

— Правда? — поднимает она бровь.

— Конечно, — отвечает он.

Пино картино поводит плечом. Она отшатывается назад, словно в мультике, разводит руки в стороны и машет ими, как крыльями. Она не совсем понимает, почему так делает, но прямо сейчас ей все равно — в этом есть какое-то электричество, это заставляет ее рассмеяться.

Он целует ее снова, на этот раз в губы, быстро и изящно. Она почти жалеет, что поблизости нет никого из коллег, что они не видят, как она прощается с этим итальянцем, с врачом, на Парк-авеню, в темноте и холода, под дождем, на ветру, в夜里. Жаль, рядом нет какой-нибудь скрытой камеры, которая переправила бы эту картинку в офисы Литтл-Рока, где все оторвались бы от налоговых деклараций, чтобы увидеть, как она машет ему на прощание, как он оборачивается на заднем сиденье с поднятой рукой, лицо в тени, улыбка.

Она слышит, как шуршат на асфальте шины отъезжающего такси. Затем высовывает ладонь из-под козырька навеса и смачивает волосы дождевой водой.

* * *

Консьерж встречает ее улыбкой, хотя они не виделись уже много лет.

Валлиец. Когда они с сестрой и с Глорией приезжали в гости по воскресеньям, он пел им песни. Никак не вспомнить имени. В усах седина.

— Мисс Джеслин! Где же вы пропадали?

И тогда она вспоминает: Мелвин. Он тянется за ее дорожной сумкой, и на какой-то миг ей кажется, он вот-вот заговорит о том, как она выросла. Но он замечает лишь, с благодарностью в голосе:

— Меня перевели в ночную смену.

Она не знает, следует ли поцеловать его в щеку, — прямо вечер поцелуев, — но он решает за нее, отворачиваясь.

— Мелвин, — говорит она, — ты совсем не изменился.

Тот хлопает себя по брюшку, улыбается. Она побаивается лифтов и предпочла бы подняться по лестнице, но в конце холла ее встречает юноша в шапочке и белых перчатках.

— Мадам, — наклоняет голову молодой лифтер.

— Вы к нам надолго, мисс Джеслин? — спрашивает Мелвин, но дверцы лифта уже закрываются.

Она улыбается ему из кабины лифта.

— Я позвоню наверх миссис Содерберг, — говорит он через решетку, — предупрежу их о вашем приезде.

Юноша-лифтер смотрит вперед, не моргая. Он предельно осторожен с рычагами «Отиса». [172] Не пытается завести разговор, голова немного запрокинута к потолку, тело напряжено, словно отсчитывает ритм. У нее создается предчувствие, что он будет работать здесь и через десять лет, и через двадцать, и через тридцать. Так и подмывает подкрасться сзади и шепнуть на ухо: «Ууу!» — но лифт едет вверх, и она смотрит в стену, на маленькие круглые огоньки.

Юноша поворачивает рычаг, идеально выравнивая плоскость этажа с настилом лифта. Выставляет ногу, проверяя точность расчета. Молодой человек, ценящий аккуратность.

— Мадам, — говорит он. — Первая дверь направо.

* * *

Дверь открывает высокий мужчина в униформе медработника, уроженец Ямайки. На мгновение оба смущены, словно должны были узнать друг друга в лицо, но почему-то не смогли. Скорострельный разговор. Я племянница миссис Содерберг. О, понятно, входите. На самом деле не совсем племянница, но она зовет меня своей племянницей.

Пожалуйста, проходите. Я звонила утром. Да, да, она сейчас спит. Заходите. Как она себя чувствует? Как вам сказать...

Это «как вам сказать» обрывается, тянется — уже не нужно ничего говорить. Клэр вовсе не хорошо, она на самом дне глубокого черного колодца.

Джеслин слышит гул чьих-то голосов, — может, радио?

Квартира будто залита желатином. Когда они детьми приезжали с Глорией в город, то пугались этого дома: темный коридор, картины, запах старого дерева. Они с сестренкой непременно держались за руки, идя по коридору. Хуже всего прочего портрет умершего. Картина была написана так, что глаза изображенного на ней мужчины, казалось, следили за ними со стены. Клэр вечно говорила о нем: Соломон любил то, Соломон любил это... Чтобы оплатить расходы, она продала несколько других полотен, включая даже своего любимого Миро, но портрет Соломона остался висеть.

Санитар берет у нее сумку и ставит в угол, рядом с подставкой для шляп.

— Прошу, — говорит он, жестом приглашая в гостиную.

Она замирает при виде шестерых человек примерно одного с нею возраста, расположившихся вокруг стола и на диване. Одеты кто во что горазд, но все потягивают коктейли. Сердце принимается стучать о стену ребер. Обернувшись к ней, они точно так же замирают. Так, так. Настоящие племянницы и племянники, кузены, дальние родственники? Песнь Соломона. Уже четырнадцать лет прошло, как он умер, но его черты проступают на их лицах. Одна из женщин, похоже, действительно приходится Клэр родственницей: в ее волосах виднеется та же узкая прядка седины.

Они глядят на нее во все глаза. Воздух вокруг покрывается корочкой льда. Она жалеет, что Пино не поднялся с нею наверх, тогда он помог бы справиться с неловкостью, спокойно и уверенно перехватил бы контроль, отвлек бы внимание на себя. Его поцелуй все еще чувствуется на губах. Она касается их кончиками пальцев, пытаясь удержать воспоминание.

— Привет, я Джеслин, — говорит она, делая им ручкой.

Дурацкий жест. Почти президентский.

— Привет, — отвечает ей высокая брюнетка.

Ноги точно приросли к полу, но один из племянников пересекает комнату вместо нее. У него аура проказливого студента: пухловатое лицо, белая рубашка, синий пиджак с красным платочком в нагрудном кармане.

— Я Том, — говорит он. — Приятно наконец с тобой встретиться,

Джеслин.

Ее имя он произносит, словно сбивая пылинку с ботинка, и растянутое наконец звучит упреком. Значит, ему известно о ней. Слышал. Думает, наверное, что она приехала трясти из семьи деньги. Ну и пусть. Золотоискатель. По правде говоря, условия завещания беспокоят ее меньше всего; если что-то и достанется, она, наверное, все отдаст на благотворительность.

— Выпьешь?

— Спасибо, не хочется.

— Мы решили, что тетушка хотела бы, чтобы мы радовались жизни даже в самые печальные дни. — Том понижает голос: — Мы пьем «Манхэттен».

— Как она?

— Спит.

— Я опоздала... мне так жаль.

— Найдется и содовая, если желаешь.

— А она?..

У нее не выходит завершить фразу. Слова повисают в воздухе между нею и Томом.

— Чувствует себя не очень, — заканчивает он.

Снова этот черный колодец. Пустое эхо, до самого дна. Ни всплеска. Свободное падение без конца. Не очень, не очень.

Ей не нравится, что эти люди собрались здесь выпить, но стоит присоединиться, не следует держаться в стороне. Хорошо бы вернуть Пино, пусть очарует их всех, пусть вечерний город встретит ее прильнувшей к его кожаной куртке.

— Пожалуй, я все-таки выпью, — говорит она.

— Так что же, — спрашивает Том, — привело тебя в наши края?

— Прошу прощения?

— Чем ты сейчас занимаешься? Ты, кажется, агитировала за демократов или что-то вроде того?

Тихие смешки из всех углов комнаты. Они обрачиваются к ней, все до единого, вглядываются в лицо. Кажется, годы спустя она все же добралась до театральных подмостков.

* * *

Ей нравятся люди с выдержкой, способные безропотно тянуть лямку

повседневности, — те, кто считает боль необходимостью, не проклятием. Они раскладывают перед нею свои жизни, несколько листков бумаги, квитанции об уплате, чеки соцпомощи, все, что осталось. Она суммирует числа. Ей известны условия предоставления налоговых льгот, лазейки в законах, короткие пути, полезные телефонные номера. Она старается заморозить выплаты по закладным на дом, унесенный в море. Она обходит страховые обязательства в отношении автомобилей, оставшихся на дне реки. Она пытается свести к нулю счета за очень маленькие белые гробы.

Другим работникам фонда в Литтл-Роке порой удается сразу расположить к себе людей, но у нее самой редко получается достучаться быстро. Поначалу все эти люди держатся с ней скованно, но слушать она умеет. И примерно полчаса спустя они рассказывают все.

Они говорят будто сами с собой, словно она — просто зеркало, стоящее напротив, повторяющее еще одну историю их жизни.

Ее влечет их угрюмая выдержанка, но ей нравится, когда они, в сотый раз вспоминая о случившемся, вдруг находят смысл, который сотрясает их до глубины души: *Я так любил ее. Перед тем как его вынесло за ворота шлюза, я ослабила ему воротник. Муж покупал кухонную плиту в рассрочку.*

И прежде, чем они успевают понять, заявление о выплате страховки уже составлено, уведомления уже направлены в ипотечные компании, бумаги ложатся на стол, ожидая подписи. Порой они не торопятся подписывать, они еще не всем успели поделиться: без умолку говорят о купленных машинах, об оставшейся в прошлом любви. У каждого глубинная необходимость выговориться, просто рассказать историю, какой бы та ни была — простой или запутанной.

Слушать рассказы этих людей — как внимать шуму листвы: рано или поздно дерево падает, и годовые кольца открывают его возраст. Остается только пересчитать их.

* * *

Месяцев девять тому назад она говорила с одной пожилой женщиной. Та сидела в гостинице Литтл-Рока, выходное платье разложено на кровати. Джеслин старалась понять, какую сумму эта женщина недополучила со своего пенсионного фонда.

— Мой мальчик был почтальоном, — рассказывала женщина. — Прямо там, в Девятом районе. Хороший парень был. Двадцать два года.

Задерживался на работе, если нужно. И работал как надо, не подумайте чего. Люди любили получать почту из его рук. Ждали его. Радовались, когда он стучал в их двери. Вы слышаете?

— Да, мэм.

— А потом началась эта буря. И он не пришел домой. Я все ждала. Ужин держала наготове. Я тогда жила на третьем этаже. Все ждала, ждала. Только напрасно. Но я ждала. Через два дня я отправилась искать его, спустилась вниз. Вертолеты так и кружили, на нас ноль внимания. Я вышла на улицу, выплыла. По шею в воде, чуть не захлебнулась. Не могла понять, где я, ничего не осталось, пока не дошла до пункта выплаты по чекам, увидела плывущую почтовую сумку и потянула ее к себе. И подумала: святый Боже.

Пальцы женщины сомкнулись, впились в ладонь Джеслин.

— Я не сомневалась, что он вот-вот выплынет из-за поворота, живой и здоровый. Все искала, искала. Но так и не нашла своего мальчика. Жаль, что сама не утонула, прямо там. Две недели спустя мне сказали, что он зацепился за ветки дерева и повис на них, гнил на солнце. Прямо в почтальонской форме. Подумать только, зацепился.

Женщина тяжело поднялась со стула, прошлась по гостиничному номеру, подошла к дешевому платяному шкафу, открыла створку.

— Я сохранила всю почту, видите? Можете взять, если хотите.

Джеслин подняла на руки сумку. Все конверты нетронуты.

— Заберите ее, пожалуйста, — попросила женщина. — Я больше этого не выдержу.

* * *

Она отнесла почтовую сумку к озеру близ Нейчурал-Степс, на окраине Литтл-Рока. С последними лучами заката она шла по берегу, с трудом вытаскивая туфли из жирной глины. Птицы парами вспархивали вокруг, рвались вверх и кружили над головой, красное закатное солнце на перевернутых чашечках крыльев. Она не знала толком, что ей делать с этой почтой. Уселась на траву и рассортировала ее: журналы, рекламные буклеты, личные письма, которые следовало вернуть с припиской. Это письмо потерялось какое-то время назад. Надеюсь, теперь оно благополучно дойдет до адресата.

Она сожгла счета, все до последнего. «Верайзон»^[173] «Кон-Эд».

«Интернал Ревеню Сервис». [174] Какой смысл будить старую скорбь? Нет, не теперь.

* * *

Она стоит у окна, глядит на укрытый тьмой ночной город. В комнате болтовня. Эти люди напоминают ей белых птиц, бьющих крыльями. Бокал в руке кажется очень хрупким. Если сдавить чуть сильнее, может лопнуть.

Она приехала, чтобы остаться, побывать с Клэр день-другой. Заночевать в пустующей комнате ее сына. Проводить ее, как провожала Глорию шесть лет назад. Несспешное возвращение в Миссури. Поездка на автомобиле. Улыбка на лице Глории. Ее сестра Джанис впереди, за рулем. Игры взглядов в зеркале заднего вида. Обе толкают коляску Глории по берегу реки. *У ленивой речки, где дрозды поют, с пробуждением утра мы найдем приют.* [175] Тот день, такой праздничный. Они зарылись в счастье пальцами ног и не собирались ослаблять хватку. Бросали веточки по течению и смотрели, как те кружат в маленьких водоворотах. Расстелили на траве скатерть, ели сэндвичи на ломтиках «Уандербреда». [176] Вечером Джанис заплакала — внезапно, как перемена погоды, без особой на то причины, не считая вылетевшей из горлышка винной пробки. Джеслин протянула сестре салфетки. Глория посмеялась над обеими, сказала, что справилась с печалью много лет назад, что устала от того, что все хотят попасть на небо и никто не хочет умирать. В жизни, сказала она, иногда встречаешь больше красоты, чем человек в силах вынести, — и это единственное, о чем стоит плакать.

Глория ушла с улыбкой на лице. Они закрыли ей глаза, в которых еще отражалось солнце, вкатили коляску на холм и стояли, оглядываясь по сторонам, пока вечерние насекомые не затянули свои песни.

Два дня спустя они похоронили ее на участке земли позади ее старого дома. Глория как-то сказала Джеслин, что человек в точности знает, откуда он родом, если знает, где хочет быть похоронен. Тихая церемония, две сестры да священник. Они опустили Глорию в землю с одной из вывесок, написанных от руки ее отцом, и с жестянкой швейных игл, оставшейся у нее от матери. Если на свете бывают хорошие похороны, эти были хороши.

Да, думается ей, хотелось бы остаться и побывать с Клэр, провести с ней несколько минут, помолчать вместе, прислушаться к бегу секунд. Она даже

привезла с собой пижаму, зубную щетку, расческу. Но сейчас ей совершенно ясно, что ее не ждали, что ей не рады.

Она совсем забыла, что здесь могли оказаться и другие, что жизнь имеет множество сторон, — великое множество невскрытых конвертов.

— Могу я увидеть ее?

— Не думаю, что ее стоит беспокоить.

— Я только голову в дверь просуну.

— Да поздновато уже. Она спит. Может, выпьешь еще немногого?..

Голос Тома поднимается, вопрос остается незавершен, он будто пытается вспомнить имя. Но он ведь знает, как ее зовут. Идиот. Тупой, неуклюжий дурак. Он хочет быть хозяином ее скорби, закатить по этому поводу вечеринку.

— Джеслин, — подсказывает она, натянуто улыбаясь.

— Выпьешь еще, Джеслин?

— Спасибо, не стоит, — говорит она. — Я сняла номер в «Реджис».

— В «Реджис»? Неслабо.

Это самый навороченный отель, какой только можно вообразить, самый дорогой. Она и понятия не имеет, где тот расположен, где-то поблизости, но название сразу меняет выражение на лице Тома: он улыбается, показывая на редкость белые зубы.

Она оборачивает донышко бокала салфеткой, ставит на стеклянный кофейный столик.

— Ну что ж, всем желаю доброй ночи. Рада была знакомству.

— Разреши, я провожу тебя вниз.

— Спасибо, справлюсь.

— Нет-нет, я настаиваю.

Том прикасается к ее локтю, и она внутренне съеживается. Так и хочется спросить, не был ли он старостой общежития в университете.

— Правда, — говорит она у лифта, — дальше я как-нибудь сама.

Том тянется вперед, чтобы поцеловать ее в щеку. Она закрываетя плечом, задевая его подбородок.

— До свидания, — выпевает она напоследок.

Внизу Мелвин вызывает для нее такси, и очень скоро она снова остается в одиночестве, словно ничто из событий этого вечера не происходило вовсе. Нащупывает в кармане визитку, оставленную Пино. Крутит в пальцах. Уже слышит, как в кармане его куртки трезвонит мобильник.

* * *

Самые дешевые номера в «Сент-Реджис» стоят по четыреста двадцать пять долларов за ночь. Она думает, не поискать ли другой отель, не позвонить ли Пино, но затем просто выкладывает кредитку на стойку. Рука дрожит: в своей квартире в Литтл-Роке на эту сумму она могла бы жить полтора месяца. Девушка за стойкой просит ее предъявить удостоверение личности. Не стоит спорить, хотя семейная пара, взявшая комнату перед ней, ничего не предъявляла.

Крошечный номер. Плоский телевизор высоко на стене. Она щелкает пультом. Гроза кончилась. В этом году мы не ожидаем ураганов. Результаты матчей: бейсбол, футбол. Еще шестеро погибших в Ираке.

Она падает на кровать, забрасывает руки за голову.

* * *

Вскоре после высадки союзников в Афганистане она летала в Ирландию. Устроила себе отпуск, решила встретиться с сестрой: та координировала американские военные рейсы в аэропорту Шенон. На улицах Голуэя, при виде того, как они выходят из ресторана, люди начали плеваться. *Хреновы янки, валите домой!* Еще обиднее было услышать *Higgie!* — это произошло, когда они арендовали автомобиль и с непривычки выехали на встречную полосу.

Ирландия поразила ее. Она ожидала увидеть усаженные высокими кустами проселочные дороги на зеленых лугах, мужчин с длинными темными волосами, одинокие белые домики в холмах. Вместо этого — многоуровневые транспортные развязки и насупленные алкаши с лекциями по международной политике. Она сразу почувствовала, как замыкается в себе, прячется в раковину, чтобы не слушать. Ей что-то говорили, урывками и лоскутами, о человеке по фамилии Корриган, погибшем в тот день рядом с их матерью. Она хотела узнать больше. Сестра была против: Дженис не желала иметь с прошлым ничего общего. Прошлое расстраивало ее. Прошлое было самолетом, доставлявшим с Ближнего Востока тела павших.

В общем, в Дублин она отправилась без сестры. Она сама не понимала почему, но в ресницах то и дело застревали слезы, приходилось утирать их, чтобы видеть дорогу.

Найти брата Корригана оказалось не так уж и трудно. Он был генеральным директором крупной интернет-компании с офисом в высокой стеклянной башне на набережной Лиффи.

— Приезжай поговорить, — сказал он по телефону.

Дублин оказался городом на подъеме. Неоновые отражения в реке. Белые стежки чаек в сером небе. Кирану было за шестьдесят. Небольшой островок волос над лбом. Говорит с легким американским акцентом: второй офис компании, сказал он, размещен в Кремниевой долине. Одет в безупречный костюм и дорогую сорочку с открытым воротом. Седые волоски на груди. Они устроились в его кабинете, и Киран рассказал ей о жизни своего покойного брата, Корригана, — жизни, показавшейся ей исключительной, радикальной.

За широким окном кабинета, на фоне неба, медленно вращались подъемные краны. Долог, похоже, ирландский свет. Киран повез ее через реку в паб, приткнувшись в узком переулке. Настоящий старый паб: сколоченные из дерева столы, пивной дух и ряд металлических бочонков у входа. Она заказала пинту «Гиннесса».

— Моя мать была влюблена в него?

Киран тихо рассмеялся:

— О нет, не думаю, едва ли.

— Вы уверены?

— В тот день... он просто вез ее домой, не более.

— Ясно.

— Он любил другую женщину. Она была из Южной Америки. Не помню точно, из Колумбии, кажется, или из Никарагуа.

— О.

Она поняла вдруг, как это важно — чтобы ее мать хоть однажды была в кого-то по-настоящему влюблена.

— Как жалко, — выдавила она сквозь подступающие слезы.

Глаза пришлось утереть рукавом. Она терпеть не могла слезы, в любой ситуации. Показная сентиментальность, что угодно, только не это.

Киран не знал, что с нею делать. Вышел на улицу, позвонил жене по мобильнику. Джеслин осталась в баре и выпила еще одно пиво, которое согрело ее, но спутало мысли. Может быть, Корриган втайне любил ее мать, может, они вместе отправлялись на randevu, может, глубокое чувство охватило обоих в самую последнюю минуту. Ей подумалось вдруг, что ее матери, будь она жива, сейчас было бы всего сорок пять или сорок шесть лет. Они могли бы быть подругами. Могли бы разговаривать обо всем, вместе сидеть в баре, коротать время за бокалом пива. Смешно, право

слово. Как ее мать могла выбраться из той жизни, которую вела? Как она могла начать все сначала? Что поддержало бы ее? Халат уборщицы, метла и совок? Поехали, доченька, бери мои сапоги на высоком каблуке, неси в повозку, мы отправляемся на Дикий Запад, к новой жизни. Глупость. Она все понимала, и тем не менее. Всего один вечер. Посидеть с матерью, посмотреть, как та красит ногти, допустим, или как разливает кофе по кружкам, или как сбрасывает туфли, — единственный миг обыденности. Как поворачивает кран, чтобы наполнить ванну. Как напевает, перевиная мелодию. Как нарезает тосты. Все что угодно. *У ленивой речки, верю, счастье ждет.*

Вбежав в паб, Киран радостно сказал:

— Угадай, кого пригласили на ужин? — Снова этот американский говорок.

Он ездил на новенькой серебристой «ауди». Дом на берегу моря, выбеленный, в окружении розовых кустов, за темным кованым заборчиком. Тот самый дом, где росли братья. Давным-давно Киран продал его, чтобы спустя годы выкупить назад за миллион долларов с лишним.

— Можешь себе представить? — усмехался он. — Миллион с лишним.

Его жена Лара работала в саду, подрезала розы секатором. Добрая, хрупкая, мягкая, седые волосы забраны в пучок на затылке. У Лары глаза синее синего, капельки сентябрьского неба. Она стянула садовые перчатки. Цветные пятна на пальцах. Притянула Джеслин к себе, крепко обняла и не отпускала дольше, чем та ожидала. Лара и сама пахла красками.

Множество картин на стенах дома. Они вместе обошли их, с бокалом терпкого белого вина каждая.

Картинами ей понравились: неожиданные, смелые виды Дублина, переведенные на язык линий, теней, цветных пятен. Лара опубликовала альбом своих работ, ей удалось продать несколько картин на выставке под открытым небом на Меррион-сквер, но, по ее собственным словам, за годы, проведенные в Дублине, она уже утратила свой типично американский подход.

В Ларе было нечто, шептавшее о красоте неудачи.

В итоге они устроились в саду за домом, на террасе, под белыми ребрами вытянувшихся в небе облаков. Киран рассуждал о дублинском рынке недвижимости; впрочем, у Джеслин создалось впечатление, что они говорили о скрытых убытках, а не о выгоде, — обо всем, что было походя утрачено за долгие годы.

После ужина все втроем вышли пройтись к берегу моря, мимо

бастиона Мартелло и назад. Звезды над Дублином похожи на брызги белой краски. Прилив давно кончился. Необъятный песчаный пляж тянулся вдаль, в темноту.

— Англия в той стороне, — сказал вдруг Киран, по какой-то неведомой причине.

Он набросил на нее свой пиджак, а Лара взяла под локоть; они шагали рядом, зажав Джеслин между собой. Она осторожно высвободилась, а наутро пораньше отправилась назад в Лимерик. Лицо сестры светилось от радости. Дженис только что встретила мужчину своей мечты. Он служит уже третий срок подряд, восхищалась она, представь себе! И носит ботинки четырнадцатого размера — добавила она, подмигнув.

* * *

Два года назад сестру перевели в посольство в Багдаде. Она по-прежнему получает от нее открытки, время от времени. На одной — снимок женщины в парандже и надпись: *Загар обеспечен*.

* * *

По-зимнему яркий рассвет нового дня. Утром выясняется, что завтрак не входит в стоимость номера. Она не может сдержать улыбки. Четыреста двадцать пять долларов, завтрак не включен.

Поднявшись в номер, она забирает из ванной все куски мыла, лосьоны и обувную бархатку, тем не менее оставляет уборщице на чай.

Выходит на улицу, ищет, где бы выпить чашку кофе. Идет на север по Пятьдесят пятой улице.

Мир набит «Старбаксами» под завязку, и ни одного поблизости.

Она устраивается в буфете при гастрономе. Сливки в кофе. Бублик с маслом. Выйдя оттуда, кружным маршрутом доходит до квартиры Клэр, стоит под домом, задрав голову. Замечательно красивое здание, кирпичи и лепнина. Но еще слишком рано, решает она в итоге. Поворачивается и идет к подземке, дорожная сумка через плечо.

* * *

Энергетика Виллидж сразу захватывает ее. Пожарные лестницы как натянутые струны гитар. Солнце на кирпичных стенах. Цветочные горшки в высоких окнах.

На ней блуза с широким воротом и джинсы в обтяжку. Она чувствует легкость, будто сами улицы ободряют ее.

Мимо проходит мужчина в рубашке, из ворота которой выглядывает глазастая собачонка. Улыбаясь, она провожает их взглядом. Собачка взбирается хозяину на плечо, смотрит на нее большими, кроткими глазами. Она машет вслед, и собачонка снова прячется под рубашку.

Пино она находит в кофейне на Мерсер-стрит. Это оказывается не сложнее, чем ей представлялось, почему-то она была убеждена, что найти его в городе не составит труда. Она могла бы набрать номер его мобильного, но лучше поискать и найти его, в этом городе с миллионами жителей. Он сидит в одиночестве, склонившись над чашкой кофе и номером «La Республика».^[177] Внезапно ее охватывает испуг: сейчас рядом с ним откуда ни возьмись появится женщина, он ждет кого-то, — но с этим страхом она быстро расправляется.

Берет чашку кофе и отодвигает свободный стул, присаживается за столик. Пино поднимает очки для чтения на лоб и смеется, откинувшись на спинку.

— Как ты меня нашла?

— Мой внутренний GPS. Как тебе здешний джаз?

— О, настоящий джаз. А твоя старая подруга, как она?

— Не уверена. Пока что.

— Пока?

— Я собираюсь повидаться с ней попозже. Скажи мне. Можно же тебе вопрос задать? Ну, просто, сам понимаешь. Ты сюда зачем? В этот город?

— Ты правда хочешь знать? — спрашивает Пино.

— Думаю, да. Наверное.

— Хорошо сидишь?

— Кажется, вполне.

— Я приехал купить шахматный набор.

— Что купить?

— Ручной работы. На Томпсон-стрит работает один мастер-резчик. Я приехал забрать свой заказ. Это у меня вроде мании. Вообще-то я покупаю шахматы для сына. Они из особого канадского дерева. А этот парень, он настоящий умелец...

— Ты прилетел сюда из Литтл-Рока, чтобы забрать шахматы?

— Пожалуй, просто хотелось выбраться куда-нибудь.

— Ну еще бы.

— А потом, в общем, я повезу их сыну во Франкфурт. Проведем вместе пару дней, повеселимся. Вернусь в Литтл-Рок — и снова за работу.

— Чем ты вообще дышишь?

Пино улыбается, допивает кофе. Ей уже ясно, что они проведут это утро вместе, прямо тут, в Виллидж, никуда не торопясь, потом ранний ланч, он потянетя через стол и коснется ее шеи, она накроет его пальцы своими, они отправятся в его гостиничный номер, займутся любовью, распахнут шторы, будут рассказывать друг другу забавные истории, будут смеяться, она снова уснет, положив руку ему на грудь, поцелует на прощание, а потом, уже вернувшись домой в Арканзас, он позвонит ей на автоответчик, и она запишет номер телефона, положит на ночной столик, чтобы потом решить, стоит ли набрать его.

— Еще один вопрос?

— Милости прошу.

— Сколько фотографий девушек в твоем мобильном?

— Не так уж и много, — усмехается Пино. — А у тебя? Сколько парней?

— Миллионы, — говорит она.

— Вот как?

— Миллиарды, если вдуматься.

* * *

Всего только раз она пыталась вернуться к многоэтажкам у автострады Диган. Десять лет тому назад, едва закончив колледж. Ей хотелось увидеть место, где работали мать и бабка. Машину она взяла напрокат в аэропорту Кеннеди, выехала и намертво застряла в пробке, бампер к бамперу. В заднем зеркале сплошь автомобили, деться некуда. Сэндвич «а-ля Бронкс».

Итак, она вновь оказалась дома, но радости от возвращения не испытала.

В последний раз она была здесь в свои пять. Помнила бледно-серые стены коридоров и почтовый ящик, забитый рекламными листовками, только и всего.

Джеслин перевела рычаг в режим стоянки и ковырялась в стереосистеме, когда краем глаза заметила впереди какое-то движение. Над крышей лимузина поднялся человек, на фоне автомобилей выросла верхняя часть его туловища, вдруг напомнившая ей о кентаврах: сначала она

увидела голову, а затем и торс, выплыvший из открытого люка на крыше машины. Потом голова резко дернулась, словно в мужчину выстрелили. Она даже моргнула, всерьез ожидая кровавых брызг. Вместо этого мужчина вытянул руку и ткнул ею вперед, точно управляя движением. Снова покачнулся. Движения рук делались все быстрее, он был похож на странного дирижера в костюме и при галстуке. Распростертый на крыше, галстук походил на часовую стрелку, метавшуюся по циферблату с каждым поворотом владельца. Выпростав руки из люка, он подтянулся и выбрался на крышу, встал на лимузине, широко расставил ноги, растопырил пальцы. Что-то кричал соседним водителям.

Тогда она заметила, что и остальные начали высовываться, открывать двери; над вытянутой полоской машин вырос нестройный ряд голов, повернутых в одном направлении, как у подсолнухов. Им всем был известен какой-то секрет. Женщина в машине неподалеку принялась гудеть, послышались крики, и тогда она тоже увидела бегущего между автомобилями койота.

Зверь невозмутимо трусил по залитому жарким солнцем шоссе, то совершая скачки, то замирая и оглядываясь по сторонам. Словно угодил в Страну чудес, достойную восхищения.

Вот только бежал койот в сторону города, а не наоборот. Она сидела за рулем, глядя, как зверь приближается. За две машины до нее он сменил полосу, пробежал прямо под ее окном. Койот не поднимал головы, но она разглядела его золотистые глаза.

Она следила за ним в зеркало. Ей хотелось крикнуть койоту, чтобы повернул, что он ошибся направлением, что пора возвращаться. Далеко позади она заметила сигнальные маячки спецтехники. Служба отлова бродячих животных. Трое вооруженных сетями мужчин уже кружили по шоссе.

Когда раздался выстрел винтовки, она даже подумала сначала, что это лишь хлопнул чей-то глушитель.

* * *

Ей нравится слово *мама* и связанные с ним ассоциации. Ее не интересуют биологические, или суррогатные, или приемные, или какие еще бывают матери в этом мире. Глория была ее матерью. Джаззлин тоже. Они словно сидят на крыльце, Глория и Джаззлин, глядя, как опускается вечернее солнце. Они не знакомы, просто сидят вместе и молчат, потому

что им нечего сказать друг другу. Медленно наступают сумерки. Одна из них прощается и уходит в дом, вторая остается на крыльце.

* * *

Они находят друг друга, неспешно, нерешительно, робко, отстраняются ненадолго и сливаются снова, и ей вдруг становится ясно, что прежде она никогда по-настоящему не знала чужого тела. После они молча лежат вместе, слегка соприкасаясь, пока она не встает, чтобы тихонько одеться.

* * *

Букет кажется ей дешевкой уже в момент покупки. Вощеная обертка, чахлые бутоны с неуловимым запахом, словно кто-то в универсаме обрызгал их фальшивым ароматом. Вот только все цветочные магазины уже закрыты, и у нее нет выбора. Свет быстро меркнет, вечер на исходе. Джеслин направляется на запад, к Парк-авеню, тело еще трепещет, на бедре еще лежит его незримая рука.

В лифте вульгарный аромат цветов становится нестерпимым. Надо бы выйти, побродить вокруг, найти букет получше, но сейчас уже слишком поздно. Не важно. Она выходит из лифта на последнем этаже, туфли утопают в мягкому ворсе ковра. У двери Клэр лежит свернутая газета, прилизанная истерика войны. Сегодня восемнадцать погибших.

По рукам поднимается озноб.

Она нажимает кнопку звонка, упирает букет в дверную раму, слушает, как щелкают замки.

* * *

Дверь снова открывает ямаец в костюме медбрата. Безмятежность на скуластом лице, короткие косички волос.

- Здрасьте.
- Тут есть еще кто-нибудь?
- В смысле? — говорит он.
- Кто еще есть дома?

— Ее племянник занял свободную комнату. Прилег вздремнуть.

— Он давно здесь?

— Том? Он провел тут ночь. Приехал пару дней тому назад. Принимал гостей.

Их короткое противостояние все длится — так, будто рожденный на Ямайке медик пытается понять, зачем она вернулась, что ей здесь нужно, долго ли пробудет. Он не убирает руки с дверного косяка, но затем подается вперед и заговорщицки шепчет:

— Том позвал на вечеринку нескольких агентов по недвижимости, вы понимаете.

Джеслин улыбается, качает головой: это все не имеет и не будет — уж она-то постарается — иметь значения.

— Как считаете, можно ее повидать?

— Запросто. Вы в курсе, что у нее был инсульт?

— Да.

Войдя в квартиру, она останавливается.

— Клер получила открытку? Я отправляла большую дурацкую открытку.

— А, так это вы ее прислали? — улыбается ямаец. — Забавная. Мне понравилась.

Он вытягивает руку вдоль стены коридора, приглашая пройти. Она идет в полутьме, словно раздвигая вуаль. Замирает, поворачивает стеклянную ручку на двери спальни. Та тихо щелкает. Дверь приоткрывается. Ей кажется, что она делает шаг с уступа. Тьма в комнате кажется плотной, удушливой. Узкий светлый треугольник между шторами.

Она стоит, ожидая, пока глаза привыкнут к темноте. Джеслин хочется разгрести мрак, раздвинуть шторы, открыть окно, но Клер спит, ее веки сомкнуты. Джеслин подтягивает стул к капельнице у изголовья. Капельница не подсоединенена. На столике у кровати стакан. И соломинка. И карандаш. И газета. И ее открытка, среди множества других. Она щурится в темноте. *Выzdoravlivai скoree, смешная старая птица!* Она уже не уверена, что такая открытка была кстати; наверное, стоило послать что-то милое, сдержанное. Как знать? Никак.

Грудь Клер поднимается, опускается. Съежившееся, сломанное тело. Высохшая грудь, запавшие глазницы, шея в морщинах, ломкие суставы. Жизнь идет на убыль, истончается. Краткое дрожание век. Джеслин склоняется ближе. Дуновение спрятого воздуха. Веко вновь дрожит. Глаза открываются. В темноте проступают белки глаз. Клер распахивает глаза еще шире, не улыбается, не произносит ни слова.

Покрывала натягиваются. Джеслин опускает взгляд на левую руку Клэр: пальцы поднимаются и падают, словно играя на рояле. Желтоватая худоба старости. Встречая одного человека, мы расстаемся совсем с другим, думается ей.

Тикают часы.

Мало что еще способно отвлечь внимание от вечернего сумрака, всего лишь тиканье часов, отмеряющих песчинки, не столь далекие от настоящего и все же не слишком отдаленные от прошлого, непостижимое вытягивание сегодняшних причин и следствий в завтра, самые простые вещи: шероховатое дерево кровати на свету, несмелое возражение черноты в волосах старой женщины, лучик влаги на пластике кислородной подушки, причудливый изгиб цветочного лепестка, сколотый край фоторамки, подсохшие капли чая на ободке кружки, наполовину разгаданный кроссворд, зависшая над краем стола желтая палочка карандаша, один конец заострен, резинка на другом замерла в воздухе. Осколки человеческого быта. Джеслин возвращается карандаш на стол, к безопасности, встает и, обогнув изножье кровати, подходит к окну. Обе руки на подоконнике. Раздвигает шторы по шире, расширяет треугольник, чуть приподнимает оконную раму. Прах, пыль, свет теперь прогоняют темноту из предметов. Спотыкаясь, мы бредем вперед, мы выжимаем из темноты свет, чтобы тот оставался с нами. Она поднимает раму выше. Уличные звуки обретают особую отчетливость в тишине комнаты — сперва транспорт, гул автомобилей, бормотание двигателей, натужный рев подъемных кранов, ликование детских площадок, перебранка деревьев вдоль авеню, шелест их веток.

Шторы снова сдвигаются, но на ковре остается освещенная полоска. Джеслин подходит к кровати, снимает туфли, роняет их на пол. Клэр едва заметно раздвигает губы. Не говорит ни слова, но ее дыхание меняется, обретает размеренную плавность.

Мы бредем дальше, думает Джеслин, мы насыщаем тишину своим шумом, находим в других людях продолжение себя самих. Этого почти достаточно.

Осторожно и тихо Джеслин приседает на краешек кровати и затем вытягивает ноги — медленно, чтобы не качнуть матрас. Она поправляет подушку, снимает волосок с губ Клэр.

Джеслин снова думает об абрикосах — она и сама не знает почему, но думает о них, об их мягкой кожице, их благоухании, их сладком вкусе.

Земля вращается. Спотыкаясь, мы бредем вперед. Этого достаточно.

Она ложится на кровать рядом с Клэр, поверх покрывала. Слабая

кислинка старческого дыхания в воздухе. Часы. Вентилятор. Монотонный шелест города.

Мир вращается.

От автора

Филипп Пети прошел по канату, натянутому между башнями Всемирного торгового центра, 7 августа 1974 года. Я включил это в роман, но все прочие события и персонажи остаются вымышленными. В отношении самого трюка я позволил себе ряд вольностей, в то же время стараясь сохранить неприкосновенными своеобразие момента и его окружение. Читателям, заинтересованным в подлинной истории прогулки канатоходца, следует обратиться к его собственной книге «Тянуться к облакам» (Philippe Petit, «To Reach the Clouds», Faber and Faber, 2002), где Пети делится всеми подробностями своего достижения. Фотография, воспроизведенная на странице 300, сделана Виком Де Лука, «Рекс Имиджес», 7 августа 1974 года (Copyright: Rex USA). Я в большом долгу у обоих.

Название книги позаимствовано в поэме «Локсли-Холл» лорда Теннисона. В свою очередь, это произведение многим обязано «Муаллакам» — так называемым «Нанизанным стихам», семи длинным арабским поэмам, сочиненным в VI веке. В поэме Теннисона упоминаются «летуны в багровом мраке, что бросают горе вниз», в то время как «Муаллаки» задаются вопросом: «Ужели есть надежда, что горести мне утешенье принесут?» Хорошая литература способна напомнить нам, что еще не вся жизнь запечатлена на бумажных страницах; существует немало историй, ждущих своего рассказчика.

Благодарности

Эта конкретная история требует от меня выразить признательность множеству людей — офицерам полиции, возившим меня по городу, врачам, терпеливо отвечавшим на мои расспросы, компьютерщикам, проведшим меня по лабиринту, и всем прочим, кто помогал мне в процессе написания и редактирования романа. В сущности, по писательской клавиатуре стучит великое множество рук. Боюсь, могу забыть некоторые имена, но я чрезвычайно благодарен следующим людям за их помощь и поддержку: Джою Голду, Роджеру Хауку, Марии Венегас, Джону Маккормаку, Эду Конлону, Джозефу Леннону, Джастину Долли, Марио Мола, доктору Джеймсу Мэриону, Терри Куперу, Сенелии Арроев, Полу Остеру, Кэти О’Доннелл, Томасу Келли, Элейне Геним, Александре Прингл, Дженнифер Херши, Миллисент Беннет, Джорджио Гонелле, Эндрю Вайли, Саре Челфэнт и всем сотрудникам «Уайли эйдженси», а также Кэролайн Эст и всем, кто работает в «Белфонд» в Париже. Спасибо Филипу Гуревичу и всем в «Пари Ревю». А также моим студентам и коллегам в колледже Хантера, в особенности Питеру Кэри и Натану Ингландеру. И наконец, никто не заслуживает большей благодарности, чем Эллисон, Изабелла, Джон Майкл и Кристиан.

notes

Примечания

1

Сценический псевдоним американского комика Леонарда Шнайдера (1925–1966). — Здесь и далее примеч. перев.

2

Один из старейших небоскребов Нью-Йорка (построен в 1913 г.).

3

«Консолидэйтед Эдисон, Инк.» — одна из крупнейших энергетических компаний США.

4

Ироничное прозвище «Эй-Ти энд Ти», одной из крупнейших телекоммуникационных компаний США.

5

Уникальный небоскреб в стиле ар деко (построен в 1935 г.).

6

Хогленд Кармайкл (1899–1981) — американский композитор и пианист, автор джазовых пьес.

7

Оборонительные башни времен наполеоновских войн в ряде стран бывшей Британской империи.

8

По названию ирландского поселка (графство Мейо), славящегося своей мануфактурой.

9

Узкие переулки в центре Дублина.

10

Отсылка к Нагорной проповеди: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Матф. 5:5).

11

Франциск Ассизский (1182–1226) — католический святой, учредитель названного его именем нищенствующего ордена.

12

Лейиш (Лиишь; англ. *Laois*) — графство на юго-востоке центральной части Ирландии.

13

Аврелий Августин (354–430) — епископ Гиппонский, философ, проповедник, богослов и политик. Майстер Экхарт (ок. 1260–1328) — немецкий теолог и философ, один из крупнейших христианских мистиков. Луи Массиньон (1883–1962) — французский католический ученый, исламовед и арабист. Шарль Эжен де Фуко (1858–1916) — причисленный католической церковью к лику блаженных монах-траппист, отшельник, исследователь Африки.

14

Теология освобождения — одна из школ христианской католической мысли, развившаяся в середине XX века. Представители этой школы исследуют феномен бедности, считая его источником греха.

15

Улица в Дублине, увековеченная в одноименном стихотворении ирландского поэта и романиста Патрика Кавана (1904–1967), положенном на традиционную мелодию фолк-группой The Dubliners и уже в качестве «народной» песни получившем общенациональную популярность.

16

Гарда (ирл. «Gardai Siochana») — национальная полиция Республики Ирландия.

17

Поэма американского поэта Аллена Гинзберга (1926–1997), наиболее известное произведение бит-поколения. Впервые опубликована в 1956 г.

18

Тридцать с половиной градусов по шкале Цельсия.

19

Цитируется первая строка «Вопля» (пер. Д. Храмцева).

20

Томас Мёртон (1915–1968) — американский поэт, монах-траппист, богослов, публицист. Рубем Алвеш (р. 1933) — бразильский теолог, философ, писатель, психоаналитик. Дороти Дей (1897–1980) — американская журналистка и социальная активистка; обращенная католичка, отстаивавшая экономическую доктрину дистрибутивизма.

21

Пер. Д. Смирнова. Цитируется стихотворный пассаж из «Поминок по Финнегану» (1939) ирландского романиста Джеймса Джойса (1882–1941), подсказавший американскому физику Мюррею Гелл-Манну (р. 1929) имя для новооткрытых частиц.

22

Приходская церковь в Бронксе (Моррис-авеню), относится к римско-католической архиепархии Нью-Йорка.

23

Филип Артур Ларкин (1922–1985) — британский поэт, писатель и джазовый критик.

24

Копакабана — район в южной части Рио-де-Жанейро, знаменитый своим четырехкилометровым пляжем.

25

Искаженная цитата из поэмы американского ученого и писателя Уэнделла Берри (р. 1934) «Путь боли» (1980), посвященной мукам отцовства.

26

Отсылка к Ветхому Завету (Пс. 144:14).

27

Отсылка к классическому ирландскому тексту «Наставлений короля Кормака» (IX в.).

28

Приходская церковь в Бронксе (Бейнбридж-авеню), выстроенная в псевдоготическом стиле. Относится к римско-католической архиепархии Нью-Йорка.

29

Tamla Motown — компания звукозаписи, впервые в истории основанная афроамериканцем. В 1960-е годы выпускала записи в стилях ритм-н-блюз и соул, продвигая записи чернокожих исполнителей в хит-парады.

30

Тромботическая тромбоцитопеническая пурпурा, распространенное повреждение мелких сосудов, почек и центральной нервной системы.

31

Джек Дойл (1913–1978) — известный в Америке 1930-х годов боксер ирландского происхождения.

32

Это «крылатое выражение» цитирует оговоренный в Конституции США (Восьмая поправка, ратифицирована в 1791 г.) запрет на определенные виды смертной казни, включая сжигание заживо, колесование, распятие и т. д.

33

Полковник Карлос Арана Осорио (1918–2003) — «Мясник из Закапы», президент Республики Гватемала (1970–1974), пришедший к власти в ходе военного переворота.

34

«Том и Джерри» — популярная серия короткометражных мультфильмов студии MGM; «Я люблю Люси» — комедийный телесериал канала CBS (1951–1957); «Семейка Брэди» — комедийный телесериал канала ABC (1969–1974), посвященный отношениям в многодетной семье.

35

Томас Мейкем (1932–2007) — ирландский музыкант, поэт и художник.
The Clancy Brothers — популярная в 1960-е годы ирландская фолк-группа.
Донован Филипс Лич (р. 1946) — шотландский певец и гитарист.

36

Джалал ад-Дин Мухаммад Руми (1207–1273) — персидский поэт, теолог, мистик-суфий.

37

«Sherry Netherland» — шикарный и дорогой 38-этажный отель на Пятой авеню в Нью-Йорке, с видом на Централ-парк.

38

«Семь» — верный ответ на классическую загадку-розвыгриш: «Сколько монет звенит у меня в кармане?» (в этой фразе семь слов).

39

Халиль Джебран (1883–1931) — американский философ ливанского происхождения, художник, поэт и писатель.

40

Лк. 22:19.

41

Старинное прозвище комплекса зданий на юге Манхэттена, предназначенных для временного содержания задержанных.

42

Улица на Манхэттене, исторически сложившееся средоточие судебных органов и правительственные учреждений. В доме 100 располагается отдел по уголовному судопроизводству Верховного суда округа Нью-Йорк.

43

Марвин Пенц Гэй-мл. (1939–1984) — американский соул-исполнитель, композитор, музыкант-мультиинструменталист.

44

От «*mi hijo*» (*исп.*) — «сынок».

«Raindrops Keep Fallin' on My Head» — песня из фильма-вестерна «Бутч Кэссиди и Санденс Кид» (1969); «When the Saints Go Marching In» — классический гимн-госпел; «You Should Never Shove Your Granny off the Bus» — шотландская считалочка.

46

«Зачем? Такое говорить...» (*исп.*)

The Four Tops — американский вокальный соул-квартет, чьи записи издавались компанией «Мотаун»; Martha and The Vandellas — американская поп-группа, чьи записи выходили под тем же лейблом; Джеймс Маршалл Хендрикс (1942–1970) — американский гитарист, певец и композитор.

Ричард Прайор (1940–2005) — чернокожий комик, чьи репризы, поносившие расизм, часто балансировали «на грани дозволенного».

49

Уоллес Стивенс (1879–1955) — американский поэт-модернист, адвокат по профессии. Цитируется классическое стихотворение Стивенса «Случай с банкой» (1919), пер. Г. Кружкова.

50

Американский актер Аристотель «Телли» Савалас (1922–1994), исполнитель роли лейтенанта полиции Коджака в одноименном телесериале (канал CBS, 1973–1978 гг.), был совершенно лыс. По сценарию Коджак вечно катал во рту леденцы на палочке, то и дело пуская в ход коронную фразу: «Кому ты нужен, родной?»

51

Речь идет о расцветке «улиц» на игровом поле «Монополии». Настоящая Парк-плейс — улица в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси). целиком занятая комплексом казино и отелей.

52

Жоан Миро (1893–1983) — испанский художник-сюрреалист.

Штрих, рисующий своеобразное чувство юмора мистера Содерберга. Французское слово *toucher* (туше) — фехтовальный термин, означающий «укол!», в переносном смысле — «наповал», тогда какозвучное ему французское же *bouchée* (буше) — общезвестное пирожное с кремом. В тексте романа игру слов лишний раз подчеркивает свойственная американцам фонетизация орфографии: *bushe*.

54

Музей Уитни (осн. 1931) на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке вмещает одно из крупнейших собраний современного американского искусства (XX–XXI вв.).

55

«Let It Be» (1970) — композиция Леннона — Маккартни из одноименного альбома The Beatles.

56

Марка сигарет, буквально «Удачный ход» (англ.).

57

«Слава в выших Богу» (*лат.*) — древний христианский гимн, названный по первой строке текста.

Цитата из комедии Шекспира «Бесплодные усилия любви» (Акт 5, сцена II). Пер. Ю. Корнеева.

59

Линдон Бэйнс Джонсон («Эл-Би-Джей») — 36-й Президент США (1963–1969).

60

Отсылка к старой патриотической песне «Моя страна, свободы милый край...» (1831) на стихи священника Сэмюэла Смита (1808–1895), исполнявшейся на мелодию британского национального гимна.

61

PDP-10 — большая универсальная ЭВМ, в конце 1960-х годов производившаяся американской компанией Digital Equipment Corp. Honeywell Information Systems — подразделение одноименной американской корпорации, в 1970-х годах производившее компьютеры и периферийные устройства.

62

Прикрепляемый к косяку двери в еврейском доме футляр, содержащий свиток пергамента с отрывком молитвы.

63

Цитата из поэмы «Песнь любви Дж. Альфреда Пруфрока» (1917) американо-английского поэта-модерниста Томаса Стернза Элиота (1888–1965). Пер. В. Топорова.

64

Одна из первых моделей персонального компьютера, выпущенная в 1973 году компанией Xerox.

Девятеро активистов-католиков, в знак протеста против войны во Вьетнаме сжегшие в мае 1968 года несколько десятков папок с личными делами в призывном пункте города Кейтонсвилля, штат Мэриленд.

66

Лора Эшли (1925–1985) — валлийский дизайнер и предприниматель, создательница характерных красочных мотивов для тканей, производитель одежды и мебели.

67

Роберт Крейг «Ивел» Книвел (1938–2007) — американский трюкач, исполнявший рискованные прыжки на мотоцикле.

68

Неформальное прозвище знаменитой модели американского многоцелевого вертолета Bell UH-1 «Ирокез».

69

Пренебрежительное прозвище вьетнамских военных, бытовавшее в американской армии.

Отсылка к пассажу из романа «Убить пересмешника...» (1960) американской писательницы Харпер Ли (р. 1926): «*Кричи громче, Джек Финч, чтоб на почте слышали, а то мне тебя не слыхать!*» Пер. Н. Галь и Р. Облонской.

Уотерфорд — город на юге Ирландии, в 50-е годы прошлого века прославившийся стекольным производством под одноименной торговой маркой.

Отсылка к популярной детской книге «Чарли и шоколадная фабрика» (1964) американского писателя Роальда Даля (1916–1990).

73

Посвященная бейсболу баллада (1888) американского поэта и писателя Эрнеста Тэйера (1863–1940).

Едва ли случайно фамилии всех троих начинаются с латинской буквы W, вызывая в памяти аббревиатуру WWW («Всемирная паутина». Интернет).

WASP (*англ.*) — буквально «оса», аббревиатура от «белый протестант ангlosаксонского происхождения», т. е. потомок первых поселенцев, «белая кость».

Эквивалент фразы «Свет мой, зеркальце, скажи...». Фамилия художника созвучна английскому *mirror* — «зеркало».

Из-за оранжевого цвета канистр так прозвали смесь синтетических дефолиантов и гербицидов, применявшихся американской армией в ходе Вьетнамской войны (1961–1971) в рамках программы по уничтожению растительности.

Шикарное заведение времен сухого закона в нью-йоркском Гарлеме, прославленное выступлениями чернокожих джазменов.

79

Знаменитое высотное здание на Бродвее.

80

Бюро по контролю за оборотом наркотических средств — агентство при Департаменте юстиции США, созданное в 1968 г. и влившееся в состав Управления по борьбе с наркотиками в 1973 г.

81

Речь, несомненно, идет о Дебби Харри (р. 1945), позднее певшей в составе рок-группы Blondie.

82

Федеральное бюро по борьбе с наркотиками — подразделение Министерства финансов США, существовавшее с 1930 по 1973 г.

83

«Из многих — единое» (*лат.*), цитата из речи Цицерона «О достоинствах», размещенная в качестве девиза на государственном гербе США, в том числе и на монетах.

84

Супруги-писатели Скотт и Зельда Фицджеральд, в начале 1920-х годов жившие в Нью-Йорке.

Короткие стрижки начала XX века, популярные в богемной среде и у феминисток.

86

Течение в американской живописи 1930-х годов, изображавшее сцены обыденной жизни обитателей Среднего Запада.

Роберт Смитсон (1938–1973) — американский скульптор, творивший в жанре лэнд-арт, автор упоминаемой далее «Сpirальной пристани».

Гордон Матта-Кларк (1943–1978) — американский художник, прославившийся серией инсталляций в заброшенных домах.

89

Здесь: морально устарели, утратили смысл (*фр.*).

90

Город в штате Мичиган, где родился Генри Форд и где размещена штаб-квартира его компании. Там же расположен студенческий кампус Мичиганского университета.

91

Хьюберт Хамфри (1911–1978) — вице-президент США в администрации Линдона Джонсона, кандидат от Демократической партии на выборах 1968 года.

92

Комиссия палаты представителей конгресса США, действовавшая до 1975 года. Создана в 1934 году для противодействия «подрывной и антиамериканской пропаганде».

93

Палестинец, 5 июня 1968 года убивший сенатора США Роберта Ф. Кеннеди.

94

Строка из песни «You Can't Go Home» (1971) популярной вокальной группы The Statler Brothers.

Обыгрывается поговорка «Красота в глазу того, кто смотрит», по смыслу близкая русской «На вкус и на цвет товарищей нет».

Здесь: «Дурачок», «Ублюдок», «Тормоз» (*исп.*).

Горацио Алгер-мл. (1832–1899) — американский писатель, автор назидательных повестей для детей и подростков. Хосе (*исп.*) или Жозе (*порт.*) — распространенное в Латинской Америке мужское имя, со временем ставшее нарицательным.

98

Солонина и сыр на поджаренном ржаном хлебе.

99

Производное от «image» (*англ.*) — «картинка, изображение».

100

В конструкции телефонов-автоматов — устройство для оплаты междугородных звонков.

101

В Великобритании 1970-х — платная телефонная услуга: набрав номер, абонент мог прослушать три-четыре музыкальные композиции из текущего хит-парада.

102

В ряде стран — префикс телефонного номера, обеспечивающий бесплатный вызов для звонящего.

103

Крупные американские компании по прокату автомобилей.

104

«Непригоден к военной службе».

105

Как дела, приятель? (*исп.*)

106

Как дела, братишка? (*исп.*)

107

Стандартный экзамен-тест, сдаваемый в США при поступлении в колледж.

Аллен Фунт (1914–1999) — американский телепродюсер и сценарист, создатель и ведущий шоу «Скрытая камера».

109

Уилт Чемберлен (1936–1999) — американский баскетболист, в 1973 году завершивший карьеру в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

Имеется в виду Наталия Макарова (р. 1940), прима-балерина Ленинградского государственного академического театра оперы и балета им. Кирова, в 1970 году попросившая политического убежища в Великобритании и впоследствии выступавшая на сцене Американского театра балета в Нью-Йорке.

111

Михаил Барышников (р. 1948) — советский артист балета, балетмейстер, в 1974 году отказавшийся возвращаться из гастролей в Канаде.

112

Боб Марли (1945–1981) — ямайский регги-музыкант, гитарист, певец и композитор.

113

Обслуживающая междугородные пассажирские рейсы американская транспортная компания, чей логотип включает изображение гончей в прыжке.

114

По аналогии с Чайна-таун. Район, населенный представителями белой расы, букв. «мел-город» (*англ.*).

115

Старейший женский клуб в Нью-Йорке, основан в 1903 г.

116

Район Нью-Йорка — остров Манхэттен, от Восьмой авеню до Гудзона.

117

Крупнейший тюремный комплекс Нью-Йорка, размещен на одноименном острове на Ист-Ривер.

118

Т. е. «Король Лос-Анджелеса» (*англ., лат.*).

119

Уильям Генри Косби-мл. (р. 1937) — американский комедийный актер, телепродюсер, музыкант.

120

В качестве аббревиатуры RAF (Royal Air Force) означает «Королевские Военно-воздушные силы», т. е. BBC Великобритании.

121

Большой Билл Брунзи (1903–1958) — американский блюзовый певец и гитарист.

122

Сеть продовольственных супермаркетов.

123

Английское слово «keyring» (брелок) произносится как «киринг».

«Чико и человек» — мыльная опера, действие которой происходит в населенном мексиканцами районе Лос-Анджелеса.

125

Бенджамин Крозерс по прозвищу «Скэтмен» (1910–1986) — американский актер, певец и музыкант, исполнивший одну из ролей в сериале. Отечественному зрителю знаком по роли Дика Хэллорана в фильме Стенли Кубрика «Сияние» (1980).

126

Персонаж серии мультфильмов студии «Уорнер Бразерс», птица с непропорционально большой головой.

«Сорвать вишенку» (*англ.*) — сленговое выражение, означающее лишение девственности.

128

Ури Геллер (р. 1946) — живущий в Великобритании израильянин, иллюзионист и экстрасенс. Сгибал ложки силой мысли в прямом телевидении.

129

Арета Франклин (р. 1942) — американская госпел- и соул-певица.

130

Барри Манилоу (р. 1943) — американский эстрадный певец.

Букер Талиафер Вашингтон (1856–1915) — американский писатель, оратор и политик, борец за просвещение чернокожих.

«Общество защиты детства и семьи Сименса» (осн. 1846) — одна из старейших благотворительных организаций Нью-Йорка.

«Нетландия», страна вечного детства, описанная в сказке о Питере Пэне (1911) английского писателя Джеймса Барри (1860–1937).

Позаимствованное в буддизме, но широко известное в Америке выражение, иллюстрирующее этический принцип сохранения моральной чистоты.

Персонаж назидательной повести для детей «Серебряные коньки» (1865) американской писательницы Мэри Додж (1838–1905), маленький голландец, спасший свою страну. По дороге в школу он заметил воду, сочащуюся из трещины в стене дамбы, заткнул отверстие пальцем и дождался помощи взрослых.

Джордж Гордон Лидди (р. 1930) — глава «Водопроводчиков», созданной при Никсоне тайной группы оперативников ФБР, устранивших «утечки» секретных данных в СМИ. Лидди был одним из инициаторов взлома и обыска в штаб-квартире партии демократов, приведших к Уотергейтскому скандалу и в итоге к отставке Никсона.

137

От названия столицы штата Нью-Йорк, города Олбани.

Джон Линдсей (1921–2000) — американский политик, либеральный республиканец, на протяжении карьеры бывший конгрессменом, мэром Нью-Йорка (1966–1973) и кандидатом на пост президента.

139

Официальный девиз США, а также штата Флорида. Впервые использован при чеканке монет нового образца в 1864 г., получил статус общенационального в 1956 г.

Персонаж старой английской легенды о леди Годиве. Чтобы снизить непомерные налоги, которыми ее супруг, граф Леофрик, обложил подданных, она согласилась обнаженной проехать по улицам Ковентри. Из уважения жители города закрыли ставни. Единственный, кто выглянул посмотреть на леди Годиву, мгновенно ослеп и заслужил прозвище «Любопытный Том».

141

Мифическая страна, литературный аналог тибетской Шамбалы, описанный в романе английского писателя Джеймса Хилтона «Потерянный горизонт» (1933).

В больших городах Америки — уголовный суд для рассмотрения срочных дел, в частности, об освобождении под залог.

143

Речь о звоне традиционного колокола, оповещающем об официальном открытии торгов на фондовой бирже.

144

Мицва (*ивр.*) — предписание, заповедь в иудаизме.

145

Национальный гимн США.

146

Еккл. 3:3.

147

Американский комедийный дуэт, много выступавший и снимавшийся в кино в 1940–1950-е годы.

148

Правда? (*исп.*)

149

Уверена? (*исп.*)

150

Пушистый красный монстр; как и Грязнули далее, персонаж «Улицы Сезам».

151

Детки (*исп.*).

152

Дети, выключайте телик (*исп.*).

153

Лгунишка (*исп.*).

154

Вылитый клоун (*исп.*).

155

Спасибо (*исп.*).

Маркус Гарви (1887–1940) — активный деятель негритянского движения за равноправие. Основатель Всемирной ассоциации по улучшению положения негров.

157

Город-порт на треугольном выступе Тирренского моря в Италии, место высадки союзнических войск в ходе боевой операции по освобождению Рима (1944).

158

Микки Мэнтл (1931–1995) — американский бейсболист, выступавший за команду «Нью-Йорк Янкиз».

159

Одна из ключевых фраз в сатирической комедии американского кинорежиссера Билли Уайлдера «Раз, два, три» (1961).

160

Надписи, которыми оборудованы светофоры Нью-Йорка.

Уильям Эдуард Беркхардт Дюбуа (1868–1963) — американский общественный деятель, панафриканист, социолог, историк и писатель. Мулат, первым из афроамериканцев получивший степень доктора философии Гарвардского университета (1895).

«Пилоты Таскиджи» — военный отряд авиаторов-афроамериканцев, сражавшийся во время Второй мировой войны; название восходит к городу в штате Алабама, в окрестностях которого располагалось летное училище.

Нэнси Сандрा Синатра (р. 1940) — дочь Фрэнка Синатры, популярная в 1960-е годы американская певица и актриса. Дальше в тексте цитируется один из главных ее хитов, песня «These Boots Are Made For Walkin'» (1966).

164

Популярная марка плавленого сыра.

165

В армии США — десантные отряды особого назначения.

166

Неправительственная международная организация по оказанию медицинской помощи людям, пострадавшим в результате вооруженных конфликтов и стихийных бедствий. Основана в 1971 году.

Административная единица Нового Орлеана, крупнейший из 17 районов, расположен в восточной части города. В 2005 году подвергся катастрофическим разрушениям, связанным с обрушением дамбы во время урагана «Катрина».

168

Футбольные клубы из Генуи и Рима соответственно.

169

В балетной хореографии — прыжок с места вверх с перебоем ног.

170

Боб Дилан (р. 1941) — американский певец, музыкант, поэт и художник, начавший карьеру с фолк-песен.

171

Брюс Спрингстин (р. 1949) — американский певец, рок- и фолк-музыкант, поэт, один из последователей Боба Дилана.

172

«Отис Элевейтор компани» (осн. 1853) — крупнейшая в мире компания-производитель систем вертикальной транспортировки.

173

Крупнейшая в США телекоммуникационная компания.

174

Букв. «Служба внутренних сборов». Федеральное агентство США по налоговым сборам.

Цитата из текста популярной джазовой песни «(Up the) Lazy River» (1930).

176

Торговая марка бутербродного хлеба, квадратные буханки в нарезке.

Одна из наиболее популярных газет в Италии, исповедующая умеренно левые взгляды.